

Мейсис Харрис Антонио Мегри

ИМПЕРИЯ



Michael Hardt Antonio Negri

EMPIRE

**Harvard University Press 2000
Cambridge, Massachusetts
London, England**

Майкл Хардт Антонио Негри

ИМПЕРИЯ

Перевод с английского под общей редакцией
Г. В. Каменской

Праксис
Москва 2004



ББК87.3
Хго

Хардт М., Негри А.
Х 20 Империя / Пер. с англ., под ред. Г. В. Каменской, М. С. Фетисова. — М.: Праксис, 2004. — 440 с.

ISBN 5-901574-40-0

Книга, являющаяся совместной работой американского литературоведа и известного итальянского политического философа представляет собой всеобъемлющий анализ нового мирового порядка глобализации. По мнению авторов, наилучшим инструментом для его понимания является понятие «Империи», означающее универсальный порядок, не знающий границ и пределов. Анализируя механизмы эксплуатации и контроля, управляющие сегодняшним миром, авторы стремятся предложить альтернативную парадигму политического мышления, которая могла бы стать основой подлинно демократического глобального общества.

ББК 87.3

Copyright © 2000 by the President and Fellows of Harvard College

О И. Данилин, А. Ландер, И. Окунева, А. Смирнов, Ю. Филиппов, пер. с англ., 2004

О Г. В. Каменская, М.; С. Фетисов, общая редакция, 2004
в А. Кулагин, оформление обложки, 1004

О А. В. Иванченко, оригинал-макет, 2004

С Издательская группа «Праксис», 2004

ISBN 5-901574-40-0

Каждый инструмент это оружие, если держать его правильно.

Эни ДиФранко

Люди сражаются и проигрывают битву, и то, за что они сражались, наступает, несмотря на их поражение. Когда же оно потом оказывается не тем, на что они надеялись, приходят другие люди, чтобы сражаться за то же самое, но уже под другим именем.

Уильям Моррис

БЛАГОДАРНОСТИ

Мы хотели бы выразить благодарность нашим друзьям и коллегам, которые читали части этой рукописи, и чьи советы нам очень помогли: Роберту Эдельману, Этьену Балибару, Дели Берже, Йанну Мулье Бутану, Тому Конли, Арифу Дирлику, Лучиано Феррари-Браво, Дэвиду Харви, Фреду Джеймисону, Ребекке Карл, Ванеме Любиано, Сари Макдиси, Кристиану Марацци, Валентину Мудимбе, Джутит Ревел, Кену Сарину, Кристине Торстейнсон, Жану-Мари Винсенту, Паоло Вирно, Линдсею Уотерсу и Кэти Уикс.

Цитата Эни ДиФранко на с. 5 взята из альбома «My IQ» © 1993 Righteous Babe Music.

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Предисловие</i>	и
ЧАСТЬ 1 ПОЛИТИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО НАСТОЯЩЕГО	17
1.1 Мировой порядок	19
1.2 Биополитическое производство	35
1.3 Альтернативы внутри Империи	53
ЧАСТЬ 2 ПЕРЕХОДЫ СУВЕРЕНИТЕТА	75
2.1 Две Европы, две современности	77
2.2 Суверенитет национального государства	97
г.з Диалектика колониального суверенитета	115
2.4 Симптомы перехода	135
2.5 Сетевая власть: суверенитет США и новая Империя	155
2.6 Имперский суверенитет	175
ИНТЕРМЕЦЦО: КОНТР-ИМПЕРИЯ	195
ЧАСТЬ 3 ПЕРЕХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА	207
3-1 Пределы империализма	209
3.2 Дисциплинарное регулирование	227
3-з Соппротивление, кризис, трансформация	245
3-4 Постмодернизация, или информатизация производства	263
3-5 Смешанное устройство	285
3.6 Капиталистический суверенитет, или управление обществом контроля	3°3
ЧАСТЬ 4 ЗАКАТ И ПАДЕНИЕ ИМПЕРИИ	3*7
4-1 Виртуальности	\$20
4-2 Порождение и разложение	343
4-3 Массы против Империи	з<5з
<i>Примечания</i>	381
<i>Примечания переводчика и редактора</i>	4*3
<i>Индекс</i>	429

ПРЕДИСЛОВИЕ

У нас на глазах Империя обретает плоть. За последние несколько десятилетий — когда колониальные режимы были низвергнуты и особенно после того, как перед капиталистическим мировым рынком окончательно рухнули барьеры советской системы, — мы стали свидетелями непреодолимой и необратимой глобализации экономических и культурных обменов. Вместе с глобальным рынком и глобальным кругооборотом производства возникает и глобальный порядок — новая логика и структура управления, короче говоря, новый вид суверенитета. Империя становится политическим субъектом, эффективно регулирующим эти глобальные обмены, суверенной властью, которая правит миром.

Многие убеждены, что глобализация капиталистического производства и обмена означает, что экономические отношения становятся менее зависимыми от политического контроля и, следовательно, что политический суверенитет приходит в упадок. Некоторые приветствуют эту новую эру как освобождение капиталистической экономики от ограничений и искажений, навязанных ей политическими силами; другие же сокрушаются, что окажутся перекрытыми институциональные каналы, благодаря которым рабочие и граждане могли влиять на холодную логику капиталистической прибыли или же противостоять ей. Несомненно, что с развитием процесса глобализации суверенитет национальных государств, пока еще действенный, постепенно разрушается. Основные факторы производства и обмена — деньги, технологии, люди и товары — со все большей легкостью перемещаются через национальные границы; в результате у национальных государств остается все меньше и меньше возможностей регулировать эти потоки и воздействовать на экономику политическими средствами. Даже наиболее сильные национальные государства не могут далее признаваться в качестве верховной и суверенной власти ни вне, ни даже в рамках собственных границ. *Но, тем не менее, ослабление суверенитета национальных государств вовсе не означает, что суверенитет как таковой приходит в упадок*¹.

В период нынешних преобразований средства политического контроля, государственные функции и регулирующие механизмы продолжали применяться для управления сферой экономического и общественного производства и обмена. Наша основная гипотеза состоит в том, что суверенитет принял новую форму, образованную рядом национальных и наднациональных органов, объединенных единой логикой управления. Эта

новая глобальная форма суверенитета и является тем, что мы называем Империей.

Слабеющий суверенитет национальных государств и их возрастающая неспособность к регулированию экономических и культурных обменов являются фактически одними из важнейших признаков становления Империи. Суверенитет национальных государств был краеугольным камнем колониальных империй, созданных европейскими державами в период современности¹. Однако под «Империей» мы понимаем нечто, совершенно отличное от «империализма». Границы, определенные системой национальных государств современности, были основой европейского колониализма и экономической экспансии: территориальные границы нации определяли центр власти, из которого осуществлялось управление внешними территориями — территориями других государств — через систему каналов и барьеров, то способствовавших, то препятствовавших потокам производства и обращения. В действительности империализм был распространением суверенитета национальных государств Европы за пределы их собственных границ. В итоге почти весь мир можно было считать поделенным между европейскими государствами, а карту мира можно было бы целиком раскрасить в цвета Европы: красным — территории Британии, синим — Франции, зеленым — Португалии и т. д. Где бы ни пускал свои корни суверенитет периода современности, он повсюду создавал Левиафана, который устанавливал свою власть и навязывал иерархию территориальных границ как для охраны чистоты собственной идентичности, так и для исключения всего иного.

Переход к Империи порождается упадком суверенитета современного типа. В противоположность империализму Империя не создает территориальный центр власти и не опирается на жестко закрепленные границы или преграды. Это — децентрализованный и детерриториализованный, то есть *лишенный центра и привязки к определенной территории*, аппарат управления, который постепенно включает все глобальное пространство в свои открытые и расширяющиеся границы. Империя управляет смешанными, гибридными идентичностями, гибкими иерархиями и множественными обменов посредством модулирования командных сетей. Различные национальные цвета на карте мира времен традиционного империализма размываются и сливаются в радугу глобальной империи.

Переустройство сложившегося империалистического деления мира и становление мирового рынка свидетельствуют об изменениях в рамках капиталистического способа производства. Наиболее важно то, что пространственное разделение стран на три мира (первый, второй и третий) стало настолько запутанным, что мы непрерывно обнаруживаем третий мир в первом, а первый — в третьем, в то время как второй мир практически перестал существовать. Видимо, капитал сталкивается с однородным

миром — или, точнее, миром, который определяется новыми и сложными системами дифференциации и гомогенизации, детерриториализации и ретерриториализации. Создание путей движения и ограничений для этих новых глобальных потоков сопровождается изменениями самих важнейших производственных процессов, в результате чего роль промышленной рабочей силы снижается, и главенство отдается рабочей силе, ориентированной на межперсональную кооперацию. При переходе к постсовременной глобальной экономике создание богатства более чем когда-либо имеет результатом то, что мы называем биополитическим производством, производством самой общественной жизни, когда политическая, экономическая и культурная сферы все более совпадают друг с другом и становятся взаимопроникающими.

Многие полагают, что роль центра власти, управляющего процессами глобализации и стоящего во главе нового мирового порядка, принадлежит Соединенным Штатам. Сторонники превозносят Соединенные Штаты как мирового лидера и единственную сверхдержаву, а противники обличают их как империалистического угнетателя. Оба этих мнения основываются на допущении, что США просто подобрали мантию мирового господства, которую обрели народы Европы. Если девятнадцатый век был британским, то двадцатый век стал американским, или, вообще говоря, если современность была европейской, то постсовременность является американской. В этом случае наиболее сурово настроенные критики могут обвинять Соединенные Штаты в том, что они повторяют практику старого европейского империализма, тогда как сторонники приветствуют Соединенные Штаты как самого дееспособного и великодушного мирового лидера, действующего правильно там, где Европа ошибалась. Однако наша основная гипотеза, которая состоит в том, что появилась новая, имперская форма суверенитета, противоречит обоим этим точкам зрения. *Ни Соединенные Штаты, ни, на самом деле, какое бы то ни было национальное государство на сегодняшний день не способны стать центром империалистического проекта.* Империализм ушел в прошлое. Ни одна нация отныне не станет мировым лидером в том смысле, в каком им являлись народы Европы для периода современности.

Соединенным Штатам и впрямь удалось занять привилегированное положение в Империи, но эта привилегированность определяется отнюдь не сходством Америки со старыми империалистическими державами Европы, а, напротив, различиями с ними. Наиболее явно эти различия можно распознать, как следует присмотревшись к имперским (не империалистическим!) основам устройства самих Соединенных Штатов, где под «устройством» мы подразумеваем как *формальное устройство*, конституцию, письменный документ, с его разнообразными поправками и правовыми инструментами, так и *реальное устройство*, каковым являет-

ся постоянно заключаемое и перезакрывающееся соглашение социальных групп. Томас Джефферсон, автор *Федералиста*, и другие идеологи-основатели Соединенных Штатов — все были воодушевляемы моделью древней империи; они верили, что создают новую Империю по другую сторону Атлантики с открытыми и расширяющимися границами, где власть будет эффективно распределена по сетевому принципу. Эта имперская идея продолжала существовать и развиваться на всем протяжении истории становления Соединенных Штатов и теперь в полностью завершенном виде проявилась в мировом масштабе.

Необходимо подчеркнуть, что мы используем здесь термин «Империя» не в качестве *метафоры*, что требовало бы обнаружения сходства нынешнего мирового порядка и империй Рима, Китая, доколумбовой Америки и т. д., но скорее как *понятие*, которое предполагает главным образом теоретический подход². Идея Империи определяется прежде всего отсутствием границ: ее владычество не знает пределов. Первое и самое главное в концепции Империи — это утверждение системы пространственной всеобщности, то есть по сути, власти над всем «цивилизованным» миром. Никакие территориальные границы не ставят пределов этой власти. Второе, — сама идея Империи предстает не как способ правления, исторически восходящий к завоеванию, но скорее как порядок, который на деле исключает ход истории и таким образом навсегда закрепляет существующее положение вещей. С точки зрения Империи, нынешнее положение вещей будет существовать всегда и ему всегда было предназначено быть таким. Иначе говоря, Империя представляет свое владычество не как преходящий момент в движении истории, а как способ правления вне каких бы то ни было временных рамок и в этом смысле — вне истории либо как конец истории. Третье, — владычество Империи распространяется на все уровни социального порядка, достигая самых глубин социального мира. Империя не только управляет территориями и населением, она создает тот мир, в котором живет. Она не только регулирует отношения между людьми, но также стремится к непосредственному овладению человеческой природой. Объектом ее контроля является общественная жизнь в ее целостности, и таким образом Империя представляет собой совершенную форму биовласти. Наконец, — хотя на практике Империя всегда залита кровью, — ее идея неизменно обращена к миру, вечному и всеобщему миру за пределами истории.

Та Империя, что мы видим перед собой, имеет в своем распоряжении огромные силы угнетения и разрушения, но это никоим образом не должно заставлять нас тосковать по прежним формам господства. Переход к Империи и сопряженные с ним процессы глобализации предоставляют новые возможности для сил освобождения. Конечно, глобализация не является неким единым явлением, и понимаемые под глобализацией слож-

ные процессы не идут в одном русле и не единообразны. Мы намерены доказать, что наша политическая задача состоит не в том лишь, чтобы противостоять этим процессам, но и в том, чтобы их преобразовать и перенаправить к новым целям. Те созидательные силы масс², что придают жизненную энергию Империи, способны самостоятельно создать контр-Империю — альтернативную политическую организацию глобальных потоков и обменов. Борьба за соперничество с Империей и за ее свержение настолько, насколько такая борьба создает реальную альтернативу, следовательно, будет вестись на территории самой Империи. В действительности эта борьба уже началась. Благодаря ей, как и многим другим видам протеста, массы смогут создать новые формы демократии и новые созидательные силы, которые в один прекрасный день выведут нас по ту сторону Империи.

История, которую мы проследим в своем исследовании перехода от империализма к Империи, будет сначала связана с Европой, а затем с евроамериканским наследием отнюдь не потому, что мы верим в исключительность или превосходство этих регионов как источников свежих идей и исторических новаций, но просто потому, что таким был географический путь концепций и практик, давших жизнь теперешней Империи, — вместе со становлением капиталистического способа производства, как мы покажем далее³. Несмотря на то, что в этом смысле история Империи европоцентрична, ныне ее власть не ограничена каким-либо регионом. Закономерности правления, в определенном смысле берущие начало в Европе и в США, теперь распространили практику господства по всему миру. Еще более важно то, что силы, противостоящие Империи и готовые служить прообразом альтернативного глобального сообщества, также не ограничены каким-либо регионом. Географию этих альтернативных сил, их новую картографию, еще предстоит описать — точнее, она уже пишется сегодня сопротивлением, борьбой и желаниями масс.

Мы попытались сделать все возможное, чтобы применить широкий междисциплинарный подход при создании этой книги⁴. Наши усилия были направлены на то, чтобы аргументация была в равной мере философской и исторической, культурологической и экономической, политической и антропологической. Сам объект нашего исследования отчасти требует такого широкого междисциплинарного изучения, поскольку в Империи те границы, что оправдывали узко дисциплинарные подходы, стремительно рушатся. Так, например, экономисту в имперском мире необходимы базовые знания о производстве в сфере культуры, чтобы понимать экономику, так же как и культурологу необходимо обладать начальными знаниями об экономических процессах, дабы разобраться в культуре. Соблюдение данных требований необходимо и в нашей работе. Этой книгой мы надеемся

способствовать разработке общих теоретических рамок и созданию понятийного инструментария для размышлений и действий внутри и против Империи⁵.

Так же как и многие другие большие по объему книги, эта книга может быть прочитана различными способами: от начала до конца, от конца до начала, кусочками, выдержками или по потребностям. Разделы первой части вводят в общую проблематику Империи. В центральных частях книги — второй и третьей — мы расскажем о переходе от современности к постсовременности, то есть от империализма к Империи. Вторая часть описывает данный переход главным образом с точки зрения истории идей и культуры с ранних этапов современности и вплоть до настоящего момента. Красной нитью проходит сквозь эту часть генеалогия идеи суверенитета. Часть третья описывает тот же самый переход с точки зрения производства, где производство понимается в самом широком смысле, от экономического производства до производства субъективности. Это описание охватывает более короткий период и концентрируется главным образом на том, какие изменения претерпело капиталистическое производство с конца XIX века и до настоящего времени. Внутренняя структура 2-й и 3-й частей схожа: в первом разделе каждой из них рассматривается империалистическая, характерная для современности, фаза; средний раздел посвящен механизмам перехода, в завершающем анализируется наш постсовременный, имперский мир.

Мы составили книгу подобным образом с целью подчеркнуть важность перехода от сферы идей к сфере производства. Промежуточный раздел, интермеццо, между 2-й и 3-й частями выполняет роль шарнира, который обеспечивает переход от одной точки зрения к другой. Мы стремились к тому, чтобы этот промежуточный раздел выполнял роль аналогичного переходного момента в *Капитале*, когда Маркс приглашает нас оставить бросающуюся в глаза сферу обмена и перейти в укрытую от взоров обитель производства. Царство производства является тем пространством, где явно обнаруживается социальное неравенство и, более того, где возникает реальное сопротивление и рождаются альтернативы могуществу Империи. Таким образом, в четвертой части мы попытаемся выявить альтернативы, которые на сегодняшний день прочерчивают путь движения по ту сторону Империи.

Эта книга была начата сразу после окончания войны в Персидском заливе и закончена в самый канун войны в Косове. Соответственно, читателю предстоит поместить наше изложение между двумя знаковыми событиями в истории создания Империи.

ЧАСТЬ 1

ПОЛИТИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО
НАСТОЯЩЕГО

1.1 МИРОВОЙ ПОРЯДОК

Капитализм побеждает только тогда, когда его начинают отождествлять с государством, когда он сам — государство.

Фернан Бродель

Они устраивают резню и называют ее миром.
Тацит

Проблематика Империи определяется, в первую очередь, одним простым фактом: это — мировой порядок. И порядок этот выражен в виде правовой структуры. Так что нашей первейшей задачей является постижение *устройства* формируемого сегодня порядка. Однако мы должны с самого начала исключить из рассмотрения два общепринятых представления об этом порядке, которые выражают крайние точки зрения и полностью противоречат друг другу: первое, представление о том, что нынешний порядок некоторым образом *спонтанно* возникает из взаимодействия совершенно разнородных глобальных сил, как если бы этот порядок являлся стройным оркестром, руководимым естественной и нейтральной невидимой рукой мирового рынка; и второе, — представление о том, что порядок навязывается рационально действующими единой властью и единым центром управления, которые *трансцендентны* мировым силам и направляют различные фазы исторического развития согласно своему сознательно разработанному и предусматривающему все детали плану, нечто вроде теории заговора глобализации¹.

ОБЪЕДИНЕННЫЕ НАЦИИ

Прежде чем исследовать устройство Империи в юридических терминах, мы должны проанализировать ряд аспектов процесса структурного становления, определившего наши основные правовые категории, и обратить особенно пристальное внимание на длительный переход от суверенного права национальных государств (и международного права, из него происходящего) к первым контурам постсовременного глобального имперского права. В первом приближении мы можем рассматривать его как генеалогию правовых форм, которые привели (а теперь уже и вышли за ее пределы) к наднациональной роли ООН и связанных с нею институтов.

Общепризнано, что идея международного порядка, — которую вновь и

вновь предлагала европейская современность, по крайней мере с подписания Вестфальского мира, — сейчас пребывает в кризисе². Да фактически она всегда была в кризисе, и этот кризис выступал одной из движущих сил, постоянно подталкивавших в направлении Империи. Возможно, эту идею международного порядка и ее кризис следует относить ко времени наполеоновских войн, как это и предлагают некоторые исследователи, или, возможно, ее происхождение следует вести от Венского Конгресса и создания Священного Союза³. Как бы то ни было, несомненно, что ко времени начала Первой мировой войны и рождения Лиги Наций идея международного порядка и вместе с тем ее кризис уже окончательно сложились. Создание в конце Второй мировой войны Организации Объединенных Наций всего лишь заново ввело, укрепило и расширило этот развивающийся международный правовой порядок, который сначала был европейским, но постепенно в полной мере приобрел глобальный характер. Действительно, ООН может считаться вершиной всего процесса становления международного порядка, вершиной, с одной стороны, открывающей ограниченность понятия *международного* порядка, с другой — выводящей за его пределы к новой идее *глобального* порядка. Конечно, можно рассматривать правовую структуру ООН исключительно в негативном отношении и сосредоточить внимание на снижении влияния национальных государств в международном контексте, но следует также признать, что определение идеи права было дано ООН. Устав ООН также указал на новый позитивный источник правового производства, действующий в глобальном масштабе, — новый центр нормативного производства, способный играть самостоятельную юридическую роль. ООН выступает как промежуточное звено в истории перехода от международных правовых структур к глобальным. С одной стороны, вся идея структуры ООН основывается на признании и легитимации суверенитета отдельных государств, и, таким образом, она полностью вписывается в старые рамки международного права, определяемого на основе пактов и соглашений. Однако, с другой стороны, этот процесс легитимации оказывается эффективен только в том случае, если он передает права суверена реальному *наднациональному* центру. Мы не намерены здесь критически высказываться или выражать недовольство существенными (и порою трагическими) несоответствиями данного процесса; в действительности ООН и ее проект международного порядка интересуют нас не сами по себе, но скорее как важная историческая ступень, которая подвела к переходу к собственно глобальной системе. Это те несоответствия в самом процессе, которые и сделали его действенным.

Чтобы более пристально взглянуть на этот переход в юридическом плане, полезно обратиться к работам Ханса Кельзена, который был одной из центральных интеллектуальных фигур, стоявших за образованием ООН. Еще в 1910–20-е гг. XX века он предложил, чтобы мировая правовая систе-

ма стала высшим нормативным источником для любой национальной системы права. Кельзен пришел к этому проекту, проанализировав внешнюю динамику различных типов государственного устройства. Он утверждал, что границы национальных государств создают непреодолимые препятствия на пути реализации идеи права. Для Кельзена частный порядок внутреннего права национальных государств с необходимостью обращает нас к универсализму и объективности международного порядка. Этот порядок оказывается не только логическим, но также и этическим, поскольку он мог бы положить конец конфликтам между государствами, обладающими неравным могуществом, и взамен утвердить равенство, которое является основой подлинного международного сообщества. Итак, помимо формального результата, описанного Кельзеном, в этом есть бесспорный и весьма существенный просвещенческий импульс модернизации. Кельзен искал, в кантовском стиле, идею права, которая могла бы стать «организующей для всего человечества и поэтому была бы одной из высочайших моральных идей»⁴. Он хотел преодолеть логику силы в международных отношениях таким образом, чтобы «отдельные государства могли юридически считаться сущностями одного порядка» и, следовательно, могло бы быть сформировано «всемирное универсальное государство», организованное как «универсальное сообщество, превосходящее отдельные государства и включающее всех их в свой состав»⁵.

Тогда это были только концептуальные наброски, за которые позже Кельзен удостоился чести присутствовать на конференции в Сан-Франциско, учредившей ООН, и увидеть свою теоретическую гипотезу претворенной в жизнь. Для него ООН было воплощением рациональной идеи⁶. Она облекала плотью идею духа; она создавала действительную основу трансцендентального проекта придания нормативной силы праву, стоящему над национальным государством. Действенность и эффективность правовой системы теперь могли бы соединиться в высшем нормотворческом органе, и это создало бы условия, позволяющие наконец реализовать идею Кельзена об основополагающих нормах.

Кельзен полагал, что формальная сторона и действенность системы не зависят от ее материального воплощения. Но в реальности такая структура должна как-то существовать и быть организованной материально. Как же в действительности может быть создана такая система? Как раз здесь идея Кельзена и перестает быть нам хоть чем-то полезной: она остается просто фантастической утопией. Переход, который мы намерены изучить, заключается именно в этом разрыве между формальным представлением, связывающим действенность правового процесса с наднациональной структурой, и материальным воплощением этой идеи. Деятельность ООН с момента ее образования и до окончания холодной войны являлась длинной историей замыслов, компромиссов и отдельных практических шагов,

направленных в большей или меньше мере на создание такого наднационального порядка. Противоречия этого процесса очевидны, и нет нужды их здесь детально описывать. Конечно, доминирование ООН в рамках общего наднационального проекта в период между 1945 и 1989 гг. имело ряд очень деструктивных теоретических и практических последствий. И все же это не могло воспрепятствовать конституированию наднациональной власти⁷. В неоднозначном опыте ООН правовое понятие Империи начало обретать форму.

Между тем, теоретические отклики на это становление наднациональной глобальной силы были совершенно неадекватными. Вместо попыток понять, что же было действительно новым в этих наднациональных процессах, подавляющее большинство теоретиков права попросту старалось воскресить анахроничные модели с тем, чтобы применить их к новым проблемам. Фактически эти модели, бывшие повивальными бабками еще при рождении идеи национального государства, просто вытащили из старых сундуков и применили для истолкования устройства наднациональной власти. Аналогии из опыта национального государства, таким образом, стали основным методологическим инструментом в анализе международных и наднациональных форм порядка⁸. Во время этого перехода особенно активизировались два направления мысли. Упрощая, мы могли бы их представить как возврат к идеям Гоббса и Локка, доминировавшим в былое время в той сфере европейской мысли, которая занималась концепциями суверенного государства.

Гоббсовская традиция в первую очередь обращает внимание на передачу прав суверенитета и рассматривает создание стоящего над обществом существа — носителя суверенитета как результат договора, основанного на объединении людей, живших ранее в догосударственном состоянии и отдающих себя под власть государства⁹. Новая трансцендентная власть, «*tertium super partes*», сосредоточенная в первую очередь в руках военных (тех, кто управляет жизнью и смертью, гоббсовского «Бога на Земле»), является, согласно этой школе, единственным инструментом, позволяющим создать такую международную систему, где решены проблемы безопасности, и, таким образом, преодолеть анархию, неизбежно порождаемую суверенными государствами¹⁰. Согласно традиции, идущей от Локка, напротив, тот же самый процесс представляется протекающим более децентрализованным образом, на путях плюрализма. Согласно этой концепции, только тогда, когда завершено становление наднационального центра, формируются сети локальных и эффективно действующих центров контр-власти, начинающих работать в поддержку и/или против новой системы власти. Здесь в большей мере, нежели на глобальную безопасность, делается упор на утверждение глобального конституционного порядка, это означает, что проект преодоления императивов государства требует создания

глобального гражданского общества. Эти призывы имеют целью пробудить те ценности глобализма, которые дали бы начало новому международному порядку или новой, выходящей за национальные границы демократии¹¹. Если традиция, восходящая к Гоббсу, подчеркивает договорной процесс, из которого вырастает новая, сосредоточенная в одних руках и трансцендентная, стоящая над обществом, власть, то традиция, связанная с теорией Локка, уделяет особое внимание противовесам, силам контрвласти, придающим динамику процессу становления системы и способствующим функционированию наднациональной власти. Однако в обоих случаях новая глобальная власть мыслится лишь по аналогии с классической идеей национально-государственного суверенитета. Эти две линии теоретической мысли скорее просто отстаивают наследие прежних форм государственного устройства: в случае Гоббса — монархической, а в случае Локка — либеральной, — нежели помогают понять новую природу имперской власти.

В то же время, учитывая условия формирования этих теорий (холодная война, когда ООН в лучшем случае еле-еле функционировала), мы должны признать их величайшую прозорливость, но вместе с тем отметить, что они не могут объяснить реальной новизны тех исторических процессов, свидетелями которых мы сегодня являемся¹². В этом отношении данные теории могут быть (и действительно становятся) опасными, поскольку они не видят ускоренного ритма, принудительности и неотвратимости, с какими действует новая имперская парадигма. Чего они действительно не понимают, так это того, что имперский суверенитет означает парадигмальный переход. Парадоксально (хотя на самом деле в этом нет парадокса), но только концепция Кельзена обозначает реальную проблему, хотя его идеи и ограничиваются сугубо формалистской позицией. Он задается вопросом, какая же политическая сила, адекватная глобализации экономики и социальных отношений, уже существует или может быть создана? Какой источник права, какие основополагающие нормы и какая власть могут обеспечить новый порядок и избежать нависшей угрозы глобального хаоса?

УСТРОЙСТВО ИМПЕРИИ

Многие современные теоретики весьма неохотно признают, что глобализация капиталистического производства и мирового рынка создает принципиально новую ситуацию и является значительным историческим сдвигом. Теоретики, стоящие на позициях миросистемного анализа, например, утверждают, что капитализм с самого начала функционировал как мировая экономика, и, следовательно, те, кто сегодня поднимает шумиху вокруг новизны глобализации, просто неверно понимают историю капитализма¹³. Безусловно, важно подчеркнуть как постоянную глубокую связь капитализма с мировым рынком (по крайней мере, в виде тенденции), так

и циклы экспансии процессов развития; однако оказывая должное внимание *ab origine* универсальным или универсализирующим измерениям капиталистического развития, мы не должны закрывать глаза на перелом или сдвиг в современном капиталистическом производстве и глобальных отношениях власти. Мы уверены, что благодаря этому сдвигу капиталистический проект соединения экономической и политической власти, или, иными словами, установления по-настоящему капиталистического порядка, становится сегодня вполне очевидным и реальным. Если говорить в конституционных терминах, то можно сказать, что процессы глобализации — это уже не просто факт, но также источник правовых определений, тяготеющих к воплощению единого наднационального образа политической власти.

Другие теоретики с большой неохотой признают крупный сдвиг в глобальных отношениях власти, поскольку видят, что ведущие капиталистические национальные государства продолжают осуществлять империалистическое господство над другими странами и регионами земного шара. С этой точки зрения современные тенденции к образованию Империи представляют собой не принципиально новое явление, а просто усовершенствование империализма¹⁴. Однако, не приуменьшая значения этих действительных и значимых линий преемственности, мы считаем необходимым отметить, что на смену былым конфликтам или конкуренции между несколькими империалистическими державами теперь в ряде важных моментов пришла идея единой власти, определяющей в конечном счете их политику, единообразно их структурирующей и применяющей к ним одно общее понятие права, несомненно являющееся постколониальным и постимпериалистическим. Это действительно отправная точка в нашем исследовании Империи: новое представление о праве, вернее новый способ наделения властью, а также производства норм и легитимных инструментов насилия, служащего гарантией выполнения договоров и средством разрешения конфликтов.

Здесь необходимо отметить, что мы уделяем особое внимание юридическим образам устройства Империи в начале нашего исследования не в силу какого-либо особого к ним интереса — как будто сами по себе закон или право как регулирующие факторы могли представить общественный мир в его тотальности — но, скорее, потому, что они служат хорошим индикатором процессов построения Империи. Новые правовые образы суть первые проявления тенденции к централизованному и единообразному регулированию как мирового рынка, так и глобальных отношений власти, несмотря на все сложности, связанные с этим проектом. Юридические преобразования весьма красноречиво указывают на изменения материальной структуры глобальной власти и порядка. Все еще незавершенный переход, свидетелями которого мы сегодня являемся, от традиционного меж-

дународного права, основанного на договорах и соглашениях, к определению и созданию новой суверенной наднациональной всемирной власти (и тем самым к имперскому пониманию права) дает нам ориентир, при помощи которого мы сможем интерпретировать тотализующие социальные процессы Империи. Фактически, юридическое преобразование выступает признаком изменений материального биополитического устройства наших обществ. Эти изменения касаются не только международного права и международных отношений, но и отношений власти внутри каждой страны. Изучая и критикуя новые формы международного и наднационального права, мы проникнем в самое сердце политической теории Империи, где проблемы наднационального суверенитета, источника его легитимности и его осуществления вовлекают в поле зрения политические, культурные и, наконец, онтологические проблемы.

Обращаясь к юридическому понятию Империи, мы должны сначала проследить его историю, что послужит первым, предварительным, шагом нашего исследования. Идею Империи доносит до нас давняя, прежде всего европейская традиция, восходящая по меньшей мере ко временам Древнего Рима, благодаря чему политико-правовой образ Империи тесно переплелся с христианскими корнями европейской цивилизации. Здесь понятие Империи соединило правовые категории с универсальными этическими ценностями, определив их существование в качестве органического целого. Этот союз постоянно присутствовал в понятии Империи, несмотря на все превратности ее истории. Всякая правовая система представляет собой своего рода кристаллизацию определенной совокупности ценностей, поскольку мораль является составной частью субстанции, лежащей в основе любой системы права, но особенность Империи — ив частности римской традиции имперского права — состоит в том, что она доводит совпадение и универсальный характер этического и юридического принципа до предела: Империя — это мир и гарантии справедливости для всех народов. Идея Империи предстает в образе глобального оркестра под управлением одного дирижера как единая власть, которая сохраняет социальный мир и производит этические истины. Для достижения данных целей единственная и единая власть наделена соответствующей силой, чтобы вести, когда это необходимо, «справедливые войны»: на границах — против варваров, и внутри — против бунтовщиков¹⁵.

Поэтому с самого начала Империя приводит в движение этико-политическую динамику, лежащую в самом сердце ее юридического понятия. Это юридическое понятие объединяет две основополагающие тенденции: во-первых, представление о праве как о том, что утверждается вместе с созданием нового мирового порядка, охватывающего все безграничное, универсальное пространство, называемое им цивилизацией; во-вторых, представление о праве, включающее время как целое в пределы своего этического

обоснования. Империя выхолащивает время, лишает историю ее временного измерения и помещает прошлое и будущее в рамки собственного этического порядка. Иными словами, Империя представляет свой порядок как постоянный, извечный и необходимый.

Оба эти представления о праве идут рука об руку в романо-германской традиции, достигшей расцвета в период Средневековья¹⁶. Однако с началом Возрождения, когда восторжествовал секуляризм, эти представления о праве разделяются и каждое из них продолжает развиваться самостоятельно. С одной стороны, в европейской политической мысли современности возникает представление о международном праве, с другой, получают распространение утопии «вечного мира». В первом случае порядок, обещанный Римской империей, искали, спустя многие века после ее падения, в механизме соглашений, который мог бы обеспечить международный порядок для суверенных государств, действуя так же, как договорные механизмы, гарантировавшие порядок внутри национального государства и его гражданского общества. Мыслители от Гроция до Пуффендорфа рассматривали этот процесс в формальных терминах. Во втором случае идея «вечного мира» вновь и вновь возникает в Европе в эпоху современности у различных авторов от Бернадина де Сен Пьера до Иммануила Канта. Эту идею представляли как идеал разума, «свет», одновременно критикующий и объединяющий этику и право, трансцендентальный по отношению к правовой системе, как идеальную структуру разума и морали. Принципиальные расхождения этих двух представлений проходят сквозь всю европейскую современность, включая и две великие идеологии, определявшие ее зрелую фазу: идеологию либерализма, полагающуюся на мирное согласие правовых сил, заменяемых рынком, и социалистическую идеологию, которая концентрируется на интернациональном единстве, достигаемом организованной борьбой и отрицанием права.

Было бы ли в таком случае верным утверждать, что две эти различные идеи права, сосуществовавшие на протяжении нескольких веков истории современности, стремятся сегодня соединиться и предстать в виде единой категории? Мы полагаем, что именно это и происходит и что постсовременное представление о праве следует вновь рассматривать через призму понятия Империи. И вообще, коль скоро значительная часть нашего исследования будет вращаться вокруг этого вопроса, ввергая нас в сомнения и ставя порой в тупик, не стоит торопиться делать какие-либо определенные выводы, даже если мы ограничиваемся здесь анализом одной лишь идеи права. Однако мы уже можем распознать некоторые важные признаки возрождения понятия Империи — признаки, возникающие на исторической почве и неизбежно выступающие вызовами, которые теория проигнорировать не может.

Так, одним из этих признаков является возрождение интереса к поня-

тию *bellum justum*, или «справедливой войны». Эта идея, органически связанная с порядками древних империй, имеющая насыщенную и сложную генеалогию, восходящую к библейской традиции, в последнее время возрождается как ведущая тема политических дебатов, в частности по вопросу о войне в Персидском заливе¹⁷. Традиционно эта идея основывалась прежде всего на том, что, когда государство сталкивается с опасностью агрессии, угрожающей его территориальной целостности или политической независимости, у него появляется *jus ad bellum* (право на войну)¹⁸. Действительно, есть нечто пугающее в возрождении этого интереса к понятию *bellum justum*, которое современность или, скорее, присущий ей секуляризм столь тщательно пытались вычеркнуть из средневековой традиции периода современности. Традиционное представление о справедливой войне утверждает ее обыденность и одновременно превозносит в качестве инструмента этики. Однако политическая мысль современности и международное сообщество национальных государств решительно отвергали и то и другое. Обе эти традиционные характеристики вновь возникают в нашем постсовременном мире: с одной стороны, война низводится до статуса простой полицейской акции, с другой стороны, происходит сакрализация новой власти, которая может посредством войны легитимно исполнять этически обоснованные функции.

Будучи весьма далеким от простого повторения античных или средневековых представлений, сегодняшнее понятие справедливой войны отмечено несколькими поистине принципиальными новшествами. Справедливая война перестает быть практикой защиты или сопротивления, каковой она представляла в христианской традиции от Августина Блаженного до схоластов Контрреформации, необходимостью «града земного» обеспечить свое собственное выживание. Она становится деятельностью, которая оправдана сама по себе. В этом понятии справедливой войны совмещены два различных момента: первый — легитимность военного аппарата в силу моральной обоснованности его акций, и второй — эффективность военных действий как средства достижения желаемого порядка и мира. Синтез двух этих моментов может, по сути, быть ключевым фактором, определяющим основания и новую традицию Империи и обосновывающим ее право на существование. Сегодня враг, как и сама война, одновременно банализируется (низводится до уровня объекта обычных полицейских репрессивных мер) и абсолютизируется (как Враг, абсолютная угроза моральному порядку). Пожалуй, война в Персидском заливе продемонстрировала нам первый столь явно выраженный пример новой эпистемологии этого понятия¹⁹. Это воскрешение понятия о справедливой войне может быть всего лишь признаком возникновения Империи, но зато каким убедительным и мощным!

МОДЕЛЬ ИМПЕРСКОЙ ВЛАСТИ

Следует избегать определения перехода к Империи в одних лишь негативных терминах, то есть в терминах того, чем она не является, что, к примеру происходит, когда говорят: новая парадигма характеризуется окончательным упадком суверенных национальных государств, дерегулированием международных рынков, концом антагонистического противоборства между государствами и так далее. Если бы новая парадигма состояла только в этом, то, несомненно, ее следствием была бы настоящая анархия. Однако власть — и не один только Мишель Фуко нас этому учил — боится вакуума, и презирает его. Действие новой парадигмы уже может быть выражено вполне позитивно — по-другому и быть не может.

Новая парадигма является одновременно системой и иерархией, централизованным конструированием норм и масштабным производством легитимности, разветвляющимся в мировом пространстве. В ее очертаниях *ab initio* отчетливо выражена динамичная и гибкая системная структура, сочлененная горизонтально. Прибегая к некоторому интеллектуальному упрощению, мы представляем эту структуру как соединение теории систем Никласа Лумана и теории справедливости Джона Ролза²⁰. Некоторые называют данную ситуацию «правлением без правительства», чтобы указать на ее структурную логику, порою незаметную, но неизменно все более эффективную, распространяющуюся на всех участников в рамках всеобщего порядка²¹. В глобальном порядке доминирующую позицию занимает системная тотальность, решительно порывающая со всякой предшествующей диалектикой и устанавливающая интеграцию акторов, которая кажется линейной и спонтанной. Однако в то же самое время эффективность консенсуса под эгидой верховной власти в рамках устанавливающегося порядка оказывается более чем когда-либо очевидной. Все конфликты, все кризисы и разногласия успешно способствуют процессу интеграции, вызывая ко все большей централизации власти. Мир, спокойствие и прекращение конфликтов являются как раз теми ценностями, на достижение которых все и направленно. Развитие глобальной системы (в первую очередь, имперского права) кажется развитием машины, устанавливающей процедуры непрерывной выработки и реализации договоренностей, ведущих к достижению системного равновесия — машины, создающей постоянный запрос на власть. Эта машина предопределяет условия осуществления власти и действия во всем социальном пространстве. Любое движение фиксировано и может найти предназначенное ему место только внутри самой системы, в соответствующих ей иерархических отношениях! Это предзаданное движение определяет реальность процесса становления устройства имперского мирового порядка — новой парадигмы.

Данная имперская парадигма качественно отличается от прочих попы-

ток определить проект международного порядка в переходный период²². Если предыдущие концепции переходного характера фокусировали внимание на динамике легитимации, ведущей к новому порядку, в новой парадигме ситуация предстает так, как если бы этот порядок был уже создан. Концептуальная неотделимость права на власть от ее осуществления с самого начала утверждается как априори системы. Неполное совпадение, или, лучше сказать, постоянные временные и пространственные разрывы между новой центральной властью и полем ее приложения, не ведут к кризису или параличу, но попросту вынуждают систему минимализировать и преодолевать их. Короче говоря, смена парадигмы определяется, по крайней мере исходно, признанием того, что только прочно установленная власть, движимая собственной логикой и относительно автономная по отношению к суверенным национальным государствам, способна функционировать в качестве центра нового мирового порядка, эффективно его регулируя, а при необходимости прибегая к принуждению.

Из этого следует, как того и хотел Кельзен — впрочем, это лишь парадоксальное следствие его утопии, — что над формированием нового правового порядка также господствует некий вид юридического позитивизма²³. Способность формировать систему фактически предполагается самим процессом ее формирования. Более того, этот процесс формирования и действующие в нем субъекты уже заранее втягиваются в определяемое в позитивных терминах вихревое движение, в водоворот, сопротивляться которому невозможно не только из-за способности центра к применению силы, но и по причине присущей ему формальной власти структурировать и систематизировать тотальность. И снова мы видим перед собой смешение идей Лумана и Ролза, но еще раньше перед нами встают идеи Кельзена — этого утописта, непреднамеренного и потому непоследовательного первооткрывателя души имперского права!

Снова древние представления об Империи помогают нам лучше выразить природу этого формирующегося мирового порядка. Как учат нас Фукидид, Ливии и Тацит (вместе с Макиавелли, комментирующим их труды), Империя создается не только на основе одной лишь силы, но и на основе способности представить эту силу залогом права и мира. Имперские армии всегда вторгались по настоятельным просьбам одной или нескольких сторон, уже вовлеченных в существующий конфликт. Империя рождается не по собственной воле. Скорее, ее вызывает к жизни и конституирует присущая ей способность разрешать конфликты. Создание Империи и ее акции вмешательства становятся юридически легитимными только тогда, когда Империя включена в цепь международных соглашений, цель которых — разрешение уже существующих конфликтов. Вернемся к Макиавелли: расширение Империи определяется внутренней логикой конфликтов, которые она призвана разрешить²⁴. Таким образом, первой-

шей задачей Империи становится расширение сферы консенсуса, поддерживающего ее власть.

Античная модель дает нам представление об Империи лишь в первом приближении, тогда как мы должны выйти далеко за ее пределы, чтобы обозначить рамки ныне действующей глобальной модели власти. Юридический позитивизм и естественное право, теории договора и институционального реализма, формализма и систематизма — каждая из этих концепций может описать некоторые аспекты данной модели. Юридический позитивизм может подчеркнуть необходимость наличия сильной власти как центра нормативного процесса; теории естественного права могут осветить ценность мира и спокойствия, обеспечиваемых имперской практикой; теории договора способны вывести на передний план процесс формирования консенсуса; реализм может пролить свет на формирование институтов, соответствующих новым измерениям консенсуса и власти; а формализм может дать логическое подтверждение того, что систематизм доказывает и функционально организует, делая упор на тотальном характере происходящих процессов. И все же какая правовая модель охватывает все эти характеристики нового наднационального порядка?

В первой попытке дать ей определение следовало бы в полной мере осознать, что динамика и выражение нового наднационального правового порядка строго соответствуют новым характеристикам, определяющим внутренние порядки государств в период перехода от современности к постсовременности²⁵. Это соответствие следует понимать (пожалуй, в стиле Кельзена и, конечно же, в реалистическом ключе) не столько как взятую из внутригосударственной сферы аналогию для международной системы, сколько как взятую из наднациональной сферы аналогию для правовой системы государства. Основные характеристики обеих систем предполагают монополию на применение таких юридических практик, как судопроизводство и предупреждение правонарушений. Отсюда вытекают формирующиеся в процедурных рамках нормы, санкции и репрессии. Причина относительного, но реально существующего совпадения новой практики функционирования внутригосударственного и наднационального права состоит прежде всего в том, что обе правовые системы действуют в одних и тех же условиях — в условиях кризиса. Однако, как учил нас Карл Шмитт, кризис в сфере правоприменения должен заставить нас обратить внимание на режим «чрезвычайного положения», начинающий действовать в момент его объявления²⁶. Как внутреннее, так и наднациональное законодательство определяется своим чрезвычайным характером.

Функция чрезвычайного положения здесь очень важна. Чтобы контролировать подобную исключительно неустойчивую ситуацию, необходимо предоставить вмешивающейся инстанции власти: во-первых, возможность определять — всякий раз исключительно (чрезвычайным) образом — не-

обходимость вмешательства; и, во-вторых, возможность приводить в движение силы и инструменты, применяемые различным способом ко множеству разнообразных кризисных ситуаций. Таким образом, здесь, ради чрезвычайного характера вмешательства, рождается форма права, в действительности являющаяся *правом полиции*. Формирование нового права вписывается в использование превентивных мер, репрессивных действий и силы убеждения, направленных на восстановление социального равновесия: все это характерно для деятельности полиции. Соответственно, мы можем увидеть изначальный неявный источник имперского права в действиях полиции и в ее способности к установлению и поддержанию порядка. Легитимность имперского порядка служит обоснованием использования полицейской власти, и в то же самое время действия глобальных полицейских сил демонстрируют реальную эффективность имперского порядка. Поэтому юридическое право на применение чрезвычайного положения и возможность использования полицейских сил являются двумя изначальными координатами, определяющими имперскую модель власти.

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ

Здесь мы вполне можем задаться вопросом о том, стоит ли, исходя из данного контекста, продолжать пользоваться юридическим термином «право»? Да и как можно называть правом (и тем более имперским правом) ряд техник, которые, будучи основанными на постоянном чрезвычайном положении и полицейской власти, сводят закон и право исключительно к вопросу эффективности? Чтобы приняться за рассмотрение этих вопросов, сначала следовало бы более пристально взглянуть на процесс конституирования Империи, свидетелями которого мы сегодня являемся. С самого начала надо отметить, что его реальность доказывается не только порождаемыми им изменениями международного права, но и теми переменами, которые он вызывает в применении административного права в рамках отдельных обществ и национальных государств, то есть на самом деле, в административном праве космополитического общества²⁷. Благодаря нынешним изменениям, происходящим в наднациональном законодательстве, процесс формирования и утверждения Империи прямо или косвенно воздействует на внутреннее законодательство национальных государств, перестраивая его, и, таким образом, наднациональное право в конечном счете в очень значительной мере определяет право внутреннее.

Возможно, наиболее явным признаком этого преобразования является развитие так называемого права *на вмешательство*^{28*}. Обычно оно рассматривается как право или обязанность господствующих субъектов мирового порядка вторгаться на территории прочих субъектов с целью предупредить возникновение гуманитарных проблем или добиться их ре-

шения, обеспечить выполнение соглашений и установление мира. Право на вмешательство играло заметную роль среди того множества инструментов, которые были предоставлены ООН в соответствии с ее Уставом, для поддержания международного порядка, однако современное преобразование переводит это право в новое качество. Теперь ни отдельные суверенные государства, ни наднациональная власть (ООН) больше не вмешиваются, как при прежнем международном порядке, только для того, чтобы гарантировать или в принудительном порядке обеспечить выполнение добровольно достигнутых международных соглашений. Теперь наднациональные субъекты, легитимность которых основана не на праве, а на консенсусе, вмешиваются во имя высших моральных принципов под предлогом возникновения чрезвычайных обстоятельств. То, что стоит за этим вмешательством, является не просто постоянным чрезвычайным положением, но постоянным чрезвычайным положением, оправдываемым *обращением к неотъемлемым ценностям справедливости*. Иными словами, полицейское право легитимируется универсальными ценностями²⁹.

Должны ли мы предположить, что, поскольку это новое право на вмешательство осуществляется главным образом для решения насущных гуманитарных проблем, его легитимность основывается на универсальных ценностях? Нужно ли воспринимать это движение как процесс, который, основываясь на элементах неустойчивости исторического порядка, приводит в действие машину регулирования, движимую универсальными силами справедливости и мира. Не оказываемся ли мы таким образом в ситуации, очень близкой к традиционному определению Империи, столь широко принятому воображением древнего римско-христианского мира?

Было бы преждевременным давать утвердительный ответ на данные вопросы на ранней стадии нашего исследования. Определение формирующейся имперской власти как науки управления порядком, основанной на практике справедливой войны в целях разрешения непрестанно возникающих чрезвычайных ситуаций, вероятно, является верным, но пока еще совершенно недостаточным. Как мы видели, на феноменологическом уровне тенденции нового глобального порядка проявляются в ситуации крайней неустойчивости, которая также может быть вполне точно охарактеризована в терминах кризиса и войны. Как же мы можем примирить легитимацию этого порядка посредством превентивных и полицейских мер с тем фактом, что кризис и война уже сами по себе обнаруживают весьма сомнительное происхождение и легитимность этого понятия о справедливости? Как мы уже отмечали, эти и другие им подобные техники означают, что то, свидетелями чего мы являемся, есть процесс материального воплощения нового планетарного порядка, консолидации его административной машины и производства новых иерархий власти, управляющих глобальным пространством. Кто определяет, что является справедливостью и по-

рядком для этой тотальности в процессе ее утверждения? Кто сможет дать определение понятию мира? Кто в состоянии сделать так, чтобы история закончилась для всех, и сказать, что это справедливо? Все эти вопросы оставляют проблематику Империи полностью открытой.

Таким образом, здесь проблема нового правового аппарата предстает перед нами в своем самом непосредственном облике: глобальный порядок, справедливость и право все еще остаются виртуальными, но тем не менее затрагивают нас вполне реально. Мы все больше вынуждены ощущать себя участниками этого процесса и чувствуем, что призваны нести ответственность за его результаты. Наше гражданство, так же как и наша моральная ответственность, перешли в эти новые измерения — мера нашей силы и нашего бессилия находится здесь. Мы могли бы сказать в кантианской манере, что наша внутренняя моральная позиция, когда она сталкивается с социальным порядком и проверяется им, стремится к тому, чтобы ее определяли этические, политические и правовые категории Империи. Иначе можно сказать, что моральная позиция каждого человека и гражданина теперь соизмерима только с рамками Империи. Эти новые рамки против нашей воли ставят нас лицом к лицу с рядом взрывоопасных парадоксов, поскольку в формирующемся новом институционально-правовом мире наши идеи и практики справедливости, наши средства надежды оказываются под вопросом. Средства и способы частного и личного восприятия ценностей разрушаются: с появлением Империи мы сталкиваемся уже не с локальными посредниками всеобщего, но с конкретной всеобщностью как таковой. Эта одомашненность ценностей, те защитные покровы, за которыми ценности являли свою моральную сущность, те преграды, которые защищали их от посягательств внешнего, — все это исчезает. Все мы вплотную подходим к вопросам, касающимся основы основ, и оказываемся перед лицом радикальных альтернатив. В Империи этика, справедливость и мораль внезапно оказались в новом измерении.

В ходе нашего исследования мы столкнулись с классической проблемой политической философии: закатом и падением Империи³⁰. Может показаться парадоксальным, что мы обращаемся к этой обязательной теме в самом начале, когда рассматриваем только контуры здания Империи; однако становление Империи по сути происходит на основе тех же условий, которые характеризуют ее упадок и разложение. Сегодня Империя возникает как центр, поддерживающий глобализацию сетей производства, она далеко забрасывает свой широкий невод, стремясь подчинить себе все властные отношения внутри имперского мирового порядка, развертывая в то же самое время мощные полицейские силы, направленные против новых варваров и восставших рабов, угрожающих ее порядку. Власть Империи кажется подчиненной неустойчивой динамике власти на местах и часто меняющимся, половинчатым юридическим решениям, посред-

ством которых Империя пытается именем «чрезвычайных» административных мер вернуться к нормальному состоянию, никогда не достигая при этом окончательного успеха. Однако именно эти черты были свойственны Древнему Риму в период упадка, что так раздражало его поклонников эпохи Просвещения. Не стоит ожидать, что нам удастся досконально разобраться в сложности процессов, создающих новые имперские правовые отношения. Напротив, эти процессы являются противоречивыми и такими останутся. Вопрос о справедливости и мире в действительности решен не будет: мощь нового имперского устройства никогда не найдет своего воплощения в консенсусе, который будет принят массами. В юридическом аспекте процесс формирования Империи совершенно неопределен, даже если при этом он весьма конкретен. Империя рождается и существует как кризис. Должны ли мы, вслед за Гиббоном и Монтескье, понимать это в терминах упадка Империи? Или более правильным будет классическое понимание Империи в терминах разложения?

Во-первых, мы должны понимать здесь разложение не только преимущественно в моральном, но также в правовом и политическом смысле, поскольку, согласно Монтескье и Гиббону, если в республике не утвердился прочно смешанная форма правления, она неизбежно вступает в цикл разложения, и сообщество распадается³¹. Во-вторых, следует понимать разложение и в метафизическом плане: там, где сущность и существование, действительность и ценность не находят своего удовлетворения — там имеет место не порождение и развитие, а разложение и упадок³². Это некоторые из важнейших основ Империи, которые мы еще подробно рассмотрим.

Позволим себе в завершение одну аналогию, возвращающую нас ко временам зарождения христианства в Европе и его распространения в эпоху заката Римской империи. В ходе этого процесса был создан и собран огромный потенциал субъективности как пророчество о грядущем мире, хилиастический проект. Эта новая субъективность выступила как абсолютная противоположность духу имперского права — как новый онтологический базис. С точки зрения имперского права Империя представлялась «полнотой времен» и единством всего, что считалось цивилизацией, однако тотальности Империи был брошен вызов с абсолютно иных этическое-онтологических оснований. Точно так же и сегодня, принимая, что границы и нерешаемые проблемы нового имперского права уже определены, теория и практика могут выйти за их пределы, вновь найдя онтологическую основу непримиримого противостояния — внутри Империи, но против нее и за ее пределами, на заданном ею же уровне всеобщности.

1.2 БИОПОЛИТИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО

«Полиция» появляется как одно из административных подразделений государства наряду с правосудием, армией и финансами. Однако на самом деле она охватывает все виды управления и, по словам Тюрке, «распространяет свою активность на все ситуации, на все то, что люди делают или предпринимают. Ее сфера охватывает и правосудие, и финансы, и армию»... Полиция объедает все...

Мишель Фуко

С юридической точки зрения мы смогли лишь бегло ухватить некоторые элементы идеального генезиса Империи, но с одной лишь этой точки зрения будет весьма сложно, если вообще возможно, понять, как на самом деле имперская машина приводится в движение. Юридические понятия и правовые системы отсылают всегда к чему-то иному, лежащему за их пределами. Через эволюцию права и действие его норм они непосредственно указывают на то материальное условие, которое определяет их опору в социальной реальности. Теперь наше исследование должно спуститься на материальный уровень и исследовать материальную трансформацию парадигмы власти. Необходимо проанализировать средства и силы производства социальной реальности вместе с движущими ее субъективностями.

БИОВЛАСТЬ В ОБЩЕСТВЕ КОНТРОЛЯ

Работы Мишеля Фуко во многих отношениях подготовили почву для подобного исследования материального функционирования имперской власти. Во-первых, работы Фуко позволяют нам увидеть историческую, эпохальную смену общественных форм: переход от *дисциплинарного общества* к *обществу контроля*¹. Дисциплинарное общество — это общество, в котором социальное управление осуществляется посредством разветвленной сети *диспозитивов* или аппаратов, производящих и регулирующих обычаи, привычки и производственные практики. Функционирование такого общества и обеспечение подчинения его правилам и механизмам включения и/или исключения достигается при помощи дисциплинарных институтов (тюрем, фабрик, психиатрических лечебниц, больниц, университетов, школ и т. д.), которые структурируют социальную территорию и задают логику, адекватную «смыслу» дисципли-

ны. В действительности дисциплинарная власть управляет посредством структурирования параметров и границ мышления и практики, санкционируя или предписывая нормальное и/или девиантное поведение. Фуко обычно обращается к старому режиму и классической эпохе французской цивилизации, чтобы прояснить историю возникновения дисциплинарного общества, однако в более общем плане мы можем сказать, что вся первая фаза капиталистического накопления (как в Европе, так и за ее пределами) проходила в рамках данной парадигмы власти. Напротив, мы должны понять общество контроля как общество, которое формируется на заре современности и развивается, двигаясь к периоду постсовременности, общество, где механизмы принуждения становятся еще более «демократическими», еще более имманентными социальному полю, распространяясь на умы и тела граждан. Таким образом, практики социальной интеграции и исключения, свойственные системе управления, все более и более становятся внутренней сущностью самих субъектов. Теперь власть осуществляется посредством машин, которые напрямую целенаправленно воздействуют на умы (посредством коммуникационных систем, информационных сетей и так далее) и тела (через системы соцобеспечения, мониторинг деятельности и тому подобное), формируя состояние автономного отчуждения от смысла жизни и творческих устремлений. Таким образом, общество контроля характеризуется интенсификацией и генерализацией аппаратов дисциплинарной нормализации, которые служат внутренней движущей силой наших повседневных практик, но, в отличие от дисциплины, этот контроль распространяется далеко за пределы структурного пространства социальных институтов, действуя посредством гибких и подвижных сетей.

Во-вторых, работы Фуко позволяют нам распознать *биополитическую* природу новой парадигмы власти². Биовласть является такой формой власти, которая регулирует общественную жизнь изнутри, следуя ей, интерпретируя, поглощая и заново артикулируя ее. Власть может достичь действительного контроля над всей жизнью общества только тогда, когда она становится неотъемлемой, жизненной функцией, которую каждый индивид принимает и выполняет по собственному согласию. Как говорил Фуко, «сейчас жизнь стала <...> объектом власти»*. Наивысшая функция этой власти — охватить все сферы жизни, а ее важнейшая задача — управление жизнью. Таким образом, биовласть обращается к ситуации, в которой ставка делается непосредственно на производство и воспроизводство самой жизни.

Две эти линии работ Фуко дополняют друг друга в том смысле, что только общество контроля способно принять биополитический контекст как свою *исключительную* область референции. При переходе от дисциплинарного общества к обществу контроля реализуется новая парадигма власти,

определяемая технологиями, рассматривающими общество как сферу био-власти. В дисциплинарном обществе биополитические технологии имели лишь частичную сферу действия в том смысле, что насаждение дисциплины развивалось по относительно ограниченной, геометрической и количественной логике. Дисциплинарность закрепила индивидов внутри институций, но не преуспела в деле их полного поглощения ритмом производственных практик и производственной социализации; она не достигла полного проникновения в сознание и тела индивидов, организации и охвата их жизни во всей ее целостности. Таким образом, в дисциплинарном обществе отношения между властью и индивидом остаются статичными: мера дисциплинарного вмешательства власти соответствует мере сопротивления индивида. Напротив, когда власть становится полностью биополитической, социальное тело целиком поглощается машиной власти и развивается в ее виртуальности. Это отношение является открытым, качественным и аффективным. Общество, поглощенное властью, добравшейся до центров социальной структуры и процессов ее развития, реагирует как единое тело. Таким образом, власть выражает себя как контроль, полностью охватывающий тела и сознание людей и одновременно распространяющийся на всю совокупность социальных отношений⁴.

При переходе от дисциплинарного общества к обществу контроля можно говорить о том, что становящееся все более интенсивным отношение взаимного обусловливания всех общественных сил, к реализации которого капитализм стремился на всем протяжении своего развития, теперь полностью воплощено в жизнь. Маркс уже распознал нечто подобное в том, что он называл переходом от формального подчинения труда капиталу к реальному⁵; позднее философы Франкфуртской школы исследовали тесно связанный с предыдущим и нынешним переход от формального к реальному подчинению культуры (и общественных отношений) тоталитарному образу государства, а по сути, извращенной диалектике Просвещения⁶. Однако переход, к которому обращаемся мы, кардинально отличается тем, что вместо выделения одномерности процесса, описанного Марксом и затем заново и более широко отраженного Франкфуртской школой, Фуко рассматривает его как по своей сути парадокс множественности и разнообразия — а Делез и Гваттари разрабатывают эту идею еще более четко⁷. Исследование реального подчинения, когда оно понимается как охватывающее не только лишь культурное или экономическое измерение общества, но и саму жизнь общества, его «биос», исследование, проявляющее особое внимание к модальностям дисциплинарности и/или контроля, разрушает линейный и тоталитарный образ капиталистического развития. Гражданское общество поглощается государством, но следствием этого становится взрыв тех элементов, которые прежде координировались и опосредовались гражданским обществом. Сопrotивление более не

маргинализировано, а перемещено в центр общества, превращающегося в сети; индивидуальные точки сингуляризируются в тысяче поверхностей. Следовательно, то, что Фуко подразумевал (а Делез и Гваттари сделали явным), — это парадокс власти, состоящий в том, что в тот самый момент, когда она объединяет и сочетает в себе все элементы общественной жизни (тем самым теряя способность быть эффективным посредником между различными социальными силами), она обнаруживает новый контекст, новую среду максимальной множественности и безграничной сингуляризации — среду события⁸.

Эти две концепции — общества контроля и биовласти — выявляют основные стороны идеи Империи. Понятие Империи является тем каркасом, в рамках которого необходимо осознать новый, всеобъемлющий, глобальный, внутренне неоднородный характер субъектов¹, и той целью, к которой ведет новая парадигма власти. Здесь разверзается настоящая пропасть между прежними теоретическими представлениями о международном праве (как системе договоров и/или конвенций ООН) и новой реальностью права имперского. Все промежуточные элементы этого процесса на самом деле отпали, и, таким образом, легитимность международного порядка не может больше создаваться путем опосредования, но должна быть постигнута напрямую во всем своем многообразии. Мы уже признали этот факт с юридической точки зрения. Действительно, ясно, что, когда новое понятие о праве появляется в контексте глобализации и представляет себя способным иметь дело с универсальной, планетарной сферой как с единой системой, оно должно принять необходимое предварительное условие (действие в условиях чрезвычайного положения) и адекватную, гибкую и конститутивную технологию (полицейские методы).

Несмотря на то, что чрезвычайное положение и полицейские методы составляют прочное ядро и центральный элемент нового имперского права, этот новый строй не имеет ничего общего с правовыми ухищрениями диктатуры или тоталитаризма, которые в свое время с таким пафосом были подробно описаны многими (на самом деле, слишком многими!) авторами¹. Напротив, власть права продолжает играть главную роль в условиях нынешнего перехода: право продолжает действовать (именно средствами чрезвычайного положения и полицейскими методами) и становится процедурным. Это радикальная трансформация, которая обнаруживает ничем не опосредованные отношения между властью и субъективностью и, следовательно, демонстрирует как невозможность существования «промежуточных» посредников, так и неограниченную во времени изменчивость события¹⁰. Охват безграничных глобальных пространств, проникновение к глубинам биополитического мира, противодействие непредсказуемой темпоральности — вот сущностные признаки, определяющие новое наднациональное право. Вот где идея Империи должна бороться за свое

утверждение, вот где она должна подтвердить свою эффективность и, следовательно, должна быть запущена машина Империи.

С этой точки зрения биополитический контекст новой парадигмы власти выходит в нашем исследовании на первый план. Это то, что отдает на откуп власти не только выбор между покорностью и неповиновением, или формальным политическим участием и отказом от него, но также предоставляет на ее усмотрение выбор между жизнью и смертью во всех их проявлениях, между богатством и бедностью, производством и общественным воспроизводством и так далее. Учитывая серьезные затруднения, с которыми сталкивается новое представление о праве, пытающееся репрезентировать данное измерение власти Империи, а также принимая во внимание неспособность этого представления отразить биовласть во всех ее конкретных материальных аспектах, можно утверждать, что в лучшем случае имперское право способно лишь частично представить замысел, лежащий в основе нового устройства мирового порядка, и на самом деле не может постичь ту силу, что приводит его в движение. Наш анализ в значительной мере должен сконцентрироваться на *производительном* изменении биовласти¹¹.

ПРОИЗВОДСТВО жизни

Однако вопрос о производстве в отношении биовласти и общества контроля обнаруживает серьезные недостатки в работах авторов, у которых мы эти понятия заимствовали. В данном случае нам следует прояснить «витальные», или биополитические, аспекты работ Фуко с точки зрения динамики производства. В некоторых работах середины 1970-х гг. Фуко утверждает, что невозможно понять переход от «суверенного» государства «старого режима» к «дисциплинарному» государству современности, не принимая в расчет то, как биополитический контекст был постепенно поставлен на службу капиталистическому накоплению: «Контроль общества над индивидами осуществляется не только при помощи сознания или идеологии, но и над телом и с помощью тела. Для капиталистического общества биополитика является тем, что наиболее значимо: биологическим, материальным, телесным»¹².

Одной из основных задач его исследовательской стратегии в этот период был выход за рамки различных версий исторического материализма, включая некоторые варианты марксистской теории, которые рассматривали проблему власти и общественного воспроизводства на надстроечном уровне, отделенном от реального, базисного уровня производства. Таким образом, Фуко попытался вернуть проблему социального воспроизводства и все элементы так называемой надстройки назад, в материальную, основополагающую структуру и попробовал дать определение этой

области не только в терминах экономики, но также и в терминах культуры, телесности и субъективности. Таким образом, мы можем понять, как его концепция социального целого получила завершенность и была реализована, когда на следующем этапе своей работы он раскрыл вырисовывающиеся очертания общества контроля, где власть охватывает всю биополитическую сферу, то есть общество в его целостности. Тем не менее непохоже, что Фуко в своих размышлениях — даже тогда, когда он в полной мере предвидел биополитический характер грядущей власти и определял ее как поле имманенции, — когда-либо удалось выйти за пределы структуралистской эпистемологии, которая с самого начала направляла его исследования. Под структуралистской эпистемологией мы здесь подразумеваем использование функционального анализа в сфере гуманитарных наук, метод, который фактически приносит в жертву динамику системы, креативную темпоральность ее движения и онтологическую основу культурного и социального воспроизводства¹³. По сути, если бы в этом пункте рассуждений Фуко мы спросили его, кто или что движет системой, или же кто является «*биосом*», он бы ответил нечто невразумительное либо не ответил вовсе. В конце концов, Фуко не сумел уловить реальную динамику производства в биополитическом обществе¹⁴.

Делез и Гваттари, напротив, предлагают нам собственно постструктуралистское понимание биовласти, которое возобновляет традицию материалистической мысли и прочно основывается именно на вопросе о производстве общественного бытия. Их работа демистифицирует структурализм и все философские, социологические и политические концепции, которые превращают неподвижность эпистемологических рамок в неизменную точку опоры. Они четко фокусируют наше внимание на онтологической основе общественного производства. Производят машины. Непрерывное функционирование социальных машин, представленных множеством аппаратов различной сборки, производит мир вместе с субъектами и объектами, его составляющими. Однако Делез и Гваттари, по всей видимости, в состоянии ясно воспринимать только тенденции к постоянному движению и абсолютной изменчивости, и поэтому в их размышлениях созидательные элементы и радикальная онтология производства социальности также остаются слабыми и лишенными основы. Делез и Гваттари открывают явление производительности общественного воспроизводства (созидательного производства, производства стоимостей, социальных отношений, аффектов, процессов становления), но выразить его им удастся лишь поверхностно и эфемерно как неясное, неопределенное будущее, которое будет озаменовано событиями, пока не поддающимися предвидению¹⁵.

Мы сможем лучше понять отношения между общественным производством и биовластью, обратившись к работам группы современных ита-

льянских марксистов, которые определяют биополитическое измерение в терминах новой природы производительного труда и его постоянного развития в обществе, используя такие термины, как «интеллектуальная сила масс», «аматериальный труд», а также марксистскую концепцию «всеобщего интеллекта»¹⁶. Эти исследования выполнены в рамках двух скоординированных исследовательских проектов. Первый посвящен анализу наблюдаемых в настоящее время изменений характера производительного труда и нарастающей тенденции к превращению его в аматериальный. Ведущая роль в создании прибавочной стоимости, прежде принадлежавшая труду работников массового фабричного производства, во все большей мере переходит к работникам аматериального труда, занятым в сфере, производства и передачи информации. Таким образом, необходима новая политическая теория стоимости, которая могла бы поставить проблему этого нового капиталистического накопления стоимости как проблему изучения основного звена механизма эксплуатации (и, таким образом, -вероятно, как главного фактора возможного восстания). Второй логически отсюда вытекающий исследовательский проект, предпринятый в рамках этой школы, посвящен анализу именно социальных и коммуникационных параметров живого труда в современном капиталистическом обществе, и, таким образом, он настоятельно ставит проблему новых форм субъективности как в отношении их эксплуатации, так и в отношении их революционного потенциала. Именно социальное измерение эксплуатации живого труда в аматериальной сфере включает его во все те звенья соответствующего механизма, которые определяют социальное, но в то же самое время активизируют критические элементы, развивающие потенциал неповиновения и бунта посредством всей совокупности трудовых практик. После появления новой теории стоимости должна быть создана и новая теория субъективности, работающая в первую очередь со знанием, коммуникацией и языком.

Таким образом, эти работы заново утвердили значимость производства в биополитическом процессе построения общества, но в некоторых отношениях они его обособили — поскольку уловили его только в чистой форме, представив в идеальном плане. Их авторы формулировали свои концепции так, как если бы обнаруженных ими новых форм производительных сил — труда в сфере аматериального производства и массового интеллектуального труда, а также деятельности «всеобщего интеллекта» — оказалось достаточно, чтобы точно уловить динамические и креативные отношения между материальным производством и общественным воспроизводством. Когда они заново помещают производство в биополитический контекст, они представляют его исключительно в горизонте языка и коммуникации. Таким образом, одним из наиболее серьезных недостатков этих концепций оказывается склонность их авторов рассматри-

вать новые трудовые практики биополитического общества *только* в их интеллектуальных и аматериальных аспектах. Однако в данном контексте исключительную важность приобретают именно производительность тел и стоимость аффекта. Мы детально рассмотрим три важнейших аспекта труда в современной экономике: коммуникативный труд промышленного производства, по-новому включенный в информационные сети, интерактивный труд анализа символов и решения задач и труд, связанный с производством аффектов и манипулированием ими (см. раздел 3-4). Третий из этих аспектов с его сосредоточенностью на производстве соматического, телесного, оказывается в высшей степени важным элементом в современных сетях биополитического производства. Труды этой школы и ее анализ «всеобщего интеллекта» несомненно означают шаг вперед, но ее концептуальные рамки остаются чересчур чистыми, почти что ангельскими. В конечном счете, эти новые концепции тоже лишь поверхностно затрагивают производственную динамику новых теоретических рамок биовласти¹⁷.

Таким образом, при решении нашей задачи мы должны опираться на эти, отчасти удачные попытки выявить потенциал биополитического производства. Последовательно сводя воедино различные определяющие характеристики биополитического контекста, которые мы до сих пор описывали, и возвращая их к онтологии производства, мы сможем определить новый образ коллективного биополитического тела, остающийся, тем не менее, сколь парадоксальным, столь и противоречивым. Это тело становится структурой не путем отрицания исходных производительных сил, вдохнувших в него жизнь, а путем их признания; оно становится языком (как научным, так и общественным), потому что оно является множеством единичных тел, стремящихся стать взаимосвязанными. Таким образом, это тело оказывается и производством, и воспроизводством, и базисом, и надстройкой, потому что оно есть и жизнь и политика в самом исчерпывающем и буквальном смысле. Наш анализ должен проникнуть в самую гущу противоречивых детерминаций производства, предлагаемых нам коллективным биополитическим телом¹⁸. Поэтому контекстом нашего исследования должно служить постижение самой жизни, процесса построения мира и истории. Исследование должно быть не просто анализом идеальных форм, но всей совокупности опыта.

КОРПОРАЦИИ И КОММУНИКАЦИЯ

Задаваясь вопросом, как политические и суверенные элементы имперской машины были вовлечены в ее функционирование, мы обнаружим, что нет никакой необходимости ограничивать или хотя бы фокусировать наше исследование на устоявшихся наднациональных регулирующих институтах. Специализированные учреждения ООН вместе с крупнейшими мульти- и

транснациональными финансовыми и торговыми организациями (МВФ, Всемирный Банк, ГАТТ) приобретают значимость с точки зрения наднационального правового устройства только тогда, когда их роль согласуется с внутренней динамикой биополитического производства нового мирового порядка. Следует подчеркнуть, что их прежняя функция в международном порядке теперь не придает им легитимности. То, что теперь их легитимирует, так это скорее новая для них возможность функционировать в качестве символов имперского порядка. Вне этой новой системы они бесполезны. В лучшем случае старые институциональные рамки способствуют формированию и обучению административного персонала имперской машины, «дрессировке» новой имперской элиты.

Гигантские транснациональные корпорации служат фундаментом и прочной соединительной тканью биополитического мира в определенных и весьма важных отношениях. На самом деле капитал всегда был ориентирован глобально, но лишь во второй половине XX века транснациональные и мультинациональные промышленные и финансовые корпорации действительно начали биополитическое структурирование мирового территориального пространства. Некоторые утверждают, что корпорации попросту взяли на себя роль, принадлежавшую на предыдущих стадиях капиталистического развития, от европейского империализма XIX века до периода фордизма в XX веке, различным национальным колониальным и империалистическим системам". Отчасти это действительно так, но и сама их роль существенно изменилась под влиянием новой реальности капитализма. Деятельность корпораций больше не определяется применением абстрактного принуждения и неэквивалентного обмена. Скорее, они напрямую структурируют и соединяют территории и население. Они стремятся к тому, чтобы превратить национальные государства всего лишь в инструменты учета приводимых в движение транснациональными корпорациями потоков товаров, денег и населения. Транснациональные корпорации напрямую распределяют рабочую силу по различным рынкам, размещают ресурсы на основе функционального принципа и иерархически организуют различные секторы мирового производства. Это сложный аппарат, определяющий направление инвестиций, управляющий финансовыми и кредитно-денежными потоками, формирующий новую географию мирового рынка, или же, в действительности, новое биополитическое структурирование мира²⁰.

Наиболее полное представление об облике этого мира дает монетаристская концепция. Исходя из ее положений, мы видим горизонт стоимостей и машину распределения, систему накопления и средства обращения, власть и язык. Нет ничего — ни «жизни как таковой», ни точки зрения внешне наблюдателя, — ничего, что оставалось бы вне этого поля, пропитанного деньгами; ничего, кроме денег. Производство и воспроизводство обла-

чено в покрывало денег. «Накопляйте! Накопляйте! В этом Моисей и пророки!»²¹

Таким образом, гигантские промышленные и финансовые силы производят не только товары, но и субъективности. Они производят действующие субъективности в биополитическом контексте: они производят потребности, социальные отношения, тела и умы — иначе говоря, они производят производителей²². В биополитической сфере жизнь предназначена работать ради производства, а производство — ради жизни. Это гигантский улей, в котором пчела-матка непрестанно следит за производством и воспроизводством. Чем глубже проникает анализ, тем все более возрастающую интенсивность взаимосвязанных групп интерактивных отношений он обнаруживает²³.

Одно из местонахождений биополитического производства порядка, которое нам следует указать, располагается в создаваемых индустрией коммуникаций аматериальных сетях производства, языка, коммуникации и мира символов²⁴. Развитие коммуникационных сетей органически связано с появлением нового мирового порядка, иными словами, это причина и следствие, продукт производства и производитель. Коммуникация не только выражает, но и организует ход глобализации. Она направляет это движение, умножая и структурируя сетевые взаимосвязи. Она выражает движение и контролирует смысл и направление сферы воображаемого, пронизывающей эти коммуникативные связи; иными словами, сфера воображаемого управляется и канализируется коммуникативной машиной. То, что теории власти современности были вынуждены считать трансцендентным, то есть внешним для производственных и общественных отношений, здесь формируется внутри, имманентно производственным и общественным отношениям. Опосредование поглощено машиной производства. Политический синтез социального пространства закрепляется пространством коммуникации. Вот почему индустрия коммуникаций занимает столь важное положение. Она не только организует производство в новом масштабе и создает новую структуру, адекватную глобальному пространству, но также делает имманентным его обоснование. Власть, в той мере, в какой она производит, — организует; в той мере, в какой организует, — она высказывается и выражает себя в качестве авторитета. Язык, поскольку он выполняет коммуникативную функцию, производит товары, но сверх того он создает субъективности и отношения между ними, а также управляет ими. Индустрия коммуникаций объединяет воображаемое и символическое внутри биополитической ткани, не просто ставя их на службу власти, но и фактически встраивая их в само ее функционирование²⁵.

Здесь мы уже можем обратиться к вопросу о *легитимации* нового мирового порядка. Она не рождается из прежде существовавших международ-

ных соглашений или же из практики функционирования первых, еще эмбриональных наднациональных организаций, которые сами создавались посредством договоров, заключенных на основе международного права. Легитимация имперской машины рождается, по крайней мере отчасти, из индустрии коммуникаций, то есть путем преобразования нового способа производства в машину. Это субъект, который производит свой собственный образ власти. Это форма легитимации, которая основывается только на себе самой и непрестанно воспроизводится, развивая собственный язык самоподтверждения.

Далее следует обратиться к одному из следствий, вытекающих из вышесказанного. Если коммуникация оказывается одним из главенствующих секторов производства и действует по всему биополитическому полю, то мы должны рассматривать коммуникации и биополитический контекст как сосуществующие. Это выведет нас далеко за пределы прежнего понимания коммуникации, какое мы находим, например, у Юргена Хабермаса. Фактически, когда Хабермас развивал понятие коммуникативного действия, столь убедительно показывая его продуктивный характер и вытекающие отсюда онтологические выводы, он все еще опирался на точку зрения, не принимающую во внимание последствия глобализации, на точку зрения жизни и истины, которые смогут противостоять информационной колонизации бытия²⁶. Однако имперская машина наглядно демонстрирует, что подобной точки зрения внешнего наблюдателя больше не существует. Напротив, коммуникативное производство шагает рука об руку с конструированием имперской легитимации и отныне с ним неразлучно. Машина сама себя легитимирует и воспроизводит, то есть является аутопойетической или системной. Она вырабатывает социальную ткань, снимающую или редуцирующую любые противоречия. Она создает такие ситуации, что прежде чем происходит принудительная нейтрализация различий, они оказываются поглощены бессодержательной игрой равновесий, которые сами себя порождают и регулируют. Как мы уже доказывали ранее, любая правовая теория, обращенная к условиям постсовременности, должна принимать в расчет это специфически коммуникативное определение общественного производства²⁷. Имперская машина живет за счет создания контекста равновесий и/или редукции сложностей, притязая на реализацию проекта универсального гражданства, и ради этой цели увеличивает эффективность своего вмешательства во все звенья коммуникативного отношения, непрестанно разрушая историю и идентичность в типично постмодернистской манере²⁸. Вопреки тем мнениям, которые могли бы высказать многие постмодернисты, имперская машина отнюдь не уничтожает метанарративы; в действительности она производит и воспроизводит их (в особенности их идеологическую разновидность), чтобы утвердить и прославить собственную власть²⁹. В этом совпадении производства пос-

редством речи, лингвистического производства реальности и языка собственной легитимации и лежит главный ключ к пониманию действенности, юридической силы и легитимности имперского права.

ВМЕШАТЕЛЬСТВО

Эти новые рамки законности включают в себя новые формы и новые способы *легитимного применения силы*. В процессе формирования новая власть одновременно с созданием основ своей легитимации должна продемонстрировать реальную силу. Фактически легитимность новой власти отчасти опирается непосредственно на эффективность использования силы.

Тот способ, которым демонстрируется эффективность новой власти, не имеет ничего общего с медленно умирающим старым международным порядком; не видит эта власть и особой пользы в инструментах, которые этот порядок после себя оставил. В процессе своего развертывания имперская машина проявляет целый ряд новых признаков, таких как неограниченная область действий, их сингуляризация и символическая локализация, а также соединение всех аспектов биополитической структуры общества с репрессивным действием. За отсутствием лучшего термина мы будем продолжать называть это «вмешательством», интервенцией. Это лишь терминологический, но никак не концептуальный недостаток, поскольку это не реальное вмешательство в дела юридически независимых территорий, а скорее действия господствующей системы производства и коммуникаций в унифицированном мире. В действительности вмешательство интернализировано и универсализировано. В предыдущем разделе мы обращались к структурным его средствам, подразумевающим использование механизмов кредитно-денежной политики и финансовых маневров в транснациональном поле взаимозависимых режимов производства, и к интервенциям в поле коммуникаций, воздействующим на легитимацию системы. Здесь нам хотелось бы исследовать новые формы вмешательства, предполагающие использование физической силы со стороны имперской машины на ее территориях, охватывающих весь мир. Те враги, которым сегодня противостоит империя, представляют собой скорее идеологическую, нежели военную угрозу, но, тем не менее, власть в Империи осуществляется посредством силы, и все те инструменты, которые гарантируют ее эффективность, уже очень развиты технологически и прочно закреплены политически³⁰.

На самом деле арсенал возможностей легитимного имперского вмешательства весьма обширен, и он может включать в себя не только военную интервенцию, но и другие формы, такие как моральное или правовое вмешательство. На самом деле способности Империи к вмешательству лучше понимать не как немедленное применение смертоносного оружия, а как использование для начала моральных инструментов. То, что мы называем

моральным вмешательством, сегодня осуществляется множеством структур, включая СМИ и религиозные организации, но ключевыми могут быть названы некоторые из так называемых неправительственных организаций (НПО), которые, именно потому что они не действуют напрямую от имени правительства, руководствуются, как принято считать, моральными и этическими императивами. Сам термин «неправительственная организация» применяется к большому количеству разнообразных групп, но мы здесь говорим в первую очередь о всемирных, региональных и местных организациях, занимающихся благотворительной деятельностью и защитой прав человека, таких как «Международная амнистия», «Оксфам», «Врачи без границ». Такого рода неправительственные гуманитарные организации в действительности (даже если это противоречит намерениям их участников) оказываются одним из наиболее мощных видов мирного оружия нового мирового порядка — своего рода богадельни и странствующие ордена Империи. Эти НПО ведут «справедливые войны» без оружия, без насилия, без границ. Подобно доминиканцам позднего Средневековья или иезуитам ранней современности, эти организации стремятся выделить всеобщие потребности и защитить права человека. В их риторике и действиях враг сначала определяется как нужда, недостаток, лишения (и своей деятельностью они стремятся защитить людей от чрезмерных страданий), а затем признается, что враг — это грех.

Трудно не вспомнить здесь, что в христианской теологии морали зло первоначально представлялось как недостаток добра, а затем грех определялся как его преступное отрицание. Внутри этих логических рамок отнюдь не кажется странным, а скорее более чем естественным, что в своих попытках отозваться на лишения НПО стремятся к публичному осуждению грешников (то есть Врага, говоря собственно языком инквизиции); также совсем не выглядит странным и то, что задачу по реальному решению проблемы они оставляют своему «светскому крылу». Таким образом, моральное вмешательство становится передовым отрядом сил имперской интервенции. Фактически такого рода вмешательство, осуществляемое «по инициативе снизу», предвзывает чрезвычайное положение, вводимое имперской властью, и делает это, не признавая границ, вооруженное лишь некоторыми из самых эффективных средств коммуникации, ориентируясь на символическое производство Врага. Эти НПО полностью погружены в биополитический контекст имперского устройства; они предвосхищают власть ее благодетельного вмешательства, предпринимаемого во имя справедливости. Таким образом, вовсе не удивительно, что юристы, достойно представляющие старую школу теории международных отношений (такие, как Ричард Фок), поддаются под обаяние этих НПО³¹. Похоже, что предоставляемые НПО свидетельства в пользу нового порядка как мирного биополитического контекста мешают этим теоретикам увидеть те жес-

токие последствия, к которым приводит моральное вмешательство, выступающее в качестве предвестника мирового порядка³².

Моральное вмешательство часто служит первым актом, готовящим сцену для военной интервенции. В подобных случаях использование военной силы преподносится как санкционированная мировым сообществом полицейская акция. Сегодня военное вмешательство во все меньшей мере оказывается результатом решений, исходящих от структур старого международного порядка или даже от ООН. Гораздо чаще оно предпринимается по одностороннему повелению Соединенных Штатов, которые берут на себя решение основной задачи, а затем просят своих союзников приступить к процессу военного сдерживания и/или подавления нынешнего врага Империи. Чаще всего этих врагов называют террористами, что является собой грубую концептуальную и терминологическую редукцию, коренящуюся в полицейской ментальности.

Взаимосвязь между превентивными и репрессивными мерами особенно отчетливо проявляется в случае вмешательств в этнические конфликты. Конфликты между этническими группами с последующим укреплением новых и/или восстановленных этнических идентичностей выступают очень сильным средством разрушения прежних форм общности, опиравшихся на единство политической нации. Подобные конфликты делают менее прочной, устойчивой ткань существующих в мире отношений и, утверждая новые идентичности и новые локальные общности, обеспечивают Империи легче поддающийся контролю материал. В этих случаях репрессии могут выражаться превентивными действиями, конструирующими новые отношения (которые, установившись, в конечном счете будут мирными, но лишь после новых войн) и новые территориальные и политические образования, которые функциональны (или, скорее, более функциональны и обладают лучшей приспособляемостью) по отношению к устройству Империи³³. Другим примером репрессий, осуществляемых посредством превентивных мер, являются кампании против корпоративных бизнес-групп или «мафий», особенно тех, что замешаны в наркоторговле. Реальное пресечение деятельности этих групп может оказаться менее важной задачей, чем криминализация их действий и манипулирование страхом общества перед самим фактом их существования для того, чтобы облегчить контроль над ними. Хотя контроль за «этническими террористами» и «наркомафией» может представлять собой сердцевину широкого спектра акций полицейского контроля со стороны имперской власти, тем не менее такого рода деятельность нормальна, то есть системна. «Справедливая война» находит эффективное подкрепление со стороны «моральной полиции» подобно тому, как действенность имперского права и его легитимное функционирование поддерживаются необходимым и постоянным применением полицейской власти.

Ясно, что международные или наднациональные суды вынуждены следовать этой директиве. Армия и полиция идут впереди судебных органов и сами вводят принципы справедливости, которые эти суды должны затем применять. Сила нравственных принципов, которым вверено построение нового мирового порядка, не способна изменить то, что на самом деле он является противоположностью договорного строя, предполагаемого логикой создания социальных организмов. Активные сторонники имперского устройства уверены в том, что когда здание Империи будет в достаточной мере достроено, суды окажутся в состоянии взять на себя ведущую роль в определении того, что есть правосудие и справедливость. Даже и сейчас, хотя международные суды не обладают достаточной властью, публичная демонстрация их активности играет весьма важную роль. В конечном счете должна быть сформирована новая функция имперского правосудия, адекватная устройству Империи. Постепенно суд будет вынужден превратиться из органа, просто выносящего приговор побежденным, в юридическую организацию или целую систему органов, задачей которых станет определение и санкционирование отношений между моральным порядком, полицейскими акциями и механизмом легитимации имперского суверенитета*⁴.

Этот способ непрекращающегося вмешательства, являющегося одновременно военным и моральным, на самом деле есть логическая форма использования силы, исходящей из парадигмы легитимации, основанной на постоянном чрезвычайном положении и полицейских мерах. Вмешательство всегда является мерой чрезвычайного характера, даже если оно происходит непрерывно; оно принимает форму полицейских акций, поскольку нацелено на установление внутреннего порядка. Таким образом, вмешательство оказывается эффективным механизмом, который, опираясь на полицейские инструменты, непосредственно способствует построению морального, нормативного и институционального порядка Империи.

МОНАРШИЕ ПРЕРОГАТИВЫ

Похоже, то, что называлось монаршими прерогативами суверенитета, возвращается и даже в значительной мере обновляется в процессе создания Империи. Если бы мы должны были оставаться в концептуальных рамках классического внутреннего и международного права, у нас бы появился соблазн сказать, что формируется наднациональное квазигосударство. Однако нам это не кажется верным описанием ситуации. Когда монаршие прерогативы современного суверенитета вновь появляются в Империи, они принимают совершенно иную форму. Например, суверенная функция применения военной силы принадлежала прежде (в эпоху современности) национальным государствам, а теперь она осуществляется Импе-

рией, но, как мы видим, правовое обоснование использования военной силы ныне основывается на постоянном чрезвычайном положении, а само привлечение вооруженных сил принимает форму полицейских операций. Другие монаршие прерогативы, такие как отправление правосудия и налогообложение, также выражаются в слабоосязаемой форме. Мы уже обсуждали маргинальное положение судебной власти в процессе становления Империи, также можно, пожалуй, согласиться и с тем, что введение налогов играет незначительную роль в практике Империи, все более и более привязываемой к специфическим и местным потребностям. В сущности, можно сказать, что суверенитет самой Империи реализуется на ее периферии, где границы подвижны, а идентичности неустойчивы и несут смешанный характер. Было бы сложно утверждать, что для Империи важнее: центр или периферия. Фактически они, как представляется, непрестанно меняются местами, избегая определенной локализации. Можно даже было бы говорить, что сам этот процесс виртуален и мощь его основывается на силе виртуального.

На это можно было бы возразить, что, будучи виртуальным и находя выражение на периферии, процесс создания имперского суверенитета во многих отношениях весьма реален! Конечно же, у нас и в мыслях не было отрицать этот факт! Скорее наше утверждение состоит в том, что здесь мы имеем дело с особенной формой суверенитета — дискретной, которую следует считать лиминальной, пороговой или маргинальной постольку, поскольку он действует в «последней инстанции», суверенитета, имеющего свою единственную точку опоры в абсолютном характере власти, способной быть задействованной для его осуществления. Таким образом, Империя появляется именно в форме высокотехнологичной машины: она виртуальна, настроена для контроля за происходящим на периферии, организована, чтобы господствовать и при необходимости вмешиваться в случае поломки в системе (подобно наиболее совершенным технологиям роботизированного производства). Однако виртуальный и дискретный характер имперского суверенитета отнюдь не снижает действенность его силы; напротив, именно эти характеристики служат усилению его аппарата, демонстрируя его эффективность в современном историческом контексте и его законную силу решать мировые проблемы в качестве последней инстанции.

Сейчас мы уже готовы перейти к вопросу о том, можно ли на основании этих новых биополитических предпосылок описать образ и жизнь Империи в терминах юридической модели? Мы уже видели, что такого рода модель не может быть создана посредством существующих структур международного права, даже когда они берутся в своих наиболее развитых формах, таких как ООН и иные ведущие международные организации. Вырабатываемый ими международный порядок может, самое большее,

рассматриваться как процесс перехода к новой имперской власти. Высшие нормативные принципы Империи формируются не на основании механизма договоров и соглашений, они не исходят из некоего федеративного источника. Источник имперской нормативности появляется из новой машины, новой экономико-производственно-коммуникативной машины — короче, глобализированной биополитической машины. Поэтому ясно, что нам следует искать нечто отличающееся от того, что до сих пор служило основой международного порядка, что-то, что не зависело бы от формы права, которое, при всем различии традиций, опиралось на систему современных суверенных национальных государств. Однако невозможность уловить виртуальный образ Империи и проследить ее историю с помощью каких-либо старых инструментов юридической теории, использовавшихся в рамках концепций реализма, институционализма, позитивизма или естественного права, не должна вынуждать нас смотреть на ситуацию с циничной позиции чистой силы или какой-то подобной макиавеллистской точки зрения. В генезисе Империи на самом деле присутствует рациональность, которая может быть понята не столько в терминах правовой традиции, сколько (и с куда большей ясностью) с помощью зачастую скрытой от нас истории методов, применяемых в управлении промышленностью, и политического использования технологий. (Нам не следует здесь также забывать и о том, что следование этим ориентирам позволит увидеть ткань классово-борьбы и ее институциональные последствия, однако мы обратимся к этой проблеме в следующем разделе.) Эта рациональность выводит нас к самому сердцу биополитики и биополитических технологий.

Если бы мы захотели вновь обратиться к знаменитой формуле Макса Вебера о трех формах легитимации власти, качественный скачок, которым определяется переход к Империи, можно было бы выразить как непредусмотренное теорией сочетание: i) элементов, типичных для традиционной власти, г) расширения бюрократической власти, которая физиологически адаптируется к биополитическому контексту, и з) рациональности, определяемой «событием» и «харизмой», возникающей как власть сингуляризации целого и действительности имперских вмешательств³⁵. Логика, характеризующая эту неовеберианскую перспективу, была бы скорее функциональной, чем математической, а также ризоматической и волновой, нежели индуктивной или дедуктивной. Она бы имела дело с управлением языковыми рядами как с группами машинных рядов смысловых обозначений и одновременно с творческой, речевой инновацией, не поддающейся переводу на машинный язык.

Важнейшим объектом, стоящим за имперскими отношениями власти и раскрывающим себя в них, является производственная мощь новой биополитической, экономической и институциональной системы. Имперский порядок формируется не только благодаря возможностям аккумуляции

и расширения до уровня глобальной системы, но также и на основе своей способности к развитию вглубь, к возрождению и самораспространению через биополитические сетевые структуры мирового сообщества. Абсолютный характер имперской власти оказывается дополнительным термином по отношению к ее полной имманентности онтологической машине производства и воспроизводства и, следовательно, биополитическому контексту. Возможно, в конце концов это и не может найти выражение в качестве правового порядка, но тем не менее это порядок, определяемый виртуальностью, динамизмом и функциональной незавершенностью. Таким образом, основополагающая норма легитимации будет корениться в глубинах машины, в сердце общественного производства. Общественное производство и правовую легитимацию не следует рассматривать ни как первичную и производную силы, ни как элементы базиса и надстройки, они должны пониматься под углом зрения параллелизма и взаимного смещения как имеющие одинаковую протяженность в биополитическом обществе. В рамках Империи с ее режимом биовласти экономическое производство и политическое устройство стремятся ко все более полному совпадению.

1.3 АЛЬТЕРНАТИВЫ ВНУТРИ ИМПЕРИИ

Воплотившись во власти Советов, которая в мировом масштабе должна вытеснить всякую иную власть, пролетарское движение становится своим собственным продуктом, а этот продукт и есть сам производитель. Производитель является своей собственной целью. И только тогда видимость отрицания общества отрицается.

;

Ги Дебор

Ныне — время топков, и только пламя должно быть видно.

Хосе Марти

Изъясняясь языком Гегеля, можно сказать, что создание Империи является благом *в себе*, но не *для себя*¹. Одной из наиболее действенных операций, осуществленных империалистическими структурами власти эпохи современности в глобальном масштабе, было разобщение масс, разъединение их на противоборствующие лагеря или, точнее, на мириады конфликтующих друг с другом партий. Отдельные отряды пролетариата в господствующих странах даже заставили поверить, будто их интересы связаны исключительно с национальной идентичностью, а потому и с имперской судьбой. Наиболее знаменательными среди восстаний и революций против структур власти эпохи современности стали поэтому те, что, выступая против эксплуатации, одновременно боролись с национализмом, колониализмом и империализмом. В этих событиях человечество на какой-то волшебный момент представляло объединенным общим желанием освобождения, и казалось, что мы видели проблески будущего, когда механизмы господства, характерные для современности, будут разрушены раз и навсегда. Восставшие массы, их желание освобождения, их попытки создания альтернатив, их опыт осуществления конститутивной власти указывали в свои лучшие моменты на интернационализацию и глобализацию отношений по ту сторону разделительных линий национального, колониального и империалистического господства. В наше время именно к этому желанию, приведенному в движение массами, был обращен (странным и искаженным, но тем не менее реальным образом) процесс создания Империи. Можно даже сказать, что создание Империи и ее глобальных сетей является *ответом* на различные выступления против машин власти эпохи современ-

ности и в особенности на классовую борьбу, движимую стремлением масс к освобождению. Массы вызвали Империю к жизни.

Утверждение, что Империя является благом *в себе*, все же не означает, что она есть благо *для себя*. И хотя Империя могла сыграть определенную роль в отказе от политики колониализма и империализма, она, тем не менее, строит собственные, основанные на эксплуатации отношения власти, которые во многих своих проявлениях более жестоки, нежели те, что были ею разрушены. Конец диалектики Современности не является концом диалектики эксплуатации. Сегодня почти все человечество в определенной степени поглощено сетями капиталистической эксплуатации или подчинено им. В настоящее время мы видим более глубокую, чем когда-либо, пропасть между незначительным меньшинством, контролирующим огромные богатства, и массами, живущими в нищете на грани полного бессилия. Те географические и расовые границы угнетения и эксплуатации, что были созданы в эру колониализма и империализма, во многих отношениях не разрушились, а, напротив, многократно укрепились.

Сознавая все это, мы тем не менее настаиваем, что построение Империи является шагом вперед, что избавляет нас от всякой ностальгии по структурам власти, ей предшествовавшим, и заставляет отказаться от любой политической стратегии, подразумевающей возврат к прежнему положению дел, примером чего могут служить попытки восстановить национальные государства для защиты от глобального капитала. Мы заявляем, что Империя лучше в том же смысле, в котором Маркс отстаивает превосходство капитализма над предшествовавшими ему формами общества и способами производства. Точка зрения Маркса основывается на здравом и понятном недовольстве ограниченностью и жесткостью иерархий докапиталистического общества и в равной степени на осознании того, что в новой ситуации освободительный потенциал возрастает. Как мы видим, сегодня Империя точно так же избавляется от жестоких режимов власти, присущих современности, увеличивая тем самым потенциал освобождения.

Мы хорошо понимаем, что, высказывая такие идеи, мы идем против течения, вступаем в полемику с нашими друзьями и товарищами из числа левых. В течение долгих десятилетий нынешнего кризиса коммунизма, социализма и левого либерализма, который последовал за 1960-ми, многие представители критической мысли как в господствующих капиталистических, так и в зависимых странах стремились найти новые очаги сопротивления, отличавшиеся от традиционных, связанных с идентичностью социальных субъектов или национальных и региональных групп. Зачастую они основывали свой политический анализ на идее *локализации борьбы*. Такого рода аргументы порой формулируются в терминах привязки политических движений к определенной локальности, где границы локальности (рассматриваемой как идентичность или как территория) противопостав-

ляются недифференцированному и однородному пространству глобальных сетей². Порой такого рода политическая аргументации лежит в русле давней традиции национализма левого толка, в которой (в лучших случаях) нация представляется как основной механизм защиты от господства иностранного и/или глобального капитала³. Сегодня силлогизм, используемый левыми и лежащий в основе различных форм их «локальных» стратегий, представляется в полной мере «реактивным» по своему характеру: если, дескать, господство капитализма становится все более глобальным, то наше сопротивление ему должно защищать локальное, возводя барьеры на пути все возрастающих потоков капитала. С данной точки зрения реальные процессы глобализации капитала и конституирования Империи должны восприниматься как свидетельства поражения масс и их ограбления.

Однако мы настаиваем, что сегодня такая локалистская позиция, несмотря на все наше восхищение и уважение к моральному духу ее сторонников, не только ошибочна, но и вредна. Прежде всего она ошибочна в силу неверной постановки проблемы, которая во многом основывается на ложной дихотомии между глобальным и локальным, предполагая, что глобальное влечет за собой гомогенизацию и недифференцируемое тождество, тогда как локальное сохраняет гетерогенность и различия. Подобные доводы часто содержат неявное допущение о том, что локальные различия естественны или, по крайней мере, что их источник не вызывает сомнений. Локальные различия не сегодня сложились, они имеют давнюю историю, и их следует оградить или защитить от вторжения глобализации. Учитывая такое допущение, совсем неудивительно, что многие защитники локального принимают на вооружение терминологию традиционной экологии или даже отождествляют этот «локальный» политический проект с защитой природы и биологического разнообразия. Эта точка зрения может легко выродиться в своего рода примордиализм, концепцию, закрепляющую и романтизирующую сложившиеся общественные отношения и социальные идентичности. К чему действительно необходимо обратиться, так это к *производству локальности*, то есть к социальным машинам, создающим и воссоздающим тождества и различия, понимаемые как локальные⁴. Локальные различия не существуют ни как изначально данные, ни как естественные, скорее они есть результат определенного режима производства. Точно так же и глобальность не должна пониматься как культурная, политическая или экономическая *гомогенизация*. Вместо этого глобализация, так же как и локализации, должна пониматься как *режим* производства тождества и различия, то есть в действительности как гомогенизация и гетерогенизация. Таким образом, различия между глобальным и локальным лучше обозначить как различия сетевых потоков и препятствий, где локальный момент или взгляд отдают приоритет ретерриториализирую-

щим барьерам или границам, а глобальный предпочитает мобильность детерриториализирующих потоков. В любом случае неверно утверждать, что мы способны возродить локальные идентичности, которые в некотором смысле будут находиться *вне* глобальных потоков капитала и Империи и будут защищены от них.

Принятая левыми стратегия сопротивления глобализации и защиты локального также и вредна, поскольку во многих случаях то, что представляется локальными идентичностями, в действительности не автономно или независимо, а вносит свою лепту в создание капиталистической имперской машины и поддерживает ее развитие. Управляемые имперской машиной глобализация или детерриториализация практически не противостоят локализации и ретерриториализации, они скорее вводят в игру подвижные и регулируемые циклы дифференциации и идентификации. Стратегия локального сопротивления неверно определяет и тем самым маскирует врага. Мы ни в коем случае не выступаем против глобализации отношений как таковой — на самом деле, как мы уже сказали, мощнейшие силы левого интернационализма фактически стояли во главе этого процесса. Противником скорее оказывается особый режим глобальных отношений, который мы называем Империей. Что еще важнее, стратегия защиты локального вредна, поскольку она затемняет и даже отрицает действительные альтернативы и возможности освобождения, имеющиеся *внутри* Империи. И в теоретическом, и в практическом отношении предпочтительнее вступить на территорию Империи, встретиться лицом к лицу с ее гомогенизирующими и гетерогенизирующими потоками во всей их сложности, и встать в своем исследовании на сторону власти масс, объединенных в глобальном масштабе.

ОНТОЛОГИЧЕСКАЯ ДРАМА *RES GESTAE*

Наследие современности — это наследие братоубийственных войн, опустошающего «развития», жестокой «цивилизации» и насилия, которое ранее невозможно было вообразить. Эрик Ауэрбах написал однажды, что трагедия — это единственный жанр, способный по праву претендовать на реализм в западной литературе, и, пожалуй, это справедливо именно потому, что трагедия западной современности была распространена ею на весь мир⁵. Концентрационные лагеря, ядерное оружие, геноцид, рабство, апартеид: несложно перечислить различные сцены трагедии. Тем не менее, настаивая на трагическом характере современности, мы вовсе не намерены следовать «трагическим» философам Европы от Шопенгауэра до Хайдеггера, которые превратили эти реальные беды в метафизические повествования о негативном характере бытия, так, как если бы эти настоящие трагедии были всего лишь иллюзией или даже нашей неотвратимой судьбой!

Негативность современности не принадлежит какой-либо трансцендентной сфере, она составляет нашу суровую реальность: великие патриотические сражения Первой и Второй мировых войн, поля смерти под Верденом, печи нацистских концлагерей, мгновенное уничтожение тысяч людей в Хиросиме и Нагасаки, ковровые бомбардировки Вьетнама и Камбоджи, боины от Сетифа и Суэто до Сабры и Шатилы, а список все продолжается и продолжается. И нет такого Иова, который мог бы вынести все эти страдания! (И тот, кто начал бы составлять подобный список, быстро бы осознал, как мало он отражает глубину и масштаб трагедий.) Ну, уж если *такая* современность подошла к концу и если ее национальные государства как необходимые условия империалистического господства и бесчисленных войн исчезают с мировой сцены, то об этом не стоит сожалеть: скатертью дорога! Мы должны избавиться от всякой неуместной ностальгии по «прекрасной эпохе» (*belle époque*) такой современности.

Однако нас не может удовлетворить политическое осуждение власти эпохи современности, опирающееся на *historia rerum gestarum*, унаследованную нами объективную историю. Нам также следует учитывать власть *res gestae*, способность масс творить историю, которая сохраняется и приобретает новые очертания сегодня *внутри* Империи. Это вопрос о преобразовании навязанной массам необходимости, — необходимости, которая была на протяжении всей современности в известной степени востребована самими массами как способ бегства из мест, где царили бедность и эксплуатация, — условие возможности освобождения, новой возможности в новом пространстве всего человечества.

Вот когда начинается онтологическая драма, вот когда поднимается занавес над сценой, на которой развитие Империи становится ее же собственной критикой, а процесс ее формирования становится процессом ее ниспровержения. Эта драма является онтологической в том смысле, что здесь, в ходе этих процессов, производится и воспроизводится бытие. По мере разворачивания нашего исследования эта драма будет прояснена и объяснена гораздо более полно, но с самого начала мы настаиваем на том, что это не просто еще один вариант диалектического просвещения. Мы не предлагаем один из множества путей, с неизбежностью ведущих нас через чистилище (здесь — в облике новой имперской машины) для того, чтобы дать слабую надежду на светлое будущее. Мы не повторяем ход рассуждений идеалистической телеологии, оправдывающей любой процесс предуготовленной целью. Напротив, наши размышления здесь основываются на двух методологических подходах, которые должны быть недialeктическими и абсолютно имманентными: первый подход, *критический и деконструктивный*, ставит своей целью разрушить гегемонистские языки и социальные структуры, открыв, таким образом, альтернативный онтологический базис, присущий творческим и производственным практикам масс;

второй, *конструктивный и этико-политический*, стремится направить процессы производства субъективности на создание реальной общественной, политической альтернативы, новой конститутивной власти⁶.

Наш критический анализ обращается к необходимости действительного идеологического и материального разрушения имперского порядка. В постсовременном мире постановка главного спектакля Империи осуществляется посредством множества дискурсов и структур, находящихся в себе самих. Давно уже столь разные авторы, как Ленин, Хоркхаймер, Адорно и Дебор, распознали в этом спектакле сюжет, связанный с судьбой празднующего триумф капитализма. Несмотря на существенные различия во взглядах, эти авторы действительно предвосхищают истинный путь капиталистического развития⁷. Наша деконструкция этого спектакля не может быть лишь текстуальной, мы должны непрерывно стремиться сосредоточить свои усилия на природе событий и реальных тенденциях происходящих сегодня имперских процессов. Таким образом, наш критический подход стремится пролить свет на противоречия, циклы и кризисы процесса, ибо в каждом из этих моментов воображаемая необходимость исторического развития может открыть будущие альтернативные возможности. Иными словами, разрушение *historia rerum gestarum*, призрачного царства глобализованного капитализма, открывает возможность альтернативных путей социальной организации. Это становится возможным постольку, поскольку мы используем методологические леса критического и материалистического деконструктивизма — но и это уже огромная помощь⁸!

На этом этапе первый методологический подход должен передать эстафету второму, конструктивному и этико-политическому. Здесь мы должны погрузиться в онтологический субстрат реально существующих альтернатив, непрерывно подталкиваемых *res gestae*, субъективными силами, действующими в историческом контексте. Что здесь бросается в глаза, так это не новая рациональность, а новый сценарий различных рациональных действий — горизонт активности, сопротивлений, воли и желаний, которые отвергают господствующий порядок, находят способы ухода от него и создают иные конститутивные пути, формируют альтернативы. Этот реально существующий субстрат, открытый для критики, проработанный этико-политическим подходом, представляет собой подлинный онтологический базис философии, или, точнее, поле для философии освобождения. Этот подход методологически порывает со всякой философией истории в той мере, в которой отвергает детерминистскую концепцию исторического развития и любое «рациональное» оправдание его результата. Он, напротив, показывает, что историческое событие рождается из возможности, но не из предопределенности. «Это не сведение двух к одному, но нахождение в одном двух» — в соответствии с прекрасной антиконфу-

цианской (и антиплатонической) формулой китайских революционеров'. Философия — не сова Минервы, вылетающая в сумерках, после того, как история уже свершилась, дабы возгласить ее счастливый финал; философия — это субъективное суждение, желание и практика, обращенные к со- бытию.

РЕФРЕНЫ «ИНТЕРНАЦИОНАЛА»

Было время, и не столь уж давнее, когда интернационализм был важнейшей составной частью пролетарской борьбы и прогрессивной политики в целом. «У пролетариата нет отечества» или лучше того: «отечество пролетариата — весь мир!» «Интернационал» был гимном революционеров, песней утопического будущего. Следует отметить, что утопия, выраженная в этих лозунгах, на самом деле отнюдь не интернационалистична, если под интернационализмом понимать определенный вид согласия различных национальных идентичностей, которые сохраняют свои отличия, заключая при этом друг с другом некоторое ограниченное соглашение. Пролетарский интернационализм был скорее антинационалистичен, и потому наднационален и глобален. Пролетарии всех стран — соединяйтесь! — не на основе национальных идентичностей, а напрямую, посредством своих общих нужд и желаний, не считаясь с границами и барьерами.

Интернационализм был волей активного массового субъекта, который осознал, что национальные государства являлись ключевыми действующими силами капиталистической эксплуатации, непрестанно втягивавшими массы в бессмысленные войны, — короче, что национальное государство было политической формой, чьи противоречия не могли быть подведены под какую-либо категорию и сняты, а только разрушены. Международная солидарность на самом деле была проектом разрушения национального государства и создания нового глобального сообщества. Эта программа пролетариата стояла за тактическими, часто двусмысленными толкованиями, которые социалистические и коммунистические партии давали ей в течение целого столетия, когда им принадлежала гегемония в рабочем движении¹⁰. Если национальное государство и являлось центральным звеном в цепи господства и посему должно было быть разрушено, то первой задачей *национального* пролетариата выступало саморазрушение, в той мере, в какой его атрибутом была национальная принадлежность, и, таким образом, освобождение международной солидарности из тюрьмы, куда та была заточена. Под международной солидарностью подразумевались не акты милосердия и человеколюбия во имя блага ближних, не благородная жертва ради рабочего класса иной национальности, но скорее неотъемлемое свойство, присущее желанию и борьбе за освобождение любого национального отряда пролетариата. Пролетарским интерна-

ционализмом была создана своеобразная и мощная политическая машина, которая настойчиво продвигалась вперед, по ту сторону границ и иерархий национальных государств, ориентируясь на утопическое будущее исключительно в глобальном масштабе.

Сегодня всем нам следует ясно понять, что время такого пролетарского интернационализма прошло. Однако это не отменяет того факта, что понятие интернационализма на самом деле жило в массах и отложилось в виде своеобразного геологического слоя страдания и желания, памяти о победах и поражениях, наследия идеологических конфликтов и потребностей. Более того, на самом деле пролетариат обретает себя сегодня не просто интернациональным, но (по крайней мере, в тенденции) глобальным. В свете того факта, что силы национальных государств были истощены нынешним процессом перехода к глобализации и Империи, возникает искушение утверждать, что пролетарский интернационализм действительно «победил», однако такое понимание победы было бы довольно странным и ироничным. Гораздо точнее было бы сказать словами Уильяма Морриса, ставшими одним из эпиграфов этой книги, что пролетарский интернационализм потерпел поражение, но его дело победило.

Практика пролетарского интернационализма с наибольшей отчетливостью проявлялась в мировых революционных циклах. В рамках этой системы (национальная) всеобщая забастовка и восстание против (национального) государства воспринимались и действительно были элементами коммуникации между очагами борьбы и процессами освобождения, протекавшими в интернационалистском измерении. От Берлина до Москвы, от Парижа до Нью-Дели, от Алжира до Ханоя, от Шанхая до Джакарты, от Гаваны до Нью-Йорка движения протеста находили отклик и усиливали друг друга на всем протяжении XIX и XX века. Цикл протекал таким образом, что известия о восстании, начавшемся где-либо, распространялись и служили сигналом к действию в иных регионах, подобно тому как в прежние времена торговые корабли разносили вести о бунте рабов по островам Карибского моря, разжигая тлеющую искру пламени, которое уже невозможно было погасить. Для начала цикла было необходимо, чтобы получившие известия сумели «перевести» происходящее на свой язык, осознать себя участниками общей борьбы и таким образом добавить в цепочку еще одно звено. В некоторых случаях такого рода «перевод» был весьма сложен; например, когда в начале XX века китайские интеллектуалы услышали об антиколониальных выступлениях на Кубе и Филиппинах и сумели перевести их на язык собственных революционных проектов. В иных случаях он был гораздо более простым: так, движение за создание заводских советов, развернувшееся в Турине, в Италии, было прямым откликом на известия о победе большевиков в России. Взаимосвязь очагов борьбы предстает скорее не как отношения звеньев одной цепи, а как процесс рас-

пространения вируса, изменяющего свою форму, чтобы суметь приспособиться к любым условиям.

Было бы несложно составить хронологическую таблицу и обозначить на ней фазы подъема циклов. Начало первой волны пришлось на период после 1848 года, когда развернулась политическая агитация Первого Интернационала. Эта волна продолжилась в 1880-е и 1890-е гг., отмеченные созданием социалистических политических и профсоюзных организаций, и достигла своего пика после русской революции 1905 года и первого цикла антиимпериалистических выступлений, охвативших целый ряд стран¹¹. Вторая волна поднялась после русской революции 1917 года, за которой последовала цепь выступлений по всему миру. Вторую волну, с одной стороны, прервал фашизм, с другой — она была поглощена политикой Нового курса и антифашистскими фронтами. Наконец, третья волна началась вместе с Китайской революцией, была подхвачена освободительными движениями в Африке и Латинской Америке и в 1960-е отозвалась революционными взрывами по всему миру.

Эти мировые революционные циклы были реальным двигателем, стимулировавшим развитие капиталистических институтов и побуждавшим их к реформам и реструктуризации¹². Пролетарский, антиколониальный и антиимпериалистический интернационализм, борьба за коммунизм, нашедшие выражение во всех наиболее мощных революционных выступлениях XIX и XX века, стали прообразом и катализатором процессов капиталистической глобализации и формирования Империи. Таким образом, создание Империи явилось *ответом* на пролетарский интернационализм. И нет ничего диалектического или телеологического в том, что борьба масс превосходит и служит прообразом капиталистического развития. Наоборот, сама борьба оказывается демонстрацией созидательности желания, утопий живого опыта, работой историчности в качестве возможности — короче, борьба и есть сама реальность *res gestae*. Любая телеология выстраивается лишь по отношению к прошлому, когда событие уже свершилось, *postfestum*.

Борьба, ставшая предвестником и прообразом глобализации, была выражением силы живого труда, стремившегося к освобождению из-под гнета навязанных ему жестких территориализирующих систем. В борьбе с накопленным против него «мертвым» трудом «живой» труд всегда стремился к разрушению установленных территориализованных структур, национальных организаций и политических образов, державших его в своих застенках. Благодаря мощи живого труда, его неустанной деятельности и его детерриториализующему желанию этот процесс прорыва распахивает все окна истории. Если смотреть на события сквозь призму энергии масс, их желания и производства субъективности, то можно понять, каким образом глобализация, в той мере, в какой она осуществляет реальную де-

территориализацию сложившихся ранее структур эксплуатации и контроля, действительно создает условия для освобождения масс. Но как может быть реализован сегодня этот потенциал освобождения? Живо ли еще под руинами настоящего, под пеплом от пламени, поглотившего носителя пролетарского интернационализма, промышленный рабочий класс, то безграничное желание свободы, которое разрушило и похоронило национальное государство и определило переход к Империи? Что пришло на смену этому субъекту? В каком смысле можно говорить о том, что массы нового типа с их онтологической укорененностью становятся позитивным или альтернативным актором глобализации?

КРОТ И ЗМЕЯ

Мы должны понять, что сам субъект труда и революции претерпел глубокие изменения. Пролетариат стал иным по своему составу, и потому должно измениться и наше понимание пролетариата. В концептуальном плане мы понимаем *пролетариат* как широкую категорию, охватывающую всех тех, чей труд прямо или косвенно эксплуатируется и подчиняется капиталистическим нормам производства и воспроизводства¹³. В предшествующую эпоху понятие пролетариата преимущественно ограничивалось, а порой и полностью сводилось к понятию *промышленного рабочего класса*, типичным представителем которого служил занятый на предприятии, выпускающем серийную продукцию, рабочий мужского пола. Этому промышленному рабочему классу обычно отводилась ведущая роль среди прочих представителей труда (скажем, крестьянского или репродуктивного) как в экономических исследованиях, так и в политических движениях. Сегодня этот рабочий класс практически исчез из вида. Он не прекратил своего существования, но он уже не занимает привилегированное положение в капиталистической экономике и не играет главенствующую роль в составе пролетариата. Пролетариат стал иным, но это не значит, что он исчез. Скорее это означает, что перед нами вновь встала аналитическая задача понимания, каким теперь является состав пролетариата как класса.

Тот факт, что под пролетариатом мы понимаем *всех*, кто подвергается эксплуатации и подчинен капиталистическому господству, вовсе не должен означать, что пролетариат есть однородное и недифференцированное целое. На самом деле он расколот по многим направлениям посредством различий и стратификации. Какой-то труд является наемным, какой-то нет; какой-то ограничен заводскими стенами, другой не привязан жестко к какому-либо рабочему месту и рассредоточен в широком социальном пространстве. Какой-то труд ограничен восьмичасовым рабочим днем и сокращасовой рабочей неделей, какой-то занимает все время жизни, какой-

то обладает минимальной стоимостью, а какой-то оказывается вознесенным на вершину капиталистической экономики. Мы докажем (в разделе 3.4), что среди различных участников производства, действующих сегодня, аматериальная рабочая сила (трудящиеся, вовлеченные в коммуникацию, кооперацию, в производство и воспроизводство аффектов) постепенно занимает центральное положение как в системе капиталистического производства, так и в составе пролетариата. Наша точка зрения состоит в том, что все эти разнообразные формы труда в той или иной мере подчинены капиталистической дисциплине и капиталистическим производственным отношениям. Факт подчинения капиталу и участия в его воспроизводстве является тем, что определяет пролетариат как класс.

Необходимо конкретизировать формы борьбы, в которых этот новый пролетариат выражает свои желания и потребности. В последние полвека, в особенности на протяжении двух десятилетий, начиная с 1968 года и вплоть до момента падения Берлинской стены, реструктуризация и глобальная экспансия капиталистического производства сопровождались изменением форм борьбы пролетариата. Как уже было сказано, мирового революционного цикла, основанного на коммуникации и переводе общих желаний рабочих на язык восстания, больше не существует. Тот факт, что цикл как особая форма объединения множества очагов борьбы исчез, тем не менее не означает погружения в пустоту и хаос. Напротив, мы уже видим на мировой сцене яркие события, свидетельствующие о неприятии массами эксплуатации и означающие появление нового вида пролетарской солидарности и готовности к борьбе.

Рассмотрим наиболее радикальные и мощные выступления последних лет XX века: события на площади Тяньаньмынь в 1989-м, интифада против государства Израиль, майское восстание 1992 года в Лос-Анджелесе, восстание в Чьяпасе, начавшееся в 1994-м, серии забастовок, парализовавших Францию в декабре 1995-го и Южную Корею в 1996-го. Каждое из этих выступлений имело свои особенности и начиналось под давлением насущных региональных проблем таким образом, что они никак не могли быть соединены в единую глобальную цепь восстаний. Ни одно из этих событий не послужило началом революционного цикла, поскольку выражавшиеся ими желания и потребности не могли быть перенесены в иные контексты. Иными словами, (потенциальные) революционеры в других частях света не прислушались к событиям в Пекине, Наблусе, Лос-Анджелесе, Чьяпасе, Париже или Сеуле и не признали их сразу как свою собственную борьбу. Более того, эти выступления оказались не восприняты не только в иных контекстах, но не получили отзвука и не были поддержаны даже в ближайшем окружении и потому зачастую имели локальный характер и были очень непродолжительны, как короткие вспышки пламени. Это, несомненно, один из основных и требующих немедленного решения полити-

ческих парадоксов нашего времени: в наш век, чаще всего называемый веком коммуникаций, *борьба стала почти некоммуницируемой*.

Этот парадокс некоммуницируемости делает особенно сложной задачу понять и выразить ту власть, ту новую силу, которая присуща уже появившимся движениям протеста. Следует признать, что насколько протестные движения потеряли в широте охвата, продолжительности и коммуницируемости, настолько они выиграли в интенсивности. Следует признать также, что, хотя все эти выступления ставили перед собой локальные и быстро преходящие цели, они, тем не менее, подняли проблемы, далеко выходящие за пределы национальной значимости, проблемы, соответствующие новым особенностям имперского капиталистического регулирования. Так, например, в Лос-Анджелесе восстания были спровоцированы характерными для этого города расовыми противоречиями и случаями социального и экономического исключения по расовым мотивам, во многих отношениях специфическими для данной (пост)урбанистической территории, но события тотчас стали общезначимыми в той мере, в какой они выражали неприятие постфордистского режима социального контроля. Так же как и в определенных отношениях интифада, лос-анджелесские бунты показали, как упадок фордистской системы регулирования труда и механизмов социального посредничества сделал столь ненадежным управление территориями крупных городских центров с их населением, неоднородным в социальном и расовом отношении. Грабежи и поджоги, уничтожение собственности были не просто метафорами, а настоящим, имеющим значимость в глобальном масштабе условием изменчивости и неустойчивости постфордистских механизмов социального посредничества". В Чьяпасе восстание тоже было направлено прежде всего на решение местных проблем: исключения и отсутствия представительства, характерных для мексиканского общества и государства и в определенной мере издавна присущих расовым иерархиям в большинстве стран Латинской Америки. Тем не менее восстание сапатистов было одновременно борьбой, непосредственно направленной против социальной системы, навязанной НАФТА, и вообще против систематического исключения и подчинения, свойственных региональным сегментам мирового рынка¹⁵. Наконец, как и в Сеуле, целью массовых забастовок в Париже и по всей Франции в конце 1995 года были специфические локальные и национальные проблемы трудовых отношений (такие как пенсионное обеспечение, вопросы заработной платы и безработица), но сразу было понятно, что выступление одновременно направлено против нового социального и экономического устройства Европы. Забастовки во Франции прежде всего обозначили необходимость в новом понятии общественного, в создании нового публичного пространства, противостоящего неолиберальным механизмам приватизации, которые везде в той или иной мере сопутствуют проекту капиталистической гло-

бализации¹⁶. По всей видимости, именно потому, что все эти выступления некоммуницируемы и тем самым лишены возможности распространяться вширь, по горизонтали, образуя цикл, они вынуждены были устремиться по вертикали и напрямую затронуть глобальный уровень.

Следует признать, что это не возникновение нового мирового революционного цикла, но скорее появление качественно новых общественных движений. Иными словами, мы должны признать принципиальную новизну характеристик, свойственных всем этим протестным движениям, несмотря на их бесконечное многообразие. Во-первых, хотя причиной любого выступления всегда служат местные проблемы, оно тут же перемещается на глобальный уровень и направляется против имперского устройства в его всеобщности. Во-вторых, все выступления разрушают представления о традиционных различиях между экономической и политической борьбой. Борьба сразу начинается как экономическая, политическая, культурная — и, следовательно, она становится биополитической борьбой, борьбой за форму жизни. Она становится борьбой созидательной, создающей новые публичные пространства и новые формы общности.

Мы должны все это признать, но это не так просто. Мы вынуждены согласиться, что даже когда мы пытаемся определить реальную новизну данной ситуации, то не можем отрешиться от навязчивого впечатления, будто эти выступления выглядят устаревшими, несвоевременными, анахроничными. Участники выступления на площади Тяньаньмынь использовали демократическую риторику, давно вышедшую из моды; их гитары, банданы, палатки и лозунги выглядели слабым эхом событий в Беркли в 1960-е гг. Бунты в Лос-Анджелесе тоже были похожи на повторный толчок после землетрясения расовых конфликтов, сотрясавших Соединенные Штаты в те же 1960-е. А забастовки в Париже и Сеуле, кажется, возвращают нас во времена работников массового производства, как если бы они были последним вздохом умирающего рабочего класса. Все эти выступления, на самом деле отмеченные существенными элементами новизны, уже с самого начала выглядят устаревшими и старомодными именно потому, что они не взаимосвязаны и не влияют друг на друга, поскольку их языки непереводимы. Эти выступления никак не коммуницируют друг с другом, несмотря на то что много сведений о них имеется в Интернете, они исключительно широко освещаются телевидением и другими средствами массовой информации, какие только можно вообразить. Снова мы сталкиваемся с парадоксом некоммуницируемости.

Несомненно, мы можем установить причины, препятствующие слиянию очагов борьбы, взаимосвязанности выступлений протеста. Одна из таких причин — отсутствие признанного общего врага, против которого направлены все эти выступления. Пекин, Лос-Анджелес, Наблус, Чьяпас, Париж, Сеул: все эти события представляются совершенно разрозненны-

ми, но фактически все они прямо направлены против глобального порядка Империи и на поиск реальной альтернативы. Таким образом, разъяснение природы общего врага становится насущной политической задачей. Второе препятствие, которое на самом деле вытекает из первого, состоит в том, что у протестных выступлений нет единого языка, который мог бы «переводить» особый язык каждого выступления на язык универсальный, «космополитический». Акции протеста в других частях света, да и наши собственные выступления оказываются выражены никому не понятным, чужим языком. Это также указывает на важную политическую задачу: создать новый общий язык, который будет способствовать коммуникации, как в прежние времена ей служил язык антиимпериализма и пролетарского интернационализма. Возможно, это должен быть новый вид коммуникации, который действует не на основании сходства, а на основании различий: коммуникация сингулярностей.

Признание общего врага и создание общего языка борьбы — безусловно, важные политические задачи, и мы, насколько сможем, попытаемся решить их в нашей книге, но интуиция подсказывает нам, что в конечном счете это направление исследований не в состоянии раскрыть реальный потенциал новых протестных движений. Иначе говоря, интуиция подсказывает, что модель цикла как формы «горизонтальной» взаимосвязи различных очагов борьбы более не адекватна для понимания того пути, которым современные акции протеста достигают всеобщей значимости. Такая модель, по сути, не позволяет нам увидеть их действительно новый потенциал.

Маркс пытался представить целостность цикла, образованного выступлениями пролетариата в Европе в XIX веке, в образе глубоко роющего крота истории. Крот Маркса должен был подниматься на поверхность во времена открытого классового конфликта, а затем вновь возвращаться под землю — но не для того, чтобы пребывать в спячке, а для того, чтобы рыть дальше, двигая историю вперед и выжидая время (1830, 1848, 1870), когда он сможет вновь выйти на свет. «Ты хорошо роешь, старый крот!»¹⁷ Признаться, мы полагаем, что старый крот Маркса раз и навсегда умер. На самом деле нам кажется, что сейчас, в процессе становления Империи, разветвленные ходы крота сменяются бесконечными изгибами змеи¹⁸. В постсовременную эпоху глубины мира современности и его подземные ходы вышли на поверхность. Сегодня выступления протеста безмолвно скользят по поверхности, по неглубоким имперским ландшафтам. Возможно, что некоммуницируемость выступлений, нехватка хорошо структурированных коммуникативных тоннелей есть скорее достоинство, чем недостаток — поскольку каждое из движений протеста само выполняет работу разрушения, не ожидая какой-либо помощи извне или расширения масштабов протеста как условия своего успеха. Возможно, что чем больше

капитал распространяет свои сети глобального производства и контроля, тем большую мощь способен обрести каждый очаг восстания. Просто направляя силы в одну точку, концентрируя свои энергии как тугую, сжатую спираль, эти выступления броском змеи наносят удар прямо по высшему выражению имперского порядка. Империя представляет собой мир поверхностей, виртуальный центр которого может быть непосредственно достигнут из любой его точки, из любого очага сопротивления. Если бы эти очаги борьбы могли образовать нечто вроде нового цикла, это был бы цикл, определяемый не взаимосвязью выступлений, а скорее их единичным проявлением, интенсивностью, характерной для каждого из них по отдельности. Коротко говоря, новая фаза определяется тем, что выступления протеста не связаны по горизонтали, но каждое из них совершает прорыв ввысь, по вертикали, прямо к виртуальному центру Империи.

С точки зрения революционной традиции можно было бы возразить, что все тактические успехи революций XIX-XX веков характеризовались способностью разрывать именно *самое слабое звено* в цепи империализма, что это азбука революционной диалектики, и таким образом сегодняшняя ситуация выглядит не слишком обнадеживающей. Безусловно верно, что сегодня движения протеста, выступающие в обличье змеи, не позволяют говорить о какой бы то ни было ясной революционной тактике, а может быть их вообще нельзя объяснить с тактической точки зрения. Если мы сталкиваемся с целым рядом активных социальных движений, ставящих целью разрушение существующего порядка и направляющих свой удар на высшие уровни имперской организации, то, может быть, и нет смысла настаивать на старом различии между стратегией и тактикой. В устройстве Империи для власти больше нет «внешнего», то есть больше нет слабых звеньев, — если под слабым звеном мы подразумеваем внешнюю точку, в которой глобальная власть оказывается уязвимой". Чтобы выступление протеста имело смысл, оно должно быть направлено прямо в сердце Империи, в ее точку силы. Однако этот факт не дает преимуществ какому-то определенному региону, как если бы только социальные движения в Вашингтоне, Женеве или Токио могли бы быть направлены в сердце Империи. Напротив, — ее устройство, глобализация экономических и культурных отношений предполагают, что виртуальный центр Империи может быть атакован из любой точки. Заботы о тактике, присущие старой революционной школе, здесь совершенно излишни, единственно возможной стратегией борьбы становится формирование мощной конститутивной контрвласти внутри самой Империи.

Те, кому трудно принять новизну и революционный потенциал данной ситуации, вставая на точку зрения участников протестных движений, могли бы их легче признать с позиции имперской власти, вынужденной реагировать на выступления протеста. Даже когда отдельные выступления

никоим образом не коммуницируют друг с другом, к ним, тем не менее, приковано маниакальное критическое внимание Империи²⁰. Они изучаются в качестве уроков в аудиториях, где готовится управленческий персонал, или в кабинетах правительства — в качестве уроков, требующих применения репрессивных инструментов. Самый главный урок состоит в том, что если процессы капиталистической глобализации должны идти и дальше, то подобные события не могут повторяться. Однако эти выступления имеют свой собственный вес, свою особую интенсивность, и, более того, они имманентны способам осуществления имперской власти и процессам ее совершенствования. Они сами способствуют процессам глобализации. Имперская власть злословит, браня любую попытку борьбы, стремясь околдовать протестующих пассивностью, создать их мифический образ, но, что не менее важно, одновременно она пытается понять, разобраться, какие процессы глобализации возможны, а какие нет. Таким противоречивым и парадоксальным образом имперские процессы глобализации принимают эти события, признавая в них как возможности проверки инструментов власти Империи, так и пределы их применения. Процессов глобализации не было бы или же они просто остановились бы, если бы на их пути не вставали и одновременно не продвигали их вперед эти взрывы недовольства масс, непосредственно затрагивающие высшие уровни имперской власти.

ДВУГЛАВЫЙ ОРЕЛ

Герб Австро-Венгерской Империи — двуглавый орел — может дать нам вполне точное первоначальное представление о современной форме Империи. Однако если на гербе Австро-Венгрии обе головы смотрели в разные стороны, символизируя относительную самостоятельность и мирное сосуществование соответствующих территорий, то в нашем случае обе головы должны быть повернуты внутрь и изображаться атакующими друг друга.

Одна голова имперского орла — это правовое устройство и конституированная власть, созданная машиной биополитического господства. Юридический процесс и имперская машина всегда проникнуты противоречиями и подвержены кризисам. Мир и порядок — которые Империя провозглашает своими наивысшими ценностями — никогда не могут быть достигнуты, но, тем не менее, непрестанно выдвигаются в качестве ориентиров. Процесс формирования Империи в его правовом аспекте имеет характер постоянного кризиса, который считается (по крайней мере, наиболее пронизательными теоретиками) платой за ее собственное развитие. Однако и у кризиса есть свои положительные стороны. Непрерывное расширение Империи и ее постоянное стремление ко все более прочному кон-

тролю за всей сложностью и глубиной биополитической сферы заставляют имперскую машину, когда она, как кажется, разрешила один конфликт, тут же обращаться к другим. Она пытается привести их в соответствие со своим проектом, но они снова возникают как несоизмеримые, вместе со всеми элементами новой территории Империи, мобильными в пространстве и изменчивыми во времени.

Другая голова имперского орла — это плюралистическое множество участвующих в процессе производства, креативных субъектностей глобализации, научившихся плавать в этом огромном море. Они пребывают в непрерывном движении и образуют самые разнообразные сочетания сингулярностей и событий, вынуждающих систему непрестанно видоизменяться в глобальном масштабе. Это непрерывное движение может быть территориальным, но оно может быть также обращено к изменению форм и процессам смешения и гибридизации. Отношения между «системой» и «внесистемными движениями» не могут быть сглажены никакой логикой соответствия в этой непрестанно меняющейся атопии²¹. Даже внесистемные элементы, созданные массами нового, постсовременного типа, на самом деле оказываются глобальными силами, неспособными установить с системой соизмеримые отношения, хотя бы и инвертированные. Любой мятеж, любое восстание, врывающееся в порядок имперской системы, вызывает потрясение всей системы в целом. С этой точки зрения институциональные рамки, в которых мы существуем, характеризуются доведенной до крайности случайностью и неустойчивостью, то есть фактической невозможностью предвидеть *последовательности событий* — последовательности все более сжатые и краткие по времени и потому все менее контролируемые²². Империи становится намного сложнее вмешиваться в непредсказуемые последовательности событий, когда ход времени ускоряется. Наиболее значимым моментом, присущим нынешним выступлениям протеста, стало их ускоренное развертывание, неожиданная быстрота событий, зачастую кумулятивного свойства, что способно делать их практически одновременными, взрывами, в которых проявляется онтологическая по сути сила и внезапность нападения на самый центр имперского равновесия.

Подобно тому, как Империя, демонстрируя свои силы, способствует постоянным системным изменениям, точно так же в последовательности выступлений протеста появляются новые образы сопротивления. Это еще одна важнейшая черта существования масс сегодня, *внутри* Империи и *против* Империи. Новые формы протеста и новые субъектности создаются стечением событий, всеобщим номадизмом, общим смешением индивидов, народов, рас и населения, технологическими метаморфозами имперской биополитической машины. Эти новые образы и типы субъектности создаются потому, что движения протеста действительно имеют антисис-

темный характер, они направлены не *просто против* имперской системы — это не просто негативные силы. Они также выражают, формируют и развивают свои собственные позитивные конститутивные проекты; они работают ради освобождения живого труда, создавая разнообразные сочетания могущественных сингулярностей. Конститутивным моментом этого движения масс, в их мириадах лиц, является действительно позитивная область исторического возникновения Империи. И это — не позитивность историцизма, но наоборот, это позитивность *res gestae* масс, противоборствующая и созидательная позитивность. Детерриториализующая сила масс есть производительная сила, которая укрепляет Империю и в то же самое время взывает к ее разрушению, делая его необходимым.

Здесь, однако, мы должны признать, что наша метафора теряет смысл и двуглавый орел на самом деле не является точным символом отношений между Империей и массами, поскольку при данной символике они обозначаются как сущности одного порядка и, тем самым, не признаются действительные иерархии и разрывы, определяющие отношения между ними. Согласно одной трактовке, Империя имеет явное превосходство над массами и подчиняет их власти своей всеохватывающей машины, подобно новому Левиафану. Однако в то же самое время с точки зрения общественной производительности и креативности, с той точки зрения, которую мы называем онтологической, иерархия выглядит прямо противоположной. Массы являются реальной производительной силой нашего социального мира, тогда как Империя оказывается просто аппаратом захвата, существующим лишь за счет витальности масс. Империя — это, как сказал бы Маркс, паразитическая власть накопленного мертвого труда, озабоченная лишь тем, чтобы выжать побольше крови из труда живого.

Приняв эту онтологическую точку зрения, мы можем вернуться к юридической системе, которую уже рассматривали ранее, и понять, чего же на самом деле недостает для перехода от международного публичного права к новому публичному праву Империи, то есть к новой концепции права, определяющей Империю. Иными словами, фрустрации и постоянная нестабильность, от которых страдает имперское право, пытаюсь разрушить старые ценности, служившие точками опоры для международного публичного права (национальные государства, вестфальская модель мира, ООН и т. д.), вместе с так называемой турбулентностью, сопутствующей этому процессу, оказываются признаками собственно *онтологического изъяна, онтологической неполноты*. В то время как власть заявляет о себе как о наднациональной силе, она выглядит лишенной какой-либо реальной опоры, или, скорее, ей не хватает мотора, движущего ее вперед. Таким образом, господство биополитического контекста Империи нужно рассматривать в первую очередь как машину на холостом ходу, машину, рассчитанную на внешний эффект, машину-паразит.

Империя, ее устройство, получают новый смысл, смысл своего бытия благодаря созидательному движению масс, или, в действительности, он всегда присутствовал в этом процессе в качестве альтернативной парадигмы. Такой смысл всегда был внутренне присущ Империи, подталкивая ее развитие, но не в качестве негатива, из которого получается позитив, либо еще какого-то подобного диалектического решения. Он скорее действует как абсолютно позитивная сила, подталкивающая нынешнюю имперскую власть к абстрактной и лишенной содержания унификации, явной альтернативой которой он и выступает. С этой точки зрения, когда конституированная власть Империи оказывается просто отсутствием бытия и производства, пустой абстракцией и неясным следом конститутивной, созидательной власти масс, мы можем обозначить нашу истинную позицию, лежащую в основе исследования. Эта позиция одновременно тактическая и стратегическая, поскольку между стратегией и тактикой уже не осталось различий.

ПОЛИТИЧЕСКИЙ МАНИФЕСТ

В замечательном тексте, написанном во время заключения, Луи Альтюссер, читая Макиавелли, задает себе вполне справедливый вопрос о том, можно ли считать Государя революционным политическим манифестом¹. Чтобы ответить на этот вопрос, Альтюссер пытается сначала определить «форму манифеста» как особого жанра, сопоставляя особенности Государя и Манифеста Коммунистической партии Маркса и Энгельса, ставшего образцом данного жанра. Между этими двумя документами он обнаруживает неоспоримое структурное сходство. В обоих текстах способ аргументации строится посредством «совершенно особого аппарата [dispositif], устанавливающего особые отношения между дискурсом и его „объектом“ и между дискурсом и его „субъектом“» (р. ss) – В каждом случае дискурс рождается из отношения между субъектом и объектом по поводу производства, из того, что это отношение само является точкой зрения res gestae, коллективным действием, направленным на свою цель и имеющим обоснование в себе самом. Короче говоря, оказываясь явно чуждыми традиционной политической науке (как в ее классической форме, которая на самом деле была исследованием форм правления, так и нынешней, ставшей наукой управления), манифесты Макиавелли и Маркса-Энгельса определяют политическое как движение масс и видят целью политики самопроизводство субъекта. Здесь мы имеем дело с материалистической телеологией.

¹ Несмотря на значительное сходство, продолжает Альтюссер, между двумя манифестами имеются существенные различия. Основное из них состоит в том, что в тексте Маркса-Энгельса субъект, чьи интересы выра-

жаются манифестом (пролетариат эпохи современности), и объект (коммунистическая партия и коммунизм) представлены как совместно данные таким образом, что растущая организованность первого влечет за собой возникновение последнего; в проекте же Макиавелли субъект (массы) и объект (Государь и свободное государство) непреодолимым образом отделены друг от друга. Эта дистанция приводит Макиавелли в Государе к поискам демократического аппарата, способного связать субъект и объект. Иными словами, если манифест Маркса-Энгельса лишь отражает линейный и необходимый ход событий, то текст Макиавелли предстает скорее как программа и утопия. Наконец, Альтюссер признает, что оба текста успешно выводят теоретические положения на уровень практики; они воспринимают настоящее открытым для будущего, «*vide pour la future*» (р. 62), и утверждают в этом открытом пространстве имманентное действие субъекта, создающего новое состояние бытия.

Однако достаточно ли этого выбора поля имманенции для того, чтобы определить форму манифеста, который задал бы вид и способ политического дискурса, адекватного мятежному субъекту постсовременности? Ситуация постсовременности оказывается в высшей степени парадоксальной, если рассматривать ее с биополитической точки зрения, то есть понимаемой как неразрывное кругообращение жизни, производства и политики всецело, в глобальном масштабе, подвластное капиталистическому способу производства. С одной стороны, в этой ситуации все силы общества стремятся к тому, чтобы действовать в качестве производительных сил, но, с другой стороны, те же самые силы подчинены глобальному господству, которое становится все более и более абстрактным и поэтому безразличным к сущностной стороне функционирования аппарата воспроизводства жизни. Постсовременность действительно достигла «конца истории», но так, что одновременно парадоксальным образом все силы человечества оказались призваны содействовать глобальному воспроизводству труда, общества и жизни. В этих рамках политика (если она понимается как администрирование и управление) теряет всю свою прозрачность. При помощи институциональных процессов упорядочения, установления норм власть скорее скрывает, нежели проявляет и объясняет отношения, определяющие ее контроль над жизнью и обществом.

Как же можно возобновить в этой ситуации революционный политический дискурс? Как ему обрести новую последовательность и наполнить возможный манифест новой материалистической телеологией? Как сможем мы создать аппарат, воссоединяющий субъект (массы) и объект (освобождение человечества в его единстве) в эпоху постсовременности? Очевидно, что достичь этого невозможно, даже если полностью принять идею поля имманенции, просто следуя указаниям манифеста Маркса-Энгельса. В холодном спокойствии постсовременности то, что Маркс и Энгельс

рассматривали как совместную данность субъекта производства и процесса освобождения, совершенно невозможно себе представить. Однако с точки зрения постсовременности манифест Макиавелли, похоже, вновь приобретает актуальность. С небольшой натяжкой проблему, вслед за Макиавелли, можно сформулировать таким образом: как производительному труду, рассредоточенному по различным сетям, обрести центр? Как материальному и аматериальному производству множества умов и тел сформировать обций смысл и направление, или, скорее, как стремлению преодолеть дистанцию превращением масс в субъект и созданием демократическогополитическогоаппаратаобрестисвоегосударя?

Однако эта аналогия в конечном счете оказывается неудовлетворительной. В концепции государя Макиавелли сохраняется утопическая идея, отдаляющая его проект от субъекта, идея, которая, несмотря на радикальную имманентность метода, переводит политическую функцию в более высокую плоскость. В условиях же постсовременности освобождение, напротив, должно быть достигнуто внутри этого мира, в плоскости имманентного, без малейшей возможности обращения к чему-либо внешнему, даже если это внешнее — утопия. Та форма, в которой политическое должно быть выражено как субъективность, сегодня еще не совсем ясна. Решение этой проблемы теснее соединило бы субъект и объект проекта, поставив их в отношения имманентности гораздо более глубокие, нежели те, что предполагались Макиавелли или Марксом и Энгельсом, иными словами, включило бы их в процесс самопроизводства.

Пожалуй, нам следует заново ввести понятие материалистической телеологии, выдвинутое Спинозой на заре современности, когда он сказал, что пророк создает свой народ¹. Возможно, вместе со Спинозой нам следует признать желание пророчества непреодолимым и растущим по мере того, как сами массы становятся пророком. Остается не вполне понятным, насколько в действительности эта пророческая функция соответствует нашим политическим потребностям и может вдохновить будущий манифест постсовременной революции против Империи, но определенные аналогии и парадоксальные совпадения все же представляются поразительными. Например, когда Макиавелли предполагает, что проект создания нового общества снизу требует «оружия» и «денег» и настаивает на том, что их необходимо изыскать вовне, Спиноза возражает: «Разве мы уже не обладаем ими? Разве необходимое оружие не скрывается именно внутри самой созидательной и пророческой власти масс?» Может, и нам, проникнувшись революционным желанием постсовременности, в свою очередь ответить: *Разве мы уже не обладаем „оружием“ и „деньгами“? Деньги, на необходимости которых так настаивает Макиавелли, на самом деле могут быть найдены в производительности масс, непосредственного действующего лица биополитического производства и воспроизводства. Оружием, о кото-

ромидетречь, может являться способность саботировать и разрушать своей собственной производительной силой паразитический порядок пост-современной власти.

Сегодня манифест, политический дискурс, должен возвыситься до пророческой роли, о чем говорил Спиноза, до роли имманентного желания, организующего массы. В конце концов, здесь нет никакой предопределенности или утопии: это, скорее, радикальная контрвласть, онтологически основанная не на какой-то там «vide pour le futur», открытости для будущего, а на действительной активности масс, их творчестве, производстве и власти — это материалистическая телеология.

ЧАСТЬ 2

ПЕРЕХОДЫ СУВЕРЕНИТЕТА

2.1 ДВЕ ЕВРОПЫ, ДВЕ СОВРЕМЕННОСТИ

Утверждаете ли вы непогрешимость и выводите из нее суверенитет или сначала устанавливаете суверенитет, а потом из него выводите непогрешимость, в любом случае вам приходится признать и одобрить абсолютную власть. Тот же самый результат возникает вследствие угнетения со стороны правительств или разума философов, делаете ли вы сувереном народ или короля.

Франсуа Гизо

В Вене в начале XX века, персонаж романа Роберта Музиля *Человек без свойств*, просвещенный венский аристократ, граф Лейнсдорф, распутывая загадки современности, наталкивается на главный парадокс: «Чего я никак не могу понять: что люди должны любить друг друга и что правительству нужна для этого сильная рука, это ведь всегда знали, — так почему же вдруг вопрос тут должен стоять: „либо — либо“?»¹ Для человеколюбивых героев мира Музиля в самом центре современности существует конфликт между имманентными силами желания и братства, любви к общности, с одной стороны, и сильной рукой все себе подчиняющей власти, силой, устанавливающей порядок на социальном поле, — с другой. Эта напряженность должна была быть или разрешена, или, по меньшей мере, опосредована суверенитетом государства, и, тем не менее, она постоянно возникает вновь и вновь в виде дилеммы: свобода или рабство, освобождение или подчинение желания. Граф Лейнсдорф с присущей ему пронизательностью определяет противоречие, которое, находясь в самом центре понятия суверенитета, пронизывает всю европейскую современность.

Проследивая возникающий образ идеи суверенитета в различных течениях европейской философии эпохи современности, позволим себе признать в том, что Европа и современность не являются единными, мирно существующими образованиями, но с самого начала пронизаны борьбой, конфликтом и кризисом. Мы выделяем в структуре европейской современности три момента, которые выражают первоначальный образ свойственного ей представления о суверенитете: во-первых, революционное открытие плана имманенции; во-вторых, реакцию на эти имманентные силы и кризис формы власти; в-третьих, частичное и временное разрешение этого кризиса путем создания современного государства в качестве главного носителя суверенитета, трансцендирующего и опосредующего поле

имманентных сил. В этом движении сама европейская современность становится все более и более неотделимой от принципа суверенитета. К тому же, о чем, собственно, и сокрушается граф Лейнсдорф, даже в наивысшей точке современности это изначальное напряжение прорывается наружу во всей своей силе.

Суверенитет в его современном понимании есть европейское понятие в том смысле, что оно возникло в Европе вместе с самой современностью. Оно послужило краеугольным камнем европоцентризма. Хотя суверенитет, характерный для современности, ведет свое происхождение из Европы, он был рожден и развивался по большей части в ее отношениях с внешним миром, особенно тех отношениях, что формировались в рамках колониального проекта и сопровождавшего его реализацию сопротивления колонизируемых. В этом случае суверенитет современного государства возникает как идея европейской реакции и европейского господства как внутри, так и вне его границ. Это две стороны одного процесса: господство внутри Европы и европейское господство в мире.

РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПЛАН ИММАНЕНЦИИ

Все началось с революции. Между 1200 и 1600 гг. в Европе на пространствах, подвластных лишь купцам да армиям, пространствах, которые впоследствии смогло сблизить и объединить лишь изобретение печатного станка, произошло нечто необычное. Люди объявили себя хозяевами собственной жизни, творцами общества и истории, создателями небес. Они унаследовали дуалистическое сознание, иерархическое видение общества и метафизическое представление о науке; но будущим поколениям они передали идею эмпирической науки, убежденность в том, что история творится людьми, а общество есть продукт договора, также они создали представление о бытии как об имманентной сфере знания и действия. В этот изначальный период особый тип мышления, родившегося одновременно в политике, науке, искусстве, философии и богословии, демонстрирует радикализм сил, действующих в эпоху современности.

Истоки европейской современности обычно связывают с процессом секуляризации, не признающим божественного или трансцендентного авторитета над делами мирскими. Этот процесс был, безусловно, важен, но, с нашей точки зрения, он служил лишь выражением явления, давшего начало современности: утверждения силы этого мира, открытия плана имманенции. «Omne ens habet aliquod esse proprium» — у каждого сущего особая суть². Утверждение Дунса Скота разрушает средневековую концепцию аналогии бытия и, следовательно, его дуалистичности, представление о бытии как стоящем одной ногой в этом мире, а другой — в сфере трансцендентного. Это происходит в начале XIV столетия, в разгар кризиса поздне-

! 1
! I
;
/

го Средневековья. Дуне Скот говорит своим современникам, что смятение и упадок времен можно преодолеть, лишь обратив мысль к сингулярности, к единичному характеру бытия. И эта сингулярность оказывается не эфемерной или случайной, но онтологической. Сила его утверждения и то воздействие, которое оно оказало на мышление эпохи, наглядно проявились в отклике на него Данте Алигьери, жившего за тысячи миль от британского севера, родины Дунса Скота. Единичное бытие сильно тем, что оно дает импульс к реализации «*totam potentiam intellectum possibilis*» — всей мощи «возможного интеллекта»³. С рождением европейской современности человечество обнаружило свою власть над миром и превратило это чувство собственного достоинства в новое понимание разума и своих возможностей.

В XV веке многочисленные авторы показали внутреннюю последовательность и революционную новизну этого имманентного онтологического знания. Просто прислушаемся к трем характерным высказываниям. Первое принадлежит Николаю Кузанскому: «Размышление является движением интеллекта от *quia est* к *quid est*, и, поскольку *quid est* бесконечно удалено от *quia est*, оно никогда не остановится. Это движение доставляет немалое удовольствие, ибо оно — сама жизнь интеллекта; в этом оно находит свое удовлетворение, ибо не вызывает усталости, но рождает тепло и свет»⁴. Вторым будет высказывание Пико делла Мирандолы: «Когда ты полагаешь Бога живым и ведающим, прежде всего смотри, чтобы жизнь и знание, приписываемые ему, были лишены всех этих недостатков... Вообрази также познание, которым бы все вместе познавалось совершеннейшим образом. Присовокупи и то, что познающий познает это все в себе, не ища вне себя познаваемую истину, что он сам есть истина»⁵. Таким образом, Пико делла Мирандола вместо того, чтобы размышлять о далеком трансцендентном Боге, превращает человеческий разум в божественную машину познания. Наконец, Бовилл: «Тот, кто по природе своей был просто человеком [*homo*], благодаря своему творческому дару становится дважды человеком — *homohomo*»⁶. Благодаря могуществу творчества и практической деятельности человечество обогащает и «удваивает» себя, то есть наделяет себя большим могуществом: становится *homohomo*, человечеством, удвоившим свои силы.

Таким образом, у истоков современности знание сместилось от плана трансценденции к плану имманенции, и, следовательно, человеческое знание стало действием, практикой преобразования природы. Френсис Бэкон создал мир, в котором «точно так же все то, что до сих пор было найдено в искусствах и науках, — это вещи такого рода, которые могли быть добыты практикой, размышлением, наблюдением, рассуждением, ибо они близки к чувствам и лежат почти под самой поверхностью обычных понятий; но прежде чем удастся причалить к более удаленному и сокровенному в

природе, необходимо ввести лучшее и более совершенное употребление человеческого духа и интеллекта»⁷. В этом процессе, утверждает Галилео Галилей (замыкая наш круг *de dignitate hominis*), у нас есть возможность обрести знание, равное божественному:

Если взять познание интенсивно, то, поскольку термин «интенсивное» означает совершенное познание какой-либо истины, я утверждаю, что человеческий разум познает некоторые истины столь совершенно и с такой абсолютной достоверностью, какую имеет сама природа; таковы чистые математические науки, геометрия и арифметика; хотя божественный разум знает в них бесконечно больше истин, ибо он объемлет их все, но в тех немногих, которые постиг человеческий разум, я думаю, его познание по объективной достоверности равняется божественному⁸.

Революционным в этом ряду философских открытий с XIII по XVI столетие было то, что силы созидания, прежде отданные в исключительное распоряжение небес, были возвращены на землю. Это и есть открытие полноты плана имманенции.

Точно так же как в философии и науке, в политике человечество на заре современности вновь обрело то, что было отнято у него средневековой трансценденцией. На протяжении трех или четырех столетий процесс утверждения власти на новой основе, на основе идеи естественного человека и практики действия множества сингулярностей осуществлялся с огромным усилием, неся с собой ужасные трагедии и героические победы. Например, Уильям Оккам утверждал, что церковь — это множество верующих: «*Ecclesia est multitudo fidelium*», имея в виду, что она не отделена от сообщества христиан и не стоит над ним, но имманентна ему. Марсилиус Падуанский дал то же самое определение Государству: власть Государства и власть его законов исходят не от высших принципов, а от собрания граждан¹⁰. Новое понимание власти и новая идея освобождения были приведены в движение: от Данте и апологии мощи «возможного интеллекта» времен позднего Средневековья до Томаса Мора и восхваления «безмерной и непостижимой мощи» естественной жизни и труда как основы политической организации; от демократии протестантских церквей до Спинозы и его представления об абсолютном характере демократии. Ко времени Спинозы горизонт имманентности фактически полностью совпадает с горизонтом демократического политического порядка. План имманенции — это место, где воплощаются в жизнь силы сингулярного, где истина нового человечества определяется исторически, технически и политически. Именно потому, что не может быть никакого внешнего посредничества, сингулярное предстает в виде множества".

У своих истоков современность была революционной, она низвергла старый порядок. Сутью и интенцией современности была не оторванная

от жизни теория, а основанные на теории действия, неразрывно связанные с изменением практики и действительности. Тела и души были глубочайшим образом преобразованы. Этот исторический процесс субъективации был революционным в том смысле, что определил парадигматические и необратимые изменения в образе жизни масс.

СОВРЕМЕННОСТЬ КАК КРИЗИС

Современность — это не единое понятие, оно является по меньшей мере в двух образах. Первый из них — тот, что мы уже определили как радикальный революционный процесс. Эта современность порывает связи с прошлым и провозглашает имманентность новой парадигмы мира и жизни. Она развивает знание и действие как научное экспериментирование и определяет стремление к демократической политике, ставя человека и желание в центр истории. От ремесленника до астронома, от торговца до политика, в сфере искусства и религии — везде новая жизнь перекраивает материю существования.

Однако это новое явление породило войну. Да и как мог столь радикальный переворот не привести к сильнейшему антагонизму? Могла ли революция не привести к контрреволюции? Действительно имела место контрреволюция в собственном смысле этого слова: культурная, философская, интеллектуальная и политическая инициатива, которая, не имея уже возможности ни вернуться к прошлому, ни сломить новые силы, стремилась подчинить и присвоить себе мощь возникающих движений и изменений. Это и есть второй образ современности, предназначенный вести войну против новых сил и установить над ними всеобъемлющую власть. Он возник внутри самой революции Возрождения, чтобы изменить ее направление, перенести новый образ человечества в план трансценденции, релятивизировать возможности науки по преобразованию мира и прежде всего противостоять новому захвату власти массами. Второй образ современности противопоставляет трансцендентную конституированную, данную от века власть, имманентной конститутивной, основанной на договоре власти, порядок — желанию. Таким образом, Возрождение закончилось войной — религиозной, общественной, гражданской.

Европейское Возрождение, и прежде всего итальянское Возрождение, с его блестящими и порочными свершениями было поприщем гражданской войны за воплощение в жизнь современности. Реформация распространилась по всей Европе, как новый ураган, идущий вслед первому и несущий религиозному сознанию масс культуру гуманизма, облаченную в иную форму. Таким образом, гражданская война наполнила народную жизнь и проникла в самые сокровенные уголки человеческой истории. В этой сфере разворачивалась и классовая борьба, соединяя в генезисе капитализма

творческую суть нового способа труда и новый порядок эксплуатации, создавая общую логику, сводящую воедино свидетельства прогресса и реакции. Это была битва титанов, подобная той, что изобразил Микеланджело на сводах Сикстинской капеллы: трагический конфликт рождения современности.

Революция европейской современности закончилась Термидором. В борьбе за гегемонию над парадигмой современности победа досталась ее второму образу и тем силам порядка, что стремились нейтрализовать мощь революции. Хотя нельзя уже было вернуться к прежнему положению вещей, тем не менее оказалось возможным вновь восстановить идеологию принуждения и власти и таким образом утвердить новую трансцендентную власть, играя на тревогах и страхе масс, на их желании уменьшить жизненную неопределенность и усилить безопасность. Революцию нужно было остановить. На протяжении всего XVI столетия всякий раз, когда бы результаты революции не проявлялись во всем своем блеске, — сцена должна была быть окрашена в мрачные тона. Главным стало требование мира — но какого мира? В то время как Тридцатилетняя война выявила в наиболее чудовищных формах очертания этого необратимого кризиса, даже сознание самых мудрых и стойких смирилось с неотвратимостью Термидора и условиями этого убогого и унижительного мира. Мир стал той ценностью, которая в короткий промежуток времени утратила гуманистические коннотации, сообщенные ей Эразмом Роттердамским и делавшие ее ранее путем к преобразованиям. Мир стал жалким условием выживания, насущной необходимостью избежать гибели. Этот мир отмечен усталостью от борьбы и переизбытка страстей. Термидор победил, революция завершилась.

Однако Термидор революции не прекратил, а лишь увековечил кризис. Гражданская война не завершилась, она стала частью понятия современности. *Сама современность определяется кризисом*, кризисом, порожденным непрекращающимся конфликтом между имманентными, конструктивными, созидательными силами и трансцендентной властью, стремящейся к восстановлению порядка¹². Этот конфликт является ключом к понятию современности, но он был успешно взят под контроль и ограничен. Культурные и религиозные революции были загнаны в жесткие, а порой и жестокие сдерживающие рамки. В XVII веке Европа стала опять феодальной. Контрреформистская католическая церковь стала первым и наиболее показательным примером этой реакции, ибо прежде сама эта церковь была поколеблена реформаторскими потрясениями и революционным желанием. Протестантские церкви и политические режимы ненадолго отстали от нее в деле производства контрреволюционного порядка. Костры суеверия загорелись по всей Европе. Тем не менее движения обновления продолжали в глубине свою освободительную работу. Где бы

пространства ни закрывались, движения обновления приобретали характер номадизма и исхода, неся с собой желание и чаяние свободы^{1*}.

Внутренний конфликт европейской современности вместе с тем отразился и в глобальном масштабе, как конфликт внешний. Развитие теоретической мысли эпохи Возрождения совпало с открытием европейцами Америки и началом европейского господства над остальным миром. Европа обнаружила окружающий ее мир, свое внешнее пространство. «Если период Ренессанса означает качественный перелом в истории человечества, — пишет Самир Амин, — то это прежде всего потому, что с этого времени к европейцам пришло осознание того, что покорение мира их цивилизацией является весьма вероятной целью... С этого момента, но никак не раньше, начинается формирование европоцентризма»¹⁴. С одной стороны, ренессансный гуманизм породил революционные представления о человеческом равенстве, о сингулярности и общности, о кооперации и массах, представления, которые отвечали силам и желаниям, распространявшимся по всему миру, и удвоенным открытием новых народов и территорий. С другой стороны, та самая контрреволюционная власть, что стремилась подчинить конститутивные и разрушительные для прежнего порядка силы внутри Европы, тоже стала осознавать возможность и необходимость подчинения других народов европейскому господству. Европоцентризм возник как реакция на потенциал, заложенный в только что открытой идее человеческого равенства; это была контрреволюция в мировом масштабе. Здесь также берет верх второй образ современности, но он вновь не одерживает окончательной победы. С самого начала европейская современность — это война на два фронта. Европейское господство постоянно находится в кризисе — в том самом кризисе, что определяет европейскую современность.

В XVII веке идея современности как кризиса окончательно определилась. Век начался сожжением Джордано Бруно, продолжился чудовищной гражданской войной, разразившейся во Франции и в Англии, завершилось это все ужасным зрелищем тридцатилетней гражданской войны в Германии. В то же самое время завоевание европейцами Америки, уничтожение и порабощение ее коренного населения продолжалось¹ все интенсивнее. Ко второй половине века казалось, что абсолютизм полностью истребил движение к свободе в странах континентальной Европы. Абсолютизм стремился поставить понятие современности в жесткие рамки, отделить современность от определявшего ее кризиса, используя новое оружие трансценденталий. Одновременно завоевания за пределами Европы понемногу уступали место колониализму, на смену рискованной погоне за золотом, богатствами и добычей постепенно приходили торговые привилегии, устойчивые формы производства и торговли рабами из Африки. Однако XVII век — и это делает его столь двойственным — был болезненно-хрупким веком ба-

рокко. Из пучин социального всегда выплывает память о том, что стремятся предать забвению.

Этому свидетельству мы можем найти одно единственное, но очень серьезное подтверждение: созданная Спинозой философия имманентности, доминировавшая в европейской философии всю вторую половину века. Эта философия вернула былое величие революционному гуманизму, поставив человека и природу на место Бога, превратив мир в сферу практики и утвердив демократию масс как абсолютную форму политики. Спиноза считал идею смерти — той смерти, которую государства и власти предрекшие использовали как оружие против желания и надежды на освобождение, — просто заложником, используемым для шантажа свободы мысли, и потому объявил ее в своей философии вне закона: «Человек свободный ни о чем так мало не думает, как о смерти, и его мудрость состоит в размышлении не о смерти, а о жизни»¹⁵. Любовь, которую гуманисты считали высшей формой выражения интеллекта, Спиноза представлял единственно возможным основанием освобождения сингулярностей и этической основой коллективной жизни. «В природе нет ничего, что было бы противно этой познавательной любви, иными словами, что могло бы ее уничтожить»¹⁶. Этим интеллектуальным крещендо Спиноза подтверждает, что в XVII веке революционная программа гуманизма не была прервана.

ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНЫЙ АППАРАТ

Контрреволюционный проект разрешения кризиса современности развернулся в века Просвещения¹⁷. Основная задача этого Просвещения состояла в том, чтобы, сконструировав трансцендентальный аппарат, способный дисциплинировать множество формально свободных субъектов, подчинить себе идею имманентного, не воспроизводя при этом абсолютного дуализма средневековой культуры. Онтологический дуализм культуры старого режима должен был быть замещен функциональным дуализмом, и кризис современности необходимо было разрешить при помощи адекватного механизма посредничества. Задачей первостепенной важности было избежать взгляда на массы в духе Спинозы — как на находящиеся в прямом и непосредственном отношении с Богом и с природой, как на руководящихся нормами нравственности производителей жизни и мира. Наоборот, в каждом случае сложность человеческих отношений должна была быть опосредована. Философы спорили о том, где же он, этот посредник, находится и какой метафизический уровень занимает, но принципиальное значение имеет здесь то, что, так или иначе, он всегда определялся как неперемное условие всякого человеческого действия, творчества, союза. С этих самых пор триаде *vis* — *cupiditas* — *amor* (сила — желание — любовь), создавшей производственную матрицу гуманистической

революционной мысли, была противопоставлена триада особых посредников. Природа и опыт непознаваемы иначе как посредством *явления*; человек не может достичь познания иначе как посредством *рефлексии рассудка*; и понятия нравственности даются нам не иначе как посредством *схематизма рассудка*. То, что здесь важно, — это характер посредничества, то есть априорность форм сознания и своего рода слабая трансцендентность: они релятивизируют опыт и устраняют любые проявления непосредственного и абсолютного в человеческой жизни и истории. Однако зачем вообще нужна эта относительность? Почему познание и воля не могут заявить претензию на абсолютное? Потому что любое самостоятельное конститутивное движение масс должно смириться с заранее данным порядком, а также потому, что притязание, будто люди могут непосредственно установить свободу своего бытия, было бы опасным безумием. Вот основной стержень идеологического поворота, в ходе которого было создано господствующее понятие европейской современности.

Первым, кто сделал определяющий вклад в создание этой конструкции, стал Рене Декарт. Хотя сам Декарт полагал, что он следует новому гуманистическому проекту познания, на самом деле он вновь утверждал трансцендентный порядок. Когда он представлял разум исключительной сферой посредничества между Богом и человеком, он фактически утверждал дуализм в качестве определяющего признака опыта и мышления. И здесь надо быть осторожнее. Декарт нигде не дает посреднику четкого определения, или, вернее, если мы внимательно читаем текст, то обнаруживаем, что посредничество чудесным образом присуще только воле Бога. Декартовская хитроумная уловка состоит, главным образом, в следующем: когда он обращается к центральной роли мышления в трансцендентальной функции посредничества, он определяет этим своего рода остаток божественной трансценденции. Декарт утверждает, что логика посредничества присуща мышлению, и Бог не играет здесь никакой роли, но непредубежденный человек, как, скажем, Блез Паскаль, совершенно прав, когда представляет это лишь как образчик декартовских уловок¹⁸. Бог Декарта фактически стоит рядом: Бог гарантирует, что трансцендентальное правило вписано в сознание и мышление как необходимое, всеобщее и предопределенное:

Прошу Вас, не опасайтесь утверждать повсюду публично, что именно Бог учредил эти законы в природе, подобно тому как король утверждает законы в своем государстве. Среди указанных законов нет, в частности, ни одного, который мы не могли бы постичь, если наш ум направит на это свое внимание, и все они *mentibus nostris ingenitae* точно так же, как король запечатлел бы свои законы в сердцах своих подданных, если бы его могущество ему это позволило. Напротив, величие Бога мы не можем постичь, хотя мы о нем и знаем. Но именно то, что мы считаем его

непостижимым, заставляет нас особенно его чтить, точно так же как величие короля тем больше, чем меньше его знают подданные, при условии, конечно, что они не думают, будто они лишены короля и знают его достаточно, чтобы в этом не сомневаться¹⁹.

Сфера потенциальности, открытая гуманистическими принципами субъективности, а priori ограничена установлением трансцендентного правила и порядка. Декарт вновь тайком утверждает теологию там, откуда ее изгнал гуманизм, и аппарат ее без всяких сомнений трансцендентален.

С Декартом мы оказываемся в самом начале истории Просвещения, или — буржуазной идеологии²⁰. Предлагаемый им трансцендентальный аппарат становится торговой маркой европейского Просвещения. Как для эмпирического, так и для идеалистического направлений трансцендентализм полностью определил идеологический горизонт, и в последующие столетия почти все ведущие направления философии были втянуты в этот проект. Симбиоз интеллектуального труда и институциональной, политической и научной риторики стал в этой сфере настолько абсолютным, что им были отмечены практически все концептуальные образования: формализация политики, инструментализация науки и техники в целях получения прибыли, урегулирование общественных противоречий. Конечно же, в каждом из этих полей историческое развитие имело свою специфику, но все они были неизменно привязаны к сюжету метанарратива, в котором европейская современность рассказывала о себе, к сказке, рассказанной на языке трансцендентализма ".

Во многих отношениях творчество Иммануила Канта находится в центре этого развития. Мысль Канта чрезвычайно богата и охватывает множество направлений, но нас тут прежде всего интересует та линия, которая возводит трансцендентальный принцип на вершину европейской современности. Канту удастся поместить субъекта в центр метафизического горизонта, но в то же время поставить его под контроль трех процессов, о которых мы упоминали ранее: это — выхолащивание опыта в явлении, сведение познания к интеллектуальному посредничеству и нейтрализация этического действия в схематизме рассудка. Посредник, к которому призывал Декарт в своем новом утверждении дуализма, был гипостазирован Кантом, и не в божестве, а в псевдоонтологической критике — в упорядочивающей функции сознания и смутном стремлении воли. Человечество — центр Вселенной, но это не то человечество, которое творчеством и действием сделало себя *homohomo*. Это — человечество, утратившее ориентиры в мире опыта, обманутое в своих поисках этического идеала. Кант ввергает нас обратно в кризис современности, полностью отдавая себе в этом отчет, когда представляет само открытие субъекта как кризис, однако этот кризис превращается в апологию трансцендентального как уникального и ис-

ключительного горизонта познания и действия. Мир становится архитектурой идеальных форм — единственной доступной нам реальности.

Ни у кого романтизм не нашел столь сильного выражения, как у Канта. Это лейтмотив кантианской философии: необходимость трансцендентального, невозможность никакой непосредственной формы, изгнание любого живого образа из сферы способности познания вещей как они есть. Исходя из этого, пожалуй, можно назвать Артура Шопенгауэра наиболее ярким последователем кантианства с его романтическим настроем. Именно тот факт, что объединить вновь явление с вещью в себе сложно, если не невозможно, является проклятием этого мира боли и нужды. Поэтому этот мир устроен не так, чтобы в нем могли победить благородные высшие силы, силы, обращенные к истине и свету²². Иными словами, Шопенгауэр признает, что кантианство окончательно искоренило гуманистическую революцию.

По этой самой причине Шопенгауэр очень жестко отзывается о Гегеле, называя его «духовным калибаном», дабы указать на грубость его мышления²¹. Он находил совершенно недопустимым, что Гегель с таким неистовством преобразовал скучную законодательную функцию трансцендентальной критики Канта в целостный онтологический образ. Это действительно была судьба трансцендентального в европейской идеологии современности. Гегель обнаружил то, что в самом начале контрреволюции оставалось скрытым: свобода современного человека могла быть лишь функцией его господства, имманентные цели масс превратились в необходимую и трансцендентную власть государства. Верно и то, что Гегель восстанавливает горизонт имманентности, устраняет недостоверность познания, нерешительность действия и фидеистскую двусмысленность кантианства. Однако имманентность, которую восстанавливает Гегель, — это, на самом деле, слепая имманентность, отрицающая потенциал масс, уподобляющая его божественному порядку. Кризис гуманизма превращается в диалектическую драматургию, где в каждой сцене цель — все, а средства — лишь декорация.

Больше нет ничего, что борется, желает или любит; потенциал блокирован и находится под контролем, над ним господствует завершенность. Парадоксальным образом концепция аналогии бытия средневековой христианской традиции воскресает в виде идеи бытия диалектического. Ирония состоит в том, что Шопенгауэр называет Гегеля калибаном, чей образ позднее станет символом сопротивления европейскому господству и утверждения неевропейского желания. Гегелевская драма Другого и конфликт между Господином и Рабом не могли иметь места вне исторического фона европейской экспансии и порабощения африканских, американских и азиатских народов. Иными словами, нельзя не связать философское становление Гегелем Другого внутри абсолютной идеи или мирового ду-

ха и гегелевскую всеобщую историю, идущую от малых народов к своей кульминации в Европе, с реальным насилием европейских завоеваний и колониализма. Короче говоря, гегелевская история — это не только мощное выступление против революционного плана имманенции, но и отрицание неевропейского желания.

Наконец, еще одним принудительным действием этот «духовный калибан» внес в развитие современности опыт нового понимания темпоральности и показал, что эта темпоральность есть диалектическая телеология, которая нашла полное развитие и приближается к своей крайней точке. Изначально целостный концептуальный замысел с окончанием этого процесса получил адекватное осуществление. Современность достигла своей завершенности и полноты, и возможности выйти за ее пределы не было. Также не было никакой случайности в том, что картина завершилась решающим актом насилия: диалектика кризиса нашла умиротворение под властью государства. Покой и справедливость воцарились вновь: «Государство в себе и для себя есть нравственное целое... государство — это шествие Бога в мире; его основанием служит власть разума, осуществляющего себя как волю»²⁴.

СУВЕРЕНИТЕТ ЭПОХИ СОВРЕМЕННОСТИ

Предложенное Гегелем политическое разрешение метафизической драмы современности демонстрирует глубину и близость отношений между европейской политикой и метафизикой эпохи современности. Политика находится в самом центре метафизики, поскольку в эпоху современности европейская метафизика стала ответом на вызов освобожденных сингулярностей и революционное самоутверждение масс. Она была оружием второго образа современности в той мере, в какой служила трансцендентным аппаратом, выполняющим функции подчинения масс порядку, недопущения их самоорганизации и выражения ими самостоятельности в деле созидания. Вторая модель современности более всего нуждалась в обеспечении контроля над новыми формами общественного производства как в Европе, так и в колониях, для того чтобы иметь возможность управлять и извлекать выгоду из новых сил, служащих преобразованию природы. В политике, как и в метафизике, главной задачей было избавление от средневековых форм трансценденции, только препятствовавших производству и потреблению, при одновременном сохранении результатов ее господства в форме, адекватной новым способам общности и производства нового человечества. Таким образом, политической философией было выявлено ядро проблемы современности, и именно здесь новая форма опосредования нашла наиболее адекватный ответ на революционные формы имманентности: трансцендентный политический аппарат.

Сформулированная Томасом Гоббсом идея наивысшего и абсолютно-го суверена, «Бога на земле», играет основополагающую роль в построении в период современности трансцендентного политического аппарата. Первым шагом логики Гоббса является допущение того, что гражданская война является исходным состоянием общества, войной всех против всех. Второй шаг, таким образом, состоит в том, что люди ради собственного выживания перед лицом смертельной угрозы, угрозы войны, должны заключить соглашение, договор, который предоставлял бы государю полную свободу действий, то есть абсолютную власть, право делать все что угодно, кроме лишения своих подданных средств выживания и воспроизводства. «Ввиду того, что не существует справедливого разума, разум определенно-го человека или людей может занять его место; и у этого человека или людей — не важно, сколько их — появляется власть суверена»²⁵. Решающий переход, таким образом, совершается при помощи договора, — договора, имеющего безусловный характер, предшествующего всякому социальному действию или акту выбора, — договора, передающего всю автономную власть масс суверену, стоящему над массами и управляющему ими.

Этот трансцендентный политический аппарат отвечает необходимым и неизменным трансцендентным условиям, которые философия современности представила кульминацией своего развития в кантовском схематизме и гегелевской диалектике. Согласно Гоббсу, единичные воли различных индивидов слиты и представлены в воле трансцендентного суверена. Таким образом, суверенитет определяется одновременно *трансценденцией* и *репрезентацией*, представительством, двумя понятиями, которые гуманистическая традиция считала противоречащими друг другу. С одной стороны, трансценденция суверена основана не на внешнем теологическом основании, но только на имманентной логике человеческих отношений. С другой стороны, представительство, выполняющее роль легитимации власти суверена, также полностью отчуждает эту власть от множества подданных. Гоббс, как прежде Жан Боден, признает, что «главная черта величия и абсолютной власти суверена состоит в том, что он дает законы всем подданным без их на то согласия»²⁶. Однако Гоббс соединяет эту идею с договорным принципом представительства, а *præiudicium* легитимирующим власть суверена. Свойственное современности понятие суверенитета рождается здесь в своей трансцендентальной чистоте. Договор о создании государства включен в договор о подчинении и неотделим от него. Эта теория суверенитета представляет собой первое политическое разрешение кризиса современности.

В свое время теория Гоббса способствовала становлению абсолютной Монархии, но ее трансцендентальный принцип мог фактически быть одинаково применен к различным формам правления: к монархии, к олигархии к демократии. С ростом влияния буржуазии казалось, что реальной

альтернативы этой системе власти не существует. Поэтому не случайно, что демократическое республиканство Руссо так напоминает гоббсовскую модель. Общественный договор Руссо гарантирует, что соглашение между волями отдельных индивидов находит свое выражение и сублимируется в формировании общей воли и что эта общая воля, будучи продуктом отчуждения воли отдельных индивидов, ведет к суверенитету государства. В качестве модели суверенитета «республиканский абсолютизм» Руссо фактически совершенно не отличается от «Бога на земле» у Гоббса, от монархического абсолютизма. «Эти статьи [договора], если их правильно понимать, сводятся к одной-единственной, именно: полное отчуждение каждого из членов ассоциации со всеми правами в пользу всей общины»²⁷. Прочие условия, предписываемые Руссо понятию суверенной власти в народном (popular) и демократическом смысле, совершенно не имеют значения перед лицом абсолютизма, получающего трансцендентное обоснование. Весьма характерно, что понятие Руссо о прямом представительстве искажается и, в конечном счете, подавляется репрезентацией тотальности, необходимо с ним связанной, что полностью соответствует понятию представительства у Гоббса. Гоббс и Руссо на самом деле лишь повторяют парадокс, концептуально определенный Жаном Боденом еще во второй половине XVI века. О суверенитете с полным основанием можно говорить только в условиях монархии, ибо сувереном может быть только один. Если бы правила двое, трое или больше, это не было бы суверенитетом, ведь суверен не может быть чьим-либо подданным²⁸. Можно провозглашать демократические, плюралистические или народные политические формы, но у современного суверенитета на самом деле есть только одна политическая ипостась — единая трансцендентная власть.

Однако в основе этой современной теории суверенитета есть еще один очень важный элемент: содержание, наполняющее и поддерживающее форму суверенной власти. Это содержание представлено развитием капитализма и утверждением рынка как инструмента определения стоимости в сфере общественного воспроизводства²⁹. Без этого содержания, всегда неявного, всегда работающего внутри трансцендентального аппарата, такая форма суверенитета едва ли смогла бы сохраниться в период современности и европейская современность вряд ли бы вышла на ведущие позиции в мире. Как отметил Ариф Дирлик, европоцентризм отличается от прочих видов этноцентризма (например, синоцентризма) и становится глобальной величиной по преимуществу благодаря поддержке со стороны власти капитала³⁰.

Европейская современность неотделима от капитализма. Это основное отношение между формой и содержанием современного суверенитета в полной мере отображено в трудах Адама Смита. Смит начинает с теории промышленности, постулирующей противоречие между частным

обогащением и общественным интересом. Первый синтез этих двух уровней доверен «невидимой руке» рынка: капиталист «преследует лишь собственную выгоду», но он «невидимой рукой направляется к цели, которая совсем и не входила в его намерения»³¹. Однако этот первый синтез сомнителен и поспешен. Политэкономия, понимаемая как наука управления и законодательства, должна пойти в своем синтезе гораздо дальше. Нужно понимать «невидимую руку рынка» как продукт самой политэкономии, цель которой состоит в создании условий автономии рынка: «Поэтому, поскольку совершенно отпадают все системы предпочтения или стеснений, очевидно, остается и утверждается простая и незамысловатая система естественной свободы»³². Однако и в этом случае синтез вовсе не гарантирован. По сути, необходим третий переход. То, что требуется — это государство, минимальное, но эффективное, чтобы добиться совпадения благосостояния частных лиц с общественным интересом, сведя для этого все социальные функции и трудовую деятельность к единому измерению стоимости. А регулирует ли при этом государство рынок или нет, имеет второстепенное значение; важно то, что оно задает программу механизму посредничества между интересами и представляет собой ось рациональности этого посредничества. Политическое трансцендентальное современного государства определяется как экономическое трансцендентальное. Теория стоимости Смита была душой и плотью понятия современного суверенного государства.

Окончательный синтез теории суверенитета, разработанной в период современности, и теории стоимости, созданной капиталистической политической экономией, осуществлен Гегелем, поскольку в его творчестве находит свое совершенное воплощение осознание единства абсолютистского и республиканского — выраженных соответственно Гоббсом и Руссо — аспектов теории суверенитета эпохи современности.

По отношению к сферам частного права [*Privatrecht*] и частного блага, семьи и гражданского общества, государство есть, с одной стороны, *внешняя* необходимость и их высшая власть, природе которой подчинены и от которой зависят их законы и интересы; но, с другой стороны, оно есть их имманентная цель и его сила — в единстве его всеобщей конечной цели и особенного интереса индивидов, в том, что они в такой же степени имеют *обязанности* по отношению к нему, как обладают правами³³.

Гегелевское отношение между частным и всеобщим соединяет в адекватных и функциональных терминах теорию суверенитета Гоббса—Руссо и теорию стоимости Адама Смита. Европейский суверенитет периода современности — это капиталистический суверенитет, форма власти, в конечном счете определяющая отношения между индивидуальным и универсальным в виде функции развития капитала.

МАШИНА СУВЕРЕНИТЕТА

Когда синтез суверенитета и капитала полностью завершен и трансценденция власти полностью преобразовывается в трансцендентальное осуществление властных полномочий, суверенитет становится политической машиной, управляющей всем обществом. Благодаря действию машины суверенитета массы в любой момент преобразуются в подчиненную порядку тотальность. Нам следует обратить особо пристальное внимание на этот переход, поскольку здесь явно обнаруживается, в какой мере трансцендентальный принцип оказывается непосредственно работающей идеологией и насколько суверенитет современности отличен от суверенитета старого режима. Будучи политической властью, противостоящей всякой иной внешней политической власти, государством, противостоящим всем другим государствам, суверенитет является еще и полицейской властью. Она должна непрерывно и все в большей мере совершать чудо поглощения сингулярностей тотальностью, превращения воли всех в общую волю. Современная бюрократия есть главный орган трансцендентального — Гегель *dixit*. И даже если Гегель немного преувеличивает в своем квазитеологическом освящении корпуса государственных служащих, он как минимум выявляет их главную роль в эффективном функционировании современного государства. Бюрократия управляет аппаратом, сочетающим легальность и организационную эффективность, право на власть и ее осуществление, политику и полицию. Трансцендентальная теория суверенитета современности, достигающая, таким образом, зрелости, создает новую «индивидуальность», поглощая общество властью. Мало-помалу в процессе развития

аппарата управления отношения между обществом и властью, между массами и суверенным государством изменились таким образом, что теперь власть и государство производят общество.

Этот сдвиг в истории идей на самом деле параллелен развитию истории общества. Он соответствует смещению организационной динамики государства от средневековой иерархии к дисциплине современности, от господства к функции. Макс Вебер и Мишель Фуко, если говорить о самых известных именах, очень подробно показали нам эти социологические метаморфозы, изменение облика власти. Во время длительного перехода от общества Средневековья к обществу современности, первая форма политического режима, как мы видели, была укоренена в трансценденции. Средневековое общество было организовано согласно иерархической системе ступеней власти. Именно она была сметена современностью на пути ее развития. Фуко описывает этот переход как смену парадигмы суверенитета парадигмой правления, где под суверенитетом подразумевается наличие единого центра власти, возвышающегося над социальным полем, а под правлением — общая система дисциплины, пронизывающей

все общество³⁴. Мы предпочитаем рассматривать этот переход как изменение *внутри* представления о суверенитете, как переход к новой форме трансценденции. Современность ставит на место традиционной трансценденции господства трансценденцию функции подчинения порядку. Механизмы дисциплины начали формироваться еще в классическую эпоху, но только во времена современности дисциплинарная диаграмма стала диаграммой самого управления. На протяжении всего переходного периода система управления без устали прикладывает непрестанные, огромные усилия для того, чтобы приблизить государство к социальной реальности, производя, таким образом, общественный труд и подчиняя его порядку. Старый тезис в духе Токвиля о сохранении преемственности системы управления на протяжении разных общественных эпох тем самым подвергается коренному пересмотру, если вовсе не сбрасывается со счетов. Однако Фуко идет еще дальше, утверждая, что дисциплинарные процессы, внедренные в практику усилиями системы управления, так глубоко проникли в общество, что им удалось превратиться в аппараты, принимающие в расчет коллективное биологическое измерение воспроизводства населения. В своем полном осуществлении суверенитет современности порождает биовласть⁵⁵. •

Еще до Фуко Макс Вебер также описал административные механизмы, участвующие в формировании суверенитета эпохи современности³⁶. Если анализ Фуко значим своей диахронической широтой, то анализ Вебера — синхронической глубиной. Что касается нашей дискуссии о суверенитете современности, вклад Вебера состоит, прежде всего, в определении начальной стадии современности как фазы разделения — творческой по своей сути фазы противостояния индивидов и масс процессу, в ходе которого государство вновь устанавливало над ними господство. Поэтому государственный суверенитет определяется как регулирование этого силового противостояния. Современность характеризуется в первую очередь напряженностью противоборствующих сил. Любой процесс легитимации определяется этой напряженностью и направлен на то, чтобы не дать ей выйти наружу и, в свою очередь, захватить творческую инициативу. Замыкание кризиса современности в институциональных рамках новой суверенной власти может происходить в старых, квазинатуралистических формах, как в случае традиционной легитимации; оно также может идти в сакральных и новаторских, иррационально новаторских формах, как в случае харизматической легитимации; или, наконец, — • и это в значительной степени наиболее эффективная форма поздней современности — оно может принять форму бюрократической рациональности. Анализ этих форм легитимации составляет второй важный вклад Вебера, основанный на первом: признании дуализма парадигмы. Третий важный пункт — веберовская трактовка процедурного характера трансформаций, всегда присутствующее и всег-

да возможное переплетение различных форм легитимации и их непрерывная способность распространяться и проникать в сферу контроля над социальной реальностью. Отсюда следует итоговый парадокс: если, с одной стороны, этот процесс переводит кризис современности в скрытую форму, то, с другой стороны, он же вновь делает его явным. Сам процесс перевода кризиса в скрытую форму чреват риском и конфликтом в той же степени, что и генезис современности. В этом отношении величайшая заслуга Вебера состоит в том, что он полностью разрушает самодовольную и торжествующую концепцию современного государства, созданную Гегелем.

Исследование Вебера было быстро взято на вооружение авторами, занимавшимися критикой современности: от Хайдеггера и Лукача до Адорно и Хоркхаймера. Все они признавали, что Вебер разоблачил иллюзию современности, иллюзию того, что антагонистический дуализм, скрытый в ее основе, может быть поглощен единым синтезом, охватывающим все общество и политику, включая производительные силы и производственные отношения. Наконец они признали, что суверенитет современности миновал пик своего развития и идет на спад.

С закатом современности начинается новая эпоха, и тут мы снова обнаруживаем драматическое противоречие, лежавшее у истоков и в основе современности. Изменилось ли что-то на самом деле? Гражданская война вновь разгорелась в полную силу. Синтез развития производительных сил с отношениями господства снова выглядит сомнительным и неправдоподобным. Желания масс и их враждебность любой форме господства снова ведут их к отказу от легитимации, поддерживающей суверенную власть. Конечно, невозможно представить это как возврат старого мира желаний, двигавших первую гуманистическую революцию. Новую землю населяют новые субъективности. Современность и ее капиталистические отношения в ходе своего развития полностью изменили сцену. Однако кое-что осталось: ощущение дежавю, которое мы испытываем, глядя на борьбу, что разгорается вновь, постоянно питаемая теми же истоками. Опыт революции возродится в эпоху постсовременности, но в новых условиях, столь противоречиво созданных современностью. Кажется, что макиавеллевское возвращение к истокам сочетается с героическим вечным возвращением Ницше. Все по-другому, но кажется, что ничего не изменилось. Что же нас ждет — могущество человека, пришедшее в новом облике? «Это и есть тайна души: только когда герой покинул ее, приближается к ней, в сновидении, — сверхгерой»³⁷.

ГУМАНИЗМ ПОСЛЕ СМЕРТИ ЧЕЛОВЕКА

Поздние работы Мишеля Фуко по истории сексуальности вновь возвращают к жизни тот самый революционный импульс, который одухотво-

ряя гуманизм эпохи Возрождения. Этическая забота о себе вновь возникает как конститутивная сила самосозидания. Как же это возможно, что автор, приложивший столько усилий, чтобы уверить нас в смерти Человека, мыслитель, пронесший сквозь все свое творчество знамя антигуманизма, в конце концов вдруг становится поборником основных догматов гуманистической традиции? Мы ни в коей мере не предполагаем, что Фуко сам себе противоречит или что он пересмотрел свою прежнюю точку зрения; он всегда настоятельно подчеркивал последовательность своего дискурса. Скорее в последней своей работе Фуко задает парадоксальный и настоятельный вопрос о том, что есть гуманизм после смерти Человека? То есть что такое антигуманистический (или постчеловеческий) гуманизм?

Однако этот вопрос лишь кажется парадоксом, происходящим, по меньшей мере отчасти, из терминологической путаницы, из смешения двух различных концепций гуманизма. Антигуманизм, являвшийся столь важным проектом для Фуко и Альтюссера в 1960-е, может быть напрямую связан с той борьбой, которую триста лет назад вел Спиноза. Спиноза отвергал понимание человечества как *imperium in imperio*. Иными словами, он отказался даровать человеческой природе законы, которые были бы отличны от законов природы в целом. В наши дни Донна Харауэй продолжает проект Спинозы, настаивая на разрушении барьеров, которые мы воздвигли между человеком, животным и машиной. Если мы представим Человека вне природы, то Человек перестанет существовать. Это признание и есть смерть Человека.

Однако этот антигуманизм вовсе не противоречит революционному духу гуманизма эпохи Возрождения, который в общих чертах — от Кузанца до Марсилиуса — мы обрисовали ранее. На самом деле этот антигуманизм вытекает непосредственно из светского по характеру проекта гуманизма Возрождения, точнее из открытия им плана имманенции. Оба проекта основываются на критике, на разрушении трансценденции. Междурелигиозным мышлением, дарующим власть над природой Богу, и «светским» мышлением современности, дарующим ту же самую власть над природой Человеку, есть прямая связь. Трансценденция Бога просто превращается в трансценденцию Человека. Как прежде Богу, Человеку, стоящему отдельно от природы и над ней, не находится места в философии имманенции. Так же как Бог, этот трансцендентный образ Человека быстро приводит к установлению социальной иерархии и господства. Антигуманизм, рассматриваемый как отрицание всякой трансценденции, никоим образом нельзя путать с отрицанием *vis viva*, творческой жизненной силы, одухотворяющей революционную традицию современности. Напротив, отрицание трансценденции является условием возможности мыслить эту имманентную власть анархической основой философии: «*Ni Dieu, ni maitre, ni • fhomme*».

Поэтому гуманизм поздних работ Фуко не должен показаться противоречием или даже отходом от идеи смерти Человека, провозглашенной им двадцатью годами раньше. Как только мы признаем свои постчеловеческие тела и умы, увидим себя обезьяноподобными киборгами, нам надо будет следовать vis viva, созидательные силы, которые одухотворяют нас также, как и всю природу, и актуализируют наши возможности. Это и есть гуманизм после смерти Человека, то, что Фуко называет «le travail de soi sur soi», продолжающийся конститутивный проект создания и воссоздания нами самих себя и своего мира.

2.2 СУВЕРЕНИТЕТ НАЦИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА

*Иностранцы! Пожалуйста, не оставляйте нас
наедине с французами!*

Парижское граффити, 1995

*Мы думали, что умираем за родину. Оказа-
лось — за банковские сейфы, и мы быстро это
поняли.*

Анатолий Франс

По мере того как европейская современность постепенно обретала форму, ответом на ее кризис было создание машин власти, находящихся в непрерывном поиске некоего резерва или актива, способного разрешить или, по меньшей мере, сдержать кризис. В предыдущем разделе мы проследили путь одного варианта ответа на кризис, который привел к развитию суверенного государства эпохи современности. Второй вариант опирается на понятие нации, он предполагает первый вариант ответа на кризис и строится на нем, создавая более совершенный механизм восстановления порядка и власти.

РОЖДЕНИЕ НАЦИИ

В Европе понятие нации развивалось в условиях патримониального и абсолютистского государства. Патримониальное государство определялось как собственность монарха. Приобретая самые разнообразные, но схожие

- очертания в различных странах Европы, патримониальное абсолютист-
< Б>е государство было политической формой, необходимой для управле-
- ния феодальными общественными и производственными отношениями¹.
- " Феодальная собственность предоставлялась в пользование в соответствии с местом пользователя в иерархии власти, тем же самым образом в пос-
ч ^УЮЩИЕ века предоставлялся определенный объем административных полномочий. Феодальная собственность была частью монаршего тела, по-
vr | рону тому как, если мы обратимся к сфере метафизики, суверенное мо-
- • Наршее тело было частью тела Господа²,
- ^В, XVI веке, в разгар Реформации и жестоких схваток за смысл совре-
• ^Q ^1100™1° которых мы говорили выше, наследственная монархия все еще
• наступала гарантом прочности мира и социальных связей. Она все еще

обеспечивала контроль над социальным развитием таким образом, что могла поглотить этот процесс своей машиной господства. «Cujus regio, ejus religio»¹, — то есть религия должна была подчиниться территориальному контролю суверена. Ничего туманного в этом изречении не было, напротив, оно прямо вверяло власти наследного суверена управление переходом к новому порядку. Даже религия стала его собственностью. В XVII столетии абсолютистская реакция на революционные силы современности превозносила патримониальное монархическое государство, сделав из него оружие борьбы за собственные интересы. К этому времени, однако, восславление патримониального государства не могло не звучать парадоксальным и двусмысленным образом, поскольку феодальные основы его власти приходили в упадок. Процессы первичного накопления капитала создали новые условия для всех структур власти³. И вплоть до эпохи трех великих буржуазных революций (английской, американской и французской) не было никакой политической альтернативы, которая могла бы успешно противостоять этой модели. Абсолютистская и патримониальная модель сохранялась в этот период только благодаря особому компромиссу политических сил. Ее субстанция при этом разлагалась изнутри прежде всего под воздействием появления новых производительных сил. Тем не менее модель выжила, и, что существенно важнее, она изменилась посредством развития некоторых важнейших свойств, переданных последующим столетиям.

Изменение модели абсолютистского патримониального государства состояло в постепенном замещении теологического обоснования территориальной патримонии новым, столь же трансцендентным, обоснованием⁴. Духовная идентичность нации, а не божественное тело короля теперь олицетворяла территорию и население в качестве идеальной абстракции. Вернее, реальные территории и народы теперь считались продолжением трансцендентной сущности нации. *Таким образом, современное понятие нации унаследовало патримониальное тело монархического государства, придав ему новую форму.* Эта новая тотальность власти отчасти была структурирована новым процессом капиталистического производства, с одной стороны, и старыми сетями абсолютистской системы управления — с другой. Эти неустойчивые структурные отношения были стабилизированы национальной идентичностью: культурной, интегрирующей идентичностью, основанной на биологической непрерывности кровного родства, пространственной непрерывности территорий и на языковой общности.

Очевидно, что, хотя материя отношения к суверену осталась прежней, в ходе этого процесса многое изменилось. Наиболее важно здесь то, что по мере преобразования патримониального горизонта в горизонт нации феодальный порядок подданного (*subjectus*) уступил свое место дисциплинарному порядку гражданина (*cives*). Переход населения от роли подданных к

t 1

1

роли граждан явился свидетельством его перехода от пассивной роли к активной. Нация всегда представляется активной силой, порождающей формой общественных и политических отношений. Как отмечают Бенедикт Андерсон и другие авторы, нация часто переживается (или, по меньшей мере, функционирует) как коллективное воображение, активное созидание сообщества граждан⁵. В этой точке мы можем увидеть как сходство, так и характерное различие между понятиями патримониального и национального государства. Последнее точно воспроизводит свойственное его предшественнику тотализующее тождество территории и населения, но нация и национальное государство предлагают новые средства для преодоления нестабильности суверенитета современности. Эти понятия очень последовательно представляют суверенитет как нечто материальное; они превращают *отношения* суверенитета в *вещь* (часто натурализуя его) и тем самым искореняют любые остаточные проявления социального антагонизма. Нация — это разновидность идеологического упрощения, пытающаяся освободить понятия суверенитета и современности от антагонизма и кризиса, их определяющих. Национальный суверенитет временно приглушает конфликты, лежавшие у истоков современности (когда эти конфликты окончательно не разрешены), и закрывает внутри современности альтернативные пути, если силы, их представляющие, отказались подчиниться власти государства⁶.

Превращение свойственного современности понятия суверенитета в понятие национального суверенитета также требовало новых материальных условий. Особенно важно, что потребовалось заново найти равновесие между процессами капиталистического накопления и структурами власти. Политическая победа буржуазии, как убедительно показали английская и французская революции, означала следующую стадию развития понятия суверенитета современности, переход к понятию национального суверенитета. За идеальным измерением понятия нации стоял класс, уже властвовавший над процессами накопления. Таким образом, «нация» оказалась одновременно ипостасью «общей воли» Руссо и тем, что идеология мануфактурного производства называла «сообществом потребностей» (то есть капиталистическим регулированием рынка), которое на протяжении длительного периода первоначального накопления было более или менее либеральным и всегда буржуазным.

Когда в XIX и XX столетиях к понятию нации обратились в совершенно иных идеологических контекстах, сделав его знаменем, поднимавшим на борьбу народы в странах и регионах внутри и за пределами Европы, которые к тому времени не пережили ни либеральной революции, ни того же уровня процесса первоначального накопления, оно все еще представлялось понятием капиталистической модернизации, претендующим на

•'.Способность объединить общее для всех классов требование политиче-

ского единства с потребностями экономического развития. Иными словами, нация представлялась единственным действенным средством, способным вывести на путь современности и развития. За несколько лет до начала Первой мировой войны в ходе дискуссий, которые шли внутри Третьего Интернационала, Роза Люксембург неистово (но тщетно) выступала против национализма. Она выступала против политики «национального самоопределения» Польши в качестве одного из требований революционной программы, но ее обвинения в адрес национализма имели куда более широкий смысл⁷. Критика нации Розой Люксембург была не просто критикой модернизации как таковой, хотя она, несомненно, глубоко понимала двойственный характер капиталистического развития; раскол внутри европейского рабочего класса, к чему неминуемо бы привел национализм, также отнюдь не являлся первоочередным источником ее беспокойства, хотя собственный опыт скитаний по странам Центральной и Восточной Европы сделал ее особенно чувствительной к этому вопросу. Наиболее сильным аргументом Розы Люксембург было скорее то, что нация означает диктатуру, а это совершенно не совместимо с любой попыткой демократической организации. Люксембург признавала, что национальный суверенитет и национальные мифологии с успехом захватывают сферу демократической организации, восстановив могущество идеи территориального суверенитета и модернизировав этот проект посредством мобилизации активного сообщества.

Процесс национального строительства, возродивший понятие суверенитета и давший ему новое определение, быстро стал идеологическим кошмаром в любых исторических условиях. Кризис современности, представляющий собой противоречивое со-присутствие масс и власти, которая жаждет свести его к правлению одного — то есть со-присутствие новой производительной совокупности свободных субъективностей и дисциплинарной власти, стремящейся ее эксплуатировать, — в конце концов не усмиряется и не разрешается в понятии нации, так же как он не был разрешен в понятиях суверенитета или государства. Нация может лишь замаскировать кризис идеологически, вытеснить его и задержать его наступление.

НАЦИЯ И КРИЗИС СОВРЕМЕННОСТИ

Творчество Жана Бодена составляет основу того направления европейской мысли, что формировало понятие национального суверенитета. Его главный труд *Les six livres de la Republique** впервые увидел свет в 1576 году, в разгар кризиса Возрождения, и его главной проблемой были гражданские и религиозные войны, которые велись в то время во Франции и Европе. Боден столкнулся с политическими кризисами, конфликтами и войной,

но все эти стихии распада не заставили его предложить какую-либо идилическую альтернативу даже в качестве теории или утопического проекта. Вот почему труд Бодена стал не только значительным вкладом в выработанное современностью определение суверенитета, но и действительно предвосхитил последующую эволюцию этого понятия в сторону идеи национального суверенитета. Приняв реалистическую точку зрения, он сумел предвосхитить критику суверенитета современностью.

Суверенитет, утверждал Боден, не может быть порожден единством Государя и масс, публичного и частного, как и не может его проблема вообще быть решена в рамках договорного либо естественного права. На самом деле исток политической власти и определение суверенитета кроются в победе одной из этих сторон, победе, делающей одного сувереном, а другого — подданным. Суверенитет создается силой и насилием. Эти физические детерминации власти устанавливают *plenitudo potestatis* (полноту власти). Это полнота и единство власти, поскольку «объединение граждан [государства] основано на единстве власти единого правителя, от которого зависит дееспособность всех остальных. Таким образом, суверенный государь независим, поскольку именно его власть распространяется на всех граждан государства»⁸.

Отбросив рамки естественного права и трансцендентальные перспективы, всегда так или иначе вызываемые им к жизни, Боден представляет нам фигуру суверена, или, вернее, государства, которая реалистически, а потому исторически выстраивает свое собственное происхождение и устройство. Государство современности рождается из этих преобразований и только в них может продолжать свое развитие. Это теоретический шарнир, который соединяет созданную в эпоху современности теорию суверенитета с опытом территориального суверенитета и придает ему завершенность. Благодаря обращению к римскому праву и опоре на его способность четко определять источники права и упорядочивать формы собственности учение Бодена становится теорией единого политического тела, являющего себя как система органов управления, предназначенная преодолеть трудности кризиса современности. Смещение центра теоретического рассмотрения от вопроса легитимации к вопросу жизни государства и его суверенитета как единого тела представляет собой важное достижение. Когда Боден говорил о «политическом праве суверенитета», он предвосхитил детерминацию суверенитета, в конечном счете возводимую к нации (и факторам материального, телесного порядка), став, таким образом, первопроходцем на пути, протянувшимся в последующие столетия⁹.

После Бодена, в XVII и XVIII столетиях, в Европе одновременно развивались две теоретические школы, которые также отводили теме суверенитета ведущую роль и во многом предвосхитили понятие о национальном суверенитете: традиция естественного права и реалистическая (или

историческая) традиция теории государства¹⁰. Обе школы опосредовали трансцендентальную идею суверенитета при помощи реалистической методологии, учитывавшей и условия материального конфликта; обе школы соотносили создание суверенного государства с утверждением общественно-политического сообщества, которое впоследствии назовут нацией. Как и Боден, обе эти школы непрерывно сталкивались с кризисом теоретической концепции суверенитета, с тем кризисом, который постоянно делали явным антагонистические силы современности, а также процессы построения государства, его правового и административного механизмов. В школе естественного права — от Гроция до Альтузиуса и от Томазия до Пуффендорфа — трансцендентальные образы суверенитета были спущены с небес на землю и укоренены в реальности институциональных и административных процессов. Суверенитет находил свое выражение посредством введения в действие системы многочисленных договоров, задуманных таким образом, чтобы контролировать любой узел административной структуры власти. Этот процесс не был ограничен высшей ступенью власти государства и простым правом суверенитета; скорее, проблема легитимации начала рассматриваться в терминах *машины управления*, реализовывавшей на практике сам процесс осуществления власти. Круг суверенитета и повиновения замкнулся, удваиваясь, умножаясь и распространяясь в пространстве социальной реальности. Суверенитет стал изучаться не столько с точки зрения антагонизмов, порождающих кризис современности, сколько как процесс управления, выражающий эти антагонизмы и стремящийся к единству в диалектике власти, абстрагируя и осуществляя ее посредством исторической динамики. Таким образом, одно из ведущих направлений школы естественного права развивало идеи реализации и выражения трансцендентной верховной власти, суверенитета, через реальные формы управления¹¹.

Этот синтез лишь подразумевался школой естественного права, содержательное выражение он приобрел в контексте историцизма. Конечно, было бы неверно приписывать историцизму Просвещения тезис, который в действительности был развит реакционными течениями позже, в период после Французской революции, — тезис, объединяющий теорию суверенитета с теорией нации и укореняющий их в общей исторической почве. И все же семена будущего развития были посеяны в этот ранний период. Если одно из основных направлений школы естественного права развивало идею реализации трансцендентной верховной власти посредством существующих форм управления, то мыслившие в русле историцизма теоретики Просвещения попытались постичь *субъектность исторического процесса* и тем самым найти надежную основу права на суверенитет и его осуществление¹². Например, согласно концепции Джамбаттисты Вико, ярким метеором промелькнувшего через век Просвещения, детерминации

; I i

: I |'
; |i
I 11
I li
; ! ; |
; | !
|

правовой концепции суверенитета кроются полностью в сфере исторического развития. Трансцендентные образы верховной власти были превращены в знаки провиденциального процесса, одновременно человеческого и божественного. Такая идея укоренения суверенитета (в действительности его овеществления) в истории была очень сильным решением. На этой исторической почве, вынуждающей любой исторический конструкт столкнуться с реальностью, изначально заложенный кризис современности никогда не находил своего разрешения — да в его разрешении и не было нужды, поскольку сам кризис производил новые образы, которые непрерывно ускоряли историческое и политическое развитие, все еще полностью подвластное трансцендентному суверену. Какое изобретательное переворачивание проблематики! И в то же время полнейшая мистификация суверенитета! Силы кризиса, продолжающегося и неразрешимого, стали считаться действенными силами прогресса. Фактически уже у Вико мы обнаруживаем зародыш гегелевской апологии «действительности», превращающей существующее устройство мира в телос истории¹³.

То, что у Вико было намеками и предположениями, получило ясную и последовательную формулировку в позднем немецком Просвещении. Сначала представителями Ганноверской школы, а потом в работах И. Г. Гердера современная теория суверенитета была направлена исключительно на исследование так называемой общественной и культурной преемственности — действительной исторической преемственности территорий, населения и нации. Довод Вико о том, что идеальная история есть история всех наций, получил более определенное выражение у Гердера, утверждавшего, что поступательное развитие человечества в определенном отношении всегда есть развитие национальное¹⁴. Тем самым идентичность полагается не разрешением проблемы социальных и исторических различий, а продуктом первоначального единства. Нация — это законченный образ суверенитета до исторического развития; или лучше: невозможно историческое развитие, не имеющее изначально своего прообраза. Иными словами, нация укрепляет понятие суверенитета, утверждая, будто предшествовала ему¹⁵. Вот он — материальный локомотив истории, творящий ее «гений». В конце концов нация становится условием возможности всякого человеческого действия и самой общественной жизни.

НАРОД НАЦИИ

В конце XVIII — начале XIX века понятие национального суверенитета наконец получает в европейской Мысли завершённую форму. Основой этой определенности понятия стала историческая травма — Французская революция — и исцеление этой травмы — присвоение силами реакции и превознесение ими понятия нации. Важнейшие моменты этого стреми-

тельного преобразования понятия нации, сделавшие ее действенным политическим оружием, можно в общей форме проследить в творчестве Эммануэля-Жозефа Сийеса. В своем замечательном и полемическом трактате *Что такое третье сословие?* он связал понятие нации с третьим сословием, то есть с буржуазией. Сийес попытался вернуть понятие суверенитета к его гуманистическим истокам и вновь раскрыть его революционные возможности. Для нас важнее то, что активная вовлеченность Сийеса в революционную деятельность позволила ему истолковать понятие нации в качестве *конструктивного политического концепта*, конституционного механизма. Однако постепенно становится ясно, особенно в поздних работах Сийеса, в работах его последователей и тем более в работах его противников, что, хотя нация и была сформирована политикой, в конечном итоге она — *духовное образование*; таким образом, понятие нации было оторвано от революции и отдано на растерзание термидорам. Нация стала понятием, в котором открыто воплотилась идея гегемонии буржуазии как решения проблемы суверенитета¹⁶.

Там, где понятие нации было народным и революционным, каким оно и было во времена Французской революции, можно допустить, что нация вырвалась из рамок свойственного современности понятия суверенитета и его аппарата подчинения и господства, посвятив себя взамен служению демократическому понятию сообщества. Провозглашение идеи связи между понятием нации и понятием народа действительно стало новым и очень убедительным шагом, оно легло в основу взглядов якобинцев и других революционных групп. То, что в этом представлении о национальном, народном суверенитете кажется революционным и способствующим освобождению, на самом деле было не более чем еще одним поворотом, дальнейшим расширением масштабов подчинения и господства, то есть принципов, которые содержались в выработанном современностью понятии суверенитета с самого начала. Непрочная власть суверенитета как разрешения кризиса современности сначала обратилась за поддержкой к нации, а когда нация тоже оказалась ненадежным решением, последовало обращение к народу. Иными словами, подобно тому как понятие нации придает понятию суверенитета завершенность, утверждая свою первичность по отношению к нему, так и понятие народа придает завершенность понятию нации посредством еще одной ложной логической регрессии, вымышленного обращения к прошлому. Каждый следующий шаг назад работает на укрепление власти суверенитета, мистифицируя его базис, то есть усиливая натуралистичность этого понятия. Идентичность нации и тем более идентичность народа должна казаться изначальной и естественной.

Мы же, напротив, должны денатурализовать эти понятия, спросив, что такое нация и как ее создали, но, кроме того, что такое народ, и как был создан он? Хотя «народ» принимается в качестве изначально существовав-

шей основы нации, *характерное для современности понятие народа на самом деле создано национальным государством* и может существовать лишь внутри его особого идеологического контекста. Многие сегодняшние исследования наций и национализма, выполненные с различных теоретических позиций, идут неверным путем именно потому, что они безусловно полагаются на естественность понятия и идентичности народа. Следует отметить, что понятие народа весьма отличается от понятия масс¹⁷. Уже в XVII веке Гоббс был чрезвычайно внимателен к этому различию и его важности для построения суверенного порядка: «И наконец, опасным для всякого государственного правления, а особенно монархического, является недостаточно четкое отличие народа (populus) от толпы (multitudo). Народ есть нечто единое, обладающее единой волей и способное на единое действие. Ничего подобного нельзя сказать о толпе. Народ правит во всяком государстве, ибо и в монархическом государстве повелевает народ, потому что там воля народа выражается в воле одного человека... как это ни парадоксально, царь есть народ»¹⁸. Массы — это гетерогенное множество, план сингулярностей, свободный ряд отношений, неоднородных и нетождественных самим себе, открытых тому, что находится извне. Народ, напротив, внутренне стремится к тождественности и однородности, одновременно устанавливая свое отличие и исключительность по отношению ко всему внешнему. Если массы представляют собой неопределенное конститутивное отношение, то народ является конституированным синтезом, готовым для суверенитета. Народ обеспечивает единство воли и действия, независимое от множества воли и действий масс и часто находящееся с ними в конфликте. Всякая нация должна превратить массы в народ.

В XVIII и XIX веках создание присущего современности понятия народа, связанного с понятием нации, обеспечивается двумя важнейшими направлениями действий. Основным из них является механизм колониального расизма, формирующий идентичность европейских народов в диалектической игре противостояний с их туземными Другими. Понятия нации, народа и расы никогда не были друг от друга далеки¹⁹. Конструирование абсолютного расового различия служит сущностной основой концепции однородной национальной идентичности. Сегодня, когда давление иммиграции и мультикультурализма создает в Европе постоянный конфликт, появляется множество замечательных исследований, показывающих, что, несмотря на неотступную ностальгию некоторых, европейские общества и народы никогда на самом деле не были ни «чистокровными», ни однородными²⁰. Идентичность народа создавалась лишь в воображаемом плане, который скрывал и/или игнорировал различия, в практическом плане она означала расовую субординацию и очищение от нежелательных элементов общества.

Вторым основным направлением действий по созданию народа, кото-

рому способствовало и первое, является стирание внутренних различий посредством *репрезентации* всего населения господствующей группой, расой или классом. Репрезентирующая группа является активной силой, стоящей за действенностью понятия нации. В ходе самой Французской революции в период между Термидором и приходом к власти Наполеона понятие нации раскрыло свое сущностное содержание и послужило противовесом идее и силам революции. Даже в ранних трудах Сиейеса мы ясно видим, как нация служит обузданию кризиса и как суверенитет будет обретен вновь при помощи представительства буржуазии. Сиейес утверждает, что у нации может быть только *один* общий интерес: порядок был бы невозможен, если допустить, что у нации может быть несколько различных интересов. Общественный порядок с необходимостью предполагает *единство* целей и согласованность средств²¹. Понятие нации в первые годы Французской революции было первым вариантом идеи установления гегемонии народа и первым сознательным манифестом социального класса, кроме того, оно засвидетельствовало завершение процесса секуляризации, увенчав его и поставив в нем последнюю точку. Понятие нации никогда не было столь реакционным, как тогда, когда оно представляло себя революционным". Парадоксально, но оно не могло не стать завершением революции, концом истории. Переход от революционной деятельности к духовному строительству нации и народа неизбежен и предполагается самими этими понятиями²³.

Таким образом, суверенитет нации и суверенитет народа были созданы в процессе духовного строительства, то есть стали результатом конструирования идентичности. Когда Эдмунд Берк возражал Сиейесу, его точка зрения отличалась от мнения оппонента гораздо меньше, чем мы могли бы предположить, учитывая жаркий полемический климат той эпохи. Фактически даже для Берка национальный суверенитет является результатом духовного конструирования идентичности. Этот факт еще более очевиден в работах тех авторов, кто нес знамя контрреволюционного проекта на европейском континенте. Континентальные концепции этого духовного строительства возродили как историческую, так и волюнтаристскую традиции нации и добавили к концепции исторического развития трансцендентальный синтез национального суверенитета. Этот синтез уже присутствует в завершенной форме, если мы принимаем тождество нации и народа. Иоганн Готлиб Фихте, например, языком, в той или иной мере близким мифологии, утверждает, что родина и народ есть представители и мера земной вечности; они — то бессмертное, что есть на этой земле". Контрреволюция романтизма на самом деле была более реалистичной, чем революция Просвещения. Она оформила и закрепила то, что уже свершилось, прославляя это в бессмертном ореоле гегемонии. Третье сословие — это власть; нация — его целостная репрезентация; народ —

его прочное и естественное основание; национальный суверенитет — ось истории. Тем самым любая историческая альтернатива буржуазной гегемонии окончательно вытеснялась собственной революционной историей буржуазии²⁵.

Эта буржуазная формулировка понятия национального суверенитета далеко превзошла все предшествующие формулировки понятия суверенитета, данные современностью. Она закрепила особый господствующий образ суверенитета эпохи современности, образ победы буржуазии, которой был придан характер исторического события всеобщей значимости. Национальная особенность — это потенциальная всеобщность. Все нити длительного развития сплетаются здесь воедино. В понятие идентичности, то есть духовной сущности народа и нации, входят понятия территории, насыщенной культурными значениями, общей истории и языковой общности; но, кроме того, здесь присутствуют и идеи консолидации победы класса, устойчивого рынка, возможности экономической экспансии и новых пространств для инвестиций и распространения цивилизации. Короче говоря, конструирование национальной идентичности гарантирует непрерывное укрепление легитимации, а также права и власти единства как священной и высшей ценности. Это решающий сдвиг в представлении о суверенитете. В содружестве с понятиями нации и народа представление о суверенитете, характерное для современности, смещает свой эпицентр от опосредования конфликтов и кризиса к единому опыту нации-субъекта и его воображаемого сообщества.

НАЦИОНАЛИЗМ УГНЕТЕННОЙ НАЦИИ

До этого момента наше внимание было сосредоточено на развитии понятия нации в Европе в то время, когда та шла к мировому господству. Однако за пределами Европы понятие нации часто выполняло совсем иную функцию. Фактически в некотором смысле можно даже утверждать, что в угнетенных, а не господствующих группах оно выполняло противоположную роль. Говоря более определенно, представляется, что, *оказавшись в руках доминирующих групп, понятие нации поддерживает застой и реставрацию, а в руках угнетенных групп — это оружие перемен и революции.*

Прогрессивная природа национализма угнетенных наций определяется двумя основными функциями, каждая из которых весьма неоднозначна. Важнее всего то, что идея нации служит прогрессу настолько, насколько она выступает линией обороны против господства более могущественных наций и внешних экономических, политических и идеологических сил. Право на самоопределение угнетенных наций на самом деле оказывается правом на отделение, на выход из-под контроля господствующих держав²⁶. В ходе антиколониальной борьбы, таким образом, понятие нации исполь-

зовалось как оружие для разгрома и изгнания врагов-оккупантов, подобным же образом и антиимпериалистическая политика воздвигала стены нации в противостоянии превосходящим силам иностранного капитала. Понятие нации также служило идеологическим оружием против господствующего дискурса, считавшего население и культуру зависимых стран сущностями низшего порядка; притязание на национальную принадлежность утверждало чувство собственного достоинства народа, легитимировало требования независимости и равенства. В каждом из этих случаев *нация является прогрессивной силой только потому, что выступает как укрепленная линия обороны против более могущественных внешних сил.* Однако настолько, насколько эти стены служат прогрессу, являясь защитой от внешнего господства, настолько же легко они могут сыграть противоположную роль в отношении того внутреннего пространства, которое они защищают. Обратная сторона структуры, противостоящей внешним силам, сама является господствующей силой, которая в своем внутреннем пространстве осуществляет такое же принуждение, подавляя различия и противоположности во имя национальной идентичности, единства и безопасности. Бывает трудно отличить друг от друга защиту и принуждение. Эта стратегия «национальной защиты» является обоюдоострым мечом, который временами необходим, несмотря на всю его разрушительность.

Во-вторых, идея нации служит прогрессу в той степени, в какой она способствует единству потенциального сообщества. Частью «модернизирующего» воздействия идеи нации в зависимых странах было сплочение различных групп населения, разрушающее религиозные, этнические и языковые барьеры. Объединение таких стран, как, например, Индонезия, Бразилия или Китай, — продолжающийся процесс, который предполагает преодоления разного рода многочисленных барьеров, — но во многих случаях национальное объединение было подготовлено европейским колониальным господством. В случаях с диаспорами нация порою оказывается единственной имеющейся в их распоряжении идеей, способной обеспечить воображаемое единство дискриминируемых групп; так, например, Ацтлан^у рисуется в воображении в качестве расположенной в Северной Америке географической родины *la Raza*, латиноамериканской нации как духовного сообщества. Вероятно, Бенедикт Андерсон прав, говоря, что нацию нужно понимать как воображаемое сообщество, но тут же мы должны будем признать, что это утверждение имеет и противоположное значение: *нация становится единственным способом воображения сообщества*. Воображая сообщество, мы сразу представляем себе нацию, что серьезно обедняет наше представление о сообществе. Точно так же, как и в господствующих странах, здесь множественный и сингулярный характер масс упраздняется в смиренной рубашке идентичности и гомогенности на-

рода. И вновь отметим: объединяющая сила идеи нации для угнетенных наций выступает как обоюдоострый меч, служащий прогрессу и реакции одновременно.

Оба эти одновременно прогрессивных и регрессивных аспекта национализма угнетенных наций представлены во всей своей неоднозначности в традиции черного национализма в Соединенных Штатах. Лишенный как таковой какой-либо привязки к территории (и потому, несомненно, отличающийся от большинства прочих видов национализма угнетенных наций), он также выполняет две основные способствующие прогрессу функции, порою борясь за то, чтобы представить себя таким же идейным течением, как идеология настоящих, территориально определенных наций. Так, в начале 60-х гг. XX века, после мощного толчка, данного Бандунгской конференцией и вспыхнувшим национально-освободительным движением в Африке и Латинской Америке, Малкольм Икс попытался переориентировать основные требования движения афроамериканцев с борьбы за «гражданские права» на борьбу за «права человека», риторически обращаясь, таким образом, не к американскому Конгрессу, а к Генеральной Ассамблее ООН²⁷. Малкольм Икс, подобно многим афроамериканским лидерам начиная по крайней мере с Маркуса Гарвея, ясно представлял себе преимущество выступать от имени нации и народа. Понятие нации формирует здесь оборонительную позицию *отделения* от господствующей «внешней» власти, и в то же время представляет самостоятельную, *автономную власть* единого сообщества, власть народа.

Однако важнее подобных теоретических и риторических утверждений реальные практики черного национализма, то есть богатое разнообразие видов деятельности и явлений, рассматриваемых самими участниками движения как выражение черного национализма: от групп по военно-спортивной подготовке и шествий представителей сообщества до продюльственных программ, собственных школ и проектов экономического развития и самообеспечения сообщества. Как пишет Ванеемо Любиано, «черный национализм значим в силу своего повсеместного присутствия в жизни черных американцев»²⁸. Во всех разнообразных видах деятельности и сферах жизни черный национализм означает самостоятельно установленные сферы компетенции, создающие сообщество и допускающие его относительное самоопределение и самообустройство. Несмотря на неоднородность явлений, называемых черным национализмом, мы все еще можем распознать в них две основные прогрессивные функции национализма угнетенных наций — защиту и объединение сообщества. Черным национализмом может называться любое выражение обособленности и автономной власти афроамериканцев.

Однако и прогрессивные составляющие черного национализма неизбежно отбрасывают реакционные тени. Репрессивные силы нации и наро-

да подавляют самостоятельность сообщества и разрушают его множественный, неоднородный характер. Когда черный национализм представляет в качестве своей основы однородность афроамериканского народа (затушевывая, например, классовые различия) или когда он обозначает один из сегментов сообщества (например, афроамериканских мужчин), как *de facto* представителей целого, глубокая двойственность прогрессивных функций национализма угнетенных наций проявляется наиболее ясно²⁹. Именно те структуры, которые играют защитную роль по отношению к внешним силам — в интересах усиления власти, автономии и единства сообщества — по отношению к нему самому выполняют функцию подавления, разрушая множественность сообщества.

Однако следует подчеркнуть, что эти двойственные по своей природе прогрессивные функции понятия нации проявляются в основном тогда, когда нация не связана крепко-накрепко с суверенитетом, то есть пока воображаемая нация еще не существует, пока она остается просто мечтой. Как только нация начинает обретать атрибуты суверенного государства, все ее прогрессивные функции исчезают. Жан Жене был очарован революционным желанием афроамериканцев из «Черных Пантер»³⁰ и палестинцев, но он понимал, что превращение в суверенную нацию означало бы конец их революционных качеств. «С того дня как палестинцы обретут государственность, — говорил он, — меня не будет больше на их стороне. В тот день, когда палестинцы станут такой же нацией, как все прочие, меня с ними не будет»³⁰. С успехом национального «освобождения» и созданием национального государства все репрессивные функции современного суверенитета неизбежно расцветают буйным цветом.

ТОТАЛИТАРИЗМ НАЦИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА

Когда национальное государство функционирует как институт суверенитета, удастся ли ему наконец разрешить кризис современности? Удастся ли понятию народа и сопряженной с ним биополитической власти, замещающей суверенитет, изменить условия и место реализации синтеза конститутивной и конституированной власти, а также динамики производительных сил и производственных отношений так, чтобы мы смогли успешно выйти из кризиса? Очень многие писатели, поэты и политические деятели (зачастую участники прогрессивных, социалистских и антиимпериалистических движений) придерживались подобной точки зрения. Переход левых от якобинства XIX века к национальным левым партиям, все более и более активное обращение к программам по национальному вопросу во Втором и Третьем Интернационалах, националистические формы освободительной борьбы в колониальном и постколониальном мире и вплоть до сегодняшнего сопротивления наций процессам глобализации и провози-

руемым ими катастрофам — все это, как кажется, подтверждает мнение, что национальное государство обретает новую динамику по ту сторону исторической и концептуальной катастрофы, постигшей суверенное государство современности³¹.

Однако мы придерживаемся иного понимания роли нации, и поэтому, по нашему убеждению, кризис современности ни в коей мере не находит своего разрешения в условиях господства нации и народа как ее основы. Когда мы вновь возвращаемся к нашей генеалогии понятия суверенитета в Европе XIX и XX веков, становится очевидным, что в период современности государственность первоначально пала до формы национальной государственности, а затем окончательно деградировала до варварского уровня. Когда в первые десятилетия XX века классовая борьба вновь открыла взору мистифицированные синтезы современности и снова выявила острейшее противоречие между государством и массами и между производительными силами и производственными отношениями, это противоречие прямо привело к гражданской войне в Европе: гражданской войне, которая, тем не менее, была скрыта под покровом конфликтов между суверенными национальными государствами³². Во Второй мировой войне нацистская Германия, поддержанная различными силами европейского фашизма, открыто выступила против социалистической России. Нации подменяли здесь классовых субъектов конфликта или были масками, прятавшими их лица. Если нацистская Германия — это идеальный тип преобразования суверенитета эпохи современности в суверенитет национальный и придания ему капиталистической формы, то сталинская Россия — это идеальный тип преобразования интересов народа и жестокой логики, из них вытекающей, в программу национальной модернизации, мобилизующую в своих собственных целях производительные силы, стремящиеся к освобождению от капитализма.

Тут мы можем проанализировать национал-социалистический апофеоз выработанного современностью понятия суверенитета и его преобразование в национальный суверенитет: ничто не может с большей очевидностью продемонстрировать этот переход во всей его последовательности, нежели передача власти от Прусской монархии режиму Гитлера при полном благорасположении немецкой буржуазии. Однако эти события хорошо изучены, так же как и сопровождавший их взрыв насилия, образцовое послушание немецкого народа, его рвение на военной и гражданской службе нации, хорошо известны и последствия, которые мы предельно кратко назовем Аушвицем (символ еврейского Холокоста) и Бухенвальдом (символ истребления коммунистов, гомосексуалистов, цыган и прочих). Давайте оставим этот сюжет другим исследователям и суду истории.

Здесь нас больше интересует другая сторона национального вопроса в Европе того времени. Иными словами, что же на самом деле происходило,

когда национализм шагал по Европе рука об руку с социализмом? Чтобы ответить на этот вопрос, нам опять необходимо обратиться к некоторым центральным моментам в истории европейского социализма. В частности, необходимо вспомнить, что между серединой и концом XIX века социалистический Интернационал, тогда только что основанный, был вынужден примириться с мощными националистическими движениями, и в этом противостоянии изначальный интернационалистский пыл рабочего движения быстро иссяк. Политика наиболее сильных европейских рабочих движений Германии, Австрии, Франции и, наконец, Англии состояла в том, чтобы немедленно встать под знамена национальных интересов. Социал-демократический реформизм безоговорочно принял этот компромисс, достигнутый во имя нации,— компромисс классовых интересов, то есть компромисс между пролетариатом и определенными группами господствующей буржуазии в каждой стране. Давайте не будем даже говорить ни об этой постыдной истории предательства, когда отдельные отряды европейского рабочего движения поддержали империалистические авантюры национальных государств Европы, ни о непростительном безрассудстве европейских реформистов, согласившихся направить массы на бойню Первой мировой войны.

Свою политическую позицию социал-демократические реформисты обосновывали соответствующей теорией. Ее сочинили несколько австрийских социал-демократических профессоров, современников музилевского графа Лейнсдорфа. В идиллической атмосфере австрийских Альп, в мягком интеллектуальном климате «возвращения к Канту» эти профессора, такие как Отто Бауэр, настаивали на необходимости признания нации основополагающим элементом модернизации³³. Фактически они верили, что из конфронтации между нацией (определяемой как общность характера) и капиталистическим развитием (понимаемым как общество) могла бы родиться диалектика, которая по мере своего развертывания в конечном счете служила бы интересам пролетариата и целям установления в обществе его гегемонии, способствующей прогрессу. Эта программа игнорировала тот факт, что понятие национального государства не поддается делению на составные части, а скорее является органическим, что оно не трансцендентально, а трансцендентно, и даже в своей трансценденции оно предназначено противостоять любому стремлению пролетариата вернуть себе социальные пространства и общественные богатства. Что же тогда может значить модернизация, если она в основе своей связана с реформой капиталистической системы и враждебна зарождению революционного процесса? Эти авторы прославляют нацию, не желая платить за ее славу. Или, точнее, они прославляют ее, одновременно мистифицируя разрушительную силу понятия нации. С учетом этих теоретических моментов поддержка империалистических проектов и межимпериалистической

войны была логически неизбежной позицией социал-демократических реформистов.

Большевики тоже встали на почву национальной мифологии, в частности благодаря очень известной работе Сталина о марксизме и национальном вопросе, написанной до революции³⁴. Согласно Сталину, нации по природе своей революционны, а революция означает модернизацию: национализм — это неизбежная стадия исторического развития. Однако в трактовке Сталина, как только нация становится социалистической, социализм, в свою очередь, становится русским и Иван Грозный помещается в Мавзолей рядом с Лениным. Коммунистический Интернационал превратился в «пятую колонну» русских национальных интересов. Идея коммунистической революции — бродячий детерриториализирующий призыв, который неотступно преследовал Европу и мир и которому в период от Парижской Коммуны и октября 1917 года в Петрограде и вплоть до Великого похода Мао удавалось собрать воедино дезертиров, партизан-интернационалистов, бастующих рабочих и интеллектуалов-космополитов, — была, в конце концов, превращена в ретерриториализирующий режим национального суверенитета. Трагическая ирония состояла в том, что национальный социализм в Европе стал похож на национал-социализм. Это произошло не потому, что «крайности сближаются», как хотелось бы думать либералам, но потому, что сердцевиной, сутью обоих была абстрактная машина суверенитета.

Когда в разгар холодной войны в политическую науку было введено понятие тоталитаризма, оно коснулось лишь внешних аспектов проблемы. В своей наиболее последовательной форме понятие тоталитаризма использовалось для того, чтобы осудить разрушение демократической сферы общества, устойчивость якобинских идеологий, крайние формы расистского национализма и отрицание рыночных сил. Однако понятие тоталитаризма должно гораздо более глубоко проникнуть в суть реальных явлений и в то же время дать им лучшее объяснение. Фактически тоталитаризм состоит не просто в переустройстве общественной жизни на принципах тотальности и ее подчинении всеохватывающей дисциплинарной норме, но и в отрицании самой общественной жизни, в разрушении ее оснований, в теоретическом и практическом устранении самой возможности существования масс. Тотальность составляет здесь органическое основание и единый источник общества и государства. Сообщество как динамическое коллективное творчество подменяется мифом, постулирующим его изначальное существование. Представление о том, что народ есть начало нации, задает идентичность, которая гомогенизирует и выхолощивает образ реального населения, одновременно блокируя конструктивное взаимодействие различий внутри масс.

Сейчас уже в XVIII веке видел зародыш тоталитаризма в понятиях на-

ционального и народного суверенитета, понятиях, которые благополучно сохранили абсолютную власть монархии и передали ее национальному суверенитету. Он предвидел будущее того, что может быть названо тоталитарной демократией". В спорах о Конституции III года Французской революции Сиейес выражал свое несогласие с «дурными планами по созданию *re-total* вместо *g -publique*, которые могли бы стать фатальными для свободы и разрушительными как для публичного, так и для приватного пространства»³⁶. Понятие нации и практики национализма с самого начала ведут не по пути к республике (*re-public*), общественному делу, а по пути к тоталитарности (*re-total*), то есть к подчинению всей общественной жизни тоталитарному принципу.

!

2.3 ДИАЛЕКТИКА КОЛОНИАЛЬНОГО СУВЕРЕНИТЕТА

Туссену-Лувертюру*¹¹

*Несчастнейший из всех людей, Туссен!
Крестьянин ли, насвистывая, плуг свой
В пределы слуха твоего направит или
Приклонишь ты сейчас свое чело
В глухой темнице в подземелье стьлом;
— О Вождь великий! Где же и когда
Терпенье обретешь. Не умирай пока;
Свой бодрый дух сумел ты сохранить:
Хоть ниспровергнут, и уже не взмыть,
Живи, и утешение прими.
Остались силы, что тебе послужат;
Земля, и воздух, и небесный свод;
• Дыханье ветра, что по свету кружит.
Забвенью имя не предаст твое;
Союзники твои сильны от века;
Твои друзья восторги, боль, любовь
Иум непобедимый человека.*

Уильям Вордсворг*¹¹

Теперь нам нужно отступить назад и исследовать генеалогию понятия суверенитета с точки зрения колониализма. Кризис современности с самого начала был тесно связан с расовым подчинением и колонизацией. В то время как на своей территории национальное государство и сопутствующие идеологические структуры неумолимо работают над производством и воспроизводством чистоты народа, во внешнем мире национальное государство выступает машиной, которая производит Других, создает расовые различия и возводит границы, разделяющие и поддерживающие субъект суверенитета эпохи современности. Эти границы и барьеры, впрочем, не являются непроницаемыми, но скорее служат для регулирования двусторонних потоков между Европой и окружающим ее миром. Житель Востока, африканец, индеец — все они являются необходимыми негативными компонентами основания европейской идентичности и современного представления о суверенитете как таковых. Темный Другой европейского Просвещения оказывается самым его основанием точно так же, как производственные отношения с «темными континентами» служат экономическим фундаментом европейских национальных государств¹. Расовый конфликт, присущий европейской современности, представляет собой еще один

симптом перманентного кризиса, который определяет характерное для нее представление о суверенитете. Колония находится в диалектической противоположности европейской современности как ее необходимый двойник и неустранимый антагонист. Колониальный суверенитет есть еще одна неудовлетворительная попытка разрешения кризиса современности.

ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ЕСТЬ ЕДИНСТВО И МНОЖЕСТВЕННОСТЬ

Эпоха европейских открытий и возрастающих по интенсивности связей между пространствами и народами Земли всегда несла с собой элемент настоящей утопии. Но столь много крови было пролито, столь много жизней и культур уничтожено, что кажется гораздо более насущным разоблачить варварство и ужас западноевропейской (и, затем, также американской, советской и японской) экспансии и контроля над миром. Однако мы считаем важным не забывать и утопические тенденции, которые всегда сопутствовали продвижению к глобализации, даже если эти тенденции длительный период подавлялись силами суверенитета современности. Любовь к разнообразию и вера во всеобщие универсальные свободу и равенство человечества, свойственные революционной мысли гуманизма Возрождения, вновь появляются здесь на глобальном уровне. Этот утопический элемент глобализации и есть то, что препятствует нашему простому отступлению к партикуляризму и изоляционизму как реакции на объединение сил империализма и расистского господства, вместо этого подталкивая нас к созданию проекта контр-глобализации, контр-Империи. Этот утопический момент, однако, всегда оказывался двусмысленным. Это тенденция, которая постоянно находится в конфликте с суверенным порядком и господством. Мы видим три образцовых выражения этого утопизма во всей их двусмысленности в идеях Бартоломе де Лас Касаса¹⁸, Туссена-Лувертюра и Карла Маркса.

Первые полвека после высадки европейцев в испанской Америке Бартоломе де Лас Касас с ужасом созерцал варварство конкистадоров и колонистов, проводимые ими порабощение и геноцид индейцев. Большинство испанских военных, управляющих и колонистов, жаждущих золота и власти, видели жителей этого нового мира существами иной природы, Другими, недочеловеками или, по крайней мере, людьми, самым порядком подчиненными европейцам, — и Лас Касас подробно повествует нам о том, что новоприбывшие европейцы обращались с ними хуже, чем с животными. В таких условиях является чудом, что Лас Касас, который *состоял* в испанской миссии, нашел в себе силы не согласиться с общим мнением и настаивать на том, что индейцы — такие же люди, а также осудить жестокость испанских правителей. Его протест сводится к одному простому принципу: *человечество едино и равно*.

В то же время, однако, следует осознавать, что миссионерское призвание по сути связано с гуманистическим проектом доброго епископа Чьяпаса. фактически Лас Касас способен понимать равенство только в категориях тождественности. Индейцы равны европейцам по природе лишь постольку, поскольку потенциально они являются европейцами или, в действительности, потенциальными христианами: «Природа человека едина, и Христос всех призывает единым образом»². Лас Касас не может выйти за пределы видения Америки с позиций европоцентризма, согласно которому величайшие щедрость и милосердие приведут индейцев под власть и опеку истинной веры и ее культуры. Аборигены есть неразвитые потенциальные европейцы. В этом смысле Лас Касас принадлежит к дискурсу, благополучно дожившему до XX столетия и признающему способность дикарей к совершенствованию. Для индейцев, так же как и для евреев Испании XIV столетия, путь от гонений к свободе должен проходить прежде всего через обращение в христианство. На самом деле Лас Касас не так далек от инквизиции. Он признает, что человечество едино, но не может увидеть, что одновременно оно многообразно.

Спустя более чем два столетия после Лас Касаса, в конце XVIII века, когда европейское господство над обоими американскими континентами сменило форму с завоевания, бойни и грабежа на более стабильную колониальную структуру крупномасштабного рабовладельческого производства и торговых привилегий, во французской колонии Сан-Доминго (ныне Гаити) черный раб по имени Туссен-Лувертюр возглавил первое успешное восстание самих рабов против нового, возникшего в эпоху современности, рабства. Туссен-Лувертюр принял риторику Французской революции, распространяющуюся из Парижа, в ее чистой форме. После того как французские революционеры, противостоявшие старому порядку, провозгласили всеобщими правами человека «свободу, равенство и братство», Туссен предположил, что черные, мулаты и белые в колонии также могут ими обладать. Он решил, что победа над феодальной аристократией и провозглашение универсальных ценностей в Европе также означают победу над «расовой аристократией» и отмену рабства. Все теперь будут свободными гражданами, равными братьями в новой Французской республике. Письма Туссена к французским военным руководителям и к правительству точно следуют риторике революции, доводят ее до логического конца и тем самым, выявляют ее лицемерие. Возможно, по наивности, а может, и в качестве сознательной политической тактики Туссен показывает, как лидеры революции предадут превозносимые ими принципы. В докладе Директории от 14 Брюмера VI года (5 ноября 1797 года) Туссен предупреждал французское руководство, что любой возврат к рабству, любой компромисс с принципами невозможны. Декларация свободы не может быть отменена: «Неужели вы думаете, что человек, насладившийся благословением свобо-

ды, будет спокойно смотреть, как ее отбирают назад?... Но нет, та же рука, которая разбила наши оковы, не поработит нас снова. Франция не отменит свои принципы, она не отнимет у нас величайшее из своих благодеяний»³.

Всеобщие права, столь уверенно провозглашенные в Париже, вернулись из Сан-Доминго только для того, чтобы вызвать ужас в сердцах французов. В путешествии через Атлантику универсальность идеалов стала более реальной и была осуществлена на практике. По словам Эме Сезера, Туссен-Лувертюр провел проект через пространство, «которое отделяет *просто мысль* от конкретной реальности; право от его реализации; разум от своей настоящей истины»⁴. Туссен понимает Декларацию прав человека буквально и настаивает на ее полном осуществлении на практике. Революция под водительством Туссена не ставит целью освобождение от европейского господства лишь для того, чтобы вернуться к потерянному африканскому миру или воссоздать в изоляции традиционные формы правления; Туссен смотрит вперед, на формы свободы и равенства, вновь оказавшиеся доступными в мире, который становится все более взаимосвязанным⁵.

Однако иногда Туссен пишет так, как если бы сама идея свободы была сотворена французами и как если бы он и его соратники по восстанию получили свободу лишь по милости Парижа. Возможно, это было просто ораторским приемом Туссена, примером иронического раболепия по отношению к правителям Франции; но, несомненно, не стоит думать, что свобода является европейской идеей. Рабы Сан-Доминго восставали против своих господ еще с тех времен, как их захватили и принудительно вывезли из Африки. Им не даровали свободу, они добились ее в кровавой и неутомимой борьбе. Ни жажда свободы, ни ее завоевание не пришли из Франции, и черные в Сан-Доминго не нуждались в том, чтобы парижане учили их сражаться за свободу. Что Туссен получил и прекрасно использовал, так это специфическую риторику французских революционеров, которая придавала легитимную форму его поиску освобождения.

В XIX веке Карл Маркс, подобно Лас Касасу и Туссену-Лувертюру ранее, осознал утопический потенциал все набирающих темпы процессов глобального взаимодействия и коммуникаций. Подобно Лас Касасу, Маркс ужасался жестокости европейского завоевания и эксплуатации. Капитализм родился в Европе из крови и пота завоеванных и колонизированных неевропейских народов: «для скрытого рабства наемных рабочих в Европе нужно было в качестве фундамента рабство *sans phrase* [без оговорок] в Новом Свете»*. Подобно Туссену-Лувертюру, Маркс понимал человеческую свободу в качестве универсального проекта, который призван осуществиться на практике и из которого никто не должен быть исключен.

Этот глобальный утопический настрой у Маркса, тем не менее, носит двусмысленный характер, возможно даже в большей степени, чем в двух

других случаях, как мы можем ясно видеть из серии статей, которые он написал для *New York Daily Tribune* в 1853 году по поводу британского правления в Индии. Основная цель Маркса при написании этих статей состояла в том, чтобы объяснить смысл дебатов, шедших в то время в британском парламенте по вопросу о статусе Ост-Индской компании, и связать их с историей британского колониального правления. Конечно, Маркс не замедлил отметить жестокость, с какой осуществлялось насаждение британской «цивилизации» в Индии, опустошение и страдания, принесенные ненасытной алчностью британского капитала и британского правительства. Однако он немедленно предупреждает, используя понятия, непосредственно возвращающие нас к революционному лику Возрождения, против того, чтобы реагировать на жестокость британцев, просто слепо поддерживая статус-кво, существующее в индийском обществе. Деревенская система, которая, в понимании Маркса, предшествовала британскому колониальному вторжению, не была тем, что стоит защищать: «Как ни печально с точки зрения чисто человеческих чувств зрелище...» разрушения и страданий, причиненных британцами, «мы не должны забывать, что эти идиллические сельские общины, сколь безобидными они бы не казались, всегда были прочной основой восточного деспотизма, что они ограничивали человеческий разум самыми узкими рамками, делая из него покорное орудие суеверия, накладывая на него рабские цепи традиционных правил, лишая его всякого величия, всякой исторической инициативы»⁷. Точно так же не заслуживает поддержки система власти традиционных индийских правителей, даже в качестве противодействия британскому господству: «Не странно ли, что именно люди, громко осуждающие „варварскую пышность английской короны и аристократии“, ныне проливают слезы по поводу разорения индийских навабов, раджей и джагирдаров, которые в своем огромном большинстве не могут даже похвалиться древностью рода, ибо это узурпаторы совсем недавнего происхождения, возведенные в свой сан английскими интригами!»⁸.

Положение в колониях слишком легко оказывается ситуацией выбора из двух зол: подчинение британскому капиталу и британскому владычеству или возвращение к традиционным индийским социальным структурам и подчинение индийским правителям, господство иностранное или господство местное. По мнению Маркса, должен быть иной путь, который отвергает обе эти альтернативы, путь неповиновения и свободы. В этом смысле в создании условий, обеспечивающих возможность нового общества, «Англия, несмотря на все свои преступления, была бессознательным орудием истории, вызывая эту революцию»⁹. Капитал может в определенных условиях стать силой просвещения. К тому же, подобно Туссену, Маркс не видел смысла в свержении иностранного господства просто для воссоздания ряда отдельных и традиционных форм угнетения. Альтернатива долж-

на быть устремлена к новой форме свободы, связанной с расширяющейся сетью глобального обмена.

Единственным «альтернативным» путем, который может представить Маркс, впрочем, являлся тот же самый путь, который европейское общество уже прошло. У Маркса нет концепции своеобразия индийского общества, понимания его возможностей как отличающихся от доступных европейцам. Таким образом, он способен видеть прошлое индийцев лишь как пустое и статичное: «Истории индийского общества нет, по крайней мере, нам она неизвестна. То, что мы называем его историей, есть лишь история сменявших один другого завоевателей, которые основывали свои империи на пассивном базисе этого не оказывавшего никакого сопротивления неподвижного общества»¹⁰. Утверждение, что индийское общество не имеет истории, означает не то, что в Индии ничего не происходило, но что курс событий определялся исключительно внешними силами, в то время как индийское общество оставалось пассивным, «несопротивляющимся и неменяющимся». Конечно, Маркс был ограничен скудостью своих познаний о настоящем и прошлом Индии". Тем не менее его недостаточная информированность — не самое главное. Основным является то, что Маркс способен представлять себе неевропейскую историю лишь как строго движущуюся по пути, уже пройденному самой Европой. «Англии предстоит выполнить в Индии двоякую миссию, — писал он, — разрушительную и созидательную, — с одной стороны, уничтожить старое азиатское общество, а с другой стороны, заложить материальную основу западного общества в Азии»¹². Индия может развиваться только путем превращения в западное общество. Весь мир может продвигаться вперед лишь по стопам Европы. Европоцентризм Маркса, в конечном счете, не столь отличен от такового у Лас Каса.

КРИЗИС КОЛОНИАЛЬНОГО РАБСТВА

Хотя утопические настроения снова и снова всплывали в историческом процессе роста взаимосвязанности мира и расширения информационных обменов в период современности, они, тем не менее, снова и снова подавлялись военными и идеологическими средствами, состоявшими на службе у сил европейского владычества. Основным результатом были массовые убийства в масштабах, которые ранее невозможно было вообразить, и установление расовых, политических и экономических структур европейского господства над неевропейским миром. Усиление европейского господства в значительной степени определялось развитием и распространением капитализма, который питал европейскую жажду богатства, казавшуюся неутолимой. Глобальная экспансия капитализма, однако, не была ни единообразным, ни лишенным противоречий процессом. В различных

регионах и у разных народов капитализм развивался неравномерно: он неуверенно шел вперед, колебался и отступал в соответствии с многообразием различных путей. Один из таких кружных путей прослеживается в истории крупномасштабного колониального рабовладельческого производства на обоих американских континентах между концом семнадцатого и серединой девятнадцатого столетий, истории, которая не является докапиталистической, но скорее находится *внутри* сложного и противоречивого развития капитала.

Крупномасштабное плантационное производство с использованием рабского труда было начато на Карибских островах в середине XVII столетия английскими и французскими плантаторами, которые ввозили рабов из Африки, чтобы компенсировать малочисленность местного населения, уничтоженного европейским оружием и болезнями. К концу XVIII столетия продукция рабского труда на обоих американских континентах составляла одну треть стоимости европейской торговли^{1*}. Европейский капитализм находился в весьма двусмысленных отношениях с этим рабовладельческим производством в Америке. Можно логически аргументировать, как делали многие, что, поскольку капитализм идеологически и материально основан на свободном труде или, в действительности, на собственности рабочего на свою рабочую силу, он должен быть противоположен рабскому труду. С этой точки зрения колониальное рабство должно рассматриваться как предшествующая форма производства, аналогичная феодализму, на смену которому постепенно пришел капитал, преодолев его. Капиталистическая идеология свободы в этом случае должна быть чистой силой просвещения.

Однако отношения капитала с колониальным рабством фактически являются куда более тесными и сложными. Во-первых, хотя капиталистическая идеология и в самом деле противоположна рабству, на практике капитал, тем не менее, не только подчинил себе и усилил существующие системы рабовладельческого производства по всему миру, но также *создал новые системы рабства* в беспрецедентном масштабе, особенно на американских континентах¹⁴. Создание капиталом рабовладельческих систем можно интерпретировать как своего рода приобщение к капитализму, где рабство должно выступать в качестве переходной стадии между натуральными (то есть самодостаточными и изолированными) экономикami, которые предшествовали европейскому вторжению, и собственно капитализмом. Действительно, масштаб и уровень организации Карибских плантаций XVIII века в определенных аспектах предвосхитили европейскую промышленную фабрику XIX века¹⁵. Рабовладельческое производство на американских континентах и торговля африканскими рабами, однако, не являлись просто или даже преимущественно переходом к капитализму. Они были относительно стабильной опорой, пье-

десталом сверхэксплуатации, на котором стоял европейский капитализм. Здесь нет противоречия: рабский труд в колониях делал возможным капитализм в Европе, и европейский капитал не был заинтересован в отказе от него.

В тот же самый период, когда европейские державы создавали базу рабовладельческой экономики по берегам Атлантики, в Европе, главным образом в Восточной, но также и в Южной, происходила рефеодализация аграрной экономики, и, таким образом, возникла сильная тенденция к ограничению мобильности рабочей силы и замораживанию условий рынка труда. Европа была отброшена во второй период крепостничества. Суть здесь состоит не просто в разоблачении иррациональности буржуазии, но в том, чтобы понять, как *рабство и крепостничество могут быть прекрасны совместимы с капиталистическим производством* в качестве механизмов, ограничивающих мобильность рабочей силы и блокирующих ее движение. Рабство, крепостничество и все другие личины принудительной организации труда — от кулизма в Океании и пеонажа в Латинской Америке до апартеида в Южной Африке — все являются важными элементами, присущими процессам капиталистического развития. В этот период рабство и наемный труд ангажировали друг друга как партнеры по танцу в скоординированных шагах развития капитализма¹⁶.

Конечно, многие благородные и просвещенные защитники аболиционизма в Европе и на американских континентах в конце XVIII и начале XIX столетий, руководствуясь соображениями морали, выступали против рабства. Доводы аболиционистов имели некоторую реальную силу лишь тогда, когда шла речь об интересах капитала, например когда они служили делу снижения прибылей рабовладельческого производства конкурента. И даже в этом случае их сила была довольно ограниченной. Фактически ни моральные аргументы дома, ни расчеты прибыльности за рубежом не могли подвигнуть европейский капитал уничтожить рабовладельческие режимы. Лишь бунт и революция самих рабов могли обеспечить необходимое средство для достижения цели. Так же, как капитал делает шаги к реструктуризации производства и использует новые технологии лишь в ответ на угрозу организованного противостояния рабочих, так же европейский капитал не отказался бы от рабовладельческого производства, пока организованные рабы не стали представлять угрозу его власти и сделали эту систему производства непригодной. Иными словами, рабство было отменено не по экономическим причинам, но скорее уничтожено политическими силами¹⁷. Политические волнения, конечно, подорвали экономическую выгодность системы, но еще важнее то, что восставшие рабы стали реальной контрвластью. Гаитянская революция, несомненно, была водоразделом в истории восстаний рабов в эпоху современности — и ее призрак бродил по Америке в начале XIX века так же, как призрак Октябрьской революции

являлся европейскому капитализму более века спустя. Тем не менее не следует забывать, что восстание и антагонизм были постоянной частью рабства повсюду на обоих американских континентах, от Нью-Йорка до Баии. Экономика рабства, подобно самой экономике современности, была экономикой кризиса.

Утверждение, что режимы рабства и крепостничества внутренне присущи капиталистическому производству и развитию, указывает на глубинную связь между желанием субъекта труда избежать отношений господства и подчинения и попытками капитала удержать население внутри жестко установленных территориальных границ. Йанн Мулье Бутан особо отмечал важность этих процессов бегства в истории капиталистического развития:

Анонимная, коллективная, продолжающаяся и бессодержательная сила дезертирства подталкивала рынок труда по направлению к свободе. Та же сила обязывала либерализм создавать апологию свободного труда, права на собственность и открытых границ. Она также заставляла буржуазных экономистов создавать модели, которые снижали мобильность труда, дисциплинировали его и оставляли без внимания элементы непрерывного бегства. Все это служило открытию и перераскрытию тысячи форм рабства. Этот неизбежный аспект накопления предваряет вопрос пролетаризации в эру либерализма. Он создает основы современного государства¹⁸.

Стремление масс к территориальным перемещениям является мотором, приводящим в движение весь процесс капиталистического развития, и капитал должен постоянно пытаться сдерживать это стремление.

ПРОИЗВОДСТВО ИНАКОВОСТИ

Колониализм и расовое подчинение выступают как временное решение кризиса европейской современности не только в экономических и политических терминах, но также в терминах идентичности и культуры. Колониализм создает образы инаковости и соединяет их потоки в сложную диалектическую структуру. Конструирование в негативном плане неевропейских других в конечном счете оказывается тем, что формирует и поддерживает саму европейскую идентичность.

Колониальная идентичность действует прежде всего посредством ма-нихейской логики исключения. Как говорит нам Франц Фанон, «колониальный мир есть мир, расколотый надвое»¹⁹. Колонизированные исключены из европейских пространств не только в физических и территориальных категориях и не только в категориях прав и привилегий, но даже в категориях мышления и ценностей. Колонизированный субъект коне-

труется в воображении колонизатора как другой и таким образом отбрасывается за границы определяющих основ европейских цивилизованных ценностей настолько далеко, насколько это возможно. (Мы не можем общаться с ними; они не могут контролировать себя; они не уважают ценности человеческой жизни; они понимают только насилие.) Расовые различия есть вид черной дыры, которая может втянуть в себя все возможные виды зла, варварства, неконтролируемой сексуальности и так далее. Темный колонизированный субъект тем самым в своем отличии кажется на первый взгляд непонятным и загадочным. Конструирование идентичностей в логике колониализма основано главным образом на фиксированных границах между метрополией и колонией. Чистота идентичностей и в биологическом, и в культурном отношении имеет первостепенное значение, а для защиты границы предпринимаются значительные усилия. «Фактически все ценности, — отмечает Фанон, — оказываются безвозвратно отравлены и подорваны, как только им позволяют вступить в контакт с колонизированной расой»²⁰. Границы, защищающие это чистое европейское пространство, все время находятся в осаде. Колониальный закон действует в основном вокруг этих границ, и за счет того, что он поддерживает их исключющую функцию, и за счет того, что он применяется различным образом к субъектам по обеим сторонам разделения. Апартеид есть просто форма, возможно наиболее характерная, разделения колониального мира.

Барьеры, разделяющие колониальный мир, воздвигнуты не просто в соответствии с природными границами, хотя почти всегда есть физические признаки, которые помогают сделать разделение естественным. *Инаковость является созданной, а не данной.* Эта посылка принимается в качестве отправной широким кругом исследований, появившихся в последние десятилетия, и в том числе она принята в известной книге Эдварда Сайда, заложившей новое направление: «Я начал с предположения, что Восток был сотворен — или, как я называю это, „ориентализован"». Ориентализм не является просто научным проектом для получения более точного знания о реальном объекте, о Востоке, но скорее дискурсом, который создает свой собственный объект в процессе развертывания самого дискурса. Две основные особенности этого ориенталистского проекта есть проводимая в его рамках гомогенизация Востока от Магриба до Индии (люди Востока везде почти одинаковы) и придание Востоку определенных сущностных черт (Восток и восточный характер есть вневременные и неменяющиеся сущности). Результатом, как указывает Сайд, оказывается не Восток каков он есть, как эмпирический объект, но Восток ориентализованный, объект европейского дискурса»²¹. Восток тем самым, во всяком случае каким мы его знаем благодаря ориентализму, есть продукт дискурса, созданного в Европе и ввезенного обратно на Восток. Полученный

в итоге образ является одновременно и формой исключения, и формой результата производства.

Среди академических дисциплин, вовлеченных в это культурное производство различия, антропология была, возможно, наиболее важным разделом, в рамках которого аборигенный Другой импортировался в Европу и экспортировался из нее²². Из реальных различий неевропейских народов антропологи XIX века создали существо другой природы; отличительные культурные и физические черты были истолкованы как сущность Африканца, Араба, Туземца и так далее. Когда колониальная экспансия находилась на пике и европейские державы были вовлечены в борьбу за Африку, антропология и изучение неевропейских народов стали не только академическим занятием, но также широким полем для общественного просвещения. Другой был ввезен в Европу — в музеи естественной истории, рассчитанные на широкую публику выставки, посвященные примитивным народам, и так далее, и, таким образом, он стал все более доступным общественному воображению. И как научная дисциплина, и в своем популяризированном изложении антропология XIX века представляла людей неевропейского происхождения и неевропейские культуры как неразвитые разновидности европейцев и их цивилизации: они были знаками примитивности, представляющей этапы на пути к европейской цивилизации. Диахронические ступени эволюции человечества по направлению к цивилизации, таким образом, понимались как синхронически представленные в различных примитивных народах и культурах, распространенных на Земле²³. Антропологическое описание неевропейских Других в этой эволюционной теории цивилизаций служило для подтверждения и утверждения особого положения европейцев и тем самым легитимировало колониалистские проекты в целом.

* Крупные разделы исторической науки также были глубоко вовлечены в научное и социальное производство инаковости и тем самым также в легитимацию колониального правления. Например, прибыв в Индию и не обнаружив литературу, которую они могли бы использовать, британские администраторы были вынуждены писать свою собственную «индийскую историю» для поддержания и продвижения интересов колониального владения. Британцам надо было придать историчность прошлому Индии [с тем, чтобы иметь к нему доступ и поставить его на службу. Однако это анское сотворение индийской истории, подобно созданию колониального государства, могло быть достигнуто лишь посредством наложения европейской колониальной логики и моделей на индийскую реальность²⁴. [Таким образом, прошлое Индии было аннексировано, чтобы стать лишь делом британской истории — или, скорее, британские ученые и администраторы сотворили индийскую историю и экспортировали ее в Индию. i литература укрепляла власть раджей и, в свою очередь, сделала про-

шлое как историю недоступным для индийцев. Реальная Индия и реальные индийцы были тем самым заменены оказывающим глубокое влияние образом, который определил их как Других по отношению к Европе, как примитивную стадию в телеологии цивилизации.

ДИАЛЕКТИКА КОЛОНИАЛИЗМА

По логике колониальной репрезентации, создание образа колонизированного другого и разделение идентичности и инаковости парадоксально оказываются процессами одновременно полностью самостоятельными и в высшей степени связанными глубинно. Процесс состоит фактически из двух элементов, которые диалектически связаны. Первый заключается в том, что различие должно быть доведено до крайности. В колониальном воображении колонизированный является не просто другим, высланным за пределы цивилизованного мира; скорее он понят или создан как Другой, как абсолютное отрицание, как самая дальняя точка горизонта. Например, в колониях рабовладельцы XVIII века ясно осознавали абсолютность этого различия. «Негр есть существо, чья природа и нравы не просто отличны от таковых у европейцев, они *противоположны* им. Доброта и сочувствие возбуждают в его груди непримиримую и смертельную ненависть; но плети и оскорбления и жестокое обращение порождают благодарность, любовь и на веки вечную привязанность!»²⁵. Таков менталитет рабовладельцев, согласно аболиционистскому памфлету. Неевропейский субъект действует, говорит и думает способом, *прямо противоположным* европейскому.

Именно потому, что отличие Другого абсолютно, в следующий момент оно может быть обращено в основание Самости. Другими словами, зло, варварство и распущенность колонизированного Другого и есть то, что делает возможным доброту, гражданственность и пристойность Самости Европейца. То, что на первый взгляд кажется странным, чуждым и отдаленным, тем самым оказывается весьма близким и знакомым. Знание, видение и даже прикосновение к колонизированному важны, даже если эти знание и контакт осуществляются на уровне образов и мало соотносятся с реальными людьми в колониях и метрополии. Борьба с рабом лицом к лицу, ощущение пота на его коже, обоняние его запаха определяют жизненную энергию господина. Эта глубинная взаимосвязь, однако, никоим образом не замутняет разделения между двумя борющимися сущностями, но лишь делает более важным охрану границ и чистоты идентичностей. *Идентичность европейской Самости создана в этом диалектическом движении*. Раз колониальный субъект истолковывается как абсолютный Другой, он может, в свою очередь, быть включен (снят и возведен) в более высокое единство. Абсолютный Другой возвращается на наиболее подхо-

дующую роль. Лишь через противопоставление колонизированному субъекту метрополии действительно становится собой. Что первоначально появилось как простая логика исключения, позже оказалось негативной диалектикой признания. Колонизатор создает колонизированного как отрицание, но благодаря диалектическому повороту это негативное тождество колонизированного, в свою очередь, подвергается отрицанию, чтобы раскрыть позитивную Самость колонизатора. И современное европейское мышление и современная Самость необходимо привязаны к тому, что Пол Гилрой назвал «отношением расового террора и подчинения»²⁶. Позолоченные монументы не только европейских городов, но также и самого европейского мышления основаны на глубинной диалектической борьбе со своими Другими.

Следует отметить, что колониальный мир никогда в действительности не соответствовал простому двухчастному делению этой диалектической структуры. Например, любой анализ гаитянского общества XVIII века в предреволюционный период не может принимать во внимание только белых и черных, но должен также учитывать, по крайней мере, положение мулатов, которые временами объединялись с белыми в силу владения собственностью и личной свободой, а временами с черными в силу своей небелой кожи. Даже в простых расовых терминах эта социальная реальность требует по крайней мере трех осей анализа — но это тоже не позволит охватить действительные социальные разделения. Надо также отдавать себе отчет в том, что конфликт между белыми, принадлежащими к различным классам, и интересами черных рабов отличен от такового между свободными черными и маронами. Короче говоря, реальная социальная ситуация в колониях никогда четко не распадается на абсолютную бинарность двух противостоящих сил. Реальность всегда представляет собой растущее многообразие. Однако в данном случае мы доказываем не то, что реальность представляет собой эту поверхностную бинарную структуру, но что колониализм как абстрактная машина, производящая идентичности и инаковости, тождества и различия, налагает бинарное деление на колониальный мир. Колониализм гомогенизирует действительные социальные различия путем создания одного всеохватывающего противоположения, которое доводит различия до абсолюта и затем делает это противоположение составной частью идентичности европейской цивилизации. *Реальность не диалектична, диалектичен колониализм.*

Работы многих авторов, таких как Жан-Поль Сартр и Франц Фанон, которые признали, что колониальные образы и колониальный суверенитет диалектичны по форме, оказались полезны в некоторых отношениях. Прежде всего, диалектическое истолкование показывает, что представление о борьбе идентичностей не соответствует сущности проблемы. Белый и Черный, Европейец и Азиат, колонизатор и колонизированный являют-

ся образами, которые функционируют только во взаимоотношении друг с другом и (несмотря на все правдоподобие такого утверждения) не имеют реального необходимого основания в природе, биологии или рациональности. Колониализм является абстрактной машиной, производящей инаковость и идентичность. И все же в условиях системы колониализма эти инаковости и идентичности вынуждены функционировать так, как если бы они были абсолютны, важны и естественны. Первым результатом диалектического прочтения является, тем самым, денатурализация расового и культурного различия. Это не означает, что, будучи однажды признанными в качестве искусственных построений, колониальные идентичности бесследно испарятся; они суть реально существующие иллюзии и продолжают функционировать, как если бы они были сущностно значимы. Это признание не есть собственно политика, но просто знак того, что антиколониальная политика возможна. Во вторую очередь, диалектическая интерпретация делает очевидным, что колониализм и созданные им образы основаны на жесткой борьбе, которая должна начинаться вновь и вновь. Чтобы постоянно воспроизводиться, Европейская Самость нуждается в насилии и противостоянии со своим Другим для ощущения и поддержания своей мощи. Ставшее общим состояние войны, которое постоянно стягивало воедино колониальные образы, не является случайным или даже нежелательным — насилие есть необходимое основание самого колониализма. В-третьих, определение колониализма как негативной диалектики признания выявляет потенциал саморазрушения, присущий системе. Для мыслителя, подобного Фанону, ссылки на Гегеля предполагают, что Господин может достичь лишь ложной формы признания; именно Раб, через борьбу не на жизнь, а на смерть имеет возможность прийти к истинному сознанию²⁷. Диалектика должна подразумевать движение, но эта диалектика идентичности европейского суверенитета отброшена в статику. Ущербная диалектика предполагает возможность истинной диалектики, которая, опираясь на негативность, будет двигать историю дальше.

3)

БУМЕРАНГ ИНАКОВОСТИ

Многие авторы, особенно во время долгого периода напряженной борьбы за деколонизацию с конца Второй мировой войны по 1960-е годы включительно, доказывали, что той позитивной диалектике колониализма, которая служит основанием и стабилизирует идентичность европейского суверенитета, должен быть брошен вызов со стороны по-настоящему негативной и, следовательно, революционной диалектики. Мы не можем победить производство инаковости в логике колониализма, утверждали эти авторы, просто выявляя искусственность сконструированных тождеств и различий и надеясь посредством этого прямо прийти к подтверждению подлин-

ного единства человечества. Единственной возможной стратегией является обращение вспять или инверсия самой логики колониализма. «Единство, которое в конечном счете появится, которое сплотит все угнетаемые народы в единой борьбе, — провозглашает Сартр, — должно быть предварено в колониях тем, что я назову моментом отделения или негативности: этот антирасистский расизм является единственным путем, который приведет к отмене расовых различий»²⁸. Сартр полагает, что эта негативная диалектика в конце концов приведет историю в движение.

Негативная диалектика чаще всего воспринималась в категориях культуры, например как проект негритюда¹ — поиск, направленный на открытие сущности темнокожего человека или на раскрытие его души. Согласно этой логике, ответ на созданные колонизаторами образы должен быть симметричным. Даже если принадлежность колонизированных к черной расе воспринимается как искусственный образ и мистификация, созданные колониальным воображением, она не отрицается и не отбрасывается на этом основании, но скорее подтверждается — как сущность! Согласно Сартру, революционные поэты негритюда, такие как Эме Сезерⁱⁱ и Леопольд Сенгорtm, берут негативный момент, унаследованный ими от европейской диалектики, и трансформируют его в нечто позитивное, интенсифицируя его, заявляя его как момент самосознания. Более не являясь силой стабилизации и равновесия, одомашненный Другой стал дикарем, истинно Другим — то есть способным к ответным действиям и самостоятельной инициативе. Это, как прекрасно и угрожающе провозглашает Сартр, есть «момент бумеранга»²⁹. Негативный момент способен на ответное уничтожение европейской Самости — особенно потому, что европейское общество и его ценности основаны на доместикации и негативном включении колонизируемых. Момент негативности выдвигается как необходимый первый шаг в переходе к конечной цели безрасового общества, которое признает равенство, свободу и общность человеческой природы всех людей³⁰.

Тем не менее, несмотря на последовательную диалектическую логику этой основанной на идеях Сартра культурной политики, предлагаемая ею стратегия кажется нам совершенно нереальной. Сила диалектики, которая в руках колониальной державы мистифицирует реальность колониального мира, принимается вновь как часть антиколониального проекта, как если бы диалектика сама была действительной формой движения истории. Однако реальность и история не диалектичны, и никакие идеалистические риторические упражнения не могут привести их в соответствие с диалектикой.

Между тем стратегия негативности, момент бумеранга, предстает в совершенно ином свете, когда она рассматривается в недиалектической форме и скорее в политических, чем в культурных понятиях. Фанон, например,

отрицает культурную политику негритюда с ее осознанной идентичностью черной расы и формулирует революционный антитезис в терминах физического насилия. Исходный момент насилия тот же, что и у колониализма: доминирование и эксплуатация колонизированного колонизатором. Второй момент, ответ колонизированного на это исходное насилие, в колониальном контексте может принять любые извращенные формы. «Колонизированный человек будет сперва направлять ту агрессивность, что в нем накопилась, против своего собственного народа»³¹. Насилие среди колонизированного населения, иногда считающееся наследием древней племенной или религиозной вражды, на самом деле является патологическим отражением насилия колониализма и чаще всего обнаруживает себя в виде предрассудков, мифов, плясок и душевных расстройств. Фанон не предлагает колонизированным воздерживаться от насилия или избегать его. Колониализм самим своим действием увековечивает это насилие, и, если к нему не обращаются напрямую, оно будет продолжать проявляться в таких деструктивных, патологических формах. Единственным путем к выздоровлению, который может порекомендовать Доктор Фанон, является ответное контрнасилие³². Более того, это единственный путь к освобождению. Раб, который никогда не сражается за свободу, которому просто дарована милость господина, навеки останется рабом. Это именно и есть те «ответные действия», которые Малкольм Икс^{***} предлагал в качестве стратегии по отношению к насилию господства белых в Соединенных Штатах³³.

Однако и для Фанона, и для Малкольма Икса этот негативный момент, это ответное насилие не ведет к какому-либо диалектическому синтезу; это не есть этап движения к благополучному исходу, к будущей гармонии. Эта открытая негативность есть просто здоровое выражение реального антагонизма, прямого отношения силы. Поскольку она не является средством, ведущим к итоговому синтезу, эта негативность не является политикой самой по себе; скорее она просто фиксирует отделение от колониального господства и открывает поле для политики. Реальный политический процесс конституирования будет происходить на этом открытом пространстве сил с использованием позитивной логики, не связанной с диалектикой колониального суверенитета.

ОТРАВЛЕННЫЙ ДАР НАЦИОНАЛЬНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ

Национализм угнетенных, как мы отмечали в предыдущем разделе, действительно выполнял важную прогрессивную функцию. Для угнетенных групп нация служила и средством обороны, используемым для защиты группы от внешнего господства, и знаком единства, автономии и власти сообщества³⁴. В период деколонизации и после нация оказалась необходи-

мым двигателем политической модернизации и, следовательно, неизбежным путем к свободе и самоопределению. Обещание глобальной демократии наций, включая их формальное равенство и суверенитет, было вписано в принятый при основании Организации Объединенных Наций ее Устав: «Организация и ее Члены действуют в соответствии со следующими принципами... Организация основана на принципе суверенного равенства всех ее членов»⁹⁵. Национальный суверенитет означает свободу от иностранного господства и самоопределение народов и тем самым знаменует собой окончательное поражение колониализма.

Прогрессивные функции национального суверенитета, однако, всегда дополняются мощными структурами внутреннего господства. Риски национального освобождения становятся еще более очевидны, если рассматривать их извне, в понятиях мировой экономической системы, в которой оказывается «освобожденная» нация. Действительно, национализм, ставящий знак равенства между политической и экономической модернизацией, национализм, провозглашенный лидерами многочисленных антиколониальных и антиимпериалистических движений, от Ганди и Хо Ши Мина до Нельсона Манделы, на практике заканчивается обманом. Это приравнение политической модернизации к экономической служит мобилизации общественных сил и стимулирует социальное движение, но куда ведет движение и каким интересам оно служит? В большинстве случаев оно предполагает *делегирование* борьбы, когда проект модернизации приводит к власти новую правящую группу, на которую возлагается миссия его осуществления. Революция, таким образом, приносится в жертву, связанная по рукам и ногам, новой буржуазии. Могут сказать, что это Февральская революция, за которой должна последовать Октябрьская. Но календарь сошел с ума: Октябрь не приходит никогда, революционеры увязают в болоте «реализма» и модернизация оканчивается, потерянная в иерархиях мирового рынка. Не оказывается ли контроль, полученный мировым рынком, противоположным националистической мечте о самостоятельном, направленном на внутренние интересы развитии? Национализм антиколониальных и антиимпериалистических движений эффективно действует в прямо противоположном направлении, и освобожденные страны попадают под власть международного экономического порядка.

Сама концепция несущего освобождение национального суверенитета является двусмысленной, если не полностью противоречивой. В то время как этот национализм стремится освободить массы от *иностранного* господства, он возводит *отечественные* структуры господства, не менее жестокие. Положение национального государства, недавно получившего суверенитет, не может быть понято, если рассматривать его в понятиях розовых мечтаний ООН о гармоничном согласии равных и автономных национальных субъектов. Постколониальное национальное государство

действует как необходимый и подчиненный элемент в глобальной организации капиталистического рынка. Как утверждает Парта Чаттерджи, национальное освобождение и национальный суверенитет не просто бессильны против глобальной капиталистической иерархии, но сами вносят вклад в ее организацию и функционирование:

Нигде в мире национализм в качестве национализма не оспаривал легитимность брака между Разумом и капиталом. Националистическая мысль... не владеет идеологическими средствами для того, чтобы бросить подобный вызов. Конфликт между капиталом метрополии и народом-нацией она разрешает, заключая политическую жизнь нации в тело государства. Будучи теплицей пассивной революции, национальное государство теперь отправляется на поиски места «нации» в глобальном порядке капитала, в то же время борясь за удержание противоречий между капиталом и народом в вечно подвешенном состоянии. Всю политику теперь стремятся включить в рамки все подчиняющих себе требований государства-представляющего-нацию³⁶.

Полностью логическая цепочка представительства может быть выражена следующим образом: народ, представляющий массы, нация, представляющая народ, и государство, представляющее нацию. Каждое звено является попыткой удержать в подвешенном состоянии кризис современности. Представительство в каждом случае означает следующий шаг на пути абстрагирования и контроля. От Индии до Алжира и от Кубы до Вьетнама *государство является отравленным даром национального освобождения*.

Конечным звеном, объясняющим неизбежность подчиненного положения постколониального национального государства, однако, является глобальный порядок капитала. Глобальная капиталистическая иерархия, которая подчиняет формально независимые национальные государства своему порядку, в корне отличается от колониальных и империалистических систем мирового господства. Конец колониализма есть также конец мира современности и созданных им режимов управления. Конец колониализма эпохи современности, конечно, в действительности не открыл эпоху безграничной свободы, но, скорее, уступил место новым формам господства, действующим на глобальном уровне. Здесь мы видим первый действительный отблеск перехода к Империи.

ЗАРАЖЕНИЕ

*Когда Луи-Фердинанд Детуш (Селин) приехал в Африку, он обнаружил за*болевание. В незабываемом отрывке Путешествия на край ночи, посвященном Африке, рассказчик в бреду лихорадки видел население, насквозь пораженное болезнью: «туземцы в этих краях болеют всеми болезнями, кото-*

рые только можно подценить [tout les maladies attrapables]»¹. Возможно, это именно то, что мы должны ожидать от доктора Детуша, учитывая, что он был послан работать в Африку Лигой наций как специалист по гигиене, но, конечно, Селин имел дело также и с общими установками колониального сознания.

Взаимосвязь между колониализмом и заболеванием имеет две стороны. Во-первых, уже тот факт, что коренное население является носителем заболевания, сам по себе служит оправданием колониальному проекту: «Негры, вот увидите, это сплошное гнилье и дохлятина [tout creves et tout pourris]. '...Словом... дегенераты!» (с. 114). Болезнь есть знак физического и морального разложения, знак отсутствия цивилизации. Цивилизаторский проект колониализма, стало быть, оправдывается гигиеной, которую он приносит. С другой стороны, однако, с европейской точки зрения основной опасностью колониализма является болезнь — или, в действительности, заражение. В Африке Луи-Фердинанд обнаруживает «все болезни, которые только можно подцепить». Физическое загрязнение, моральное разложение, безумие: тьма колониальных территорий и населения заразна и европейцы всегда рискуют. (Это, в сущности, та же истина, которую постигает Куртц в Сердце тьмы Конрада.) Как только установлено различие между чистым, цивилизованным европейцем, и развращенным, варварским Другим, становится возможным не только цивилизаторский процесс перехода от болезни к здоровью, но также неизбежно и обратный процесс движения от здоровья к болезни. Заражение есть постоянно существующая опасность, темная оборотная сторона цивилизаторской миссии.

В Путешествии... Селина интересно то, что болезнь колониальных территорий является в действительности знаком не смерти, а переизбытка жизни. Рассказчик, Луи-Фердинанд, обнаруживает, что не только население, но, более того, сама африканская земля «чудовищна» (е. ш-ш). Болезнь джунглей состоит в том, что жизнь появляется повсюду, всерастет без ограничений. Что за ужас для гигиениста! Болезнь, которой дает волю колония, представляет собой недостаток ограничений для жизни, неограниченное заражение. Если оглянуться назад, Европа оказывается успокаивающе стерильна. (Вспомним в Сердце тьмы мертвенную бледность Брюсселя, которую обнаруживает Марлоу по возвращении из бельгийского Конго, но с учетом чудовищного, неограниченного переизбытка жизни в колонии, стерильная окружающая среда Европы кажется успокаивающей.) Точка зрения гигиениста может быть, фактически, наилучшей для понимания обеспокоенности колониального сознания. Ужас, выпущенный на свободу европейским завоеванием и колониализмом, есть ужас неограниченного контакта, потока и обмена — или, в действительности, ужас заражения, смешения рас и неограниченной жизни. Гигиена требует защитных барьеров. Европейскому колониализму продолжительное время досаждали

противоречия между интенсивностью обмена и опасностью заражения, и, следовательно, его отличала сложная игра потоков и гигиенических барьеров между метрополией и колонией, а также между самими колониальными территориями.

Современные процессы глобализации разрушили многие границы колониального мира. Вместе с общими торжествами по поводу неограниченных потоков в нашей новой глобальной деревне можно также ощутить обеспокоенность по поводу возросших контактов и определенную ностальгию по гигиене колониализма. Темной стороной сознания глобализации является страх заражения. Если мы разрушим существующие в мире границы и обеспечим полную свободу контактов в нашей глобальной деревне, как мы сможем предотвратить распространение болезни и разложение? Эта обеспокоенность наиболее отчетливо проявляется в отношении пандемии СПИДа². Молниеносное распространение СПИДа на обоих американских континентах, в Европе, Африке и Азии продемонстрировало новые опасности глобального заражения. Так как СПИД был сначала признан как заболевание, а затем как глобальная пандемия, были разработаны карты его источников и распространения, которые обычно указывают на Центральную Африку и Гаити, используя понятия, напоминающие нам о былой мнительности колонизаторов: неограниченная сексуальность, моральное разложение и недостаток гигиены. Действительно, господствующее мнение о путях предотвращения СПИДа сводило их к проблемам гигиены: мы должны избегать контакта и использовать защиту. Медицинские и гуманитарные работники должны в отчаянии опустить руки, работая с этим зараженным населением, которое столь мало внимания уделяет гигиене¹. (Подумайте о том, что бы сказал доктор Детуш!) Международные и наднациональные проекты, направленные на прекращение распространения СПИДа, пытались установить защитные барьеры на ином уровне, требуя проведения ВИЧ-тестирования при пересечении национальных границ. Границы национальных государств, тем не менее, становятся все более проницаемыми для потоков всех видов. Ничто не может вернуть прежние гигиенические щиты колониальных границ. Эпоха глобализации есть эпоха всеобщего заражения.

2.4 СИМПТОМЫ ПЕРЕХОДА

Вот, здесь человек вне нашего народа, вне нашего человечества. Он постоянно голодает, ничто не принадлежит ему кроме мгновения, продолженного мгновения страдания... Он всегда имеет лишь одну вещь: свое страдание, но нет ничего на лице Земли, что могло бы послужить ему лекарством, нет земли, на которую он мог бы поставить свои две ноги, нет опоры, за которую могли бы схватиться две его руки, и, таким образом, ему остается намного меньше, чем воздушному гимнасту на трапеции в мюзик-холле, который, по крайней мере, висит на ниточке.

Франц Кафка

Конец колониализма и снижающаяся мощь нации указывают на общий переход от парадигмы суверенитета периода современности к парадигме имперского суверенитета. Различные постмодернистские и постколониалистские теории, появившиеся с 1980-х годов, дали нам первое представление об этом переходе, но перспектива, которую они предлагали, оказалась довольно ограничена. Как должна указывать приставка «пост-», теоретики постмодернизма и постколониализма никогда не уставали критиковать прошлые формы правления и их наследие в настоящем и искать освобождения от них. Постмодернисты постоянно возвращаются к вопросу о затянувшемся влиянии Просвещения как источнике господства; теоретики постколониализма борются с остатками колониального мышления.

Мы подозреваем, что постмодернистские и постколониалистские теории могут оказаться в тупике, поскольку они не способны адекватно определить объект своей нынешней критики, то есть они заблуждаются относительно своего действительного врага. Что если характерные для современности формы власти, которые эти критики (и мы сами) с такими огромными усилиями стараются описать и побороть, более не имеют влияния в нашем обществе? Что если эти теоретики настолько сосредоточены на борьбе с остатками прошлых форм господства, что они не смогли узнать новую форму, которая неясно вырисовывается перед ними в настоящем? Что если господствующие силы, которые суть предполагаемый объект критики, мутировали таким образом, что делают бессильным лю-

бой подобный постмодернистский вызов? Короче говоря, что если новая парадигма власти, суверенитет в его постсовременной форме, пришла на смену парадигме современности и управляет посредством различных иерархий гибридных и фрагментированных субъективностей, которыми так восторгаются эти теоретики? В этом случае свойственные современности формы суверенитета исчезнут с повестки дня, а постмодернистская и постколониалистская стратегии, которые казались освободительными, не будут представлять угрозу, а будут фактически совпадать с новыми стратегиями господства и даже невольно усиливать их!

Когда мы начинаем рассматривать идеологию корпоративного капитала и мирового рынка, то с определенностью оказывается, что стратегия власти перехитрила теоретиков постмодернизма и постколониализма, защищающих политику разнообразия, текучести и гибридности как вызов бинарной логике и жесткой определенности суверенитета современности. Власть эвакуировала бастион, который они атаковали и, обойдя их, зашла им в тыл, чтобы присоединиться к ним в штурме от имени разнообразия. Таким образом, эти теоретики обнаружили, что ломаются в открытую дверь. Мы не имеем в виду предположение, что они в каком-либо отношении являются лакеями глобального капитала и мирового рынка. Энтони Аппиа и Ариф Дирлик могли бы проявить больше великодушия, когда причислили этих авторов к «компрадорской интеллигенции» и «интеллигенции глобального капитализма»¹. Нет нужды ставить под сомнение демократические, эгалитаристские и даже временами антикапиталистические устремления, которые воодушевляют многих авторов, работающих в данных областях исследования, но важно изучить практическое значение таких теорий в контексте новой парадигмы власти. Новый враг не только устойчив к старому оружию, но на самом деле успешно использует его в своих целях, и, тем самым, присоединяется к своим возможным антагонистам, применяя его на полную мощность. Да здравствуют различия! Долой эссенциалистские бинарности!

До известной степени постмодернистские и постколониалистские теории представляются важными *следствиями*, отражающими или отслеживающими распространение мирового рынка и изменение формы суверенитета. Эти теории указывают на Империю, но неопределенным и запутанным образом, не осознавая парадигмальный скачок, вызванный этим переходом. Мы должны глубоко проникнуть в этот переход, тщательно изучить понятия и прояснить отличительные черты, формирующие новую Империю. Осознание ценности и ограниченности постмодернистских и постколониалистских теорий является первым шагом в таком проекте.

ПОЛИТИКА РАЗЛИЧИЯ

Чтобы полностью оценить критическую силу постмодернистских дискурсов, нужно первым делом дать ясную картину характерных для современности форм суверенитета. Как мы говорили в предыдущих разделах, мир суверенитета эпохи современности является манихейским миром, разделенным серией бинарных противопоставлений, которые определяют Самость и Другого, белого и черного, внутреннее и внешнее, правителя и управляемого. Постмодернистская мысль бросает вызов именно этой бинарной логике современности и в данном отношении обеспечивает важными ресурсами тех, кто борется за то, чтобы оспорить свойственные современности дискурсы патриархата, колониализма и расизма. В контексте постмодернистских теорий смешанный и неоднозначный характер наших культур и наших чувств принадлежности к определенной общности, кажется, бросает вызов бинарной логике Самости и Другого, которая стоит за присущими современности колониалистскими, сексистскими и расистским построениями. Точно так же настойчивое внимание постмодернистов к различиям и особенностям бросает вызов тоталитарности универсализующих дискурсов и структур власти; утверждение фрагментированных социальных идентичностей оказывается средством, используемым для того, чтобы оспорить суверенитет как субъекта, так и национального государства эпохи современности вместе со всеми иерархиями, которые они подразумевают. Эта постмодернистская критическая чувствительность чрезвычайно важна в данном отношении, потому что она представляет собой утверждение (или симптом) перелома в отношении всего процесса развития суверенитета современности.

Сложно делать выводы относительно всех многочисленных типов дискурса, выступающих под знаменами постмодернизма, но большинство из них используют, по крайней мере косвенно, критику Жаном-Франсуа Лиотаром метанарративов современности, теорию симулякров Жана Бодрийяра или критику Жаком Деррида западной метафизики. В наиболее общей и краткой формулировке, постмодернистские теории определяются многими их сторонниками как имеющие один единственный общий знаменатель: общую атаку на Просвещение². С этой точки зрения призыв к действию ясен: Просвещение является проблемой, а постмодернизм — ее решением.

Однако мы должны взять на себя труд более пристально взглянуть на то, что именно эта постмодернистская точка зрения подразумевает под «Просвещением» или «современностью»⁵. Ранее мы утверждали, что современность должна пониматься не как нечто единообразное и гомогенное, но скорее как включающая в себя по крайней мере две различные конфликтующие традиции. Начало первой традиции было положено револю-

цией гуманизма Возрождения, от Дунса Скота до Спинозы, с открытием плана имманенции и прославлением сингулярности и различия. Вторая традиция, Термидор революции Ренессанса, стремится поставить под контроль утопические силы первой путем создания дуализмов и наделения их функциями опосредования и в конечном счете находит временное решение в концепции суверенитета, выработанной в период современности. Когда постмодернисты противостоят современности и Просвещению, которые утверждают универсальность разума якобы лишь для защиты «превосходства белых европейских мужчин», должно быть ясно, что они на самом деле выступают против второй традиции из нашей схемы (и, к сожалению, игнорируют или затемняют первую). Иными словами, было бы более точно определить постмодернистскую теорию как вызов не Просвещению и современности в целом, а именно традиции суверенитета современности. Но, что еще точнее, эти различные теоретические спорные вопросы наиболее тесно переплетены в вызове диалектике как центральной логике господства, исключения и управления в эпоху современности — и из-за сведения ею многообразия различий к бинарным оппозициям, и из-за последующего подчинения их единому порядку. Если власть в период современности сама по себе диалектична, тогда, следуя логике, постмодернистский проект должен быть недиалектичен.

Признав постмодернистские дискурсы вызовом диалектической форме суверенитета современности, мы можем яснее увидеть, как они борются с системами господства, такими как расизм и сексизм, деконструируя границы, поддерживающие иерархии между белым и черным, мужским и женским и так далее. Вот как постмодернисты могут представлять свою теоретическую деятельность в качестве наследницы всего спектра развернувшихся в период современности и нынешних освободительных движений. История вызовов, брошенных политико-экономической гегемонии Европы и ее колониальному правлению, успехи национально-освободительных движений, движений за женские права и антирасистской борьбы, — все это интерпретируются постмодернистской политикой в качестве собственного достояния, поскольку целью здесь также было разрушение порядка и дуализмов суверенитета современности. Если современность есть сфера власти белого, мужчины и европейца, тогда с идеальной симметричностью постсовременность будет сферой освобождения небелых, немужчин и неевропейцев. Как пишет белл хукс^{iv}, в своей наиболее совершенной форме радикальная постмодернистская практика, политика различия, включает ценности и голоса изгнанных, маргинализированных, эксплуатируемых и подавляемых⁴. Бинарности и дуализмы суверенитета современности подвергаются разрушению не для того, чтобы установить новые; скорее сама сила бинарностей растворяется, как только «мы позволим различиям не считаться с границами»⁵.

,1

И

I,i|

* I J

Постмодернистское мышление было воспринято широким кругом ученых как призыв к новой парадигме академической и интеллектуальной деятельности и как реальная возможность изменить господствующие парадигмы гуманитарных наук в их собственной области⁶. Одним из наиболее важных примеров, с нашей точки зрения, является постмодернистский вызов в области изучения международных отношений⁷. Здесь «модернистская» парадигма исследования более или менее следует методам реализма и неореализма и, таким образом, принимает в качестве центральной концепцию суверенитета, понимаемую обычно как синоним власти национальных государств, легитимного применения насилия государствам и территориальной целостности. С постмодернистской точки зрения, «модернистские» международные отношения в силу признания ими границ и концентрации внимания на них направлены на поддержание власти и суверенитета национальных государств. Таким образом, авторы, работающие в этой области, увидели ясную связь между критикой бинарных дуализмов «Просвещения», разработанной усилиями постмодернистов в философии и литературе, и вызовом, брошенным жестким границам государственного суверенитета эпохи современности. Постмодернистские теории международных отношений боролись за то, чтобы оспорить суверенитет государств посредством разрушения государственных границ и выдвигая на первый план беспорядочных и неконтролируемых международных перемещений и потоков и, тем самым, слома стабильных общностей и четких противостояний. «Дискурс» и «интерпретация» представлены как мощное оружие против институциональной ригидности, свойственной модернистской картине мира. Возникшие в результате разновидности постмодернистского анализа указывают на возможность глобальной политики различия, политики детерриториализованных потоков, движущихся по однородному миру, свободному от ограничений и от жесткого разделения государственными границами.

Хотя отрицание логики суверенитета современности отчетливо видно у многих представителей различных направлений постмодернистской теории, они, в целом, испытывают весьма серьезные затруднения по поводу природы нашего возможного от него освобождения — может быть, именно потому, что не могут ясно понять формы власти, пришедшие ему на смену в наши дни. Иными словами, представляя свои теории как часть проекта политического освобождения, постмодернисты все еще ведут битву против теней старых врагов — Просвещения или, в действительности, форм суверенитета периода современности и производимого им бинарного редуцирования различий и многообразия к единственной альтернативе между Тожественным и Иным. Утверждение смешанных форм и свободы проявления различий, не считающихся с границами, однако, приносит освобождение лишь в ситуации, где власть устанавливает иерархию исклю-

чительно посредством существенных идентичностей, бинарных разделений и устойчивых оппозиций. Структуры и логика власти в сегодняшнем мире полностью защищены от «освободительного» оружия постмодернистской политики различия. Фактически Империя тоже решительно настроена на то, чтобы отбросить все эти формы суверенитета эпохи современности и обеспечить свободу различий, не стесненных границами. Значит, несмотря на благие намерения, постмодернистская политика различия не только неэффективна, но даже может способствовать функционированию и практикам имперского господства, совпадая с ними. Опасность состоит в том, что постмодернистские теории столь полно отдают все свое внимание старым формам власти, от которых они, постоянно оглядываясь назад, стремятся уйти, что невольно падают в «дружеские» объятия новой власти. С этой точки зрения торжественные декларации постмодернистов могут легко показаться наивными, если не полностью мистификаторскими.

Что нам кажется наиболее важным в различных постмодернистских течениях мысли, так это сам представляемый ими исторический феномен: они есть симптом слома традиции свойственного современности понятия о суверенитете. Существует, конечно, длительная традиция мысли «анти-модерна», которая противостоит суверенитету современности, включая великих мыслителей Франкфуртской школы (вместе со всей республиканской линией, которую мы проследили вплоть до гуманизма Ренессанса). Однако новым является то, что постмодернистские теоретики указывают на *конец* суверенитета современности и демонстрируют способность мыслить по-новому, вне рамок бинарной логики и присущих современности идентичностей, в категориях плюрализма и многообразия. Путано или неосознанно, но они дают свидетельства перехода к конституированию Империи,

ОСВОБОЖДЕНИЕ СМЕШАННЫХ ФОРМ, ИЛИ ВЫХОД ПО ТУ СТОРОНУ КОЛОНИАЛЬНЫХ БИНАРНОСТЕЙ

Определенное направление постколониалистских исследований также высказывается в пользу глобальной политики различия, и оно с полным основанием может быть включено в одну группу с постмодернистской теорией. Наш анализ суверенитета современности в предшествующих разделах уже создает возможное прочное рациональное обоснование согласия между постколониалистскими и постмодернистскими теориями. Поскольку суверенитет эпохи современности отождествлялся со стремлением Европы к глобальному господству и, что более важно, поскольку административная система, установленная в колониях, и империалистические практики были основными компонентами формирования современного суверенитета, постмодернистские и постколониалистские теории действи-

[" |
 \ \]

4 . " ' ,
 . III
]
 [Г j

["]

и

1

тельно имеют общего врага. В этом свете постмодернизм оказывается в основе своей постевропоцентричен.

Постколониалистские исследования включают в себя широкую и разнообразную группу дискурсов, но здесь мы хотим остановить внимание на работе Хоми Баба, поскольку она представляет ярчайший и наиболее выраженный пример преемственности между постмодернистским и постколониалистским дискурсами. Одним из основных и постоянных объектов нападения Баба являются *бинарные деления*. Фактически весь проект постколониализма, в том виде, как он представляет его, определяется отрицанием бинарных делений, на которых основано колониальное мировоззрение. Мир не разделен на две части и не сегментирован на противостоящие лагеря (центр против периферии, Первый мир против Третьего мира), но скорее определяется и всегда определялся неисчислимыми частичными и подвижными различиями. Отказ Баба видеть мир в категориях бинарных делений ведет его также к отрицанию теорий тотальности и теорий идентичности, гомогенности и сущностной природы социальных субъектов. Эти два отрицания весьма тесно связаны. Бинарная концепция мира подразумевает сущностную природу и гомогенность идентичностей в обоих его частях и посредством связи, преодолевающей эту основную границу, подразумевает включение всего опыта во внутренне связную социальную целостность. Короче говоря, призрак, который является в анализе Баба и который последовательно связывает вместе этих различных противников, есть гегельянская диалектика, то есть диалектика, включающая во внутренне связную целостность противостоящие друг другу сущностные социальные идентичности. В этом смысле можно сказать, что постколониалистская теория (или, по крайней мере, эта ее версия), вместе с постмодернистскими теориями, определяется прежде всего своей недialeктичностью.

Критика Баба диалектики — то есть его атака на бинарные деления, сущностные идентичности и тотализацию — является и социологическим притязанием на постижение действительной природы обществ, и политическим проектом, нацеленным на социальные перемены. Первое фактически является условием возможности последнего. Социальные идентичности и нации никогда в действительности не были внутренне связными вообразимыми сообществами; мимикрия колонизированного под дискурс колонизатора полностью меняет представление об идентичности и отчуждает ее от сути; культуры всегда являются неоднородными, смешанными ^.^образованиями. Этот социальный факт служит основой подрывного политического проекта, направленного на уничтожение бинарной структуры власти и идентичности. В кратком изложении, следовательно, логика освоения Баба действует приблизительно так: власть или силы социального угнетения функционируют путем наложения бинарных структур и

тотализующей логики на социальные субъектности, подавляя их разнообразие. Эти структуры угнетения, однако, никогда не являются тотальными, и различия всегда выражаются каким-либо образом (посредством мимикрии, амбивалентности, гибридизации, фрагментированных идентичностей и так далее). Следовательно, политический проект постколониализма должен утвердить многообразие различий таким образом, чтобы подорвать власть господствующих бинарных структур.

Утопия, на которую указывает Баба после слома и смешения бинарных и тотализирующих структур власти, является не изолированным и фрагментированным бытием, но новой формой сообщества, сообщества «бездомных», новым интернационализмом, объединением народа в диаспоре. Утверждение различия и смешения само по себе, согласно Баба, является утверждением этого сообщества: «Жить в бездомном мире, найти его амбивалентности и двусмысленности, задействованные в здании вымысла, или его разделение и раскол, действующие в произведении искусства, также означает утверждение глубокого желания социальной солидарности»⁸. Семена альтернативного сообщества, верит он, вырастают из пристально-го внимания к особенностям культуры, ее смешанному характеру и из ее сопротивления бинарному структурированию со стороны социальных иерархий.

Нам следует проявить осторожность при распознавании господствующей власти, которая выполняет роль врага (и в действительности является негативным основанием) в этой постколониалистской схеме. Власть, как предполагается, действует исключительно посредством диалектической и бинарной структуры. Иными словами, единственной формой господства, которую признает Баба, является суверенитет эпохи современности. Вот почему, например, он может сказать «иерархический или бинарный», как если бы два эти термина являлись взаимозаменяемыми: с его точки зрения иерархия как таковая с необходимостью основывается на бинарных делениях, так что простой факт гибридности, смешения, способен разрушить *саму* иерархию. Само смешение является осознанной политикой различия, позволяя различиям действовать, не считаясь с границами. Именно здесь постколониалистское и постмодернистское сознание сходятся наиболее близко — в совместном выступлении против диалектики суверенитета современности и в понимании освобождения как политики различия.

Подобно постмодернистским теоретикам, теоретики постколониализма, такие как Баба, интересуют нас прежде всего потому, что они олицетворяют симптомы претерпеваемого нами эпохального сдвига, то есть перехода к Империи. Вероятно, эти дискурсы сами по себе становятся возможны лишь тогда, когда режимы характерного для современности суверенитета уже пребывают в упадке. Однако, как и постмодернисты, теоретики постколониализма в целом дают очень далекое от сути дела представле-

ние об этом переходе, поскольку остаются одержимы борьбой со старыми формами власти и предлагают стратегию освобождения, которая могла быть успешной лишь в прежних условиях. Постколониалистское мировоззрение все еще озабочено, прежде всего, колониальным суверенитетом. Как говорит Гьян Пракаш, «постколониальное существует лишь как последствие, как после — после переработки колониализмом»⁹. Это может сделать постколониалистскую теорию очень продуктивным средством нового прочтения истории, но она совершенно недостаточна для теоретического осмысления сегодняшней глобальной власти. Эдвард Сайд, несомненно являющийся одним из самых блестящих авторов, представляющих теорию постколониализма, может осуждать нынешние глобальные структуры власти лишь в той степени, в какой они увековечивают культурные и идеологические следы европейского колониального владычества¹⁰. Он выдвигает обвинение в том, что «тактика великих империй [то есть европейского империализма. — *Авт.*], ушедшая в прошлое после Первой мировой войны, теперь повторяется Соединенными Штатами»¹¹. Что здесь отсутствует, так это признание новизны структур и логики власти, повелевающей сегодняшним миром. Империя является не слабым эхом империализма эпохи современности, но принципиально новой формой господства.

ФУНДАМЕНТАЛИЗМ И/ИЛИ ПОСТМОДЕРНИЗМ

Еще одним признаком уже происходящего исторического перехода в заключительные десятилетия XX века является подъем так называемого фундаментализма. С момента распада Советского Союза великие идеологи геополитики и теоретики конца истории постоянно видели в различных видах фундаментализма основную угрозу мировому порядку и стабильности. Фундаментализм, однако, является бессодержательной и уводящей от сути дела категорией, которая сваливает в одну кучу широкий спектр различных по существу феноменов. В целом можно было бы сказать, что различные виды фундаментализма, какими бы несхожими они ни были, объединены тем, что и самими их представителями, и внешними наблюдателями они понимаются как антимодернистские движения, несущие возрождение изначальных идентичностей и ценностей; они воспринимаются как своего рода поворот истории вспять, демодернизация. Однако более точно и более плодотворно понимать различные виды фундаментализма не как воссоздание мира, каким он был до эпохи современности, но скорее как мощное отрицание происходящего ныне исторического перехода. В этом смысле, следовательно, подобно постмодернистским и постколониалистским теориям, различные виды фундаментализма также являются симптомом перехода к Империи.

В наши дни в прессе термин «фундаментализм» зачастую редуцирует

различие социальных образований, объединяемых этим именем, и используется исключительно в отношении исламского фундаментализма, сложность которого, в свою очередь, низводится до насильственного и нетерпимого религиозного фанатизма, являющегося прежде всего «антизападным». Конечно же, сам исламский фундаментализм принимает различные формы и имеет долгую историю, охватывающую всю эпоху современности. Мощное стремление к возрождению и реформированию ислама неоднократно проявлялось в XVIII и XIX столетиях, и нынешние формы исламского радикализма несут в себе отдаленное сходство с этими предшествующими движениями. Однако наиболее тесно различные направления исламского фундаментализма объединены тем, что они *решительно противостоят современности и модернизации*. Поскольку политическая и культурная модернизация была процессом секуляризации, различные направления исламского фундаментализма противостоят ей, кладя в основу политических установлений священные тексты, а также выдвигая религиозных лидеров, как священнослужителей, так и правоведов, на политические посты. Также и в терминах тендерных ролей, семейных структур и культурных форм незыблемая, традиционная религиозная норма обычно понимается как противостоящая постоянно изменяющимся светским формам современности. В противовес динамичному и светскому обществу модернизма фундаментализм, как кажется, насаждает общество статичное и религиозное. В свете этого, различные направления исламского фундаментализма, будучи движениями антимодернизма, оказываются, по-видимости, вовлечены в попытку обратить вспять процесс социальной модернизации, отгородиться от глобальных потоков современности и воссоздать мир ей предшествовавшей. Иранская революция 1979 года, например, с этой точки зрения может рассматриваться как антиреволюция, воскрешающая древний порядок.

Различные направления христианского фундаментализма в Соединенных Штатах также преподносят себя в качестве движений, направленных против социальной модернизации, воссоздающих то, что предстает в воображении общественной формацией прошлого, основанной на священных текстах. Эти движения, несомненно, родственны давней американской традиции проектов создания в Америке нового Иерусалима, христианского сообщества, отделенного и от разложения Европы, и от дикости «нецивилизованного» мира¹². Наиболее известная социальная платформа нынешних групп христианских фундаменталистов основана на идее воссоздания стабильной и иерархической нуклеарной семьи, которая, как они воображают, существовала в предшествующую эпоху; чаще всего именно эта идея движет ими в крестовых походах против абортотворчества и гомосексуальности. Различные направления христианского фундаментализма в Соединенных Штатах также долгое время ориентировались (в различ-

ное время и в различных регионах более или менее открыто) на проект превосходства белых и расовой чистоты. Новый Иерусалим почти всегда представлялся белым и патриархальным.

Эти общие характеристики различных видов фундаментализма как возврата к досовременному или традиционному миру и его социальным ценностям, однако, не столько проясняют проблему, сколько мешают ее адекватному восприятию. Фактически фундаменталистское видение возврата к прошлому главным образом основано на исторических иллюзиях. Например, чистота и здоровье стабильной, нуклеарной гетеросексуальной семьи, провозглашаемые христианскими фундаменталистами, никогда не существовали в Соединенных Штатах. «Традиционная семья», которая служит исходной основой их идеологии, есть лишь смесь ценностей и практики, которые извлекаются в большей мере из телевизионных программ, чем из какого-либо реального исторического опыта института семьи. Это надуманный образ, спроецированный на прошлое, подобно Главному Улице США в Диснейленде, ретроспективно сконструированный через призму современных тревог и страхов¹³. «Возвращение к традиционной семье» христианских фундаменталистов вообще не является взглядом в прошлое, а выступает скорее созданным в наши дни вымыслом, который составляет часть политического проекта, направленного против сегодняшнего социального порядка.

Подобным же образом нынешние формы исламского фундаментализма не должны пониматься как возвращение к прошлым социальным формам и ценностям даже с точки зрения людей, чья жизнь определяется традицией. Согласно Фазлуру Рахману, «на самом деле до некоторой степени даже неправильно называть этот феномен в исламе „фундаменталистским“, он является таковым лишь постольку, поскольку его сторонники делают ударение на том, что основа ислама имеет два подлинных истока: Коран и Сунну пророка Мухаммеда. В другом случае они делают ударение на иджтихаде, исконной мысли»¹⁴. Сегодняшний исламский радикализм, конечно же, прежде всего основан на «исконной мысли» и на стремлении к обретению исконных ценностей и практик, возможно являющихся эхом иных периодов возрождения или фундаментализма, но в действительности направляемых реакцией на существующий социальный порядок. Поэтому в обоих случаях фундаменталистский «возврат к традиции» является в действительности вымыслом наших дней¹⁵.

Движущая сила антимодернизма, определяющая различные виды фундаментализма, может быть лучше понята в таком случае не как домодернистский, но как постмодернистский проект. Постмодернистский характер фундаментализма очевиден главным образом в его отрицании современности как оружия евро-атлантической гегемонии — ив этом отношении исламский фундаментализм является, конечно, парадигмальным

явлением. В контексте исламских традиций фундаментализм имеет пост-модернистский характер, поскольку он отрицает традицию исламского модернизма, для которого современность всегда была синонимом ассимиляции или подчинения евро-американской гегемонии. «Если современное предполагает стремление к западному образованию, технологии и индустриализации на заре постколониального периода, — пишет Акбар Ахмед, — то постсовременное будет означать обращение к традиционным мусульманским ценностям и отрицание модернизма»¹⁶. При рассмотрении лишь в категориях культуры исламский фундаментализм является парадоксальным видом постмодернистской теории — постмодернистской только потому, что он противостоит исламскому модернизму, при этом хронологически из него следуя. Однако он оказывается куда более постмодернистским, если рассматривать его в категориях геополитики. Рахман пишет: «Нынешний постмодернистский фундаментализм является принципиально новым в силу антизападного характера его основополагающего устремления... Отсюда его обвинения в адрес классического модернизма в том, что тот представляет собой исключительно силу вестернизации»¹⁷. Несомненно, существенные элементы ислама были в некотором отношении «антизападными» с момента появления этой религии. Новым в нынешнем возрождении фундаментализма является в действительности неприятие сил, возникающих в новом имперском порядке. В таком случае, с этой точки зрения, поскольку иранская революция была мощным отрицанием мирового рынка, мы можем понимать ее как первую постмодернистскую революцию.

Этот союз постмодернизма и фундаментализма, безусловно, образует странную пару, учитывая, что постмодернистские и фундаменталистские дискурсы в большинстве случаев полностью противоположны друг другу: смешение против чистоты, различие против тождества, мобильность против застоя. Нам кажется, что постмодернисты и нынешняя волна фундаменталистов возникли не только в одно и то же время, но также и в ответ на одну и ту же ситуацию, только на противостоящих полюсах глобальной иерархии в соответствии со сразу бросающимся в глаза географическим распределением. В значительной мере упрощая, можно утверждать, что постмодернистские дискурсы прежде всего обращены к победителям в процессе глобализации, а фундаменталистские — к проигравшим. Иными словами, нынешние глобальные тенденции роста мобильности, неопределенности и гибридности переживаются одними людьми как своего рода освобождение, а другими — как усиление страданий. Несомненно, общественная поддержка фундаменталистских проектов — от «Национального Фронта» во Франции и христианского фундаментализма в Соединенных Штатах до «Братьев-мусульман» — особенно широка среди тех, кто в результате недавних перемен более всего проиграл от увеличения мобиль-

¹⁶ | I

ности капитала — среди самых угнетенных и исключенных из участия в глобальной экономике. «Неудачники» глобализации представляют собой самое точное подтверждение происходящих изменений.

ИДЕОЛОГИЯ МИРОВОГО РЫНКА

Многие из концепций, столь дорогих постмодернистам и постколониалистам, находят точное соответствие в нынешней идеологии корпоративного капитала и мирового рынка. Идеология мирового рынка всегда по преимуществу опиралась на дискурс, направленный против всего глубоко укорененного и сущностно цельного. Обращаемость, мобильность, разнообразие и смешение являются самими условиями возможности мирового рынка. Торговля соединяет различия, и чем больше, тем лучше! Различия (товаров, населения, культур и так далее), кажется, бесконечно умножаются в условиях мирового рынка, который ни с чем не сражается столь яростно, как с жесткими границами: он преодолевает любое бинарное деление своим бесконечным многообразием.

Так как мировой рынок в наши дни воплощен еще более полно, чем ранее, он стремится к разрушению границ национальных государств. В предшествующий период национальные государства были главными игроками в рамках созданной современностью империалистической организации мирового производства и обмена, но для мирового рынка они оказываются во все возрастающей степени лишь преградами. Роберту Райху, бывшему министру труда США, его должность дала прекрасную возможность осознать и приветствовать преодоление национальных границ в мировом рынке. Он утверждает что, «так как почти любой фактор производства — деньги, технологии, заводы и оборудование — перемещается через границы без усилий, сама идея о [национальной. — *Авт.*] экономике становится бессмысленной». В будущем «не будет национальных продуктов или технологий, не будет национальных корпораций, не будет национальных отраслей промышленности. Не будет более национальных экономик, по крайней мере в нашем нынешнем их понимании»¹⁸. Ослабление национальных границ освобождает мировой рынок от того вида бинарного разделения, которое устанавливали национальные государства, и в этом новом свободном пространстве появляются мириады различий. Конечно, эти различия не могут свободно проявляться по всему объему однородного глобального пространства, они скорее организованы в глобальные сети власти, состоящие из высоко дифференцированных и мобильных структур. Арджун Аппадураи понимает новое качество этих структур по аналогии с ландшафтами или, лучше, с видами моря: в сегодняшнем мире он видит финаншафты, техношафты, этношафты и так далее". Суффикс «-шафт» позволяет нам, с одной стороны, указать на текучесть и непосто-

яство этих различных областей и, с другой стороны, отметить формальные общие черты у столь разнообразных сфер, как финансы, культура, товары потребления и демография. Мировой рынок устанавливает действительную политику различия.

Различные shaftы мирового рынка обеспечивают капиталу такие возможности, которые ранее невозможно было представить. В таком случае не должно удивлять, что постмодернистское мышление и его основные концепции заняли самое почетное место в различных областях практики и теории, имеющих прямое отношение к капиталу, таких как маркетинг, организация управления и производства. Постмодернизм, безусловно, является логикой действия глобального капитала. Маркетинг имеет, возможно, наиболее отчетливо видимое отношение к постмодернистским теориям, и можно даже сказать, что капиталистические стратегии маркетинга долгое время были постмодернистскими *avant la lettre*. С одной стороны, практики маркетинга и массового потребления являются основным полем формирования постмодернистского мышления: некоторые постмодернистские теоретики, например, рассматривают бесконечный процесс покупки и потребления товаров и превращенных в товар образов в качестве парадигмальных явлений и определяющих типов деятельности постмодернистского опыта, наших коллективных путешествий через гиперреальность²⁰. С другой стороны, постмодернистское мышление — с его упором на такие концепции, как различие и множественность, его воспеванием фетишизма и видимостей, его постоянной зачарованностью новым и модным — является великолепным описанием идеальных капиталистических схем потребления товаров и тем самым дает возможность совершенствования маркетинговых стратегий. Как говорит один теоретик маркетинга, имеются ясные «параллели между нынешней практикой рынка и заповедями постмодернизма»²¹.

Сам по себе маркетинг является практикой, основанной на различиях, и чем больше дано различий, тем больше возможностей развития маркетинговых стратегий. Все более неоднородное и дифференцированное население обеспечивает растущее число «целевых групп», к каждой из которых можно обратиться со специфическими маркетинговыми стратегиями — одна для латиноамериканцев-гомосексуалистов в возрасте от восемнадцати до двадцати двух лет, другая для американских девочек-подростков китайского происхождения и так далее. Постсовременный маркетинг видит различие каждого товара и каждого сегмента населения, формируя свои стратегии соответствующим образом²². Каждое различие является возможностью.

Постсовременная маркетинговая практика представляет цикл потребления существующего ныне капитала, его внешнее лицо, но для нас даже более интересны постмодернистские тенденции внутри цикла капиталис-

тического производства. В производственной сфере постмодернистское мышление оказало, возможно, самое непосредственное воздействие на область теории менеджмента и организации. Авторы, работающие в этой области, утверждают, что крупные и сложные организации периода современности с их жесткими границами и узкоспециализированными подразделениями не приспособлены для ведения бизнеса в постсовременном мире. «Постсовременная организация, — пишет один теоретик, — имеет определенные отличительные черты — в частности, упор на размер и сложность от-небольших-до-умеренных, а также принятие гибких структур и методов межинституциональной кооперации для того, чтобы соответствовать постоянно меняющимся организационным условиям и условиям окружающей среды»²³. Постсовременные организации, тем самым, представляются или расположенными на границах между различными системами и культурами, или внутренне неоднородными. Что важно для постсовременного управления, так это чтобы организации были мобильными, гибкими и способными иметь дело с различием. Здесь постмодернистские теории мостят путь для трансформации внутренних структур капиталистических организаций.

Внутренняя «культура» этих организаций также приняла предписания постмодернистского мышления. Огромные транснациональные корпорации, которые перешагнули национальные границы и связывают глобальную систему воедино, сами внутренне являются много более разнообразными и изменчивыми в культурном отношении, чем ограниченные корпорации эпохи современности. Нынешние гуру корпоративной культуры, нанятые правлением в качестве консультантов и специалистов по стратегическому планированию, проповедуют эффективность и прибыльность разнообразия и мультикультурализма внутри корпораций²⁴. Если более пристально взглянуть на американскую корпоративную идеологию (и в меньшей, однако все еще значимой степени, американскую корпоративную практику), становится ясно, что корпорации не функционируют просто за счет исключения Другого, сконструированного по тендерному и/или расовому признаку. Фактически старые модернистские формы расистской и сексистской теории являются открытыми врагами этой новой корпоративной культуры. Корпорации пытаются сделать различие частью своей внутренней среды и, таким образом, стремятся максимизировать креативность, свободную игру и разнообразие корпоративной деятельности. Люди различных рас, полов и сексуальной ориентации потенциально должны быть включены в число сотрудников корпорации; ежедневный установленный порядок деятельности нужно оживить неожиданными изменениями и атмосферой радости. Разружьте старые границы, и пусть расцветают сто цветов²⁵! Задача босса впоследствии состоит в переводе этой энергии и различий в проценты прибыли. Такой проект очень точно на-

зван «менеджментом многообразия». В этом свете корпорации оказываются не только «прогрессивными», но также «постмодернистскими», будучи лидерами совершенно реальной политики различия.

Производственные процессы капитала также приняли формы, отражающие постмодернистские проекты. Мы сможем тщательно проанализировать (особенно в разделе 3-4)^{>как} производство перешло к организации в гибкие и гибридные сети. Это, по нашему мнению, является наиболее важным аспектом, в котором происходящая на наших глазах трансформация капитала и мирового рынка составляет действительный процесс постмодернизации.

Мы совершенно согласны с теми нынешними теоретиками, такими как Дэвид Харви и Фредерик Джеймисон, которые рассматривают постмодернизм как новую фазу капиталистического накопления и товаризации, сопутствующую сегодняшнему этапу становления мирового рынка²⁶. Глобальная политика различия, установленная мировым рынком, определяется не свободой и равенством, но навязыванием новых иерархий или, в действительности, постоянным процессом иерархизации. Постмодернистские и постколониалистские теории (и совершенно иным способом фундаментализм) являются на самом деле часовыми, подающими сигнал перехода, и поэтому совершенно необходимы.

КОМИССИИ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ ИСТИНЫ

Было бы нелишним напомнить себе, что постмодернистские и постколониалистские дискурсы имеют хождение только в очень четко выделяющихся географически регионах и среди определенного класса населения. Как политический дискурс постмодернизм имеет определенное распространение в Европе, Японии и Латинской Америке, но в основном он используется в среде элитных слоев американской интеллигенции. Подобным же образом постколониалистская теория, разделяющая ряд определенных постмодернистских тенденций, была разработана главным образом в среде группы космополитических интеллектуалов, перемещающихся между столицами и основными университетами Европы и Соединенных Штатов. Данная специфика не лишает обоснованности эти теоретические установки, но она заставляет нас остановиться на мгновение, чтобы поразмышлять по поводу их политического значения и практических эффектов. Многие действительно передовые и служащие делу освобождения дискурсы возникали на протяжении истории в среде элит, и мы не имеем здесь намерения сомневаться в призывании к подобному теоретизированию *самому по себе*. Куда более, чем отличительные черты этих теоретиков, важен тот резонанс, который вызывают их концепции в различных географических и классовых сферах.

Конечно, с точки зрения многих людей, по всему миру смешение, мобильность и различие сами по себе не означают немедленного освобождения. Огромные группы населения воспринимают мобильность как страдание, так как им приходится перемещаться со все возрастающей скоростью, оказываясь при этом в ужасающих условиях. В течение нескольких десятилетий в ходе процесса модернизации происходили массовые миграции из сельских районов в столичные центры в пределах каждой страны и по всему миру. Международный поток рабочей силы лишь увеличился в последние годы не только с юга на север, когда законным и незаконным образом туда прибывают приглашенные рабочие или иммигранты, но также с юга на юг, то есть когда на временной или полупостоянной основе рабочие из одних южных регионов перемещаются в другие, как, например, это происходит с рабочими из Южной Азии в странах Персидского залива. Однако по своей численности и переживаемым страданиям даже эти массовые миграции рабочих несопоставимы с численностью и страданиями людей, вынужденных покинуть свои дома и землю в поисках спасения от голода и войны. Самый беглый взгляд на мир, от Центральной Америки до Центральной Африки и от Балкан до Юго-восточной Азии, выявит ужасное состояние тех, кому навязана такая мобильность. Для них мобильность, связанная с пересечением границ, обычно сводится к вынужденной миграции и бедности и вряд ли несет освобождение. Фактически стабильное и определенное место проживания, некоторая доля неподвижности может, напротив, оказаться самой насущной необходимостью.

Постмодернистский эпистемологический вызов «Просвещению» — его атака на метанарративы и его критика истины — также теряет свою освободительную ауру, когда перемещается за пределы элитной интеллектуальной прослойки Европы и Северной Америки. Рассмотрим, например, мандат Комиссии по установлению истины, сформированной по окончании гражданской войны в Сальвадоре, или подобные институты, созданные при постдиктаторских и поставторитарных режимах Латинской Америки и Южной Африки. В условиях государственного террора и лжи сохранение верности понятию истины как высшей ценности может быть мощной и необходимой формой сопротивления. Установление и обнародование истины о недавнем прошлом — установление ответственности государственных служащих за определенные действия и, в некоторых случаях, требование возмездия — оказывается здесь неизбежным предва-
? рительным условием какого бы то ни было демократического будущего.
i Метанарративы Просвещения не кажутся в данном случае особенно репрессивными, а концепция истины не является изменчивой или нестабильной — напротив! Истина состоит в том, что этот генерал приказал пытать и убить того профсоюзного лидера, а этот полковник руководил массовыми убийствами в той деревне. Обнародование подобных истин является в

чистом виде проектом Просвещения в сфере политической модернизации, и критика его в данных условиях может только пойти на пользу проводившим политику лжи и репрессий силам режима, против которого в данный момент идет борьба.

В нашем нынешнем имперском мире описанный нами освободительный потенциал дискурсов постмодернизма и постколониализма лишь еще более укрепляет положение привилегированных групп населения, которые пользуются определенными правами, определенным уровнем богатства и определенным положением в глобальной иерархии. Не следует принимать это признание, однако, как полное опровержение названных дискурсов. Это на самом деле не проблема или/или. Различие, смешение и мобильность не ведут к освобождению сами по себе, но также не ведут к нему истина, чистота и неподвижность. По-настоящему революционная практика обращена к уровню *производства*. Истина не сделает нас свободными, а установление контроля над производством истины сделает. Мобильность и смешение не означают освобождения, а установление контроля над производством мобильности и неподвижности, чистоты и гибридности — означает. Настоящие комиссии по установлению истины в Империи будут учредительными собраниями масс, социальными фабриками по производству истины.

БЕДНЯК

В любой период истории социальный субъект, который всегда присутствует и везде одинаков, идентифицируется, зачастую негативно, но, тем не менее, с настоящей силой, при помощи общей жизненной формы. Эта форма не охватывает людей могущественных и богатых: они просто частичные и локализованные фигуры, quantitate signatae. Единственное не локализуемое «общее имя» чистого различия во все эпохи есть имя бедняка. Бедняк нуждается, он исключен, подавлен, эксплуатируется — и все же живет! Это общий знаменатель жизни, основа масс. Странно, но также символично, что постмодернистские авторы редко привлекают эту фигуру в своих теоретических построениях. Это странно потому, что бедняк является в определенном аспекте вечной постмодернистской фигурой: фигурой неукорененного, вездесущего, несущего различия мобильного субъекта; свидетельство всегда случайного характера существования.

Это общее имя, бедняк, также есть основа самой возможности существования рода людского. Как указывал Никколо Макиавелли, в «возвращении к началам», которое характеризует революционную фазу религий и идеологий современности, в бедняке почти всегда видят способность к пророчеству: бедняк не только живет в мире, но является самой возможностью мира. Лишь бедняк полностью проживает действительное и настоящее бы-

тие, в нищете и страдании, и поэтому только бедняк имеет возможность возобновлять бытие. Божественность множества бедных не указывает на какую-либо трансценденцию. Напротив, здесь и только здесь, в этом мире, в существовании бедняков, есть поле представленной, подтвержденной, консолидированной и открытой имманенции. Бедняк — это бог на земле.

В наши дни нет даже иллюзии трансцендентного Бога. Бедняк разрушил этот образ и вернул себе его власть. Давным-давно современность ознаменовала свое начало смехом Рабле с его реалистическим господством брюха бедняка, с поэтикой, которая выражает все, что есть в нуждающемся человечестве «от ремня и ниже». Позднее благодаря процессам первоначального накопления появился пролетариат как коллективный субъект, который может самовыражаться в материальности и имманентности, множество бедных, которые не только пророчествовали, но и работали, и это открыло возможности, которые были не кажущимися, а настоящими. Наконец, в наши дни в биополитических режимах производства и в процессах постмодернизации бедняк оказывается подчиненной, эксплуатируемой фигурой, но, тем не менее, фигурой производства. Вот где кроется новшество. В наши дни везде, в основе понятия и общего имени бедняка, находятся отношения производства. Почему постмодернисты не могут увидеть этот переход? Они говорят нам, что режим превращенных лингвистических отношений производства вошел в унифицированную и абстрактную вселенную стоимости. Но кто тот субъект, который производит «превращенное», придает творческое значение языку — кто, если не бедняк, который подчинен и обуреваем желаниями, обнищавший и могущественный, всегда более могущественный? Здесь, в этой сфере глобального производства, бедняк более не определяется лишь своей способностью пророчествовать, но также своим необходимым присутствием в производстве общественного богатства, всегда с избытком эксплуатируемый и всегда более чем ясно указывающий на расплату за власть. Бедняк сам по себе есть власть. Существует Мировая Нищета, но сверх всего существует Мировая Возможность, и только бедняк способен ее осуществить.

Vogelfrei, «свободная птичка», — это термин, который Маркс использовал для описания пролетариата, дважды освобожденного на заре современности в процессах первоначального накопления: во-первых, он был освобожден от того, чтобы быть собственностью хозяина (то есть освобожден от крепостничества), и, во-вторых, он был «освобожден» от средств производства, отделен от земли, не имея ничего для продажи, кроме своей рабочей силы. В этом смысле пролетариат был вынужден стать чистой возможностью богатства. Основное направление марксистской традиции, однако, всегда ненавидело бедняков, особенно за их жизнь, «свободную, как у птишек», за их невосприимчивость к дисциплине на фабрике, а дисциплина необходима для построения социализма. Вспомните, когда в

начале 1950-х гг. Витторио де Сика и Чезаре Саваттини посадили бедняка на метлу, чтобы он в конце их прекрасного фильма Чудо в Милане смог улететь, как жестоко они были осуждены за утопизм представителями социалистического реализма.

Vogelfrei — это ангел или трудновоспитуемый демон. И здесь после столь многочисленных попыток превратить бедняков в пролетариев, а пролетариев в освободительную армию (идея армии тяжело давит на идею освобождения) во времена постсовременности вновь возникают в слепящем свете ясного дня массы, общее имя бедняков. Оно появляется во всей своей открытости, поскольку в эпоху постсовременности подчиненные поглотили эксплуатируемых. Иными словами, бедняки, каждый бедный человек массы бедных людей поглотили и переварили массы пролетариев. Самим этим фактом бедняки стали производительной силой. Даже продающие свое тело, нищие, голодающие — все виды бедняков — стали производительной силой. И поэтому бедняки обрели еще большую значимость: жизнь бедняков обогащает планету и облакает ее стремлением к творчеству и свободе. Бедняки являются условием любого производства.

Рассказ продолжается тем, что у истоков постмодернистской чувствительности и создания концепции постмодернизма стоят те французские философы-социалисты, которые в дни своей молодости превозносили фабричную дисциплину и сияющие горизонты реального социализма, но раскаялись после кризиса 1968 года и сдались, признавая неубедительность притязаний коммунизма на то, что ему якобы удалось вернуть общественное богатство трудящимся. В наши дни те же самые философы смеются над любой общественной борьбой, направленной против всеобщего торжества меновой стоимости, цинично разрушают и банализируют ее. Массмедиа с их культурой говорят нам, что эти философы являются людьми, постигшими и признавшими новую эру мирового развития, но это не так. Открытие постсовременности состояло в новом утверждении бедняков в центре политики и производства. Что являлось действительно пророческим, так это смех Чарли Чаплина, бедного и свободного как птица, когда освобожденный ото всех утопических иллюзий и прежде всего от любой дисциплины освобождения он раскрыл смысл «новых времен» бедности, но в то же время связал имя бедняков с именем жизни, освобожденной жизни и освобожденной производительности.

2.5 СЕТЕВАЯ ВЛАСТЬ: СУВЕРЕНИТЕТ США И НОВАЯ ИМПЕРИЯ

Я убежден, что никогда прежде ни одна конституция не была столь хорошо приспособлена как наша для обширной империи и самоуправления.

Томас Джефферсон

Наша Конституция столь проста и практична, что всегда есть возможность решить непредвиденные проблемы за счет изменения ударения и перестановки слов без ущерба для существования дела.

Франклин Д. Рузвельт

С целью сформулировать природу имперского суверенитета мы сначала должны сделать шаг в прошлое и рассмотреть политические формы, которые подготовили для него почву и составляют его предысторию. Американская революция является моментом великого обновления и прорыва в истории суверенитета эпохи современности. Американский конституционный проект, рожденный борьбой за независимость и сформировавшийся в поле истории, богатой альтернативными возможностями, расцвел подобно редкому цветку в традиции суверенитета современности. Изучение истоков понятия суверенитета в Соединенных Штатах позволит нам увидеть его существенные отличия от суверенитета, характерного для периода современности, который мы описывали до сих пор, и выделить основы формирования нового имперского суверенитета.

АМЕРИКАНСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ И МОДЕЛЬ ДВУХ РИМОВ

Американская революция и «новая политическая наука», провозглашенная авторами *Федералиста*», порывает с традицией суверенитета современности, «возвращаясь к истокам» и в то же время разрабатывая новые языки и новые общественные формы, которые играют роль посредников *тежду единым и многим. В противоположность исчерпавшему себя трансцендентализму суверенитета эпохи современности, представленному или в гоббсианской, или в руссоистской форме, американские отцы-основатели полагали, что лишь республика может обеспечить демократии порядок, или, в действительности, что порядок, принимаемый массами, должен

быть рожден не из передачи власти и правовых полномочий, а из согласия самих масс, из демократического взаимодействия сил, объединенных в сети. Иными словами, новый суверенитет может появиться лишь из процесса конституирования системы ограничений и равновесий, сдержек и противовесов, которая одновременно образует центральную власть, и сохраняет ее в руках масс. Здесь нет более никакой необходимости или пространства для трансценденции власти. «Политическая наука, — пишут авторы *Федералиста*, —

как и большинство других наук, значительно продвинулась вперед. Теперь хорошо известна эффективность различных принципов, которые древние либо совсем не знали, либо знали недостаточно. Принцип постоянного разделения властей, а именно: введение законодательных противовесов и сдержек; учреждение судов, в которых судьи сохраняют свои посты, пока их поведение безупречно; представительство народа в законодательной власти через депутатов, избранных ими самими, — все это либо целиком результаты новых открытий, либо основной путь к их совершенству был пройден в наше время. Речь идет о средствах, причем могучих средствах, при помощи которых могут быть сохранены преимущества республиканской формы правления, а ее несовершенства уменьшены или исключены¹.

Здесь обретает форму исключительно светская и имманентная идея, повсюду проявляющаяся в текстах отцов-основателей, несмотря на их глубокую религиозность. Это идея, которая заново открывает революционный гуманизм Возрождения и придает ему завершенность в качестве политической и конституционной науки. Власть может быть создана всей совокупностью саморегулирующихся и организующихся в сети сил. Суверенитет может осуществляться в рамках широкого спектра действий, сообщающих ему делимость, но одновременно не отрицающих его единство и постоянно подчиняющих его творческому движению масс.

Нынешние историки, такие, как Дж. Г. А. Покок, связывающие развитие американской Конституции и ее понятие политического суверенитета с макиавеллианской традицией, близко подходят к пониманию сути этого отступления от свойственной периоду современности концепции суверенитета². Они связывают Конституцию США не с вычурным и контрреформистским макиавеллизмом, который встает на защиту принципа государственных интересов и всех порождаемых им несправедливостей, но с традицией республиканского макиавеллизма, которая, вдохновив поборников английской революции, возродилась в исходе через Атлантику европейских демократов, потерпевших поражение, но не побежденных³. Эта республиканская традиция действительно имеет прочное обоснование в текстах самого Макиавелли. Прежде всего, существует макиавеллианская концеп-

ция *конститутивной власти* — то есть власти как продукта внутренней и имманентной социальной динамики. Для Макиавелли власть всегда имеет республиканский характер; она всегда является продуктом жизни масс и составляет сущность ее выражения. Свободный город времен ренессансного гуманизма является утопией, которая закрепляет этот революционный принцип. Второй действующий здесь принцип Макиавелли состоит в том, что социальная основа этого демократического суверенитета всегда имеет конфликтный характер. Власть организуется посредством появления и взаимодействия противостоящих сил. Город, тем самым, является конститутивной властью, формирующейся посредством многочисленных социальных конфликтов, заявивших о себе в ходе идущих постоянно структурообразующих процессов. Такой видел Макиавелли организацию республиканского древнего Рима, и такое ренессансное понимание города служило основанием выдержанной в духе реализма политической теории и практики: социальный конфликт является основой стабильности власти и логикой развития города, расширения его пределов. Учение Макиавелли стало началом коперниканской революции, придавшей политике новую форму вечного движения. Это и есть те главные уроки, что атлантическая доктрина демократии получила у республиканца Макиавелли⁴.

Республиканский Рим не был единственным Римом, который восхищал Макиавелли и направлял атлантических республиканцев. Их новая «наука политики» черпала вдохновение также в имперском Риме, особенно каким он предстал в трудах Полибия. Прежде всего, модель имперского Рима по Полибию создавала более прочную базу для республиканского процесса опосредования социальных сил и его завершения в синтезе различных форм правления. Полибий полагал, что совершенная форма власти по своей структуре имеет смешанное строение, сочетая монархическую власть, власть аристократии и власть демократии⁵. Новые представители политической науки в Соединенных Штатах превратили эти три власти в три ветви республиканского устройства. Любое неравновесие между этими властями — и здесь видно второе свидетельство влияния Полибия — является симптомом разложения. Макиавеллианская Конституция Соединенных Штатов является конструкцией, уравновешенной таким образом, чтобы не допустить разложения — разложения как фракций, так и индивидов, групп и государства. Конституция была создана для того, чтобы сопротивляться любому периодически повторяющемуся упадку, ведущему к разложению, за счет усиления активности масс и воплощения их конститутивной способности в сети систем контрвласти, в потоки различных и уравненных функций, в динамичный, охватывающий все более широкие сферы процесс саморегулирования.

" Эти взятые из далекого прошлого модели, однако, лишь до определенного предела служат описанию опыта США, поскольку во многих отноше-

ях он был воистину новым и оригинальным. В очень разные периоды американской истории и Алексис де Токвиль, и Ханна Арендт осознали новаторский характер этой новой идеологии и формы власти. Токвиль был наиболее осторожен из них двоих. Хотя он признавал жизнеспособность нового политического мира в Соединенных Штатах и видел, как синтез различных форм правления перековывался в регулируемую массовую демократию, он также утверждал, что демократическая революция в Америке достигла своих естественных пределов. Его мнение по поводу того, сможет ли американская демократия избежать обычного цикла разложения, было, тем самым, неоднозначным, если не совершенно пессимистичным⁶. Ханна Арендт, напротив, откровенно превозносила американскую демократию как родоначальницу современной политики. Центральной идеей Американской Революции, утверждала она, является установление свободы, или, в действительности, основание политического сообщества, которое гарантирует существование пространства, где может действовать свобода⁷. Арендт делает ударение на *установлении* этой демократии в обществе, то есть на устойчивости ее основания и стабильности ее функционирования. Революция добивается успеха, по ее оценке, в той мере, в какой она кладет конец движению составляющих общество конститутивных сил и устанавливает стабильную конституированную власть.

Позднее мы подвергнем критике это понимание сетевой власти, содержащееся в Конституции США, но здесь мы хотим просто подчеркнуть его оригинальность. Здесь, в противоположность европейским концепциям суверенитета эпохи современности, которые относили политическую власть к трансцендентной реальности и тем самым отделяли и отчуждали источники власти от общества, концепция суверенитета соотносится с властью, полностью находящейся внутри самого общества. Политика не противостоит обществу, но объединяет его и придает ему завершенность.

ОБШИРНАЯ ИМПЕРИЯ

Прежде чем перейти к анализу того, как в ходе американской истории развивался и изменялся этот новый принцип суверенитета, давайте на мгновение сконцентрируем наше внимание на природе самого понятия. Первая особенность американского понимания суверенитета состоит в том, что оно выдвигает идею имманентности власти в противоположность трансцендентному характеру европейского суверенитета эпохи современности. Эта идея имманентности основывается на идее производительности. Если бы это было не так, принцип был бы бессилён: в одной лишь имманентности ничто не позволяет обществу стать политическим. Массы, конституирующие общество, являются производительной силой. Значит, суверенитет США заключается не в подчинении масс определенному поряд-

,1

III,
\\,
|I|'
!!

п
1

ку, он, скорее, возникает как результат их совместной производственной деятельности. Гуманистическая революция Возрождения и последующий опыт сектантского протестантизма разрабатывали эту идею производительности. В духе протестантской этики и можно сказать, что только производительная сила масс являет существование Бога и присутствие божественного начала на земле⁸. Власть не является чем-то, что господствует над нами, но чем-то, что создаем мы. Американская Декларация независимости с необыкновенной ясностью превозносит эту новую идею власти. Освобождение человечества от дубой трансцендентной власти основывается на способности масс создавать свои собственные политические институты и конституировать общество.

Этот принцип конститутивного производства, однако, преломляется в процедуре саморефлексии весьма своеобразным образом, в манере своего рода диалектического балета. Это вторая особенность американского понимания суверенитета. В процессе конституирования суверенитета в плане имманенции появляется также опыт определения неких пределов, ограничений, который является результатом конфликтной и плюралистической природы самих масс. Новый принцип суверенитета, кажется, устанавливает свое собственное внутреннее ограничение. Для того, чтобы предотвратить нарушение порядка и, тем самым, полное выхолащивание проекта, суверенная власть должна полагаться на осуществление контроля. Иными словами, после первого момента утверждения идет диалектическое отрицание конститутивной власти масс, что служит сохранению высших целей проекта суверенитета. Находим ли мы, таким образом, слабый момент в разработке нового понятия? Возвращается ли трансценденция, вначале отвергнутая в определении источника власти, через черный ход процесса осуществления власти, когда массы определены как ограничивающее начало, требующее поэтому специальных инструментов исправления и контроля?

Угроза сделать такой вывод постоянно существует, но после признания этих внутренних ограничений новая американская концепция суверенитета с необычной силой открывается внешнему миру, как если бы она хотела изгнать идею контроля и момент рефлексии из своей собственной Конституции. Третья особенность этого понимания суверенитета представляет собой его тенденцию к открытому, экспансионистскому проекту, действующему на неограниченной территории. Хотя текст американской Конституции крайне чувствителен к моменту саморефлексии, жизнь и осуществление Конституции, как бы в компенсацию этого, в течение всей юридической и политической истории, несомненно, открыты для экспансионистских движений, для провозглашения обновления демократического фундамента власти. Принцип экспансии постоянно борется против сил ограничения и контроля*.

Поразительно, насколько сильно этот американский эксперимент напоминает взятый из далекого прошлого опыт политического устройства, в особенности политическую теорию, вдохновенную имперским Римом! В этой традиции конфликт между ограничением и экспансией всегда разрешался в пользу экспансии. Макиавелли определял в качестве республик, склонных к экспансии, те, чьи демократические основания вели и к постоянному возникновению конфликтов, и к приобретению новых территорий. Полибий понимал экспансионизм как награду за совершенное соединение трех форм правления, потому что постоянная форма подобной власти поощряла демократическое давление масс, направленное на преодоление всех ограничений и всякого контроля. Без экспансии республика постоянно рискует впасть в цикл разложения¹⁰.

Должно быть четко осознано отличие этой экспансионистской тенденции демократии, подразумевающейся в понятии сетевой власти, от экспансии ради экспансии, от ее чисто империалистической формы. Принципиальное отличие состоит в том, что экспансионизм имманентной концепции суверенитета является включающим, а не исключаящим. Иными словами, распространяясь, этот новый суверенитет не аннексирует или уничтожает другие державы, с которыми он сталкивается, но, напротив, открывается для них, включая их в сеть. Основу для консенсуса обеспечивает открытость, и, таким образом, через сеть систем конститутивной власти и контрвласти весь суверенный организм постоянно реформируется. Именно благодаря этой экспансионистской тенденции новая концепция суверенитета является глубоко реформистской¹¹.

Теперь мы можем четко различить *тенденцию к экспансии* демократической республики от *экспансионизма* трансцендентных суверенов — или, так как это, прежде всего, и является вопросом, от экспансионизма национальных государств эпохи современности. Идея суверенитета как склонной к экспансии сетевой власти держится на соединении принципа демократической республики с идеей Империи. Империя может быть понята только как универсальная республика, сеть систем власти и контрвласти, структурированных в рамках лишенной линий разделения и включающей архитектуры. Эта имперская экспансия не имеет ничего общего ни с империализмом, ни с теми государственными организмами, которые были созданы для завоеваний, грабежа, геноцида, колонизации и рабства. В противовес подобным видам империализма, Империя распространяет и укрепляет модель сетевой власти. Конечно, когда мы рассматриваем эти имперские процессы в исторической перспективе (и скоро мы сосредоточимся на них при обращении к американской истории), мы отчетливо видим, что экспансионистские периоды развития Империи были омыты слезами и кровью, *не?* эти постыдные страницы истории не дают основания отрицать различие между двумя типами экспансии.

Возможно, важнейшей особенностью имперского суверенитета является то, что *его пространство всегда открыто*. Как мы видели в предыдущих разделах, суверенитет современности, сформировавшийся в Европе начиная с шестнадцатого столетия, понимал пространство как ограниченное, а его границы как всегда охраняемые суверенным правительством. Суверенитет эпохи современности основан именно на этой идее границы. В имперском понимании, напротив, власть обнаруживает логику своего порядка всегда обновленной и всегда воссозданной в экспансии. Это определение имперской власти создает множество парадоксов: безразличие к характеру подвластных субъектов вместе с сингуляризацией производственных сетей; открытое и расширяющееся пространство Империи вместе с его постоянной ретерриториализацией и так далее. Идея Империи, являющейся одновременно демократической республикой, однако, формируется именно за счет связи и сочетания этих парадоксов, выраженных предельно остро. Напряженность этих концептуальных парадоксов сохранится в течение всего периода проявления и утверждения имперского суверенитета на практике.

Наконец, мы должны отметить, что идея мира лежит в основе развития и расширения Империи. Это суть имманентная идея мира, принципиально противостоящая трансцендентной идее мира, то есть мира, который только трансцендентный суверен может принести обществу, чья природа определяется войной. Здесь, напротив, природой общества является мир. Вергилий дает, возможно, высшее выражение идеи римского мира: «Круг последний настал по вешанью пророчицы Кумской, / Сызнава ныне времен зачинается строй молчаливый»¹².

ОТКРЫТЫЕ ГРАНИЦЫ

Реализация имперского понимания суверенитета являлась долгим процессом, развивавшемся в ходе смены различных фаз американской конституционной истории. В виде писанного документа, конечно, американская Конституция осталась более или менее неизменной (за исключением нескольких исключительно важных поправок), но Конституция должна также пониматься как воплощаемая в жизнь система юридической интерпретации и практики, которая осуществляется не только юристами и судьями, но также обществом в целом. Эта материальная, социальная конституция действительно радикально изменилась с момента основания республики. Американская конституционная история фактически должна быть разделена на четыре различные фазы, или режима". Первая фаза охватывает период с момента принятия Декларации независимости до Гражданской войны и Реконструкции; вторая, крайне противоречивая, связана с Прогрессивистской эрой¹³, охватывая период смены столетий, от империалисти-

ческой доктрины Теодора Рузвельта до концепции реформирования системы международных отношений Вудро Вильсона; третья фаза начинается Новым курсом и Второй мировой войной и продолжается временем разгара «холодной войны»; и, наконец, четвертая фаза открывается социальными движениями 1960-х годов и включает распад Советского Союза и Восточноевропейского блока. Каждая из этих фаз конституционной истории США обозначает шаг вперед в направлении реализации имперского суверенитета.

На первой фазе истории Конституции, между президентствами Томаса Джефферсона и Эндрю Джексона, открытое пространство фронтаTM стало концептуальной областью республиканской демократии: это открытие границ дало Конституции ее первое ясное толкование. Провозглашение свободы имело смысл в пространстве, где устройство государства рассматривалось как открытый процесс, коллективное само-делание^{14.хм}. Особенно важно, что эта американская территория была свободна от форм централизации и иерархии, типичных для Европы. Токвиль и Маркс, с противоположных точек зрения, соглашались в этом вопросе: американское гражданское общество не развивается в рамках тяжких оков феодальной и аристократической власти, но начинает свою историю на другой весьма отличной основе¹⁵. Древняя мечта казалась вновь возможной. Неограниченная территория открыта для устремлений (*cupiditas*) людей, и они могут, таким образом, избежать конфликта между добродетелью (*virtus*) и удачей (*fortuna*), что заманило в западню и разрушило гуманистическую и демократическую революцию в Европе. С точки зрения новых Соединенных Штатов, препятствия развитию человека ставятся природой, а не историей, — ив природе не существует непреодолимых антагонизмов или твердо закрепленных социальных взаимоотношений. Это территория, которую можно переделывать и свободно перемещаться по ней.

То есть уже на этой первой фазе подтверждается новый принцип суверенитета, отличный от такового в Европе: свобода наделена суверенитетом и суверенитет определяется как в основе своей демократический феномен в рамках открытого и непрерывного процесса экспансии. Фронтир — это граница свободы. Какой пустой была бы риторика авторов *Федералиста* и неадекватной их собственной «новая политическая наука», если бы они не предполагали этого протяженного и постоянно отодвигаемого фронта! Сама идея недостаточности, нехватки, которая — подобно идее войны — в период современности лежала в основе европейской концепции суверенитета, априори исключалась из процесса конституирования американского опыта. И Джефферсон, и Джексон осознавали материальность фронта и понимали его как фундамент, поддерживающий экспансионизм демократии¹⁶. Свобода и фронтир предполагают друг друга: любая трудность, лж>

бое ограничение свободы являются препятствием, которое надо преодолеть, пороком, через который надо переступить. От Атлантики до Тихого океана протянулась территория богатства и свободы, постоянно открытая для новых перемещений. В этих пределах имеет место, по крайней мере, частичное исчезновение или разрешение той двусмысленной диалектики, развитие которой мы видели в американской Конституции, подчинившей имманентные принципы Декларации независимости заложенному в Конституции и в устройстве американской республики трансцендентному порядку саморефлексии. На великих открытых пространствах конститутивная тенденция одерживает верх над предопределением прочно утвержденных установившихся институтов, тенденция имманентности принципа над регулятивной мышлением рефлексией и инициатива масс над централизацией власти.

Эта утопия открытых пространств, которая играет столь важную роль на первой фазе истории американской конституции (как документа и как реального устройства), однако, уже откровенно скрывает грубую форму подчинения. Североамериканская территория может представляться пустой, лишь если умышленно игнорировать существование коренных американцев — или, в действительности, считать их человеческими существами иного порядка, недочеловеками, частью окружающей среды. Так же, как земля должна быть очищена от деревьев и камней для того, чтобы заниматься на ней сельским хозяйством, так и территория должна быть очищена от коренных жителей. Так же, как люди, живущие на фронтире, должны подготовиться к суровым зимам, так же они должны вооружиться против коренного населения. Коренные американцы рассматривались просто как особенно неудобный элемент природы, и постоянная война имела своей целью их изгнание и/или уничтожение. Здесь мы встречаемся с противоречием, которое не может быть разрешено при помощи конституционной машины: коренные американцы не были предусмотрены конституционным замыслом и не могли быть включены в процесс передвижения фронта все дальше и дальше; скорее, они должны были быть удалены с территории, чтобы открыть пространства и сделать экспансию возможной. Если бы их признали, на континенте не стало бы реального фронта и свободных пространств, которые можно заполнить. Они существовали вне Конституции как ее негативное основание, иными словами, их исключение или уничтожение были необходимыми условиями действия самой Конституции. Возможно, это противоречие даже не может пониматься как кризис, настолько полно коренные американцы исключены из работы конституционной машины и находятся вне ее.

На этой первой фазе, которая длится от основания демократической республики до Гражданской войны, конституционная динамика оказалась в кризисе в результате внутреннего противоречия. В то время, как ко-

ренные американцы были отвергнуты Конституцией, афро-американцы были с самого начала ею признаны. Концепция фронта, а также идея и практика открытого пространства демократии были фактически сотканы вместе с равно открытой и динамичной концепцией народа, масс и *рода*. Республиканский народ есть новый народ, *народ исхода*, заселяющий пустые (или очищенные) новые территории. С самого начала американское пространство было не только экстенсивным и неограниченным, но также и интенсивным: пространством смешения, «плавильным котлом» постоянной гибридации. Первый действительный кризис американской свободы разразился на этом внутреннем интенсивном пространстве. Рабство черных, практика, унаследованная от колониальных держав, было непреодолимым барьером для формирования свободного народа. Великая американская *антиколониальная* конституция должна была интегрировать этот парадигмальный *колониальный* институт в саму свою основу. Коренные американцы могли быть исключены потому, что новая республика не зависела от их труда, но труд чернокожих был одной из существенных опор новых Соединенных Штатов: афро-американцы должны были быть включены в Конституцию, но не могли быть включены на равных. (Женщины, естественно, находились в весьма схожем положении.) Южным конституционалистам не составляло труда показать, что Конституция в ее диалектическом, саморефлексивном и «федералистском» моменте позволяла и даже требовала существования этой извращенной интерпретации социального разделения труда, действовавшей в полной противоположности утверждению равенства, выраженному в Декларации независимости.

На деликатную природу этого противоречия указывает странный компромисс при разработке Конституции, достигнутый только после мучительных переговоров. Согласно этому компромиссу рабское население учитывалось при определении числа депутатов от каждого штата в Палате представителей, но в соотношении, где один раб равнялся трем четвертям свободного человека. (Южные штаты боролись за то, чтобы увеличить это соотношение насколько возможно, и тем самым увеличить свою власть в Конгрессе, а северяне боролись за его снижение.) В результате конституционалисты были вынуждены давать количественное определение конституционной ценности различных рас. Отцы-основатели тем самым провозгласили, что число представителей «определяется посредством прибавления к общему числу свободных лиц — включая в это число тех, кто поступил в услужение на определенный срок, и исключая не облагаемых налогом индейцев — трех пятых всех прочих лиц»¹⁷. Один от белых и ноль от коренных американцев создает сравнительно небольшую проблему, но три пятых являются очень неудобной цифрой для Конституции. Афро-американские рабы не могли быть ни полностью включены, ни полностью

исключены. Рабство черных парадоксальным образом являлось и исключением из Конституции, и ее основанием.

Это противоречие поставило недавно разработанное американское понимание суверенитета перед лицом кризиса, потому что оно блокировало свободное перемещение, смешение и равенство, которые вдыхали жизнь в основание американской идеи суверенитета¹⁸. Имперский суверенитет всегда должен преодолевать барьеры и ограничения как в своих владениях, так и на границах. Это постоянное преодоление и является тем, что делает широкое имперское пространство открытым. Высочайшие внутренние преграды между черными и белыми, свободным и рабом блокировали машину имперской интеграции и обесценивали идеологическую претензию на открытые пространства.

Авраам Линкольн был, несомненно, прав, когда, ведя Гражданскую войну, полагал, что заново основывает нацию. Один из разделов Четырнадцатой поправки положил начало более чем столетней юридической борьбе за гражданские права и равенство афро-американцев. Кроме того, дебаты по поводу рабства были неразрывно связаны с дебатами о новых территориях. Происходило переопределение *пространства* нации. Предстояло ответить на вопрос, может ли свободный исход масс, объединенных в плюралистическое сообщество, продолжаться, совершенствоваться в своих формах и условиях и воплощать в жизнь новое очертание общественного пространства. Новая демократия должна была уничтожить трансцендентальную идею нации со всеми ее расовыми делениями и создать свой собственный народ, определяемый не наследием прошлого, а новой этикой создания и расширения сообщества. Новая нация не могла быть ничем иным, кроме как продуктом политического управления и управления посредством культуры смешанными идентичностями.

ЗАКРЫТИЕ ИМПЕРСКОГО ПРОСТРАНСТВА

Великие открытые американские пространства в конечном счете закончились. Даже оттеснения коренных американцев все дальше и дальше, в пределы все более и более узких границ, было недостаточно. В девятнадцатом и двадцатом столетиях и американская свобода, и ее новая модель сетевой власти, и ее альтернативная концепция суверенитета современности столкнулись с осознанием ограниченности открытой территории. Развитие американской Конституции с этого момента будет постоянно балансировать на грани противоречий. Каждый раз, когда экспансионизм конституционного проекта сталкивался со своими ограничениями, республика испытывала искушение обратиться к империализму европейского образца. Всегда, однако, существовал другой вариант: возвратиться к проекту имперского суверенитета и сформировать его в соответствии с исходной

«римской» миссией Соединенных Штатов. Эта новая драма американского политического проекта разыгрывалась в Прогрессистскую эру, с 1890-х годов до Первой мировой войны.

Это был период, когда классовая борьба стала играть существенную роль в Соединенных Штатах. Классовая борьба поставила проблему нужды не в абсолютных понятиях, но в понятиях, соответствующих истории капитализма: то есть как неравенство распределения благ развития в соответствии с общественным разделением труда. Классовое разделение проявилось как ограничение, грозящее дестабилизировать основанное на принципе экспансионизма равновесие конституции. В то же время крупнейшие капиталистические тресты начали переходить к новым формам финансовой власти, отделяя богатство от производительности и деньги от производственных отношений. В то время как в Европе этот переход совершался сравнительно плавно — поскольку финансовый капитал был подкреплен социальной ролью земельной ренты и аристократии, — в Соединенных Штатах это было взрывоопасным событием. Оно ставило под угрозу саму возможность сетевого устройства, так как, когда власть становится монополистической, сеть разрушается. Поскольку расширение пространства стало более невозможным и, таким образом, не могло быть использовано как стратегия разрешения конфликтов, социальное противостояние немедленно приняло жестокий и непримиримый характер. Выход на сцену могучего американского рабочего движения подтвердил закрытие опосредующего конституционного пространства и невозможность пространственного вытеснения конфликтов. Восстание на Хэймаркетской площади и пульмановская стачка заявили об этом громко и ясно: нет более открытого пространства, и поэтому итогом конфликта будет прямое столкновение здесь же, на месте". В результате, когда власть сталкивалась с пространственными ограничениями, она была вынуждена обращаться вовнутрь, к себе самой. Это была новая ситуация, определявшая все действия.

Закрытие пространства бросало серьезный вызов изначальному американскому конституционному духу, и ответ найти было нелегко. Никогда более побуждение к преобразованию Соединенных Штатов в страну с суверенитетом европейского типа не было столь сильно. Все наши концепции «реакции», «активной контрреволюции», «превентивной полиции» и «государства Пинкертона» были разработаны в Соединенных Штатах в этот период. Классовые репрессии в США были вполне сравнимы с репрессивной политикой различных кайзеров и царей Европы. Этот дикий период капиталистических и государственных репрессий отнюдь не ушел в прошлое, даже если имена его главных виновников (таких как Фрик, Карнеги, Меллон и Морган) теперь украшают фасады благотворительных фондов. Сколь жестоки были эти репрессии — и чем сильнее они были, тем сильнее было сопротивление! Это на самом деле и имеет значение. Если бы дела

шли иначе, если сопротивление репрессиям не было бы столь сильным, не имело бы смысла писать эту книгу об Империи как о форме правления, отличной от империализма.

Возможные направления ответных действий в отношении закрытия пространства на Североамериканском континенте были многообразными и противоречивыми. Оба предложения, в наибольшей мере определившие тенденцию последующего развития Конституции, были разработаны в рамках американского «прогрессизма» в начале двадцатого столетия. Первое было выдвинуто Теодором Рузвельтом, второе Вудро Вильсоном; первое полностью лежало в русле традиционной империалистической идеологии европейского типа, а второе восприняло интернационалистскую идеологию мира как распространения конституционной концепции сетевой власти. Оба этих предложения должны были стать ответом на одну и ту же проблему: кризис общественных отношений и, вследствие этого, кризис джефферсоновского открытого пространства. Для обоих вторым важным элементом было разложение сетевой власти Конституции в результате формирования могущественных трестов. Время пребывания у власти обоих было отмечено принятием важного прогрессистского антитрестовского законодательства, от регулирования железных дорог при Рузвельте, до широкого регулирования бизнеса и финансов при Вильсоне. Их общей проблемой был поиск того, как может быть усмирен классовый антагонизм, который к тому времени почти уничтожил модель сетевой власти. Они осознавали, что в рамках самой системы — и это третий объединяющий их момент — это было невозможно. Открытые территории закончились, и, даже если они не были полностью исчерпаны, их освоение не могло больше совершаться на путях демократии.

Так как внутреннее, не выводящее за рамки системы решение проблемы закрывающегося пространства было невозможно, прогрессизм американской идеологии должен был реализоваться в отношении внешнего мира. Оба ответа делают ударение на этом движении вовне, но проект Вильсона был много более утопичен, чем рузвельтовский. Для Рузвельта испаноамериканская война и сбор ковбоев-добровольцев на горе Сан-Хуан послужили моделью решения, и этот образ обретал все большую силу по мере того, как он усваивался популизмом. Рузвельтовское решение проблемы ограниченности пространства включало отказ от исходных черт американской модели и, вместо этого, следование целям и методам, близким популистскому колониальному империализму Сесилия Родса*¹⁹ и прогрессивному империализму Третьей республики во Франции²⁰. Этот империалистический путь привел Соединенные Штаты к колониальному опыту на Филиппинах. «Это наш долг по отношению к народу, живущему в варварстве, — провозглашал Рузвельт, — увидеть, что они свободны от своих цепей». Любая уступка освободительным движениям, которая позволила

бы нецивилизованным народам, подобным филиппинцам, самим решать свою судьбу, будет поэтому «международным преступлением»²¹. Рузвельт, как и поколения европейских идеологов до него, полагался на идею «цивилизации» как на адекватное оправдание империалистического завоевания и господства.

Вильсоновское решение проблемы кризиса пространства предполагало совершенно иной путь. Его проект распространения сетевой власти Конституции в международном масштабе, за пределы Соединенных Штатов, был выраженной в конкретных понятиях политической утопией. Нигде не насмеялись над вильсоновским толкованием американской идеологии так, как в Европе в период Версальского договора, но и в Соединенных Штатах оно не было высоко оценено. Правда, что Лига Наций, призванная увенчать вильсоновский проект мира для Европы и для всего мира, никогда не преодолела вето Конгресса; но его концепция мирового порядка, основанного на распространении американского конституционного проекта, идея мира как продукта новой мировой сети держав была сильным и рассчитанным на долгую перспективу предложением²². Это предложение соответствовало исходной логике американской Конституции с ее идеей расширяющейся Империи. Европейские модернисты не могли не высмеивать этот план постсовременной Империи: печатные издания того времени полны ироничных замечаний и оскорблений со стороны Жоржа Клемансо и Ллойд Джорджа, равно как и со стороны фашистов, которые заявляли, что отказ от вильсоновского проекта является центральным элементом их планов политики диктатуры и войны. Однако бедный оклеветанный Вильсон предстает сегодня в несколько ином свете: утопист, да, но ясно сознающий, какое ужасное будущее ожидало Европу наций в последующие годы; автор идеи мирового правительства, призванного установить мир, что было, конечно, нереально, но эта опережавшая свое время идея тем не менее эффективно способствовала переходу к Империи. Все это правда, даже если Вильсон этого не осознавал. Здесь фактически мы начинаем предметно затрагивать различие между империализмом и Империей, и мы можем увидеть в этих вильсоновских утопиях ум и прозрение великого простеца.

АМЕРИКАНСКИЙ ИМПЕРИАЛИЗМ

Принятие законов Нового курса, таких, как Закон о трудовых отношениях, может рассматриваться как время полного воплощения в жизнь третьей фазы, или режима, Конституции США, но для наших целей лучше отнести ее начало ранее, даже много ранее, во времена большевистской Революции 1917 года и в период, когда ее угроза эхом звучала в Соединенных Штатах и по всему миру. В ретроспективе, в этих первых десятилетиях пос-

ле Октябрьской революции мы уже можем обнаружить корни «холодной войны» — биполярное территориальное деление мира и неистовое соперничество двух систем. Само законодательство Нового курса, наряду с созданием подобных же систем социального обеспечения в Западной Европе, может рассматриваться как ответ на угрозу, порожденную советским опытом, то есть на увеличивающуюся силу рабочих движений как в своей стране, так и за рубежом²³. Соединенные Штаты обнаружили, что усмирение классового антагонизма становится для них все более настоятельной потребностью, и, таким образом, антикоммунизм стал важнейшим императивом. Идеология холодной войны стимулировала наиболее крайние формы манихейского разделения, и в результате некоторые основные элементы, которые, как мы видели, определяли европейский суверенитет эпохи современности, вновь появились в Соединенных Штатах.

На протяжении этой фазы и в течение всего двадцатого столетия становилось все более ясно, что Соединённые Штаты, далеко не являвшиеся той замечательной, единственной в своем роде и демократической страной, какой их представляли отцы-основатели, Империей Свободы, были автором откровенных и жестоких империалистических проектов, предназначенных для осуществления как внутри страны, так и за рубежом. Образ американского правительства как мирового жандарма и силы, стоящей за операциями по подавлению освободительных движений по всему миру, на самом деле сформировался не в 1960-е годы и даже не с началом «холодной войны», но восходит к периоду советской революции и, возможно, к еще более ранним временам. Вероятно, те моменты, которые мы представляли как *исключения* из процесса развития имперского суверенитета, должны быть, напротив, объединены и рассмотрены как реальная тенденция, альтернатива в рамках истории Конституции США. Иными словами, возможно, корень этих видов империалистической практики следует искать у истоков страны, в рабстве темнокожих и в геноциде коренного населения.

Ранее мы рассматривали рабство афро-американцев как конституционную проблему предвоенного периода, но расовое подчинение и сверхэксплуатация труда темнокожих продолжались и много лет спустя после принятия Тринадцатой, Четырнадцатой и Пятнадцатой поправок к Конституции США. Идеологические и физические преграды, воздвигнутые вокруг афро-американцев, всегда входили в противоречие с имперским пониманием открытых пространств и смешанного населения. В частности, положение темнокожих трудящихся в Соединенных Штатах имело прямые соответствия с положением трудящихся в европейских колониях в смысле разделения труда, условий работы и структуры оплаты. Конечно, сверхэксплуатация труда темнокожих дает нам один пример, пример реализации во внутренней жизни страны той империалистической тенденции, которая проходит через всю историю США.

Второй пример этой империалистической тенденции, пример из внешней политики, можно видеть в истории доктрины Монро и усилиях США установить контроль над обоими американскими континентами. Доктрина, провозглашенная президентом Джеймсом Монро в 1823 году, в первую очередь представлялась как защитная мера против европейского колониализма: свободные и независимые американские континенты «впредь не должны рассматриваться как субъекты будущей колонизации со стороны европейских держав»²⁴. Соединенные Штаты приняли на себя роль защитника всех народов обеих Америк против европейской агрессии, роль, которая в конечном счете стала очевидной, когда Теодор Рузвельт в качестве непосредственного вывода из доктрины Монро потребовал для Соединенных Штатов «международной полицейской власти». Однако надо сильно постараться, чтобы охарактеризовать многочисленные военные интервенции США на обоих американских континентах просто как защиту от европейской агрессии²⁵. Политика янки представляет собой прочную традицию империализма, наряженного в антиимпериалистические одежды.

Во время «холодной войны» это искушение империализмом — или, в действительности, неопределенность с ролями защитника и господина — стало еще более сильным. Иными словами, защита стран по всему миру от коммунизма (или, точнее, от советского империализма) стала неотличима от господства и эксплуатации их с использованием империалистических методов. Действия США во Вьетнаме вполне могут рассматриваться как пик этой тенденции. С одной точки зрения и, конечно, в рамках выражавшей позицию правительства США американской идеологии «холодной войны», война во Вьетнаме подходила под глобальную политическую стратегию защиты «свободного мира» от коммунизма, сдерживание его продвижения. Война тем не менее на практике не могла не быть также продолжением полутики европейского империализма со стороны Соединенных Штатов. К 1960-м гг. европейские колониальные державы проигрывали важнейшие битвы, и их контроль над колониями уходил в прошлое. Подобно стареющим боксерам, они стали сходить с ринга, и Соединенные Штаты вступили на него в качестве нового чемпиона. Американские военные никогда не сомневались, что они достаточно сильны, чтобы избежать чего-либо подобного тому унижению, которое французы испытали при Дьенбьенфу**. Американцы во время их краткого пребывания во Вьетнаме действовали со всем насилием, жестокостью и варварством, какие приличествовали любой европейской империалистической державе. Казалось, что Соединенные Штаты объявят себя законным наследником клонящихся к упадку европейских держав, облачась в их империалистическую мантию и превзойдя их империалистическую практику.

Американская авантюра во Вьетнаме, конечно, закончилась поражением. Совершая необыкновенные подвиги, проявляя беспримерную силу и

отвагу, вьетнамцы сражались последовательно с двумя империалистическими державами и вышли победителями — хотя плоды той победы оказались впоследствии очень горькими. С точки зрения Соединенных Штатов, однако, а также в понятиях нашего краткого обзора конституционной истории, вьетнамская война может быть рассмотрена как последнее по времени проявление империалистической тенденции и, следовательно, точка перехода к новому режиму Конституции. Путь империализма европейского типа закрылся раз и навсегда, и отныне Соединенные Штаты будут вынуждены одновременно повернуть назад и стремительно продвигаться вперед по направлению к по-настоящему имперскому правлению.

Ведя изложение в стиле исторической стенограммы, мы можем отнести конец третьего и начало четвертого режима Конституции США к 1968 году²⁶. Наступление ТетTM в январе обозначило окончательное военное поражение американских империалистических авантюр. Еще более важно, однако то, что, как и в предыдущие периоды накануне изменения конституционного режима, давление за возвращение к республиканским принципам и исходному духу конституции было уже подготовлено мощными социальными движениями внутри страны. Как раз тогда, когда Соединенные Штаты оказались Наиболее глубоко вовлечены в империалистическую авантюру за рубежом, когда они дальше всего оторвались от своего исходного конституционного проекта, дух суверенитета народа расцвел дома с особой силой — не только в самих антивоенных движениях, но также в движениях за гражданские права и Черной власти^{ant}, движениях студентов и, в конце концов, в феминистских движениях второй волны. Появление различных сил, составляющих движение Новых Левых, стало значимым и твердым подтверждением принципа власти народа и провозглашением нового, повторного открытия социальных пространств.

ПОСЛЕ «ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ»

В годы «холодной войны», когда Соединенные Штаты, еще не полностью определившись с новой ролью, примерили мантию империализма, они подчинили старые империалистические державы своему собственному режиму. «Холодная война», которую вели Соединенные Штаты, не явилась причиной падения социалистического врага, и, возможно, это никогда в действительности не было ее основной целью. Советский Союз рухнул под бременем своих собственных внутренних противоречий. «Холодная война», самое большее, в определенной мере способствовала изоляции противника, что, отдаваясь эхом внутри советского блока, усиливало эти взрывоопасные противоречия. Наиболее важным результатом «холодной войны» было изменение прежнего характера гегемонии внутри империалистического мира, что ускорило упадок старых держав и выдвигает

ло на первый план американскую инициативу формирования имперского порядка. Соединенные Штаты не подошли бы к концу «холодной войны» победителями, если бы новый тип гегемонистической инициативы не был бы уже подготовлен. Этот имперский проект, глобальный проект сетевой власти, определяет четвертую фазу, или режим, американской конституционной истории.

В исходе и по завершению «холодной войны» ответственность за осуществление полицейской власти в мировом масштабе «легла» прямо на плечи Соединенных Штатов. Во время войны в Заливе Соединенные Штаты впервые смогли в полной мере реализовать эти полномочия. В действительности, с точки зрения ее целей, региональных интересов и политических идеологий война была направлена на решение очень ограниченного круга задач. Мы видели много подобных войн, которые велись непосредственно Соединенными Штатами или их союзниками. Ирак был обвинен в нарушении международного права, и поэтому он должен был быть осужден и наказан. Значение войны в Заливе состоит скорее в том, что она представила Соединенные Штаты единственной державой, способной блюсти международную справедливость *не как функцию собственных национальных интересов, но во имя глобального права*. Конечно, и прежде многие державы гнали, что действуют якобы во имя всеобщего интереса, но эта новая роль Соединенных Штатов имеет иной характер. Возможно, точнее было бы сказать, что их претензия на универсальность также может быть ложной, но она ложна по-новому. Мировая полиция США действует не в империалистических, а в имперских интересах. В этом смысле война в Заливе действительно, как заявил Джордж Буш, ознаменовала рождение нового мирового порядка.

Легитимизация имперского порядка, однако, не может основываться на простой эффективности правовых санкций и способности применить их с помощью военной силы. Она должна развиваться посредством производства международных юридических норм, утверждающих власть актора-гегемона на прочном и правовом основании. Здесь структурный процесс, начало которому положил Вильсон, наконец достигает зрелости и появляется вновь. Между Первой и Второй мировыми войнами, между мессианизмом Вильсона и международными экономико-политическими инициативами Нового курса (к которому мы вернемся в Разделе §.2) был образован ряд международных организаций, породив то, что в традиционных договорных категориях международного права называется избытком нормативности и юридической силы. Этот избыток имел расширяющуюся и имеющую тенденцию к универсализации основу в духе соглашений Сан-Франциско, положивших начало Организации Объединенных Наций.

Унифицирующему внутреннему процессу препятствовала «холодная война», но она не блокировала его полностью. В годы «холодной войны» имело

место и увеличение числа международных органов, способных создавать право, и уменьшение сопротивления их функционированию. В Разделе I.i мы особо обращали внимание на то, как количественный рост различных международных органов и их объединение совокупностью симбиотических взаимоотношений — как если бы один обращался к другому за обретением своей легитимации — способствовал отказу от концепции международного права, основанного на договоре или переговорах, и принятию взамен этого идеи права, предполагающей существование верховной власти, легитимного наднационального двигателя юридического процесса. Объективный процесс был, таким образом, персонифицирован. Ведущие международные институты, созданные на узкой основе переговоров и пактов, способствовали умножению количества органов и акторов, которые начали действовать так, как если бы существовала верховная власть, санкционирующая право.

С окончанием «холодной войны» Соединенные Штаты были призваны гарантировать этот сложный процесс формирования нового наднационального права и придать ему юридическую эффективность. Так же, как в первом веке христианской эры римские сенаторы просили Августа ради общественного блага принять имперские полномочия, так же и сегодня международные организации (Организация Объединенных Наций, международные финансовые и даже гуманитарные организации) просят Соединенные Штаты взять на себя главную роль в Новом мировом порядке. Во всех региональных конфликтах конца двадцатого века, от Гаити до Персидского залива и от Сомали до Боснии, Соединенные Штаты призываются к военному вмешательству — и эти призывы являются реальными и весомыми, а не просто уловками, призванными успокоить американскую общественность. Американские военные, даже против своей воли, должны были бы во имя мира и порядка ответить на вызов. Это, возможно, одна из главных характеристик Империи — сам глобальный контекст, условия нынешнего мира постоянно вызывают ее к существованию. Соединенные Штаты являются полицией по обеспечению мира, но лишь в последней инстанции, когда наднациональные органы призывают США к активной деятельности, направленной на реализацию суммы четко сформулированных юридических и организационных инициатив.

Существует множество аргументов, обосновывающих привилегированное положение Соединенных Штатов в новой глобальной структуре имперской власти. Частично оно может быть объяснено преемственностью роли Соединенных Штатов (особенно их военной роли) от лидера в борьбе против СССР до лидера в новом унифицированном мировом порядке. С точки зрения конституционной истории, которую мы прослеживали здесь, однако, очевидно, что в значительно большей мере фактором, позволившим Соединенным Штатам занять привилегированное положение, вы-

стует имперская тенденция их собственной Конституции. Конституция США, как сказал Джефферсон, лучше всего приспособлена для расширяющейся Империи. Нам следует вновь подчеркнуть, что эта Конституция является имперской, а не империалистической. Имперской потому, что (в противоположность проекту империализма, всегда распространяющему свою власть линейно в закрытых пространствах и вторгающемуся в зависимые страны, уничтожающему их самостоятельность и вовлекающему их в сферу своего суверенитета) американский конституционный проект основан на модели выстраивания заново открытого пространства и воссоздания бесконечно различных и сингулярных отношений сетевого типа на неограниченной территории.

Сегодняшняя идея Империи родилась благодаря глобальной экспансии собственного, исходно рассчитанного на внутренние условия конституционного проекта США. Фактически именно через расширение сферы действия *внутренних* конституционных процессов начинается процесс конституирования Империи. Международное право всегда должно было быть переговорным, договорным процессом между участниками *внешней* политики — в древнем мире, который изобразил Фукидид в *Диалоге мелиян и афинян*, в эпоху примата понятия государственного интереса, а также в отношениях между нациями в период современности. В наши дни право, вместо этого, включает в себе внутренний конститутивный институциональный процесс. Все сети соглашений и ассоциаций, каналы опосредования и разрешения конфликтов и координация различной динамики государств институционализированы в рамках Империи. Мы переживаем первую фазу преобразования глобального фронта в открытое пространство имперского суверенитета.

2.6 ИМПЕРСКИЙ СУВЕРЕНИТЕТ

Новые люди Империи — это те, кто верит в новые старты, новые главы, новые страницы; я с трудом продолжаю старую историю, надеясь, что прежде, чем она будет окончена, она раскроет мне, почему я считал ее стоящей усилий.

Дж. М. Кутзее

Существует сложившаяся в русле современности давняя традиция критики, посвященной разоблачению ее дуализмов. Точка зрения этой критической традиции, однако, родственна положению самой современности; она выражает взгляд и «изнутри» и «снаружи», на пороге или в точке кризиса. Что изменилось при переходе к имперскому миру, однако, так это то, что такое пограничное положение более не существует, и, таким образом, стратегия критики с позиций современности оказывается более неэффективной.

Рассмотрим, например, ответы, предлагаемые в истории европейской философии эпохи современности от Канта до Фуко на вопрос «Что такое Просвещение?». Кант дает классическую модернистскую формулировку мандата Просвещения: *Sapere aude* (имей мужество пользоваться собственным умом¹), преодолей нынешнее состояние «незрелости» и сделай разум законодателем в области общественных отношений¹. С исторической точки зрения ответ Фуко на самом деле не слишком отличается. Фуко имел дело не с деспотизмом Фридриха II, которого Кант мечтал направить к более разумным политическим начинаниям, но с политической системой французской Пятой республики, где обширное публичное пространство политического обмена считалось само собой разумеющимся. Тем не менее его ответ вновь утверждает необходимость удерживаться на границе, разделяющей то, что традиционно должно было бы рассматриваться как «внутреннее» субъективности и «внешнее» публичной сферы — хотя в теории Фуко деление проведено противоположным образом и «внутреннее» системы отделено от «внешнего» субъективности². Рациональность критики, верной традиции современности, ее центр притяжения сосредоточены на этой границе.

»

Фуко добавляет другую линию исследования, которая стремится вывести нас за пределы этих границ и характерной для современности концепции публичной сферы. «Что поставлено на карту... так это следующее:

как рост способностей [*capacities*] может идти независимо от интенсификации властных отношений?» И эта новая задача требует нового метода: «Мы должны избегать выбора: либо внешнее, либо внутреннее». Ответ Фуко, однако, достаточно традиционен: «надо быть *на* границах»³. В конце концов, в своей философской критике Просвещения Фуко возвращается к той же точке зрения Просвещения. Пребывая в колебаниях между внутренним и внешним, критика современности не преодолевает эти понятия и ограничения, но, скорее, в нерешительности стоит на границах между ними.

То же стремление занять пограничное, промежуточное положение, служащее отправной точкой для критики системы власти, — положение одновременно и «внутри» и «снаружи» — движет и критической традицией современной политической теории. Республиканство периода современности долгое время характеризовалось сочетанием реалистических оснований и утопических инициатив. Республиканские проекты всегда прочно укоренены в доминирующем историческом процессе, но направлены на преобразование сферы политики, которая, таким образом, создает внешнее, новое пространство освобождения. Тремя самыми яркими фигурами, представляющими эту критическую традицию современной политической теории, по нашему мнению, являются Макиавелли, Спиноза и Маркс. Их теория всегда опирается на реальные процессы конституирования суверенитета современности, пытается заставить его противоречия взорваться и открыть пространство для качественно иного общества. Внешнее строится изнутри.

Для Макиавелли конститутивная власть, которая должна заложить основы демократической политики, рождается из вызванной разрушением средневекового порядка необходимости регулировать хаотические изменения, присущие современности. Новый демократический принцип является утопической инициативой, которая прямо отвечает на вызовы реального исторического процесса и требования, предъявляемые кризисом эпохи. У Спинозы критика суверенитета современности также появляется из глубин исторического процесса. В противоположность исторической практике монархии и аристократии, которые способны оставаться лишь ограниченными формами, Спиноза определяет демократию как абсолютную форму правления, потому что при демократии правит все общество, массы как целое; фактически демократия является единственной формой правления, при которой может быть реализован абсолют. Для Маркса, наконец, каждая освободительная инициатива, от борьбы за повышение заработной платы до политических революций, предполагает независимость потребительной стоимости от мира меновой стоимости, в противоположность модальностям капиталистического развития, — но эта независимость существует лишь в рамках самого этого развития. Во всех этих случаях крити-

ка современности ведется с позиции исследователя, находящегося *внутри* исторической эволюции форм власти, *внутреннее, которое взыскует внешнее*. Даже в наиболее радикальных и крайних формах призыва к внешнему, внутреннее все еще подразумевается в качестве основы — хотя иногда негативной основы — проекта. У Макиавелли в процессах конституирования новой республики, в демократическом освобождении народных масс у Спинозы и в революционной отмене государства у Маркса внутреннее продолжает не выраженное четко, но тем не менее вполне ощутимое существование во внешнем, которое проектируется как утопия.

Мы не хотим здесь сказать ни то, что модернистская критика современности никогда не доходила до точки действительного разрыва, позволяющего изменить перспективу, ни что наш проект не может воспользоваться важнейшими идеями этой критики, следовавшей в русле современности. Макиавеллиевская свобода, спинозистское желание и Марксов живой труд все являются понятиями, содержащими действительную преобразующую силу, силу противостоять реальности и преодолевать данные условия существования. Сила этих критических концепций, которая распространяется много дальше их не всегда однозначного отношения к социальным структурам современности, состоит прежде всего в том, что они получают статус онтологических требований⁴. Мощь имманентной критики современности кроется именно там, где отвергается шантаж буржуазного реализма — иными словами, где утопической мысли, вырывающейся из-под гнета требования правдоподобия, всегда ограничивающего ее тем, что уже существует, дается новая созидательная, конститутивная форма.

Ограниченность этих видов критики стала ясна, когда мы поставили под вопрос их способность изменить не только цель, к которой мы стремимся, но также и отправную точку самой критики. Одного краткого примера должно быть достаточно для того, чтобы проиллюстрировать эту сложность. Пятая часть *Этики* Спинозы является, возможно, вершиной критики современности с ее собственных позиций. Спиноза принимает теоретический вызов, связанный с обретением полного знания истины и открытием пути освобождения тела и разума, позитивно, безусловно. Все другие метафизические концепции современности, особенно те трансцендентальные концепции, ведущими представителями которых были Декарт и Гоббс, не затрагивают сущности и являются мистификаторскими в отношении этого проекта освобождения. Основной целью Спинозы является онтологическое развитие единства истинного знания и телесного совершенства человека вместе с доведенным до конца процессом создания сингулярной и коллективной имманентности/Никогда ранее философская мысль не подрывала столь радикально традиционные дуализмы европейской метафизики, и никогда ранее, следовательно, не бросала она столь мощный вызов политической практике трансценденции и господства.

Любая онтология, которая не несет печати человеческого творчества, отвергается. Желание (*cupiditas*), управляющее течением бытия, жизнью природы и поступками людей, является осуществленной любовью (*amor*) — которая несет с собой и природное, и божественное начало. И все же в заключительной части *Этики* эта утопия имеет лишь абстрактное и туманное отношение к реальности. Временами, отправляясь от этой онтологической вершины, мысль Спинозы пытается противостоять реальности, но слабое намерение не получает развития, спотыкается и исчезает в мистической попытке примирить язык мира реального и божественного. В конце концов, у Спинозы, как и у других великих критиков современности с ее собственных позиций, поиск внешнего на определенном этапе останавливается и вместо него предлагаются просто фантомы мистицизма, негативные прозрения относительно природы абсолюта.

ВНЕШНЕГО БОЛЬШЕ НЕТ

Области, понимаемые как внутреннее и внешнее, и отношение между ними по-разному определяются в различных дискурсах современности⁵. Однако само пространственное разделение внутреннего и внешнего представляется нам общей и основополагающей чертой мышления эпохи современности. В переходе от современности к постсовременности и от империализма к Империи различие между внутренним и внешним постепенно уменьшается.

Эта трансформация особенно очевидна, если рассматривать ее в понятиях концепции суверенитета. В эпоху современности суверенитет в целом понимался в категориях (реальной или воображаемой) территории и ее отношения к внешнему пространству. Например, представители социальной теории раннего этапа современности, от Гоббса до Руссо, понимали гражданский порядок как ограниченное внутреннее пространство, которое противостоит внешнему порядку природы. Выделенное границами пространство гражданского порядка, его место, определяется его отделением от внешних пространств природы. Подобным же образом теоретики современной психологии понимали побуждения, страсти, инстинкты и бессознательное метафорически в пространственных терминах, как внешнее внутри человеческого разума, продолжение природы глубоко внутри нас. Здесь суверенитет Самости покоится на диалектическом отношении между природным порядком желаний и гражданским порядком разума или сознания. Наконец, различные дискурсы современной антропологии, рассматривающие первобытные общества, выступают как внешнее, определяющее пределы цивилизованного мира. Процесс модернизации во всех этих различных контекстах является интернализацией внешнего, то есть цивилизацией природы.

В имперском мире эта диалектика суверенитета как взаимодействия между порядком гражданским и природным, порядком природы и цивилизации исчерпала себя. В этом смысле современный мир точно является постмодернистским. «Постмодернизм, — говорит нам Фредерик Джеймисон, — есть то, что вы получаете, когда модернизационный процесс завершен и природа ушла навсегда»⁶. Конечно, в нашем мире все еще есть леса, и сверчки, и грозы, и мы продолжаем понимать, что нашими душами движут природные инстинкты и страсти; но мы не имеем природы в том смысле, что эти силы и феномены более не понимаются как внешнее, то есть они не рассматриваются как изначально данные и независимые от искусственности порядка цивилизации. В постсовременном мире все феномены и силы являются искусственными или, можно сказать, частью истории. Присущая современности диалектика внутреннего и внешнего была заменена игрой количественных различий, игрой гибридности и искусственности.

Значимость внешнего также уменьшилась, если судить с точки зрения несколько иной, также присущей современности диалектики, которая определяла отношение между публичным и приватным в либеральной политической теории. В постсовременном мире существует тенденция к исчезновению публичных пространств, характерных для современного общества и составляющих поле действия либеральной политики. Согласно либеральной традиции, индивид эпохи современности, находясь в своем доме, в своем приватном пространстве, рассматривает общество в качестве внешнего мира. Внешнее является надлежащим пространством политики, где индивид благодаря присутствию других проявляет себя в своих поступках и где он ищет признания⁷. В процессе постмодернизации, однако, подобные публичные пространства во все большей степени приватизируются. Центром городского пейзажа становятся не открытые площади и пространства, предназначенные для встреч множества прохожих, как это было в период современности, а закрытые пространства аллей, скоростных автотрасс и закрытых сообществ. Архитектура и городское планирование мегаполисов, таких как Лос-Анджелес и Сан-Паулу, стала ориентироваться на принципы ограничения доступа публики и взаимодействия людей с тем, чтобы избежать случайных встреч представителей различных слоев населения, создавая с этой целью ряд защищенных и изолированных пространств*. Или же посмотрите, как пригород Парижа стал рядом аморфных и неопределенных пространств, которые способствуют изоляции в большей мере, чем любой интеракции или коммуникации. Публичное пространство было приватизировано до такой степени, что более не имеет смысла понимать социальную организацию в понятиях диалектики взаимодействия между приватными и публичными пространствами, между внутренним и внешним. Место, где во времена современности осуществ-

влялась либеральная политика, исчезло, и поэтому с данной точки зрения наше постсовременное и имперское общество характеризуется дефицитом политического. В результате локальность, место развертывания политики было де-актуализировано.

В этом отношении анализ Ги Дебором общества спектакля, ныне, спустя более чем тридцать лет после публикации его работы, кажется еще более адекватным и настоящим⁹. В имперском обществе спектакль является виртуальной локальностью или, точнее, *а-локальностью* политики. Спектакль является одновременно унифицированным и расплывчатым, так что невозможно отличить внутреннее от внешнего — природное от социального, приватное от публичного. Либеральное понимание общности как внешнего пространства, где мы действуем в присутствии других, было и универсализировано (поскольку мы теперь всегда находимся под пристальным взглядом других, отслеживаемые камерами безопасности), и сублимировано или де-актуализировано в виртуальных пространствах спектакля. Конец внешнего является концом либеральной политики.

Наконец, нет более внешнего также и в военном смысле. Когда Фрэнсис Фукуяма утверждает, что нынешний исторический переход определяется концом истории, он имеет в виду, что эра крупных конфликтов подошла к концу: суверен более не будет противостоять своим Другим и встречаться со своим внешним, но, скорее, станет постепенно расширять свои границы для того, чтобы охватить весь мир как свое законное владение¹⁰. История империалистических, межимпериалистических и антиимпериалистических войн окончилась. Конец этой истории возвестил царство мира. Или, в действительности, мы вошли в эру ограниченных и внутренних конфликтов. Каждая имперская война является гражданской войной, полицейской акцией — от Лос-Анджелеса и Гранады до Могадишо и Сараево. Фактически разделение функций между силовыми структурами, предназначенными для решения внешнеполитических и внутривнутриполитических задач (между армией и полицией, ЦРУ и ФБР), становится все более туманным и неопределенным.

В используемых нами понятиях конец истории, на который указывает Фукуяма, является концом кризиса, составляющего средоточие современности, внутренне взаимосвязанного и определяющего конфликта, бывшего основанием и смыслом существования суверенитета в эпоху современности. История окончилась только в той мере, в какой она понимается в гегельянских категориях — как движение диалектических противоречий, игра абсолютных отрицаний и предпосылок. Бинарности, определявшие конфликт во времена современности, стали расплывчатыми. Другой, способный обозначить границы суверенной Самости периода современности, утратил целостность и четкость, и более не существует внешнего, призванного задавать территориальные пределы распространения суверените-

та. Внешнее является тем, что придавало кризису его внутреннюю взаимосвязанность. В наши дни американским идеологам все сложнее назвать одного, главного врага; скорее, кажется, что многочисленные и неуловимые враги находятся повсюду¹¹. Конец кризиса современности дал толчок распространению не имеющих широкого охвата и определенной природы кризисов, или, как нам представляется более предпочтительным говорить, всеобщему кризису.

Здесь полезно вспомнить (и мы обратимся к этому положению более детально в Разделе 3-й), что капиталистический рынок является единым механизмом, который всегда работал вопреки любому разделению на внутреннее и внешнее. Работе этого механизма препятствуют границы и протекционистские барьеры; и, напротив, ей способствует неуклонное расширение сферы деятельности. Прибыль может быть получена лишь посредством контакта, соединения, взаимобмена и торговли. Создание мирового рынка было бы конечным моментом этой тенденции. В идеале у мирового рынка не существует внешнего: весь мир является его владением¹². Поэтому мы можем использовать мировой рынок как модель для понимания природы имперского суверенитета. Возможно, так же, как Фуко понимал паноптикум^{x3dv} в качестве диаграммы власти в эпоху современности, мировой рынок может адекватно служить — хотя *он* не является структурой, а, в действительности, анти-структурой — диаграммой имперской власти¹³.

Испещренное границами пространство современности создавало *локальности*, которые были вовлечены в постоянную диалектическую игру с внешним пространством и основаны на ней. Пространство имперского суверенитета, напротив, выровнено, однородно. Оно может представляться свободным от бинарных делений или чересполосицы границ, характерных для периода современности, но в действительности его пересекают столь многие линии разлома, что оно лишь кажется непрерывным и единообразным. В этом смысле четко определенный кризис современности уступает путь всеобщему кризису в имперском мире. На этом выровненном пространстве Империи нет *локальности* власти — она везде и нигде. Империя является *ене-топией* или, в действительности, *а-локальностью*.

ИМПЕРСКИЙ РАСИЗМ

Переход от суверенитета, присущего современности, к имперскому находит одно из своих проявлений в изменении форм расизма в наших обществах. Прежде всего мы должны отметить, что стало гораздо сложнее выявлять основные признаки расизма. Фактически политики, средства массовой информации и даже историки постоянно говорят нам, что в обществах периода современности расизм неуклонно отступает — начиная от отмены рабства до борьбы за деколонизацию и движений за граж-

данские права. Определенные специфические виды традиционного расизма, безусловно, пришли в упадок, и существует искушение рассматривать отмену законов апартеида в Южной Африке как символ окончания всей эпохи расовой сегрегации. С нашей точки зрения, однако, очевидно, что расизм не угас, но, на самом деле, прогрессировал в сегодняшнем мире, и в смысле масштабов распространения, и в смысле интенсивности. Лишь потому кажется, будто расизм пошел на убыль, что его формы и стратегии изменились. Если мы принимаем манихейские разделения и жесткую практику исключения (в Южной Африке, в колониальном городе, на юго-востоке Соединенных Штатов или в Палестине) как парадигму расистских практик *современности*, то теперь мы должны спросить, что представляет собой *постсовременная* форма расизма и какова ее стратегия в нынешнем имперском обществе.

Многие аналитики описывают этот переход как сдвиг внутри господствующей теоретической формы расизма от расистской теории, черпающей свои доводы из биологии, к той, что обращается за аргументацией к культуре. Господствующая расистская теория периода современности и сопутствующая практика сегрегации концентрируют внимание на наличии существенных биологических различий между расами. Кровь и гены стоят за различиями в цвете кожи как подлинная сущность расового различия. Угнетенные народы, таким образом, понимаются (по крайней мере, косвенно) как создания, отличные от человека, как существа другого порядка. Эти расистские теории времен современности, обосновываемые данными биологии, подразумевают существование онтологического различия — необходимой, вечной и неизменной трещины в порядке бытия — или стремятся к нему. Со своей стороны, в ответ на эту концепцию антирасизм периода современности обращает критику против идеи биологической природы расовых различий и настаивает на том, что различия между расами определяются социальными и культурными факторами. Представители антирасистской теории эпохи современности действуют на основе веры в то, что социальный конструктивизм освободит нас от смирительной рубашки биологического детерминизма: если наши различия социально и культурно детерминированы, тогда все люди в принципе равны, принадлежат к единому онтологическому порядку, к одной природе.

С переходом к Империи, однако, биологические различия были заменены социологическими и культурными символами, ставшими ключевыми средствами выражения расовой ненависти и страха. В этом отношении имперская расистская теория атакует антирасизм эпохи современности с тыла и, в действительности, принимает его аргументы и ставит их себе на службу. Имперская расистская теория соглашается с тем, что расы не являются поддающимися обособлению биологическими единицами и что при-

роду нельзя делить на различные человеческие расы. Она также соглашается с тем, что поведение индивидов и их возможности или способности не предопределены кровью или генами, но диктуются принадлежностью к различным исторически сложившимся культурам". Различия, таким образом, не являются твердо установленными и неизменными, но выступают как случайные результаты социальной истории. В действительности, имперская расистская теория и антирасистская теория периода современности говорят в значительной мере одно и то же, и в этом отношении трудно обсуждать их по отдельности. Фактически именно потому, что этот релятивистский и культурологический аргумент понимается как однозначно антирасистский, может показаться, что доминирующая идеология всего нашего общества направлена против расизма, а имперская расистская теория может показаться совершенно не расистской.

Нам, однако, следует более пристально взглянуть, как действует имперская расистская теория. Этьенн Балибар называет новый расизм дифференциалистским расизмом, расизмом без расы или, точнее, расизмом, который не покоится на биологической концепции расы. Хотя от биологии и отказываются как от источника аргументов и обоснований, говорит он, культуру заставляют взять на себя роль, которую играла биология¹⁵. Мы привыкли думать, что природа и биология являются постоянными и неизменными, а культура пластична и подвижна: культуры могут исторически изменяться и смешиваться, формируя бесконечное множество гибридных форм. С точки зрения имперской расистской теории, однако, существуют жесткие ограничения в гибкости и совместимости культур. Различия между культурами и традициями являются, в конечном счете, непреодолимыми. Согласно имперской теории, тщетно пытаться и даже опасно позволять культурам смешиваться или настаивать на том, что смешение все же происходит: сербы и хорваты, хути и тутси, афро-американцы и американцы корейского происхождения должны держаться раздельно.

Культурология не менее прочно обосновывает сущностный характер социальных различий, чем биология, или, по крайней мере, создает такую же твердую теоретическую почву для социального разделения и сегрегации. Тем не менее эта теоретическая точка зрения плюралистична: все культурные идентичности в принципе равны. Этот плюрализм приемлет все различия, касающиеся того, кем мы являемся, до тех пор, пока мы соглашались действовать на основе этих различий идентичности, до тех пор, пока мы играем по правилам нашей расы. Расовые различия, тем самым, являются случайными в принципе, но совершенно необходимыми на практике как индикаторы социального разделения. Теоретическая подмена расы или биологии культурой, таким образом, парадоксальным образом трансформируется в теорию сохранения расы¹⁶. Эта подвижка в расистской теории

показывает нам, как имперская теория способна перенимать то, что традиционно считалось антирасистской позицией и тем не менее ныне служит обоснованием твердого принципа социального разделения.

Здесь следует отметить, что сама по себе имперская расистская теория является теорией сегрегации, а не теорией иерархии. В то время как расистская теория периода современности устанавливает иерархию между расами в качестве важнейшего условия, делающего сегрегацию необходимой, имперская теория в принципе не может ничего сказать о превосходстве или неполноценности различных рас или этнических групп. Она рассматривает иерархию как сложившуюся чисто случайно, как практический вопрос. Иными словами, расовая иерархия видится не как причина, но как результат социальных обстоятельств. Например, афро-американские студенты в определенных областях знания всегда показывают более низкие результаты в тестах по выявлению способностей, нежели американские студенты азиатского происхождения. Имперская теория понимает это не как нечто, что можно приписать какой бы то ни было расовой неполноценности, но скорее как следствие культурных различий: культура американцев азиатского происхождения придает большее значение образованию, поощряет обучение в группах и так далее. Иерархия различных рас определяется лишь апостериори, как результат функционирования норм этих культур — то есть на основе их действия. В таком случае, согласно имперской теории, расовое превосходство и подчинение не являются теоретическим вопросом, но появляются благодаря свободной конкуренции, в ходе своего рода рыночного отбора культур.

Расистская практика, конечно же, не обязательно соответствует самосознанию расистской теории, которое мы и рассматривали до сих пор. Однако из того, что мы видели, становится ясным, что имперская расистская практика лишилась главной опоры: у нее более нет теории расового превосходства, которая рассматривалась как основание присущей современности практики исключения по расовым мотивам. Однако, согласно Жилю Делезу и Феликсу Гваттари, «европейский расизм... никогда не действовал путем исключения или посредством обозначения кого-либо в качестве Другого... Расизм действует посредством определения степеней отклонения от облика Белого Мужчины, стремясь обобщить признаки, не удовлетворяющие искомым критериям, как достояние все более экзотических и отсталых социальных групп... С точки зрения расизма, внешнего нет, во внешнем пространстве не существует людей»¹⁷. Делез и Гваттари предлагают нам представить расистскую практику не в понятиях бинарных делений и исключения, но как стратегию дифференцированного включения. Ни одна идентичность не обозначена как Другой, никто не исключен из единого пространства, внешнего нет. Также как имперская расистская теория не может принять в качестве своей отправной точки

какие-либо существенные различия между человеческими расами, имперская расистская практика не может начать с изгнания расового Другого. Принцип превосходства белых функционирует, скорее, посредством во-первых, признания и принятия инаковости и, затем, ранжирования различий согласно степени удаленности их носителей от образца белого мужчины. Невозможно ничего поделать с ненавистью и страхом перед странным, неизвестным Другим. Эта ненависть родилась из факта соседства, и ее накал соответствует мере несходства соседа.

Сказанное не означает, что в наших обществах нет практики исключения по расовым мотивам; конечно же, их пересекают множество линий расовых разграничений, проходящих по каждому городскому пейзажу и по всему земному шару. Мы здесь хотели подчеркнуть, что исключение по расовым мотивам появляется в основном как результат дифференцированного включения. Иными словами, для нас сегодня было бы ошибкой и, возможно, заблуждением ориентироваться на прошлое и принимать апартеид или законы Джима Кроу¹ в качестве парадигмы расовой иерархии. Различие не прописано в законе, и навязывание отличия не доходит до предела Инаковости. Империя не мыслит различия в абсолютных понятиях; она никогда не определяет расовые различия как различия природы, но всегда как различия степени, никогда как необходимые, но всегда как случайные. Подчинение осуществляется в режиме повседневной практики, она более подвижна и гибка, но создает расовые иерархии, которые тем не менее являются стабильными и жестокими.

Форма и стратегии имперского расизма позволяют полнее осветить контраст между характерным для периода современности и имперским суверенитетом. Колониальный расизм, расизм суверенитета современности прежде всего доводит различие до крайности и затем восстанавливает Другого как негативное основание Самости (см. Раздел 2.3). В период современности это действие служит глубинным основанием процесса создания народа. Народ определяется не просто в понятиях общего прошлого и общих стремлений или потенциала, но прежде всего в диалектическом отношении к своему Другому, своему внешнему. Народ (в диаспоре или нет) всегда определяется в понятиях *локальности* (будь она виртуальной или реальной). Имперский порядок, напротив, не имеет ничего общего с этой диалектикой. Имперский расизм, или дифференциальный расизм, включает других в свой порядок и затем управляет этими различиями посредством системы контроля. Твердо установленные и основанные на биологических признаках представления о различных народах растворяются поэтому в текучем и аморфном множестве, которое, конечно же, пронизано линиями конфликта и антагонизма, но не имеет никаких четких и неизменных линий разграничения. Поверхность имперского общества постоянно перемещается так, что дестабилизируется любое представление о ло-

кальности. Суть расизма времен современности выявлялась в феномене границы, в глобальной противопоставленности внутреннего и внешнего. Как говорил Дюбуа около ста лет назад, проблема XX века является проблемой «цветения линии», линии разделения людей с разным цветом кожи. Имперский расизм, напротив, устремлен вперед, возможно в XXI столетие, полагаясь на игру различий и на управление микро-конфликтами внутри своей постоянно расширяющейся сферы владения.

О ПОРОЖДЕНИИ И РАЗЛОЖЕНИИ СУБЪЕКТИВНОСТИ

Сужение различия между внутренним и внешним имело важные последствия для социального производства субъективности. Один из центральных и наиболее широко принятых тезисов институционального анализа, выдвинутых социальной теорией современности, состоит в том, что субъективность не является изначально данной, но, по крайней мере до определенного уровня, сформирована в поле действия социальных сил. В этом смысле социальная теория эпохи современности постепенно выхолостила всякое понятие о досоциальной субъективности и вместо этого связала производство субъекта с функционированием основных социальных институтов, таких как тюрьма, семья, фабрика и школа.

Два аспекта этого производственного процесса должны быть освещены. Во-первых, субъективность является постоянным социальным процессом порождения. Когда начальник приветствует вас в цехе или директор средней школы приветствует вас в школьном коридоре, создается субъективность. Материальные практики, установленные для субъекта в рамках института (будь то преклонение колен для молитвы или перемена сотен пеленок), являются процессами производства субъективности. Тогда, вследствие своих собственных действий, субъект активизируется, порождается. Во-вторых, институты обеспечивают прежде всего обособленную, четко выделенную *локальность* (дом, церковь, классная комната, цех), где осуществляется производство субъективности. Различные институты современного общества должны рассматриваться как архипелаг фабрик субъективности. На протяжении своей жизни индивид последовательно проходит эти различные институты (перехода из школы в казарму и из казармы на фабрику) и формируется ими. Отношение между внутренним и внешним является здесь важнейшим. Каждый институт имеет собственные правила и логику субъективации: «школа говорит нам: „Вы теперь не дома“, армия говорит нам: „Вы теперь не в школе"»¹⁸. Тем не менее в стенах каждого института индивид, по крайней мере частично, защищен от воздействия других институтов; в монастыре человек обычно защищен от влияния семьи, дома человек обычно находится вне досягаемости фабричной дисциплины. Эти четко определенные границы *локальности* институ-

тов отражаются в постоянной и твердо установленной *форме* произведенных субъективностей.

В процессе перехода к имперскому обществу первый из указанных аспектов характерной для эпохи современности ситуации сохраняется, то есть субъективности до сих пор производятся на социальной фабрике. Фактически социальные институты все более интенсивно производят субъективность. Мы могли бы сказать, что постмодернизм является тем, что получается, когда модернистская теория социального конструктивизма доходит до крайности и всякая субъективность признается искусственной. Как это возможно, однако, если сегодня, как говорят почти все, вышеупомянутые институты повсюду находятся в кризисе и постоянно разрушаются? Этот общий кризис не обязательно означает, что институты более не производят субъективность. Скорее, что изменилось, так это второй аспект: то есть место производства субъективности более не определяется так, как прежде. Иными словами, кризис означает, что сегодня пределы, обычно выделявшие ограниченное пространство институтов, разрушились, так что логика, когда-то действовавшая в основном в институциональных стенах, сейчас распространяется по всей социальной территории. Внутреннее и внешнее становятся неразличимы.

Всеобщий кризис институтов выглядит совершенно по-разному в различных случаях. Например, все меньше американцев живет в нуклеарных семьях, в то время как все большая часть населения США попадает в тюрьму. Оба института, однако, и нуклеарная семья, и тюрьма, равно пребывают в кризисе в том смысле, что пространство, где они эффективны, становится все более неопределенным. Не следует думать, что кризис нуклеарной семьи повлек за собой закат идей патриархата. Напротив, дискурсы и практика «семейных ценностей», похоже, проникают во все сферы социального пространства. Старый феминистский лозунг «личное есть политическое» был обращен в свою противоположность так, что границы между публичным и приватным оказались прорваны, высвобождая замкнутые области контроля во всей «внутренней публичной сфере». Подобным же образом кризис тюрьмы означает, что логика и техника карцера все более проникают в иные общественные сферы. Производство субъективности в имперском обществе стремится избежать привязки к какой-либо локальности и сопряженных с этим ограничений. Человек всегда все еще находится в семье, всегда все еще в школе, всегда все еще в тюрьме и так далее. Во всеобщем развале, следовательно, функционирование институтов становится одновременно и более интенсивным, и более экстенсивным. Институты работают, даже если они распадаются, — и, возможно, они работают тем лучше, чем больше распадаются. Неопределенность *локальности* производства соотносится с неопределенностью *форм* произведенных субъективностей. Имперские социальные институты предстают,

таким образом, как изменчивый процесс порождения и разложения субъективности.

Этот переход не ограничивается ведущими странами и регионами, но стремится распространиться на различные широты по всему миру. Колониальное управление всегда восхвалялось за то, что под его эгидой в колониях устанавливались социальные и политические институты, которые будут составлять хребет нового гражданского общества. Если в процессе модернизации наиболее могущественные страны экспортируют в зависимые государства институциональные формы, в нынешнем процессе постмодернизации *экспортируется общий кризис институтов*. Институциональная структура Империи подобна программному обеспечению компьютера, несущему в себе вирус, так что она постоянно изменяет и разлагает окружающие ее институциональные формы. Имперское общество контроля стремится оказаться на повестке дня повсюду.

I! " "

ТРОЙСТВЕННЫЙ ИМПЕРАТИВ ИМПЕРИИ

I,
V

Общий механизм имперского господства в действительности составляют три различные движущие силы, три момента: один — включающий, другой — дифференцирующий и третий — момент управления. Первый момент представляет великодушный, либеральный облик Империи. Все желанны в пределах ее границ безотносительно к расе, вероисповеданию, цвету кожи, полу, сексуальной ориентации и так далее. В своем включающем аспекте Империя слепа к различиям; она абсолютно нейтральна к ним. Она принимает всех, отодвигая в сторону различия, которые являются устойчивыми или не поддаются контролю и, тем самым, могут дать толчок социальному конфликту²⁰. Пренебрежение различиями требует от нас видения различий как несущественных или относительных и предполагает не то, что они не существуют, но скорее, что мы о них не знаем. Покров незнания создает условия для признания, распространяющегося на всех. Когда Империя слепа к этим различиям и когда она заставляет свои составляющие элементы не обращать на них внимания, на всем имперском пространстве может сложиться всеобъемлющий консенсус. Пренебрежение различиями означает в действительности выхолащивание потенциала различных составляющих Империю субъективностей. Появляющееся в результате этого публичное пространство нейтралитета власти делает возможным установление и легитимацию универсального понимания права, формирующего ядро Империи. Закон нейтральности, обеспечивающий признание и принятие всех различий, является всеобщим основанием в том смысле, что он равно применяется ко всем подвластным субъектам, существующим и могущим существовать под эгидой имперского правления. В этом первом моменте, следовательно, Империя является маши-

ной универсальной интеграции, открытым ртом, всегда готовым к принятию пищи, приглашающим всех мирно прийти в его владения. (Пришлите мне ваших бедняков, ваших голодных, ваших угнетенных...") Империя не укрепляет свои границы для того, чтобы оттолкнуть других, но, скорее, втягивает их в свой миролюбивый порядок подобно мощному водовороту. Скрывая линии разделения и различия или пренебрегая ими, Империя являет собой разновидность однородного пространства, по которому без значительного сопротивления или конфликта скользят субъективности.

Второй, дифференцирующий, момент имперского контроля предполагает утверждение различий, принятых в имперской реальности. Если с юридической точки зрения различия должны быть отброшены, с точки зрения культуры они, напротив, приветствуются. Так как различия рассматриваются теперь как принадлежащие области культуры и случайные, а не как биологические и сущностные, считается, что они не разрушают важнейшие скрепляющие звенья общности или всеохватывающий консенсус, которые характеризуют включающий, инклюзивный механизм Империи. Они являются неконфликтными различиями, видом различий, которым мы можем пренебречь, если это необходимо. Например, со времени окончания «холодной войны» в социалистических и бывших социалистических странах активно (вос)создавались этнические идентичности при твердой поддержке Соединенных Штатов, ООН и других глобальных организаций. Языки малых этнических групп, традиционные топонимы, искусства, промыслы и так далее приветствовались как важные компоненты перехода от социализма к капитализму²¹. Эти различия рассматриваются в большей мере как «культурные», нежели политические, причем предполагалось, что они не приведут к неконтролируемым конфликтам, но будут действовать, скорее, как сила мирной региональной идентификации. Подобным же образом, многие официальные поборники мультикультурализма в Соединенных Штатах прославляют традиционные этнические и культурные различия в рамках универсального включения. В общем, Империя не создает различий. Она берет то, что ей дают, и работает с этим.

За дифференцирующим моментом имперского контроля должны последовать управление и иерархическое структурирование этих различий в общую экономику господства. В то время как колониальные державы пытались закрепить чистые, обособленные идентичности, Империя расцветает на потоках движения и смешения. Колониальный аппарат создавал своего рода шаблон, по которому выковывались фиксированные, отчетливые формы, но имперское общество контроля функционирует посредством изменения, «подобно самодформирующейся форме, которая постоянно меняется, от одного мгновения к другому, или подобно сетчатому фильтру, чьи ячейки изменяются от одной точки к другой»²². Колониализм составляет простое уравнение- с единственно возможным решением; Империя

имеет дело со множеством сложных переменных, которые постоянно меняются и позволяют принять самые различные, всегда неокончательные, но тем не менее эффективные решения.

Следовательно, в определенном смысле колониализм может рассматриваться как более идеологическое, а Империя как более прагматическое явление. Возьмем в качестве примера имперской стратегии практику на заводах в Новой Англии и аппалачских угольных шахтах начала двадцатого столетия. Заводы и шахты зависели от труда недавно прибывших из различных европейских стран иммигрантов, многие из которых принесли с собой традиции упорной борьбы рабочих за свои права. Однако боссы не испугались соединения в единое целое этой потенциально взрывоопасной смеси. Фактически они обнаружили, что тщательный подбор пропорции рабочих различного национального происхождения в каждом цехе и в каждой шахте служит эффективным рецептом управления. Языковые, культурные и этнические различия на каждом рабочем месте были стабилизирующим фактором, так как они могли быть использованы как оружие для победы над организацией рабочих. В интересах боссов было, чтобы плавильный котел не растворял идентичности и чтобы каждая этническая группа продолжала жить как самостоятельное сообщество, поддерживая свои различия.

Весьма схожая стратегия прослеживается в более близкой нам по времени практике управления трудом на банановых плантациях Центральной Америки". Многочисленные этнические разделения между рабочими действуют здесь как элемент контроля в трудовых процессах. Транснациональная корпорация использует различные методы и уровни эксплуатации и репрессий в отношении каждой этнической группы рабочих — по-разному для людей европейского и африканского происхождения и для различных индейских групп. Антагонизмы и разделение между рабочими по линиям этничности и идентификации, как оказалось, увеличивают прибыль и облегчают контроль. Полная культурная ассимиляция (в противоположность юридической интеграции), несомненно, не является приоритетом имперской стратегии. Вновь заявившие о себе в конце XX века не только в Европе, но также в Африке, Азии и на американских континентах этнические и национальные различия предоставили в распоряжение Империи даже еще более сложное уравнение, содержащее множество переменных, которые находятся в состоянии постоянного изменения. То, что это уравнение не имеет единственного решения, в действительности не является проблемой — напротив. Случайность, мобильность и гибкость являются действительной силой Империи. Имперское «решение» будет состоять не в отрицании или уменьшении этих различий, но скорее в их подтверждении и превращении в эффективный механизм управления.

«Разделяй и властвуй», тем самым, не совсем корректная формулировка имперской стратегии. Чаще Империя не создает разделение, а скорее признает существующие или потенциальные различия, приветствует их и управляет ими в рамках общей экономики господства. Тройственный императив Империи суть инкорпорируй, дифференцируй, управляй.

ОТ КРИЗИСА К РАЗЛОЖЕНИЮ

В начале Части 2 мы тщательно разработали понимание суверенитета эпохи современности как кризиса: кризиса, проявляющегося в постоянном конфликте между, с одной стороны, имманентными силами желания и кооперации масс и, с другой стороны, трансцендентной властью, стремящейся обуздать эти силы и навязать им порядок. Теперь мы можем видеть, что имперский суверенитет, наоборот, организуется не вокруг одного основного конфликта, но, скорее, посредством гибкой сети микроконфликтов. Противоречия имперского общества являются неуловимыми, множась и нелокализуемыми: противоречия везде. В таком случае концепцией, определяющей имперский суверенитет, может быть всеобъемлющий кризис или, как нам кажется предпочтительнее говорить, разложение. В классической литературе по Империи, от Полибия до Монтескье и Гиббона, общепризнанным считается, что Империя с момента своего зарождения подвержена упадку и разложению.

Эта терминология легко может быть неверно понята. Важно прояснить, что мы никоим образом не подразумеваем под нашим определением имперского суверенитета как разложения моральное обвинение. В своем в период современности и нынешнем истолковании разложение стало, конечно, понятием, не отвечающим нашим целям. Теперь его обычно относят к извращениям, к тем, кто отпал от морали, добра/чистоты. Мы скорее подразумеваем, что понятие относится к более общим процессам распада или мутации без каких-либо моральных обертонов, наложенных на прежнее, принятое в далеком прошлом значение, которое было в значительной мере утеряно. Аристотель, например, понимает разложение^{ТМТМ} как становление тел, которое суть процесс, дополняющий порождение²⁴. Значит, мы можем думать о разложении как о де-генерации — обратном процессе порождения и соединения, моменте метаморфозы, который освобождает пространства для потенциального изменения. Мы должны забыть все общепринятые образы, приходящие на ум, когда мы ссылаемся на имперский упадок, разложение и дегенерацию. Подобный морализм здесь полностью неуместен. Более важен строгий, не допускающий толкований Довод о форме, иными словами о том, что Империя характеризуется текучестью форм — приливы и отливы формирования и деформирования, порождения и дегенерации.

Утверждение, что имперский суверенитет определяется разложением, означает, с одной стороны, что Империя является неоднородной или смешанной и, с другой, что имперское правление функционирует за счет разрушения. (Здесь латинская этимология определена: *cum-rumpere*, разрушать.) Имперское общество всегда и везде разрушается, но это не означает, что оно с необходимостью движется навстречу гибели. Также, как кризис современности по нашей характеристике не указывает на неминуемый или необходимый коллапс, также и разложение Империи не указывает на какую-либо телеологию или какой-либо близкий конец. Иными словами, кризис суверенитета эпохи современности не был временным или исключительным (что можно приписать обвалу рынка в 1929 г. как кризису), но скорее нормой современности. Подобным же образом, разложение не является aberrацией имперского суверенитета, но самой его сущностью и *modus operandi*. Имперская экономика, например, действует именно посредством разложения и иначе действовать не может. Безусловно, существует традиция, рассматривающая разложение как трагический изъян Империи, случайность, без которого бы Империя восторжествовала: вспомните о Шекспире и Гиббоне как о двух совершенно различных сторонниках такой точки зрения. Мы считаем разложение скорее не случайностью, но необходимостью. Или, точнее, Империя требует, чтобы все отношения были случайными. Имперская власть основана на разрыве всякого ясно установленного онтологического отношения. Разложение есть просто знак отсутствия любой онтологии. В онтологическом вакууме разложение становится необходимым, объективным. Имперский суверенитет расцветает на преумножении противоречий, которые порождаются разложением; он стабилизируется своей нестабильностью, своими примесями и смешением; он успокаивается паникой и беспокойством, которые он постоянно порождает. Разложение является именем вечного процесса перемен и метаморфоз, антифундаментальным фундаментом, деонтологическим способом бытия.

Мы, таким образом, приходим к серии разграничений, которые концептуально отмечают переход от суверенитета эпохи современности к суверенитету имперскому: от народа к массам, от диалектического противопоставления к управлению смешанными образованиями, от четко выделенной локальности современного суверенитета к а-локальности Империи, от кризиса к разложению.

ОТКАЗ

Бартлби предпочел бы не делать этого. Тайной классической истории Германа Мелвилла является абсолютность отказа. Когда его босс просит его исполнять свои обязанности, Бартлби спокойно повторяет вновь и вновь:

«Ябы не предпочел». Персонаж Мелвилла служит воплощением долгой традиции отказа от работы. Любой рабочий в любом случае, конечно же, хочет отвергнуть власть босса, но Бартли доводит это до крайности. Он не отказывается от той или этой задачи, как и не дает объяснения своего отказа — он лишь пассивно и абсолютно уклоняется. Поведение Бартли, конечно, обезоруживает, отчасти потому, что он столь спокоен и безмятежен, но в большей мере, поскольку его отказ столь неопределен, что становится абсолютным. Он просто предпочитает не делать.

Учитывая большую склонность Мелвилла к метафизике, неудивительно, что образ Бартли требует онтологической интерпретации¹. Его отказ столь абсолютен, что Бартли предстает полностью пустым, человеком без качеств или, как сказали бы философы Возрождения, homo tantum, просто человеком и ничем более. Бартли в своей чистейшей пассивности и своем отрицании любых деталей представляет нам обобщенный образ существа, существа как такового, существа и ничего более. И по ходу истории образ Бартли теряет все свои черты настолько — столь приближаясь к человечеству как таковому, жизни как таковой, бытию как таковому — что в конечном счете увядает, испаряется в недрах печально знаменитой Манхэттенской тюрьмы Томбс.

Михаэль К, главный персонаж прекрасного романа Дж. М. Кутзее Жизнь и время Михаэля К, также является фигурой абсолютного отказа. Но если Бартли неподвижен, почти окаменел в своей чистой пассивности, К всегда на ногах, всегда движется. Михаэль К, садовник, простой человек, настолько простой, что он кажется не от мира сего. В выдуманной стране, разделенной гражданской войной, его постоянно останавливают лагеря, границы и контрольные пункты, возведенные властью, но он старается просто отрицать их, продолжать движение. Михаэль К продолжает двигаться не во имя вечного движения. Препяды не просто останавливают движение, они, кажется, останавливают жизнь, поэтому он полностью их отрицает, чтобы поддерживать движение жизни. Чего он действительно хочет, так это выращивать тыквы и ухаживать за их вьющимися стеблями. Отрицание К власти столь же абсолютно, как и у Бартли, и сама эта абсолютность и простота также выводят его на уровень онтологически чистого образа. К также приближается к уровню универсальности: «человеческая душа вне классификации»², будучи просто homo tantum.

Эти простые люди и их абсолютные отказы не могут не вызывать к нашей ненависти к власти. Отказ от работы и отрицание власти, или, в действительности, отказ от добровольного крепостничества, есть начало освободительной политики. Давным-давно Этьенн де Ла Бозси^{layIII} проповедовал именно подобную политику отказа: «Решитесь не служить ему более — и вот вы уже свободны. Я не требую от вас, чтобы вы бились с ним, нападали на него, перестаньте только поддерживать его, и вы уви-

дите, как он, подобно огромному колоссу, из-под которого вынули основание, рухнет под собственной тяжестью и разобьется вдребезги». Ла Бозси осознал политическую силу отказа, силу самоудаления из отношений господства и возможность, благодаря нашему исходу, ниспровержения суверенной власти, управляющей нами. Бартлби и Михаэль К продолжают сформулированную Ла Бозси политику отказа от добровольного рабства, доводя ее до абсолюта.*

*Этот отказ, несомненно, является началом освободительной политики, но это лишь начало. Отказ сам по себе пуст. Бартлби и Михаэль К могут быть прекрасными душами, но их существо в своей абсолютной чистоте висит на краю бездны. По дороге бегства от власти каждый из них идет в полном одиночестве, и они постоянно ходят на грани самоубийства. Также и в понятиях политики, сам по себе отказ (от работы и добровольного рабства, отрицание власти) ведет лишь к своего рода социальному самоубийству. Как говорит Спиноза, если мы просто срубим тираническую голову социального организма, мы останемся с обезображенным трупом общества. Что нам нужно, так это создать новый социальный организм, а это проект, идущий много далее отказа. Дороги нашего бегства, наш исход должны быть устремлены к определенной цели и должны формировать реальную альтернативу. По ту сторону простого отказа или как часть этого отказа нам нужно также создать новый способ жизни и, прежде всего, новое сообщество. Этот проект ведет не к жизни самой по себе, к *homotantum*, но к *homohomo*, человеческой природе в квадрате, обогащенной коллективным разумом и любовью сообщества.*

ИНТЕРМЕЦЦО: КОНТР-ИМПЕРИЯ

Итак, этот небесный град, пока он странствует по земле, взывает ко всем народам и собирает странствующее общество во всех языках.

Блаженный Августин

Мы хотим разрушить все нелепые памятники ятем, кто пал за Родину», которые пристально взирают на нас в любой деревне, а на их месте воздвигнуть памятники дезертирам. Памятники дезертирам будут представлять и погибших в войне, поскольку все они умерли, проклиная войну и завидуя участи беглеца. Дезертирство рождает сопротивление.

Партизаны-антифашисты, Венеция, 1943

Теперь мы добрались до поворотного пункта в нашем рассуждении. Траектория, которой мы следовали до настоящего момента — от признания современности как кризиса и до нашего анализа первых проявлений новой имперской формы суверенитета, — позволила нам понять изменения устройства мирового порядка. Однако этот *порядок* был бы пустой оболочкой, если бы мы не должны были также определить новый режим *производства*. Кроме того, мы еще не были готовы сколько-нибудь вразумительно указать, политические субъективности какого типа могли бы противостоять силам Империи и низвергнуть их, поскольку эти субъективности появятся только в сфере производства. Все выглядит так, как если бы сейчас мы могли видеть лишь тени фигур, которые вдохнут жизнь в наше будущее. Потому давайте перейдем к скрытой обители производства, чтобы увидеть там эти фигуры в действии.

Даже когда нам удастся коснуться производительного, онтологического измерения данной проблематики и сил сопротивления, здесь возникающих, мы еще не сможем — даже в конце этой книги — указать какую-либо уже существующую и разработанную в деталях политическую альтернативу Империи. Навряд ли подобный действенный проект когда-либо появится из теоретических изысканий, подобных нашему. Он возникнет только из практики. В определенный момент рассуждений Марксу понадобилась Парижская коммуна, чтобы, совершив рывок, представить коммунизм в его конкретике как действительную альтернативу капиталистическому обществу. Подобные эксперименты или серия экспериментов, движимые ду-

хом коллективной практики, конечно же, понадобятся и сегодня для того, чтобы сделать следующий конкретный шаг и создать новое социальное тело по ту сторону Империи.

ОДИН БОЛЬШОЙ СОЮЗ!

Наше исследование исходит из того предположения, что власть Империи и механизмы имперского суверенитета можно понять, лишь столкнувшись с ними на самом общем уровне, в их глобальности. Мы уверены, что в целях противостояния Империи и ее мировому рынку необходимо представить ей некую альтернативу на том же глобальном уровне. Любой проект частного изолированного сообщества, определяемого в расовых, религиозных или региональных терминах, «отсоединенного» от Империи, защищенного от ее влияний жесткими границами, обречен выродиться в гетто. Империи не может противостоять проект, основанный на принципах ограниченной, локальной автономии. Мы не можем ни вернуться к какой-либо прежней социальной форме, ни двигаться вперед в условиях изоляции. Скорее, мы должны пройти сквозь Империю, оказавшись по ту сторону. Делез и Гваттари утверждали, что вместо сопротивления глобализации капитала нужно ускорить этот процесс. «Но какой из путей — революционный? — спрашивают они. — Где он: в выходе из мирового рынка..? А может быть, лучше пойти в обратном направлении? Пойти еще дальше, то есть по пути рынка, по пути декодирования и детерриториализации?»¹ Реально с Империей можно соперничать лишь на ее же уровне общности, продвигая предлагаемые ею процессы за пределы их нынешних ограничений. Мы должны принять этот вызов и научиться мыслить и действовать глобально. Глобализации должна быть противопоставлена контр-глобализация, Империи — контр-Империя.

В этом отношении мы можем черпать свое вдохновение в идеях Блаженного Августина, в том, как он видел путь противостояния клонившейся к упадку Римской Империи. Ни одно локальное сообщество не могло бы здесь преуспеть и стать альтернативой имперскому правлению; только универсальное, вселенское сообщество, собравшее воедино все народы и все языки и давшее им общее обетование, смогло бы этого достичь. Град Божий — всеобщий град чужестранцев, собравшихся вместе, устанавливающих кооперацию, коммуницирующих и тем самым утверждающих свою причастность универсальной общности. Однако у нашего земного странствия, в отличие от Августина, нет никакого трансцендентного телоса по другую сторону этого мира; оно есть и остается абсолютно имманентным. Его непрерывное движение, собирающее чужестранцев в сообщество, делающее этот мир своим домом, оказывается и средствами, и целью или, скорее, средствами без цели.

С данной точки зрения Индустриальные рабочие мира (ИРМ)¹ есть великий августинианский проект периода современности. В первые десятилетия XX века «бродяги» — как их называли — организовывали мощные забастовки и восстания по всем Соединенным Штатам — от Лоуренса в Массачусетсе и Патерсона в Нью Джерси до Эверетта в штате Вашингтон². Беспрестанное движение «Бродяг» было на самом деле имманентным странствием, создающим новое общество в оболочке старого, без установления жестких и стабильных структур власти. (Фактически основным обвинением в адрес ИРМ со стороны официальных левых было и продолжает оставаться то, что их стачки, пусть мощные и нередко победоносные, не приводили к созданию прочных профсоюзных структур.) «Бродяги» пользовались огромным успехом среди многочисленного и мобильного иммигрантского населения, поскольку они говорили на всех языках этой смешанной рабочей силы. Две одинаково распространенные истории о происхождении названия «бродяги» иллюстрируют эти две основные характеристики движения, его организационную мобильность и его смешанный этнолингвистический характер: во-первых, предполагается, что слово «бродяга» указывает на отсутствие центра, невозможность предсказать, где в очередной раз начнется выступление ИРМ и какие формы оно примет; и во-вторых, говорят, что их название идет от слов повара-китайца из Сиэтла, ошибочно произносившего IWW как «I Wobbly Wobbly»³. Основной чертой ИРМ была универсальность их проекта. Рабочие всех языков и рас по всему миру (хотя фактически они не продвинулись дальше Мексики) и рабочие всех профессий должны собраться в «Один Большой Союз».

Приняв подсказку ИРМ и опираясь на идеи Августина, мы могли бы выразить наше политическое видение в русле радикальной республиканской традиции демократии эпохи современности. Что значит быть республиканцем сегодня? Есть ли смысл в эпоху постсовременности занимать эту антагонистическую позицию, формирующую радикальную демократическую альтернативу внутри современности? Где та точка зрения, что позволяет сделать критику возможной и действенной? Существует ли еще *локальность* в этом переходе от современности к постсовременности, откуда мы могли бы критиковать и где можно было бы создать альтернативу? То есть если мы целиком находимся во власти а-локальности Империи, сможем ли мы создать могущественную альтернативную а-локальность, воплотив ее на практике как область постсовременного республиканства?

А-ЛОКАЛЬНОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Чтобы перейти к этой проблематике, позвольте краткое отступление. Прежде мы отмечали, что теоретический метод Маркса, в соответствии с тра-

дицией критики современности с позиций самой современности, основан на диалектике внутреннего и внешнего. Борьба пролетариата служит — в действительных, онтологических понятиях — двигателем капиталистического развития. Она вынуждает капитал применять все более совершенные технологии, изменяя, таким образом, процессы труда³. Борьба заставляет капитал непрестанно реформировать производственные отношения и менять отношения господства. От мануфактурного производства к крупной промышленности, от финансового капитала к транснациональной реструктуризации и глобализации рынка; именно инициативы организованной рабочей силы определяют образ капиталистического развития. В ходе этой истории локальность эксплуатации определяется диалектически. Рабочая сила — самое сокровенное начало, непосредственный источник капитала. Одновременно рабочая сила представляет внешнее по отношению к капиталу пространство, то есть ту локальность, где пролетариат осознает свою собственную потребительную стоимость, свою автономию, ту почву, где коренится его надежда на освобождение. Неприятие эксплуатации — или, на деле, сопротивление, саботаж, неподчинение, восстание и революция — составляет движущую силу действительности, в которой мы живем, и одновременно оно представляет собой реальную оппозицию ей же. В теории Маркса отношения между внутренним и внешним капиталистического развития полностью определяются двойственным положением пролетариата, как внутри, так и вне капитала. Результатом этой пространственной конфигурации стало множество политических позиций, основанных на мечте об утверждении локальности потребительной стоимости, чистой и отделенной от меновой стоимости и капиталистических отношений.

В сегодняшнем мире эта пространственная конфигурация изменилась. С одной стороны, отношения капиталистической эксплуатации распространяются повсеместно, не ограничиваясь фабрикой, но стремясь охватить все социальное пространство. С другой стороны, общественные отношения полностью перетекают в производственные отношения, делая невозможными какие-либо внешние отношения между общественным и экономическим производством. Диалектика производительных сил и системы господства больше не имеет *определенной локальности*. Сами свойства рабочей силы (различие, меру и детерминацию) уже нельзя уловить, также как невозможно больше локализовать и исчислить эксплуатацию. В действительности, объект эксплуатации и господства стремится быть не особой производственной деятельностью, а универсальной возможностью производства, то есть абстрактной социальной деятельностью и ее всеобъемлющей властью. Этот абстрактный труд — деятельность, лишенная привязки к определенному месту, но при этом являющаяся могучей силой. Это взаимодействие мозга и рук, ума и тела; он — ничему не принадлежащее

и вместе с тем созидательное общественное распространение живого труда; он — желание и стремление масс, мобильных и быстро приобретающих новые навыки рабочих; и в то же время — интеллектуальная энергия, а также языковая и коммуникативная конструкция из множества работников, занятых интеллектуальным и аффективным трудом⁴.

Невозможно обнаружить внутреннее, определяемое потребительной стоимостью, и внешнее, определяемое меновой стоимостью, поэтому любая политика потребительной стоимости, которая всегда основывалась на иллюзии разделимости двух видов стоимости, ныне абсолютно невысказима. Однако это не означает, что производства или эксплуатации более не существует. Ни инновации и развитие, ни продолжающаяся реструктуризация отношений власти не прекратили своего существования. Напротив, сегодня более чем когда бы то ни было, по мере того как производительные силы стремятся к полной де-локализации и универсализации, они производят не просто товары, но также насыщенные и мощные общественные отношения. Эти новые производительные силы не имеют определенного местоположения, поскольку они занимают все пространства, они производят и подвергаются эксплуатации в этой лишенной определенности а-локальности. Всеобщность человеческого творчества, синтез свободы, желания и живого труда — вот то, что имеет место в а-локальности производственных отношений постсовременности. Империя — это а-локальность мирового производства, где эксплуатируется труд. В противовес и без всяких возможных с ней соответствий, здесь мы вновь обнаруживаем революционный формализм современного республиканства. Это все еще формализм, потому что он определенного местоположения, но теперь это — могущественный формализм, поскольку мы признаем в нем не пустую абстракцию индивидуальных и коллективных субъектов, но общую силу, составляющую их тела и умы. У а-локальности есть глобальный мозг, сердце, туловище и конечности..

БЫТИЕ-ПРОТИВ: НОМАДИЗМ, БЕГСТВО, ИСХОД

Это признание возвращает нас к исходному вопросу: что значит быть республиканцем сегодня? Мы уже увидели, что данный современностью критический ответ — диалектика внутреннего и внешнего — более невозможен. Необходимо создать работающее понятие постсовременного республиканства *au milieu* на основе живого опыта глобальных масс. Один из элементов, на который мы можем указать на базовом, изначальном уровне, — *это воля быть против*. В общем, воля быть против, как кажется, не требует особых объяснений. Неповиновение власти — одно из самых естественных и здравых действий. Нам кажется совершенно очевидным, что те, кого эксплуатируют, будут этому сопротивляться и — при необходи-

мости — бунтовать. Однако сегодня это, возможно, не так уж и очевидно. Политические мыслители издавна говорят, что проблема состоит не в том, что люди бунтуют, а в том, почему они не делают этого. Вернее, по словам Делеза и Гваттари, «важнейшая проблема политической философии все еще остается той же, какой ее ясно увидел Спиноза (и вновь открыл Вильгельм Райх): «Почему люди так упорно сражаются *за* свое рабство, как если бы в нем заключалось их спасение?»⁵ Основной вопрос сегодняшней политической философии состоит не в том, начнется ли, и если да, то что к этому подтолкнет, сопротивление или бунт, но скорее в том, как определить врага, против которого нужно бунтовать. Зачастую именно неспособность распознать врага ведет волю к сопротивлению по замкнутому кругу. Однако выявление врага — это нелегкая задача, учитывая, что эксплуатация больше не поддается локализации, и мы находимся в тенетах столь сложной и глубоко уходящей своими корнями системы власти, что не можем уже определить ни степени различия, ни меры. Мы страдаем от эксплуатации, отчуждения и принуждения как от врагов, но не знаем, где находится производство подавления. И тем не менее мы все еще сопротивляемся и боремся.

Эти логические парадоксы не следует преувеличивать. Хотя на новой имперской территории эксплуатация и господство не имеют четкой пространственной локализации, они тем не менее существуют. Глобальный характер устанавливаемого ими принуждения представляет собой перевернутый образ — нечто вроде фото-негатива — всеобщего характера производительной деятельности масс. Тем не менее это перевернутое отношение между имперской властью и властью масс не означает их сходства, не является свидетельством гомологии. Фактически имперская власть больше не в состоянии дисциплинировать силы масс; она лишь может установить контроль над их общими социальными возможностями и возможностями производить. С экономической точки зрения режим заработной платы как функция регулирования замещается гибкой и глобальной кредитно-денежной системой; управление посредством установленных норм заменяется процедуры контроля и полицейские меры; а господство осуществляется посредством коммуникативных сетей. Вот как эксплуатация и господство конституируют а-локальную общность на имперской территории. Хотя эксплуатация и господство пока еще ощущаются непосредственно, плотью масс, они становятся столь аморфными, что не остается места, где можно было бы от них укрыться. И поскольку нет больше пространства, которое могло бы быть признано внешним, мы должны быть против повсюду. Это бытие-против становится сутью любой активной политической позиции в мире, любого желания, имеющего силу, — может быть, даже самой демократии. Первые партизаны-антифашисты в Европе, вооруженные дезертиры, выступившие против предавших свой

народ правительств, были метко названы «участниками со-против-ления» («against-men»)⁶. Теперь всеобщее «бытие-против» масс должно увидеть в имперской суверенной власти своего врага и найти адекватные средства для свержения ее господства.

Здесь мы снова видим изначальный республиканский принцип: бегство, исход и номадизм. Если в дисциплинарную эру важнейшим понятием со-противления был *саботаж*, в эру имперского контроля им может стать *бегство*. Если «бытие-против» в период современности зачастую означало прямую и/или диалектическую противоположность сил, то в постсовременности «бытие-против» будет наиболее действенным в несимметричной или диагональной позиции. Битву с Империей можно выиграть, оставив поле сражения. Это не бегство куда-либо, это лишение власти ее пространства.

На протяжении истории современности мобильность и миграция рабочей силы подорвали дисциплинарные ограничения, стеснявшие рабочих. Против этой мобильности власть применила крайнее насилие. В этом отношении рабство может рассматриваться в одном ряду с системой наемного труда как наиболее жесткий репрессивный аппарат, препятствующий мобильности рабочей силы. История черного рабства в обеих Америках демонстрирует как жизненную необходимость контроля над мобильностью труда, так и неукротимое желание бегства со стороны рабов: от закрытых кораблей «среднего перехода» до хорошо продуманных репрессивных техник, применявшихся в отношении беглых рабов. Мобильность и массовый номадизм рабочих всегда выражают неприятие и поиск освобождения: сопротивление чудовищным условиям эксплуатации и поиск свободы и новых условий жизни. На самом деле, было бы интересно написать общую историю способов производства с точки зрения стремления трудящихся к перемещению (из деревни в город, из города в мегаполис, из страны в страну, с континента на континент), а не просто проследивать это развитие с точки зрения регулирования капиталом технологических условий труда. Эта история могла бы существенно изменить марксистскую концепцию развития организационных форм рабочего движения, которая служила теоретической основой для многих авторов вплоть до Поланьи⁷.

Сегодня перемещения рабочей силы и миграционные движения чрезвычайно рассеяны и трудноуловимы. Даже наиболее значительные движения населения в эпоху современности (включая черную и белую миграцию через Атлантику) представляют собой ничтожные события по сравнению с нынешними колоссальными перемещениями. Призрак бродит по миру, и это — призрак миграции. Все силы старого мира объединяются в беспощадной борьбе с ним, но это движение непреодолимо. Наряду с бегством из так называемого третьего мира есть также потоки политических беженцев и перемещения работников интеллектуального труда, дополняющие

массовые передвижения сельскохозяйственного и промышленного пролетариата, а также пролетариата, занятого в сфере услуг. Легальные и официально зафиксированные перемещения ничтожны по масштабам в сравнении с нелегальной миграцией: границы национальных суверенных государств — это решето, и любая попытка всеобъемлющего регулирования наталкивается на жестокое сопротивление. Экономисты пытаются объяснить это явление, представляя свои уравнения и модели, которые, даже если бы и были исчерпывающими, не объяснили бы непреодолимого желания к свободному перемещению. На самом деле, то, что толкает в спину, в негативном смысле, является бегством от жалких культурных и материальных условий имперского воспроизводства; но позитивно, то, что тянет вперед, — это богатство желания и накопленные возможности производства и выражения, созданные в сознании каждого индивида и каждой социальной группы процессами глобализации, — и потому некоторая надежда. Исход и бегство — эффективные формы классовой борьбы внутри и против имперской постсовременности. Эта мобильность, однако, все еще остается сегодня на уровне стихийной борьбы и, как мы заметили раньше, часто приводит к новой бедности и нищете.

Новая кочевая орда, новая раса варваров возникнет, чтобы завоевать или разрушить Империю. Ницше в XIX веке странным образом предвидел их судьбу: «Вот задача: где же *варвары* двадцатого века? Очевидно, они появятся и сплотятся лишь после чудовищных социалистических кризисов»⁸. Мы не можем точно сказать, что же Ницше прозревал в своем гениальном безумии, но, действительно, какое из последних событий может быть более ярким примером силы бегства и исхода, власти кочевой орды, нежели падение Берлинской стены и коллапс всего советского блока? Неконтролируемое перемещение и массовая миграция — бегство от «социалистической дисциплины» — в существенной мере способствовали падению системы. Фактически бегство производственных кадров дезорганизовало и нанесло удар в самое сердце дисциплинарной системы бюрократического советского мира. Массовый исход высококвалифицированных рабочих из Восточной Европы сыграл главную роль в падении Стены⁹. Хотя этот пример связан с особенностями социалистической государственной системы, он показывает, что мобильность рабочей силы может и в самом деле выражать открытый политический конфликт и способствовать разрушению режима. Однако нам нужно больше. Нам необходима сила, способная не только ввести в организационное русло разрушительный потенциал масс, но еще и создающая альтернативу при помощи их желаний. Контр-Империя тоже должна стать новым глобальным видением, новым способом жизни в мире.

Многочисленные республиканские политические проекты периода современности считали мобильность приоритетной сферой борьбы и орга-

низации: от так называемых социниан эпохи Возрождения (тосканских и ломбардских ремесленников и поборников реформы церкви, которые, будучи изгнанными из своей страны, подстрекали к мятежу против католических наций Европы от Италии до Польши) до сектантов XVII века, которые в ответ на резню в Европе отправились в путь через Атлантику; от агитаторов ИРМ в Соединенных Штатах в 1910-х гг. до европейских автономистов в 1970-х. В этих примерах из истории современности мобильность становится активной политикой и основой политической позиции. Эта мобильность рабочей силы и политический исход переплетены тысячами нитей: старые традиции и новые потребности перемешались так же, как сплетались вместе республиканство и классовая борьба современности. Перед постсовременным республиканством, если ему суждено возникнуть, будет стоять та же задача.

НОВЫЕ ВАРВАРЫ

Те, кто против, должны также постоянно пытаться построить новое тело и новую жизнь, избегая локальных и частных ограничений своего человеческого существования. Это — неизбежно жестокий, варварский переход, но, как говорит Вальтер Беньямин, это позитивное варварство: «Варварство? — Именно! Мы утверждаем его, чтобы внедрить новое, позитивное представление о варварстве. К чему принуждает варвара скудость опыта? К тому, чтобы начать обновление, начать заново». Новый варвар «не видит ничего постоянного. Но именно по этой причине он повсюду находит пути. Там, где другие встречают стены или горные вершины, он тоже видит путь. Однако поскольку он повсюду видит путь, он должен повсюду его расчислить... Поскольку он видит пути повсюду, он всегда стоит на перепутье, никогда не зная, что принесет с собой следующий миг. Все существующее он превращает в руины, но не ради разрушения, но чтобы проложить через них путь»¹⁰. Новые варвары разрушают утверждающим насилием, прокладывая новые тропы жизни посредством собственного материального существования.

Эти варварские действия влияют на человеческие отношения в целом, но сегодня мы можем распознать их прежде всего в телесных отношениях, а также в структурах тендера и сексуальности¹¹. Традиционные нормы внутри- и межгендерных телесных и сексуальных отношений все чаще ставятся под сомнение и видоизменяются. Сами тела преобразуются и приобретают новые качества, создавая новые постчеловеческие тела¹². Первым условием этого преобразования тел является признание того, что человеческая природа никоим образом не отделена от природы в целом, что не существует строгих и необходимых границ между человеком и животным, человеком и машиной, мужчиной и женщиной и так далее; это —

признание того, что сама природа является искусственной сферой, открытой всем новым мутациям, смешениям, гибридизациям¹³. Мы не только сознательно ниспровергаем традиционные границы, одеваясь, к примеру, в рыболовную сеть, но мы к тому же перемещаемся в созидательной, неопределенной зоне *au milieu*, в зазоре между этими границами, не обращая на них больше внимания. Сегодняшние процессы приобретения телами новых качеств составляют *антропологический исход* и представляют собой чрезвычайно важный, но все еще весьма двусмысленный элемент республиканской конфигурации, противостоящей имперской цивилизации. Антропологический исход важен в первую очередь потому, что именно здесь начинается появляться позитивное, конструктивное лицо мутации: онтологическая мутация в действии, реальное изобретение первой *новой локальности в а-локальном пространстве*. Эта творческая эволюция не просто занимает некую существующую локальность, но скорее изобретает новую; это желание, создающее новое тело; метаморфоза, разрушающая все натуралистические гомологии современности.

ji
|:
'

Однако понятие антропологического исхода все еще весьма двусмысленно, поскольку его методы, гибридизация и мутация, тождественны способам функционирования имперского суверенитета. В мрачном мире киберпанковских фантазий, к примеру, свобода самовыражения часто неотличима от власти всеохватывающего контроля¹⁴. Бесспорно, мы нуждаемся в изменении собственных тел и себя самих, и возможно, гораздо более радикальным способом, нежели тот, что воображают себе киберпанки. В нашем сегодняшнем мире теперь уже ставшие привычными эстетические телесные мутации, такие, как пирсинг или татуировки, панк-мода, а также различные ее имитации, — оказываются первым, ранним признаком этой телесной трансформации, хотя в конечном счете они являются лишь слабым подобием необходимой нам радикальной мутации. Воля быть против, на самом деле, нуждается в таком теле, которое будет совершенно неподвластно принуждению. Ей нужно тело, неспособное привыкнуть к семейной жизни, фабричной дисциплине, правилам традиционной половой жизни и так далее. (Если обнаружишь, что твое тело отвергает все эти «нормальные» способы жизни, не отчаивайся — используй свой дар!)¹⁵ Помимо радикальной неготовности к нормализации, новое тело должно быть способно к созданию новой жизни. Мы должны пойти гораздо дальше, чтобы определить эту новую локальность в а-локальности, гораздо дальше простых опытов по смешению и гибридизации и всего того, что им сопутствует. Мы должны создать целостное политическое изобретение, *искусственное становление*, в том смысле, в котором гуманисты говорили о созданном искусством и знанием *homohomo* и в котором Спиноза говорил о могущественном теле, созданном высшим сознанием, наполненным любовью. Бесконечные тропы варваров должны сформировать новый образ жизни.

Однако такие изменения всегда останутся неубедительными и неопределенными, коль скоро они будут выражены только в терминах формы и порядка. Сама гибридность — это пустой жест, и простое отрицание порядка лишь оставляет нас на краю небытия — или хуже того, эти действия скорее рискуют укрепить имперскую власть, нежели бросить ей вызов. Новая политика обретает реальное содержание, только когда мы смещаем фокус с вопроса о форме и порядке к режимам и практикам производства. В сфере производства мы сможем понять, что эта мобильность и эта искусственность не просто выступают как особый опыт малых привилегированных групп, но указывают на общий производительный опыт масс. Уже в самом начале XIX века пролетарии считались кочевниками капиталистического мира". Даже когда они не меняют место проживания (как это было в большинстве случаев), их творчество и производительность определяют телесные и онтологические миграции. Антропологические метаморфозы тел совершаются посредством общего опыта труда и новых технологий, обладающих конститутивным воздействием и онтологическими смыслами. Орудия всегда выполняли для человека роль протезов, интегрированных в наши тела нашей трудовой практикой, они были своего рода антропологической мутацией, как в отношении индивида, так и в отношении коллективной жизни общества. Сегодняшняя форма исхода и новая жизнь в условиях варварства нуждаются в том, чтобы эти орудия труда стали пойетическими протезами, высвобождающими нас из условий,» которых находилось человечество во времена современности. Возвращаясь к сделанному нами ранее отступлению, к идеям Маркса, когда диалектика внутреннего и внешнего подходит к концу и когда обособленная локальность потребительной стоимости исчезает с имперских территорий, на новые формы рабочей силы возлагается задача по производству нового человека (или, на самом деле, постчеловека). В первую очередь эта задача будет решаться при помощи новых, все более и более аматериальных форм аффективного и интеллектуального труда, в образуемом ими сообществе, посредством искусственности, предлагаемой ими в качестве проекта.

Вместе с этим переходом деконструктивистская фаза критической мысли, которая от Хайдеггера и Адорно и вплоть до Деррида была мощным инструментом выхода за рамки современности, утратила свою эффективность¹⁷. Теперь этот эпизод завершен, и мы остаемся лицом к лицу с новой задачей: созданием — • в а-локальности — новой локальности; онтологическим конструированием новых определений человека, жизни — мощной искусственности бытия. Притча Донны Харрауэй о киборгах, основанная на зыбкости границ между человеком, животным и машиной, подводит нас сегодня — гораздо более успешно, чем деконструкция, — к этим новым сферам возможностей; но стоит помнить, что это всего лишь притча и не более того. Та сила, что взамен должна двигать вперед теоретическую

практику, чтобы актуализировать эти сферы возможных превращений, все еще (и все более интенсивно) является общим опытом новых производительных практик и концентрацией производительного труда в пластичной, изменчивой сфере новых коммуникативных, биологических и машинных технологий.

Сегодня быть республиканцем означает прежде всего бороться изнутри, возводя контримперские конструкции на гибридной, меняющейся территории Империи. Здесь следует добавить, в ответ на все нравоучения, обиды и ностальгию, что эта новая имперская территория предоставляет большие возможности созидания и освобождения. Массы в их стремлении «быть против», в их желании освобождения должны пройти сквозь Империю и оказаться по ту сторону.

ЧАСТЬ 3

ПЕРЕХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА

3.1 ПРЕДЕЛЫ ИМПЕРИАЛИЗМА

Мир уже практически полностью раздроблен на части, и оставшееся делится, расхищается и превращается в колонии. Подумайте о звездах, о бесчисленных недоступных мирах, мерцающих ночью над головой. Если бы я мог, я аннексировал бы все планеты, и об этом я часто размышляю. Меня повергает в грусть наблюдение за ними, такими чистыми и все еще такими далекими.

Сесиль Роде

На протяжении большей части двадцатого столетия критика империализма была одной из арен наиболее активных и упорных сражений марксистской теории¹. Многие из выработанных положений сегодня, конечно же, устарели и обстановка, в которой они были применимы, кардинально изменилась. Это не означает, однако, что они не могут быть для нас полезны. Критический анализ империализма помогает нам понять переход от империализма к Империи, поскольку в некоторых отношениях этот переход был им предугадан.

Одно из центральных положений марксистской традиции изучения империализма состоит в том, что между капитализмом и экспансией существует существенная связь и что капиталистическая экспансия неизбежно принимает политическую форму империализма. Сам Маркс очень мало писал об империализме, однако его исследования капиталистической экспансии являются основополагающими для всей традиции критического анализа. Маркс ясно показал, что капитал постоянно изменяет границы между внутренним и внешним. На самом деле, капитал обращается не в границах определенной территории с ее населением, но постоянно выходит за эти пределы и ассимилирует новые пространства: «тенденция к созданию *мирового рынка* дана непосредственно в самом понятии капитала. Всякий предел выступает как подлежащее преодолению ограничение»². Столь беспокойный характер определяет постоянное наличие потенциала кризиса, свойственного самой сущности капитала: непрерывное расширение является всегда недостаточной, но тем не менее необходимой попыткой удовлетворить его неутолимую жажду. Мы далеки от предположения, что этот кризис и эти препятствия неизбежно приведут капитал к гибели. Напротив, как и в целом для периода современности, для капитала кризис — нормальное состояние, являющееся не признаком его конца, но на-

правлением и способом функционирования. Создание капиталом системы империализма и последующее стремление выйти за ее границы также предстает как сложная игра ограничений и препятствий.

ПОТРЕБНОСТЬ ВО ВНЕШНЕМ

Маркс, анализируя постоянную потребность капитала в экспансии, прежде всего обращает внимание на процесс *реализации* и, таким образом, на неравное количественное соотношение между рабочим как производителем и рабочим как потребителем товаров³. Проблема реализации — один из факторов, побуждающих капитал к преодолению границ и определяющих тенденцию формирования мирового рынка. Чтобы разобраться с этой проблемой, мы должны начать с эксплуатации. «Прежде всего, — мы читаем в *Grundrisse*, — капитал принуждает рабочих к прибавочному труду сверх необходимого. Только таким путем капитал увеличивает свою стоимость и создает прибавочную стоимость» (с. 406) Заработная плата рабочего (соответствующая необходимому труду) должна быть меньше произведенной рабочим стоимости. Однако для реализации прибавочной стоимости необходим соответствующий рынок. Так как каждый рабочий вынужден производить большую стоимость, чем он (или она) потребляет, рабочий как потребитель никогда не создаст достаточный спрос на прибавочную стоимость. Таким образом, в замкнутой системе капиталистическое производство и обмен поставлены перед рядом ограничений: «...капитал делает *необходимое рабочее время* пределом для меновой стоимости живой рабочей силы; *прибавочное рабочее время* — пределом для необходимого рабочего времени; а *прибавочную стоимость* — пределом для прибавочного рабочего времени» (с. 407-408). Существование подобных пределов вытекает из наличия общего ограничения, определенного неравным соотношением между рабочим как производителем и рабочим как потребителем.

Безусловно, капиталистический класс (наряду с другими классами, совместно с ним участвующими в присвоении прибыли) потребляет некоторое количество избыточной стоимости, но не полностью, так как это сделало бы невозможным реинвестирование прибавочной стоимости. Вместо того, чтобы потреблять всю прибавочную стоимость, капиталисты вынуждены практиковать воздержание, иными словами, они должны осуществлять накопление⁴. Капитал по своей природе требует, чтобы капиталисты отказывались от удовольствий и, насколько возможно, удерживались от «растраты» прибавочной стоимости на собственное потребление.

Подобное предлагаемое культурой объяснение капиталистической морали и умеренности, однако, является всего лишь свидетельством реальных экономических ограничений, внутренне присущих капиталистичес-

кому производству. С одной стороны, чтобы появилась прибыль, рабочие должны производить большую стоимость, чем они потребляют. С другой стороны, чтобы происходило накопление, капиталистический класс и зависимые от него лица не должны потреблять прибавочную стоимость полностью. Если рабочий класс вместе с капиталистическим классом и зависимыми от него лицами не в состоянии создать соответствующий рынок и купить все произведенные товары, то, несмотря на существование эксплуатации и извлечение прибавочной стоимости, последняя не может быть реализована⁵.

Далее Маркс указывает, что подобные ограничения усугубляются по мере того, как труд становится все более производительным. С увеличением производительности труда и соответствующим ростом структуры капитала переменный капитал, то есть зарплата рабочих, начинает составлять все меньшую часть общей стоимости товаров. Это означает, что способность рабочих потреблять неуклонно уменьшается в сравнении с объемом произведенных товаров, «но чем больше развивается производительная сила, тем более приходит она в противоречие с узким основанием, на котором покоятся отношения потребления»⁶. Получение отдачи от капитала, таким образом, блокируется проблемой «узости базиса» способности общества к потреблению. Мы должны отметить, что подобные препятствия не имеют ничего общего с абсолютной способностью населения производить или его абсолютной способностью потреблять (несомненно, пролетариат хочет и может потреблять больше), это, скорее, относится к *относительной способности* населения *потреблять* в рамках капиталистических отношений производства и воспроизводства.

Для того, чтобы реализовать прибавочную стоимость, созданную в процессе производства и чтобы избежать обесценивания по причине переизводства, капитал вынужден, как доказывает Маркс, осуществлять экспансию, «поэтому условием производства, основанного на капитале, является создание все расширяющегося круга обращения, все равно, расширяется ли этот круг непосредственного, *или же в большем количестве его пунктов создаются пункты производства*» (с. 388). Расширение сферы обращения может быть достигнуто путем интенсификации уже существующих капиталистических рынков за счет возникновения новых потребностей и запросов; однако количество заработанных денег, которые могут потратить рабочие, а также капиталистическая потребность накопления накладывают жесткие ограничения на подобное расширение. Как альтернатива, дополнительные потребители могут быть созданы вовлечением новых групп населения в капиталистические отношения, что, однако, не может стабилизировать в основе своей неравное соотношение спроса и предложения между произведенной стоимостью и той, которая может быть потреблена пролетарским населением и капиталистами, включен-

ными в систему⁷. Напротив, новые пролетарии никогда не создадут соответствующий рынок для произведенной ими стоимости, и, таким образом, они обречены постоянно воссоздавать одну и ту же проблему, но уже в более широком масштабе⁸. Для капитала единственным реальным решением проблемы является устремленность вовне и открытие новых некапиталистических рынков для обмена товарами и реализации их стоимости. Расширение сферы обращения за пределы капиталистических владений позволяет вытеснить дестабилизирующее неравенство.

Роза Люксембург развивала проведенный Марксом анализ проблемы реализации, однако она изменила его общее направление. В качестве свидетельства зависимости капитала от того, что располагается за пределами его влияния, Люксембург делает упор на том факте, что «существование некапиталистических покупателей... является прямым условием» того, чтобы капитал имел возможность реализовать прибавочную стоимость. Капитализм — это «первая хозяйственная форма, которая без других хозяйственных форм как ее среды и питательной почвы существовать не может»⁹. Капитал — это организм, который не в состоянии обеспечивать собственное существование иначе, как устремляясь за свои пределы, обескровливая окружающую его среду. Внешнее окружение ему существенно необходимо.

Возможно, подобная потребность в постоянном расширении сферы влияния является болезнью европейского капитала, однако именно эта потребность служит также и двигателем, ведущим Европу к господству над миром в эпоху современности. «Вероятно, наибольшей заслугой Запада, ограниченного в свое время узким „мысом Азии“, — полагает Фернан Бродель, — стало то, что у него возникла необходимость в целом мире, потребность пуститься в путь от своих ворот»¹⁰. С самого момента своего возникновения капитал стремится к тому, чтобы стать мировой властью, или, точнее, *единственной* мировой властью.

АССИМИЛЯЦИЯ ВНЕШНЕГО

Капитал расширяет сферу влияния не только в силу потребностей в реализации стоимости и нахождения новых рынков сбыта, но также ради удовлетворения требованиям последующего этапа цикла ассимиляции, то есть процесса *капитализации*. После того, как прибавочная стоимость обращается в деньги (через интенсификацию рынков в сфере капиталистического влияния и опору на некапиталистические рынки), эта реализованная прибавочная стоимость может быть реинвестирована в производство, иными словами, снова обращена в капитал. Капитализация реализованной прибавочной стоимости требует, чтобы в ходе последующего цикла производства капиталист смог закупить дополнительные запасы постоян-

ного капитала (сырья, оборудования и т. д.) и дополнительного переменного капитала (иными словами, рабочей силы), — что в конце концов требует еще большего расширения рынка для дальнейшего увеличения реализации стоимости.

Поиск дополнительного основного капитала (в особенности большего количества и более новых материалов) ведет капитал к определенному роду империализма, характеризующегося грабежом и кражами. Как утверждает Роза Люксембург, капитал «рыщет по всему свету, запасается средствами производства из *всех* уголков земли, захватывает или приобретает их независимо от степени развития их культуры или общественных форм... для производительного приложения реализованной прибавочной стоимости необходимо, чтобы капитал все более и более захватывал весь земной шар, чтобы он для своих средств производства имел качественно и количественно безграничный выбор»¹¹. В процессе приобретения дополнительных средств производства капиталу приходится устанавливать отношения и находить опору в некапиталистическом окружении, однако это не приводит к ассимиляции внешнего окружения, — или, вернее, окружение не всегда становится капиталистическим. Внешний мир остается внешним миром. Так, например, золото и алмазы могут добываться в Перу или Южной Африке, а сахарный тростник вывозиться с Ямайки или Явы, и в то же время эти общества и соответствующие производства продолжают прекрасно функционировать на основе некапиталистических отношений.

Приобретение дополнительного переменного капитала, наем новой рабочей силы и формирование пролетариата, напротив, предполагают капиталистический империализм. На территории самих владений капитализма увеличение продолжительности рабочего дня уже занятых рабочих, безусловно, способно обеспечить дополнительную рабочую силу, однако у подобного роста существуют пределы. Чтобы получить в свое распоряжение остальную часть новой рабочей силы, капитал должен постоянно создавать и нанимать новых пролетариев из некапиталистических слоев и стран. Постепенная пролетаризация некапиталистических слоев населения *является* непрерывным возобновлением процессов первоначального накопления — и, таким образом, *капитализацией* некапиталистического окружения как такового. Люксембург рассматривает этот процесс как реальное историческое новшество капиталистического завоевания: «Все завоеватели стремились завладеть страной и эксплуатировать ее, но никто не был заинтересован в том, чтобы лишить народ его производительных сил и уничтожить его социальные организации»¹². В процессе капитализации *внешнее становится внутренним*.

Таким образом, капитал должен не только обеспечить себе беспрепятственный товарообмен с некапиталистическими обществами или лишь присваивать себе их блага; он также должен на деле преобразовать их в

капиталистические. Именно этот момент является основным у Рудольфа Гильфердинга в его определении экспорта капитала: «Под экспортом капитала мы подразумеваем вывоз стоимости, предназначенной производить за границей прибавочную стоимость»¹³. Предмет экспорта — это отношения, общественная форма, которая будет расширяться и воспроизводиться. Подобно миссионеру или вампиру, капитал прикасается к тому, что ему чуждо, и делает его своим. «Буржуазия, — пишут Маркс и Энгельс, — под страхом гибели заставляет все нации принять буржуазный способ производства; заставляет их вводить у себя так называемую цивилизацию, то есть становиться буржуа. Словом, она создает себе мир по своему образу и подобию»¹⁴. В экономических категориях подобная цивилизация и модернизация означает капитализацию, то есть включение в цикл международной экспансии процессов капиталистического производства и накопления. Таким путем некапиталистическое окружение (территория, социальные формы, культуры, процессы производства, рабочая сила и т. д.) попадает в формальное подчинение капиталу.

Здесь мы должны отметить, что европейский капитал на самом деле не переделывает территории некапиталистического мира по своему образу и подобию, не насаждает однородность. Действительно, когда марксистские критики империализма выявили процесс ассимиляции капиталом своего внешнего пространства, они в целом недооценили значение неравномерности развития и предполагаемых им географических различий¹⁵. Каждый сегмент некапиталистического окружения преобразуется *по-своему*, и все они оказываются *органично* включенными в расширяющееся тело капитала. Иными словами, различные сегменты внешнего пространства ассимилируются не на основе модели подобия, но в качестве различных органов, совместно функционирующих в едином теле.

На этом этапе наших рассуждений мы можем увидеть важнейшее противоречие капиталистической экспансии: опора капитала на то, что находится за его пределами, на некапиталистическое окружение, удовлетворяющее потребности в реализации прибавочной стоимости, вступает в конфликт с процессом ассимиляции некапиталистического окружения, удовлетворяющим потребности в капитализации этой реализованной прибавочной стоимости. Исторически два этих процесса зачастую следуют друг за другом. Территория и население первоначально вовлекаются в качестве внешнего пространства в отношения обмена и реализации, а затем втягиваются в само царство капиталистического производства. Важным моментом, впрочем, является то, что, как только часть окружения оказывается «цивилизованной», как только она органично включается в только что расширившиеся границы области капиталистического производства, она не может более оставаться внешним пространством, необходимым капиталу для реализации прибавочной стоимости. В этом смысле капитализация ставит

предел реализации и наоборот; вернее, ассимиляция противоречит опоре на внешнее пространство. Мучающая капитал жажда должна быть удовлетворена новой кровью, и капитал вынужден все время продвигаться к новым рубежам.

Логично предположить, что может наступить день, когда между этими двумя моментами цикла ассимиляции — реализацией и капитализацией — возникнет непосредственный конфликт и они начнут уничтожать друг друга. В XIX столетии представлялось, что поле капиталистической экспансии (материальные ресурсы, рабочая сила и рынки сбыта) как в Европе, так и во всем мире простирается необозримо. Во времена Маркса капиталистическое производство составляло лишь малую часть мирового производства. Только немногие страны обладали существенной долей капиталистического производства (Англия, Франция и Германия), но даже и они все еще имели крупные секторы некапиталистического производства: традиционное сельское хозяйство, ремесленное производство и т. д. Люксембург, однако, отмечает, что, поскольку земля имеет пределы, логический конфликт в конце концов становится реальным противоречием: «Но чем энергичнее и основательнее заботится империализм о гибели некапиталистических культур, тем быстрее он вырывает почву из-под ног процесса накопления капитала. Империализм является историческим методом для продления существования капитала, но он в то же время служит вернейшим средством, чтобы кратчайшим путем положить его существованию объективный предел»¹⁶. Подобная порождаемая противоречиями напряженность постоянно присутствует в развитии капитала, однако полностью проявляет себя только при достижении предела, в точке кризиса, когда капитал наталкивается на конечность территории Земли и численности человечества. Тогда великий империалист Сесиль Роде проявляет себя как образцовый капиталист. Пространство планеты замыкается, и империалистическая экспансия наталкивается на свои пределы. Роде, авантюрист по натуре, с вожделием и страстью смотрит на звезды в вышине, томимый неодолимым соблазном новых пространств, таких близких и все же таких далеких.

Даже если критика империализма и капиталистической экспансии зачастую ведется в поддающихся количественному определению строгих экономических понятиях, интересы теоретиков марксизма являются в первую очередь *политическими*. Это не означает, что экономические расчеты (и их критика) не должны приниматься всерьез; скорее, это значит, что экономические отношения должны рассматриваться в их реальном выражении в историческом и социальном контексте, как часть политических отношений управления и господства¹⁷. Первостепенной политической задачей этих авторов при изучении проблем экономической экспансии является задача выявить неотвратимость связи капитализма и импе-

риализма. Если капитализм и империализм сущностно взаимосвязаны, то логично предположить, что борьба с империализмом (а также с войной, бедностью, обнищанием и порабощением, являющимися его следствиями) должна быть непосредственно направлена также и против капитализма. Любая политическая стратегия, нацеленная на реформирование нынешней структуры капитализма с тем, чтобы сделать ее не-империалистической, представляется тщетной и наивной, поскольку сама сущность капиталистического воспроизводства и накопления с необходимостью предполагает империалистическую экспансию. Капитал не в состоянии действовать иначе, такова его природа. С пороками империализма можно справиться только уничтожив сам капитализм.

ВЫРАВНИВАНИЕ И ПОДЧИНЕНИЕ

В работе Ленина об империализме главным образом обобщаются концепции других авторов с целью сделать их выводы доступными широкой публике¹⁸. Текст Ленина, однако, содержит ряд новых моментов, наиболее существенным из которых является критика империализма с точки зрения субъекта, что связывает ее с марксистским понятием «революционного потенциала кризисов». Ленин обеспечил нам набор инструментов, ряд механизмов для выработки антиимпериалистической субъектности.

Ленин зачастую излагает свои доводы в полемическом ключе. Его анализ империализма ведется преимущественно путем опровержения тезисов Рудольфа Гильфердинга и Карла Каутского. Однако для того, чтобы критиковать, Ленин тщательно рассматривал и иногда представлял как свое собственное мнение теоретические положения этих двух авторов. Что самое главное, Ленин принимал важнейшее положение Гильфердинга о том, что экспансия капитала, осуществляемая посредством создания методами империализма мирового рынка, ведет к росту препятствий для *Ausgleichung* (выравнивания) нормы прибыли в различных отраслях и секторах производства. Так или иначе, бескризисное капиталистическое развитие зависит от процесса или, по крайней мере, от тенденции выравнивания экономических условий: одинаковые цены на одинаковые товары, равная прибыль на равный капитал, равная зарплата и равная норма эксплуатации при равной работе и т. д. Гильфердинг признавал, что империализм, структурирующий нации и определяющий территории развития капитализма все более жестким образом, а также наделяющий монополии ведущих стран властными полномочиями, препятствует выравниванию нормы прибыли и, таким образом, подрывает возможность продуктивного опосредования капитализмом процессов мирового развития". На самом деле, господство монополий и раздел ими мирового рынка делает процесс выравнивания практически невозможным. Только в случае вмешательства национально-

го центрального банка или, что еще лучше, мирового центрального банка подобное противоречие, предвещающее как торговые войны, так и реальные сражения, может быть сглажено и сведено к нулю. Короче говоря, Ленин принимал предположение Гильфердинга о том, что капитал вошел в новую фазу мирового развития, характеризующуюся возникновением монополий, и что это ведет как к обострению противоречий, так и к кризису процесса выравнивания нормы прибыли. Однако он отрицает, что утопия мирового центрального банка может всерьез приниматься в расчет и что *Aufhebung* (снятие) кризиса мирным путем может быть когда-либо достигнуто при капитализме.

Ленин рассматривал позицию Каутского, для которого работа Гильфердинга также служит отправным моментом для размышлений, как еще более утопическую и вредную: Каутский предполагал, в действительности, что капитализм способен достичь реального политического и экономического объединения мирового рынка. За ожесточенными конфликтами периода империализма может последовать новая мирная фаза капитализма, фаза «ультраимпериализма». Магнаты капитала способны создать единый мировой трест, вытеснив соперничество и борьбу, связанную с существованием национального капитала, единством финансового капитала. Таким образом, утверждал Каутский, мы можем представить себе такое будущее, когда капитал сможет устранить кризисы и добиться разрешения противоречий, когда уже не мировой центральный банк, а силы рынка и монополии, в той или иной мере регулируемые государством, в определенной степени обеспечат выравнивание нормы прибыли в глобальном масштабе²⁰. Ленин соглашался с основным тезисом Каутского, полагавшего, что тенденцией капиталистического развития является переход национального финансового капитала к сотрудничеству в мировом масштабе и, вероятно, к созданию единого мирового треста. Однако резкие возражения Ленина вызывало то обстоятельство, что у Каутского воображаемое мирное будущее выступает средством отрицания динамики настоящего; таким образом, Ленин отвергал его «глубоко реакционное стремление притупить противоречия»²¹. Вместо того, чтобы дожидаться прихода в будущем некоего мирного «ультраимпериализма», революционеры должны действовать сейчас, используя противоречия, порожденные существующей ныне империалистической организацией капитала.

Таким образом, принимая в целом аналитические положения Гильфердинга и Каутского, Ленин отвергал их политические установки. Хотя по важнейшим пунктам он соглашался с анализом Гильфердинга и его выводом о существовании тенденции формирования мирового рынка, где доминируют монополии, Ленин отрицал, что подобная система уже создана и способна опосредовать и выравнивать норму прибыли. Он отрицал это скорее с политической, нежели с теоретической точки зрения. Ленин по-

лагал, что капиталистическое развитие на своей монополистической стадии будет отягчено рядом противоречий и что коммунисты должны этим воспользоваться. Обязанностью рабочего движения являлось противостояние любой попытке капитализма организовать реальное выравнивание нормы прибыли, полученной от проведения политики империализма, задачей же революционной партии становилось вмешательство и углубление объективных противоречий развития. Осуществление тенденции становления «ультраимпериализма» являлось тем, чего следовало прежде всего избегать, поскольку в противном случае сила капитала чудовищно возросла бы и возможность борьбы с ним путем использования противоречий и воздействия на наиболее слабые звенья в цепи господства надолго бы исчезла. Ленин пишет (надеясь или прогнозируя): «[Не подлежит сомнению, что развитие идет в *направлении* к одному-единственному тресту, всемирному, поглощающему все без исключения предприятия и все без исключения государства.] Но развитие идет к этому при таких обстоятельствах, таким темпом, при таких противоречиях, конфликтах и потрясениях — отнюдь не только экономических, но и политических, национальных и пр. и пр., — что непременно *раньше*, чем дело дойдет до одного всемирного треста, до „ультраимпериалистического“ всемирного объединения национальных финансовых капиталов, империализм неизбежно должен будет лопнуть, капитализм превратиться в свою противоположность»¹².

Логический переход Ленина от аналитических предположений к политическим установкам, безусловно, был не совсем честным приемом. Тем не менее его доводы были очень весомы с точки зрения субъектности. Как говорил Илья Бабель, мысль Ленина движется по «загадочной кривизне прямой линии», приходя от анализа сущности рабочего класса к выводу о необходимости его политической организации. Ленин осознавал, что некоторые сущностные черты империализма в то время еще не проявились, и видел в субъективных практиках рабочего класса не только возможные препятствия эволюционному разрешению кризисов реализации капитала (чему уделяет большое внимание и Роза Люксембург), но также и реальную, конкретную возможность того, что подобные практики: сопротивление, восстание, революция — способны разрушить империализм как таковой²³. Таким образом, Ленин переносит критику империализма из теории в практику.

ОТ ИМПЕРИАЛИЗМА К ИМПЕРИИ

Одной из наиболее заслуживающих внимания сторон ленинского анализа является критика империализма как политического понятия. Ленин в своей критике сводил воедино проблематику суверенитета эпохи современности и проблематику капиталистического развития и, соединяя различ-

ные направления критического анализа, получал возможность заглянуть по ту сторону современности. Иными словами, путем политического переосмысления понятия империализма Ленин, в большей мере, нежели любой другой марксист, был способен предвидеть переход капитала к новой фазе, фазе по ту сторону империализма, а также выявить локальность (или, на самом деле, а-локальность) возникающего имперского суверенитета.

Исследуя империализм, Ленин уделял внимание не только работам различных авторов-марксистов того времени, но также обратился к вышедшей ранее работе Джона Гобсона и к его буржуазно-популистскому варианту критики империализма²⁴. Ленин очень многое почерпнул у Гобсона, что, впрочем, он с равным успехом мог перенять у немецких, французских или итальянских авторов популистских теорий империализма. В частности, Ленин взял у Гобсона мысль о том, что европейские национальные государства эпохи современности используют политику империализма для переноса за пределы собственных границ внутренних политических противоречий. Национальное государство предполагает империализм как средство разрешения или, вернее, переноса вовне классовой борьбы и ее дестабилизирующих эффектов. Сесиль Роде выражает сущность этой функции империализма еще более определенно: «Моя заветная идея есть решение социального вопроса, именно: чтобы спасти сорок миллионов жителей Соединенного Королевства от убийственной гражданской войны, мы, колониальные политики, должны завладеть новыми землями для помещения избытка населения, для приобретения новых областей сбыта товаров, производимых на фабриках и в рудниках. Империя, я всегда говорил это, есть вопрос желудка. Если вы не хотите гражданской войны, вы должны стать империалистами»²⁵. С помощью империализма государство современности экспортирует классовую борьбу и гражданскую войну, чтобы сохранить порядок и суверенитет в собственном доме.

Ленин рассматривал империализм как структурную стадию эволюции современного государства. Он утверждал существование последовательного эволюционного развития современного европейского государства от ранних форм к национальному государству — и затем — к стадии империализма. На каждом этапе подобной эволюции государству приходится находить новые средства достижения согласия в обществе, и, таким образом, империалистическое государство вынуждено было отыскать путь инкорпорации масс с присущими им стихийными формами классовой борьбы в идеологические структуры государства; ему пришлось преобразовать массы в народ. Эти выводы дали политическое начало концепции гегемонии, позже занявшей центральное место в творчестве Грамши. Следовательно, Ленин трактовал империалистический популизм всего лишь как иной способ утверждения суверенитета, как разрешение кризиса современности²¹.

На основе понимания империализма как главенствующего элемен-

та суверенитета Ленин смог оценить структурные эффекты и тоталитарные последствия империалистической политики. Он ясно понимал центростремительную динамику империализма, все более ослабляющую различие между «внутренним» и «внешним» капиталистического развития. Роза Люксембург критиковала империализм с позиций «внешнего», с позиций сопротивления, способного изменить некапиталистическую потребительную стоимость масс как в господствующих, так и в зависимых странах. С точки зрения Ленина, однако, подобная позиция и стратегия не выдерживают критики. Структурные преобразования, навязанные империалистической политикой, ведут к уничтожению любой возможности существования внешнего пространства, как для господствующих, так и для зависимых стран. Критика должна вестись с позиций не извне, а изнутри кризиса суверенитета периода современности. Ленин полагал, что с началом Первой мировой войны, когда империалистическая стадия суверенитета, сформированного в эпоху современности, напрямую привела к смертельной схватке между национальными государствами, кризис достиг своей высшей точки.

Ленин признавал в итоге, что, хотя империализм и монополистическая стадия в действительности выступали выражением глобальной экспансии капитала, империалистические практики и колониальные структуры власти, реализующие этот процесс, стали препятствием для дальнейшего развития капитала. Ленин подчеркивал тот факт, отмечавшийся многими критиками империализма, что конкуренция, сущностно важная для функционирования и экспансии капитала, с неизбежностью угасает на стадии империализма по мере усиления монополий. Империализм, вводя торговые привилегии и протекционистские тарифы, создавая систему национальных и колониальных территорий, постепенно устанавливает и укрепляет жесткие границы, блокирующие или направляющие в заданное русло экономические, социальные и культурные потоки. Как мы говорили ранее, привлекая терминологию из области культуры (в разделе 2.3), и как на языке экономической теории доказывает Люксембург, империализм в основе своей покоится на жестких границах и на различии между внутренним и внешним. Империализм действительно надевает на капитал смиренную рубашку, или, вернее, границы, создаваемые империалистическими практиками, на определенном этапе становятся препятствиями для капиталистического развития и завершения процесса создания мирового рынка. В конечном счете капиталу приходится преодолевать империализм и разрушать границы между внутренним и внешним.

Было бы преувеличением сказать, что догадки, высказанные Лениным в ходе исследования империализма и его кризисов, приводят нас непосредственно к теории Империи. Тем не менее несомненно, что его анализ, исходящий из интересов осуществления революции, позволяет выявить важ-

нейший нервный центр капиталистического развития или, вернее, гордиев узел, который должен быть разрублен. Хотя практические и политические предположения Ленина о грядущей мировой революции не оправдались (и скоро мы остановимся на причинах этой неудачи), преобразования, в определенной мере подобные тем, что он предвидел, были тем не менее неизбежны. Ленинский анализ кризиса империализма обладал той же силой и определенностью, что и анализ кризиса средневекового порядка у Макиавелли: реакция должна была быть революционной. В работе Ленина предполагается альтернатива: *либо мировая коммунистическая революция, либо Империя*, — и эти два пути по сути сходны друг с другом.

НЕДОСТАЮЩИЕ ТОМА КАПИТАЛА

Для того, чтобы понять природу перехода от империализма к Империи, — в дополнение к рассмотрению развития капитала как такового, — мы должны понять его генеалогию с позиций классовой борьбы. Подобная точка зрения на самом деле является, вероятно, основополагающей для понимания реального исторического развития. Теории перехода к империализму и его последующего преодоления, делающие упор на простой критике динамики рисков капитала, недооценивают влияние реальной движущей силы и стержня капиталистического развития: роль движений и борьбы пролетариата. Эту движущую силу очень сложно обнаружить, поскольку она скрыта идеологией государства и господствующих классов, но даже проявляясь лишь случайно или неявным образом, она тем не менее остается действенной. История обретает логику лишь благодаря субъектности, лишь тогда (как говорит Ницше), когда возникновение субъектности переводит действительные причины и цели в реальность исторического развития. Именно в этом и состоит сила пролетариата.

Мы подходим к тонкому переходу, с помощью которого субъектный характер классовой борьбы преобразует империализм в Империю. В настоящей, третьей части книги мы проследим историю экономического строя Империи с тем, чтобы определить природу классовой борьбы пролетариата, имеющую глобальное измерение, и его способность превосходить и опережать движение капитала к формированию мирового рынка. Нам также необходимо найти теоретическую схему, способную поддержать нас в этом начинании. Прежние исследования империализма представляются для этого недостаточными, поскольку они, подойдя к изучению субъектности, в конечном счете останавливаются у этого порога и обращаются к противоречиям собственно капиталистического развития. Нам надо найти такую теоретическую схему, где субъектность социальных движений пролетариата является основным звеном процессов глобализации и формирования глобального порядка.

В теории Маркса есть парадокс, способный многое прояснить относительно задач, стоящих перед нами. В набросках к *Капиталу* Маркс планировал подготовить три тома, которые так и не были написаны: первый посвятить проблемам заработной платы, второй — тематике государства и третий — мировому рынку²⁷. Можно сказать, что содержание тома, касающегося тематики заработной платы, в той мере, в какой он действительно представлял собой том, посвященный наемным рабочим, частично вошло в политические и исторические труды Маркса, такие, как *Восемнадцатое Брюмера, Классовая борьба во Франции* и его работы, посвященные Парижской коммуне²⁸. Ситуация с книгами о государстве и о мировом рынке совершенно иная. Многочисленные заметки Маркса по данным проблемам разрознены и не создают целостной картины; не существует даже наброска этих томов. Комментарии, данные Марксом по поводу понятия государства, не столько нацелены на общую теоретическую дискуссию, сколько посвящены анализу особенностей отдельных государств: английского парламентаризма, французского бонапартизма, русского самодержавия и т. д. Узкие рамки анализа, ограниченного спецификой изучаемых государств, делают общую теорию невозможной. Структурные характеристики каждого национального государства были, по мнению Маркса, обусловлены различием нормы прибыли в отдельных национальных экономиках, а также различием режимов эксплуатации — в общем, частными, характерными для данного государства условиями процессов увеличения стоимости в разных зонах развития, на отдельных территориях национальных государств. *Каждое национальное государство представляло собой лишь определенный, единственный в своем роде способ установления границы*. В подобных условиях общая теория государства может иметь лишь отрывочный характер и формулируется в самых абстрактных понятиях. Сложности, встреченные Марксом при написании томов *Капитала*, посвященных государству и мировому рынку, были, по сути своей, взаимосвязанными: работа о государстве не могла быть написана до формирования мирового рынка.

Мысль Маркса, однако, была устремлена к тому времени, когда процессы возрастания стоимости в рамках капиталистической экономики и политические процессы управления сблизятся и сомкнутся на мировом уровне. Национальное государство в теории Маркса играет лишь переходящую роль. Процессы капиталистического развития определяют возрастание стоимости и эксплуатацию как функции одной глобальной системы производства, и каждая помеха, возникающая на ее территории, должна быть в перспективе преодолена. «Тенденция к созданию *мирового рынка*, — писал Маркс, — дана непосредственно в самом понятии капитала. Всякий предел выступает как подлежащее преодолению ограничение»²⁹. Марксистская теория государства может быть написана только тог-

да, когда все подобные жесткие барьеры будут преодолены и государство и капитал на самом деле сольются. Иными словами, закат национального государства является, по существу, кульминацией взаимодействия между государством и капиталом, полной реализацией потенциала их отношений. «Капитализм окончательно побеждает, — говорит Фернан Бродель, — когда он отождествляется с государством, когда он сам — государство»³⁰. Сегодня, вероятно, наконец-то стало возможно (если в этом еще есть необходимость) создать набросок двух недостающих томов Маркса; или, вернее, следуя духу его метода и обобщив его прозрения относительно государства и мирового рынка, можно попытаться написать работу, посвященную революционной критике Империи.

Исследования государства и мирового рынка становятся возможными в условиях Империи также и по другой причине: поскольку на данном этапе развития классовая борьба *напрямую* воздействует на организацию власти. Достигнув глобального уровня, капиталистическое развитие оказалось *напрямую*, без посредников, перед лицом масс. Поэтому диалектика — или, в действительности, наука о границах и их обустройстве — исчезает. Классовая борьба, подталкивающая национальное государство к уничтожению границ и, таким образом, к преодолению создаваемых ими ограничений, предполагает конституирование Империи как пространства для анализа и конфликта. Лишенная подобных препятствий, борьба приобретает открытый характер. Капитал и труд как антагонисты *напрямую* противостоят друг другу. А это является важнейшим условием любой политической теории коммунизма.

циклы

От империализма к Империи и от национального государства — к политическому регулированию глобального рынка: то, чему мы являемся свидетелями, с точки зрения исторического материализма, представляется переходом истории современности в новое качество. Когда мы не способны адекватно отобразить огромное значение подобного перехода, то, не напрягая творческое воображение, весьма незатейливо иногда определяем происходящее как вхождение в постсовременность. Мы осознаем скудость подобного описания, однако временами предпочитаем его остальным, поскольку термин «постсовременность» позволяет обозначить происходящий на наших глазах исторический сдвиг¹. Другие авторы тем не менее, похоже, недооценивают особенность нашего положения и сводят анализ к традиционным категориям циклического понимания истории. По их мнению, в настоящее время мы наблюдаем переход к очередной фазе регулярно повторяющихся циклов смены форм экономического развития и форм правления.

Нам известны многочисленные теории исторических циклов, начиная от теорий о формах правления, унаследованных нами от греко-римской античности, и заканчивая теориями циклического развития и заката цивилизаций авторов двадцатого века, таких, как Освальд Шпенглер и Хосе Ортега-и-Гассет. Без сомнения, между идеей Платона о циклической эволюции форм правления и апологией Римской империи у Полибия или между нацистской идеологией Шпенглера и строгим историцизмом Фернана Броделя существует огромное различие. Тем не менее мы находим сам этот метод как таковой совершенно неудовлетворительным, поскольку теория циклов в любом ее варианте кажется насмешкой над тем фактом, что история есть результат человеческих действий. Теория циклов навязывает истории объективный закон, управляющий намерениями и акциями сопротивления, поражениями и победами, радостью и страданиями людей. Или, что еще хуже, такая теория заставляет человека танцевать под дудку циклических структур, подчиняя им его действия.

Джованни Арриги применил методологию больших циклов в своем глубоком и захватывающем анализе «долгого двадцатого века»². Вначале автор сосредотачивается на вопросе о том, как кризис гегемонии Соединенных Штатов и процесса накопления в 1970-х гг. (свидетельствами чего выступали, например, отмена конвертируемости доллара в золото в 1971 году и поражение армии США во Вьетнаме) стал важнейшим поворотным моментом в истории мирового капитализма. Однако чтобы понять характер нынешнего переходного периода, Арриги считает необходимым сделать шаг назад и рассматривать этот кризис как один из моментов истории больших циклов капиталистического накопления. Следуя методологии Фернана Броделя, Арриги создает огромный исторический и аналитический аппарат, теорию четырех больших системных циклов капиталистического накопления, четырех «долгих веков», где Соединенные Штаты перенимают эстафету развития у Генуи, Голландии и Великобритании.

Обращение к истории позволяет Арриги показать, как все возвращается на круги своя и, в частности, как капитализм возвращается снова и снова. Следовательно, в кризисе 1970-х годов на самом деле нет ничего нового. То, что случилось с капиталистической системой, где сегодня ведущая роль принадлежит Соединенным Штатам, с британцами произошло сто лет назад, а ранее — с голландцами, и еще раньше — с генуэзцами. Кризис стал свидетельством переходного периода, служащего поворотным моментом на каждом очередном витке системного цикла накопления: от первой фазы материальной экспансии (инвестиций в производство) ко второй фазе финансовой экспансии (включая спекуляции). Подобный переход к финансовой экспансии, характеризующий экономику США с начала 1980-х годов, по мнению Арриги, всегда выступает знаком заката; он обозначает конец цикла. В частности он свидетельствует об окончании геге-

монии Соединенных Штатов в мировой капиталистической системе, поскольку завершение каждого большого цикла всегда знаменуется географическим смещением эпицентра системных процессов капиталистического накопления. «Подобные сдвиги, — пишет он, — случались в ходе всех кризисов и всех финансовых экспансий, отмечавших переход от одного системного цикла накопления к другому»*. Арриги утверждает, что Соединенные Штаты передали эстафету Японии, которая и станет лидером следующего большого цикла капиталистического накопления.

Мы не будем обсуждать, насколько прав Арриги в отношении заката гегемонии Соединенных Штатов и наступления века Японии. Нас более интересует то, что в контексте аргументации Арриги с позиции теории циклов невозможно распознать момент разрыва системы, изменение парадигмы, событие. Напротив, все должно двигаться по кругу, и, таким образом, история капитализма становится вечным возвращением. В конце концов, подобный анализ, основываясь на идее циклов, скрывает реальный двигатель кризисов и процессов структурных изменений. Хотя Арриги и проводит развернутое исследование положения рабочего класса и истории рабочего движения в различных странах мира, в контексте его работы и под грузом разработанного им исторического аппарата все равно создается впечатление, что кризис 1970-х годов был всего лишь частью объективных и неотвратимых циклов капиталистического накопления, а не результатом пролетарских и антикапиталистических выступлений как в господствующих, так и в зависимых странах. Аккумуляция этих выступлений и было двигателем кризиса, они определили условия и природу капиталистической реструктуризации. Более важной проблемой, нежели какие-либо исторические дебаты по поводу кризиса 1970-х годов, представляется нам вопрос о возможности качественного сдвига в настоящее время. Мы должны обнаружить, где в транснациональных сетях производства, процессах обращения на мировом рынке и в глобальных структурах капиталистического управления обозначены возможные разрывы и сосредоточены движущие силы будущего, не обреченные повторять прошлые циклы капитализма.

3.2 ДИСЦИПЛИНАРНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

Для капиталистической демократии представляется политически невозможным организовать расходы на уровне, необходимом для решающего эксперимента, который бы подтвердил мою мысль — кроме как в условиях военного времени.

Джон Мейнард Кейнс, 29 июля 1940 г.

Традиционный империализм — эксплуатация ради прибыли, переводимой из-за границы, — не входит в наши планы.

Президент Гарри С. Трумэн, 20 января 1949 г.

Первая значительная волна марксистского теоретического анализа империализма пришлась на период Первой мировой войны. Этот период также явился началом глубоких изменений в мировой капиталистической системе. Исходя из опыта революции 1917 года в России и первой великой империалистической войны, было очевидно, что капиталистическое развитие больше не могло быть таким, как раньше. Как мы сказали, существовал ясный выбор: мировая коммунистическая революция или преобразование капиталистического империализма в Империю. Капитал должен был ответить на этот вызов, но условия повсюду в мире не очень этому способствовали. В 1920-х гг. неравномерность капиталистического развития в империалистических государствах предельно обострилась. Рост и концентрация промышленного производства, которые достигли максимума в условиях войны, продолжались быстрыми темпами в ведущих капиталистических странах, а распространение тейлоризма сделало возможным резкое повышение производительности труда. Однако рациональная организация труда не привела к рационализации рынков, а напротив, лишь увеличила царящую на них анархию. В ведущих странах твердо установленная заработная плата стала выше, чем когда бы то ни было, в соответствии с фордистской моделью. Режим высокой и твердо установленной заработной платы частично стал ответом на угрозу, вызванную Октябрьской революцией, своеобразной прививкой от распространения болезни коммунизма. Между тем колониальная экспансия продолжалась с неослабевающей силой, и бывшие германские, австрийские и турецкие владения были в качестве трофеев поделены между державами-победительницами под сомнительным прикрытием Лиги Наций.

Это сочетание факторов послужило основой великого экономического кризиса 1929 г., являвшегося одновременно и кризисом чрезмерного инвестирования со стороны капиталистов, и кризисом недостаточного потребления со стороны пролетариата в ведущих капиталистических странах¹. Когда «черная пятница» на Уолл-Стрит официально положила начало кризису, власти столкнулись с общими проблемами капиталистической системы и необходимостью найти какое-то решение, если это все еще возможно было сделать. То, что им следовало бы предпринимать в Версале во время мирных переговоров — заниматься *причинами* межимпериалистической войны, а не просто наказывать проигравших², — сейчас приходилось делать в каждой отдельной стране. Капитализм нуждался в радикальной трансформации. Однако правительства ведущих капиталистических государств были не в состоянии справиться с этой задачей. В Великобритании и Франции реформ, по сути дела, не было, а несколько попыток приступить к ним были сорваны сопротивлением консерваторов. В Италии и Германии программа реорганизации капиталистических отношений в конечном счете вылилась в фашизм и нацизм³. В Японии капиталистический рост также принял форму милитаризма и империализма⁴. Только в Соединенных Штатах имели место капиталистические преобразования, выразившиеся в демократическом Новом курсе. Новый курс действительно стал отходом от существовавших прежде форм буржуазного регулирования экономического развития. Для нашего исследования значение Нового Курса измеряется не только его способностью перестроить производственные отношения и отношения власти в рамках одного ведущего капиталистического государства, но также, прежде всего, его влиянием на весь мир — влиянием, которое не было прямым или открыто выраженным, но тем не менее имело далеко идущие последствия. С Нового Курса начал свое развитие реальный процесс преодоления империализма, выхода за его пределы.

НОВЫЙ КУРС ДЛЯ ВСЕГО МИРА

В Соединенных Штатах Америки Новый курс опирался на сильную политическую субъективность, как широких масс населения, так и элиты. Развивавшиеся с начала XX века во взаимосвязи либеральное и популистское течения американского прогрессизма соединились вместе в программе действия президента Франклина Делано Рузвельта. Можно с полным основанием утверждать, что Рузвельт разрешил противоречия американского прогрессизма, сумев соединить империалистическое призвание американского государства и реформистский капитализм, представленные соответственно Теодором Рузвельтом и Вудро Вильсоном⁵. Субъективность сыграла решающую роль в трансформации американского капитализма

и обновлении американского общества в процессе этих изменений. Государству отводилась роль не только посредника в конфликтах, но также и двигателя социального развития. Изменение юридической структуры государства привело в движение процедурные механизмы, сделавшие доступным реальное политическое участие и выражение своего мнения для широкого круга общественных сил. Государство начало играть центральную роль в регулировании экономики, и кейнсианство стало основой кредитно-денежной политики и регулирования трудовых отношений. За счет этих реформ американский капитализм значительно продвинулся вперед, развившись в систему с высоким уровнем заработной платы и потребления, но в то же время обладающую высоким конфликтным потенциалом. В ходе этого развития сложилась триада, составившая впоследствии основу «государства благосостояния» эпохи современности: синтез тейлоризма в сфере организации труда, фордизма в области режима заработной платы и кейнсианства в макроэкономическом регулировании жизни общества*. Это было не государство всеобщего благосостояния, бывшее результатом экономической и социальной политики, сочетавшей в себе социальную помощь и империалистические побуждения, как в Европе, а скорее государство, пронизывавшее своим вмешательством всю сферу общественных отношений, установившее дисциплинарный режим, сочетавшийся с широкомасштабным участием в процессе накопления. Это был капитализм, который стремился быть прозрачным и регулируемым со стороны государства, осуществлявшего либеральное планирование в экономике.

Необходимо подчеркнуть, что наша апология государству благосостояния Рузвельта носит несколько преувеличенный характер с целью доказать наш основной тезис: модель Нового курса (ставшая ответом на общий для всех ведущих капиталистических государств после Первой мировой войны кризис) являлась первым проявлением мощной субъективности, ведущей к созданию Империи. Новый Курс создал наивысшую форму *дисциплинарного* управления. Когда мы говорим о дисциплинарном управлении, мы ссылаемся не просто на организующие его юридические и политические формы. Прежде всего мы опираемся на то обстоятельство, что в подобной системе общество со всеми его компонентами производства и воспроизводства находится под управлением капитала и государства и что система управления развитием общества постепенно, но неуклонно выстраивается, исходя исключительно из критериев капиталистического производства. *Таким образом, дисциплинарное общество является своего рода обществом-фабрикой*⁷. Дисциплинарность является одновременно и формой производства, и формой правления, так что понятия дисциплинарного производства и дисциплинарного общества практически полностью совпадают. В этом новом обществе-фабрике производящие субъекты выступают как одномерные функции экономического развития. Внешние

очертания, структуры и иерархии разделения общественного труда определяются все детальнее и охватывают все более широкие социальные слои, в то время как гражданское общество все больше поглощается государством: новые правила подчинения и дисциплинарный капиталистический режим распространяются по всей плоскости социального пространства⁸. Именно в тот момент, когда дисциплинарный строй достигает своего наивысшего развития и наиболее полного осуществления, он проявляется как предел социальной организации, как общество, находящееся в процессе преодоления самого себя. Конечно же, это происходит в значительной степени благодаря движущему механизму, стоящему за этим процессом, субъективной динамике сопротивления и протеста, к которой мы вернемся в следующем разделе.

Модель Нового курса в то время являлась прежде всего процессом, характерным для политической жизни США, ответом на внутренний экономический кризис, но она также стала знаменем американской армии в годы Второй мировой войны. Есть разные объяснения, почему США вступили в войну. Рузвельт всегда утверждал, что был вовлечен в войну против своей воли самой динамикой международных отношений. Кейнс и другие экономисты, напротив, полагали, что именно потребности Нового курса, столкнувшегося, как это было в 1937 году, с новым типом кризиса и подвергнувшегося политическому давлению требований рабочих, вынудили американское правительство избрать путь войны. Оказавшись перед лицом борьбы, которую вели другие государства за новый передел мирового рынка, Америка не могла избежать войны, в особенности потому, что с принятием политики Нового курса американская экономика вступила в новую фазу экспансии. В любом случае, вступление США во Вторую мировую войну неразрывно связало Новый курс с кризисом европейского империализма и вывело его на сцену миропорядка как альтернативную, наследующую империализму модель. С этой точки зрения последствия реформ Нового курса ощущались по всему миру.

Сразу после окончания войны многие рассматривали Новый курс как единственный путь к возрождению всего мира (под миролюбивой опекой американской гегемонии). Как писал один американский комментатор, «только Новый Курс для всего мира, более последовательный и твердый, чем наш нерешительный Новый курс, может предотвратить наступление Третьей мировой войны»⁹. Программы экономического возрождения, инициированные после Второй мировой войны, на самом деле вынудили все ведущие капиталистические государства — и выигравших войну союзников, и страны, потерпевшие поражение, — принять экспансионистскую модель дисциплинарного общества, в соответствии с принципами Нового курса. Предшествовавшие ему европейские и японская формы государственной социальной помощи и развития корпоративного государства (и

в либеральном, и в национал-социалистическом вариантах) были, таким образом, значительно видоизменены. Появилось «социальное государство», а в действительности глобальное дисциплинарное государство, которое более широко и глубоко учитывало жизненные циклы населения, организуя производство и воспроизводство в соответствии с условиями коллективного соглашения, закрепленного стабильной кредитно-денежной политикой. По мере установления американской гегемонии доллар занял господствующее положение. Распространение доллара (за счет принятия Плана Маршалла в Европе и экономического возрождения в Японии) было неизбежным шагом на пути послевоенного восстановления; установление гегемонии доллара (основанной на Бреттонвудских соглашениях) было тесно связано со стабильностью всех прочих эквивалентов стоимости; а американское военное могущество определяло в отношении каждой из ведущих или второстепенных капиталистических стран предел отпущенного им суверенитета. Вплоть до 1960-х гг. эта модель совершенствовалась и расширяла сферу своего охвата. Это был Золотой век преобразований мирового капитализма в соответствии с политикой Нового курса¹⁰.

ДЕКОЛОНИЗАЦИЯ, ДЕЦЕНТРАЦИЯ И ДИСЦИПЛИНА

В результате реализации программы экономических и социальных реформ, осуществлявшихся в условиях американской гегемонии, империалистическая политика ведущих капиталистических государств в послевоенный период претерпела изменения. Новая ситуация на мировой арене определялась и формировалась главным образом тремя механизмами, или аппаратами: и) процессом деколонизации, который постепенно создал новую иерархию мирового рынка во главе с Соединенными Штатами; г) последовательной децентрализацией производства; и з) построением системы международных отношений, которая распространила по всему миру дисциплинарный режим производства и дисциплинарное общество с их последующими видоизменениями. Каждый из этих трех аспектов означает шаг в эволюции от империализма к Империи.

Деколонизация, первый механизм, безусловно, была жестокой и мучительной. Мы уже касались этого вкратце в Разделе 2.3 и рассмотрели решающие моменты этого процесса с точки зрения борющихся колонизированных народов. В этом разделе нам предстоит взглянуть на историю процесса деколонизации с позиций господствующих держав. Колониальные владения разгромлены Германии; Италии и Японии, конечно же, полностью исчезли или были поглощены другими государствами. К этому времени, однако, и реализация колониальных проектов государств-победителей (Великобритании, Франции, Бельгии и Голландии) остановилась¹¹. Наряду с ростом освободительного движения в колониях, блокированию

этих проектов способствовало биполярное разделение мира между США и Советским Союзом. Антиколониальные движения также немедленно попали в железные тиски «холодной войны», и хотя они направляли свои усилия прежде всего на борьбу за независимость, одновременно они были вынуждены вести переговоры с обоими враждующими лагерями¹². Слова президента Трумэна, сказанные им во время кризиса в Греции в 1947 году, оставались справедливыми относительно антиколониального и постколониального движения на всем протяжении «холодной войны»: «В нынешний момент всемирной истории практически каждый народ должен выбирать между альтернативными путями развития»¹³.

Таким образом, последовательный ход процесса деколонизации был нарушен необходимостью выбора глобального противника и равнения на одну из двух моделей миропорядка. США, которые в целом поддерживали процесс деколонизации, были вынуждены в условиях «холодной войны» и поражения старых империалистических государств взять на себя ведущую роль защитника капитализма во всем мире и, следовательно, принять сомнительное наследство прежних колонизаторов. Таким образом, и со стороны борцов с колониализмом, и со стороны Америки процесс деколонизации искажался и направлялся в сторону от своего первоначального пути развития. США унаследовали мировой порядок, формы правления которого находились в противоречии с их собственным конституционным проектом, их имперской формой суверенитета. Вьетнамская война стала последним эпизодом принятия Америкой сомнительного наследства старых империалистических одеяний, она несла риск заблокировать любую возможность появления имперского «нового фронта» (см. Раздел 2.5). Эта фаза была последним препятствием на пути развития нового имперского устройства, должного в конечном счете быть созданным на руинах традиционного империализма. После Вьетнамской войны шаг за шагом формировался новый мировой рынок — мировой рынок, разрушивший четкие границы и иерархические порядки европейского империализма. Иными словами, завершение процесса деколонизации означало создание новой мировой иерархии отношений господства — и ключи от этой системы прочно держала в своих руках Америка. Горькая и полная жестокостей история первого периода деколонизации перешла во вторую фазу, в которой господствующая сила реализовывала свою власть посредством не столько военной мощи, сколько доллара. Это был громадный шаг к созданию Империи.

Второй механизм определяется процессом децентрации производства и товарных потоков¹⁴. Здесь, как и в случае с деколонизацией, послевоенный период делится на две фазы. Первая, неоколониальная, состояла в продолжении существования старых иерархических империалистических порядков и в поддержании, если не в усилении, механизмов неэквивалент-

/
№ •'
I, •
'
\ i
\
i
|

ного обмена между зависимыми регионами и господствовавшими национальными государствами. Это была кратковременная, переходная фаза, и в течение двадцати лет ситуация коренным образом изменилась. К концу 1970-х гг. или даже к моменту окончания Вьетнамской войны транснациональные корпорации начали развивать свою деятельность практически по всему миру, в каждом уголке нашей планеты. Эти корпорации стали основной движущей силой экономического и политического преобразования постколониальных государств и зависимых регионов. В первую очередь, они способствовали передаче технологий, которые требовались для создания новой производственной базы зависимых государств. Во-вторых, они мобилизовывали рабочую силу и местные производственные мощности в этих странах; и наконец, транснациональные корпорации концентрировали финансовые потоки, которые на новой расширенной основе начали обращаться по всему миру. Эти многочисленные потоки стали сходиться в основном в США, которые, когда не управляли напрямую, гарантировали и координировали продвижение и деятельность транснациональных корпораций. Это был решающий этап становления Империи. Благодаря деятельности транснациональных корпораций процессы усреднения и выравнивания нормы прибыли были изъяты из компетенции ведущих национальных государств. Более того, формирование капиталистических интересов, связанных с новыми постколониальными государствами, отнюдь не препятствовавшими проникновению транснациональных корпораций на свою территорию, осуществлялось самими этими корпорациями и вырабатывалось под их контролем. Благодаря децентрации производственных потоков сложились новые региональные экономики и начало формироваться новое всемирное разделение труда¹⁵. Глобальный порядок еще не существовал, но определенный порядок уже формировался.

Наряду с процессом деколонизации и децентрации производственных потоков третий механизм заключался в распространении дисциплинарных форм производства и управления по всему миру. Этот процесс был крайне неоднозначным. В постколониальных государствах дисциплина требовала, в первую очередь, превратить масштабное участие населения в освободительном движении в вовлеченность в процесс производства. По всему миру крестьян отрывали от их полей и деревень и бросали в горнило мирового производства¹⁶. Идеологическая модель, исходившая от господствующих стран (в особенности от США), состояла в сочетании практики фордизма в сфере режима заработной платы, тейлоризма — в сфере организации труда и «государства благосостояния», наделенного модернизирующей, патерналистской и защитной функциями. С точки зрения капитала, идеальным вариантом этой модели была бы ситуация, когда практически каждый рабочий мира, полностью дисциплинированный, был бы взаимозаменяемым в общемировом процессе производства — глобальная

фабрика-общество и фордизм в глобальном масштабе. Высокий уровень заработной платы, характерный для системы фордизма, в сочетании с государственным социальным обеспечением был представлен как компенсация рабочим за их согласие с капиталистической дисциплинарностью и работой на всемирной фабрике. Однако необходимо подчеркнуть, что эти специфические производственные отношения, которые развивались в господствующих странах, никогда не были реализованы в тех же формах в подчиненных регионах мировой экономики. Система высокой заработной платы, отличающая фордизм, и широкая социальная поддержка, характеризующая «государство благосостояния», были реализованы лишь частично и для ограниченной части населения в капиталистических странах зависимого пути развития. В действительности их и не предполагалось реализовать: обещания этих благ были в большей степени идеологической приманкой, призванной обеспечить достаточный консенсус в обществе для осуществления планов модернизации страны. Подлинным содержанием усилий, подлинной отправной точкой на пути к современности было распространение дисциплинарного порядка на все сферы общественного производства и воспроизводства, что и оказалось на деле достигнуто.

Лидеры социалистических государств соглашались по существу с этим дисциплинарным проектом. Известный энтузиазм Ленина в отношении тейлоризма был позднее превзойден модернизационными проектами Мао Цзедун¹⁷. Официальный социалистический взгляд на пути деколонизации также соответствовал внутренней логике, диктуемой капиталистическими транснациональными корпорациями и международными организациями: каждое постколониальное правительство должно создать рабочую силу, адекватную требованиям дисциплинарного режима. Многие экономисты, придерживавшиеся социалистических взглядов (особенно те из них, кто отвечал за экономическое планирование в недавно освободившихся от колониализма странах), утверждали, что индустриализация являлась неизбежным путем развития последних¹⁸, и перечисляли преимущества распространения «периферийных фордистских» экономик". В действительности эти преимущества были мнимыми, и иллюзии по их поводу сохранялись недолго, но это не могло значительно изменить направление движения бывших колониальных стран по пути модернизации и насаждения норм дисциплинарного общества. Казалось, что это был единственный путь, открытый для них²⁰. Дисциплинарность господствовала повсюду в мире.

Эти три механизма — деколонизация, децентрация производства и дисциплинарность — характеризуют имперскую власть Нового курса и показывают, насколько далеко он вышел за пределы традиционной практики империализма. Безусловно, создатели политики Нового курса в США в 1930-х гг. никогда не предполагали такого широкого применения сво-

их идей, но уже в 1940-е гг., в ходе войны, мировые лидеры начали понимать роль и силу этой политики в установлении глобального экономического и политического порядка. Ко времени инаугурации президента Гарри Трумэна последний осознал, что традиционному империализму в европейском духе в конечном счете нет места в планах его администрации. Новая эпоха предлагала новые решения.

ВХОЖДЕНИЕ В СОВРЕМЕННОСТЬ И УХОД ИЗ НЕЕ

Холодная война была определяющим фактором на мировой арене в период деколонизации и децентрализации, но, с точки зрения сегодняшнего дня, складывается впечатление, что ее роль была вторичной. Хотя тотальное противостояние холодной войны сдерживало и реализацию американской имперской парадигмы, и сталинского проекта социалистической модернизации, на самом деле это были лишь незначительные компоненты общего процесса. Подлинно значимым элементом, влияние которого во многом превосходит историю холодной войны, было величайшее преобразование бывших колониальных стран Третьего мира, протекавшее под видом модернизации и развития. В конечном счете этот процесс был относительно независимым от динамики и ограничений холодной войны, и можно с уверенностью утверждать *postfactum*, что в странах Третьего мира соперничество между двумя мировыми блоками только ускорило процесс освобождения.

Безусловно, справедливо утверждение, что в странах Третьего мира элиты, возглавлявшие антиколониальную и антиимпериалистическую борьбу, были идеологически связаны с одной или другой стороной в холодной войне, и в любом случае они определяли массовое стремление к освобождению в терминах модернизации и развития. Однако для нас, стоящих на переднем крае современности, нетрудно осознать трагическое отсутствие какой бы то ни было перспективы в переходе от освобождения к модернизации. Миф о современности — и, следовательно, о суверенитете, нации, дисциплинарной модели и т. д. — был, в сущности, исключительно идеологией элит, но это далеко не самый важный фактор в этом процессе.

Революционные освободительные движения, predeterminedенные настроениями масс, на самом деле вышли за рамки идеологии модернизации и явили в этом процессе новое, необычайно мощное производство субъективности. Эта субъективность не умещалась ни в рамки биполярных отношений между США и СССР, ни в рамки двух противостоящих систем, которые просто воспроизводили формы господства, характерные для периода современности. Когда Неру, Сукарно и Чжоу Эньлай встретились на Бандунгской конференции 1955 г. или когда в 1960-е гг. образовалось движение неприсоединения, участники этих событий стремились не столько

заявить о крайней нищете своих народов или выразить надежду на повторение славного пути современности, сколько продемонстрировать колоссальный потенциал освобождения, созданный населением угнетенных стран²¹. Этот аспект движения неприсоединения стал первым проявлением всеобщего стремления к освобождению.

Вопрос о том, что делать после освобождения, чтобы не попасть в зависимость от одного или другого лагеря участников холодной войны, оставался неразрешенным. В противоположность этому, совершенно очевидными и полными неиспользованного потенциала были силы субъективности, тяготевшие к выходу за пределы современности. Утопический образ Советской и Китайской революций как альтернативных путей развития исчез, когда стало ясно, что они не могут продвигаться дальше, когда они не смогли найти путь выхода за пределы современности. Американская модель развития казалась столь же недоступной, поскольку в послевоенный период США выступали больше как полицейская сила в духе старого империализма, а не как провозвестник новой надежды. Борьба угнетенных народов за освобождение оставалась взрывоопасной и необузданной смесью. К концу 1960-х гг. освободительные выступления, влияние которых ощущалось в каждом уголке мира, набрали силу, мобильность и гибкость проявления, что, по сути, направило корабль капиталистической модернизации (и в его либеральном, и в социалистическом вариантах) в открытое море, где он потерял ориентиры. За фасадом биполярного раздела мира между США и СССР можно было различить одну-единственную дисциплинарную модель, против которой боролись многочисленные движения, — в формах, достаточно неопределенных и затемняющих их смысл, но тем не менее реальных. Эта необычайно мощная и новая субъективность взывала к смене парадигмы развития и делала такую смену необходимой.

В этот момент стала очевидной неадекватность теории и практики суверенитета времен современности. К 1960-м и 1970-м годам, несмотря на то, что модель дисциплинарной модернизации восторжествовала по всему миру, а политика «государства благосостояния», внедренная ведущими странами, приобрела неодолимую притягательность и была наивно провозглашена лидерами зависимых стран, — даже в этом новом мире, пронизанном единой сетью средств массовой информации и транспорта, механизмы суверенитета эпохи современности более не подходили для того, чтобы справиться с проявлением сил новой субъективности. Здесь необходимо отметить, что по мере того, как выработанная современностью парадигма суверенитета теряла свою эффективность, классические теории империализма и антиимпериализма также утратили всю объяснительную силу, которой они обладали. В целом эти теории рассматривали пути преодоления империализма как процесс, развивающийся параллельно с пара-

дигмой модернизации и обретения суверенитета в его современном понимании. Но в действительности имел место обратный процесс. Обретшие массовость субъективности — население в целом, угнетенные классы, — вступив на путь модернизации, начали видоизменять и преодолевать его. В тот самый момент, когда освободительные движения были включены в мировой рынок и заняли на нем подчиненное положение, они осознали неприятный и трагический для них основной принцип суверенитета периода современности. Эксплуатация и господство не могли больше существовать в том виде, в котором они существовали в эпоху современности. Когда эти новые и огромные по своим силам субъективности появились на свет благодаря деколонизации и столкнулись с миром современности, они осознали, что *главной задачей является не вхождение в современность, а выход за ее пределы.*

К НОВОЙ ПАРАДИГМЕ ГЛОБАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

Происходила смена парадигмы мирового экономического и политического порядка. Важным элементом этого процесса было то, что мировой рынок как структура иерархии и управления обрел большее значение во всех сферах и регионах, где раньше действовали старые империалистические государства. Мировой рынок занял положение главного узла в аппарате, призванном регулировать глобальные сети обращения. Это объединение произошло сначала только на формальном уровне. Процессы, зародившиеся на конфликтном пространстве освободительных движений и охватывающие все новые сферы капиталистического обращения, не были безусловно и изначально способны вписаться в новую структуру мирового рынка. Интеграция происходила неравномерно и с различной скоростью. В разных регионах и даже в рамках одного и того же региона сосуществовали разные формы организации труда и производства, а также различные системы общественного воспроизводства. То, что могло показаться упорядоченной центральной осью перестройки структуры мирового производства, на самом деле было раздроблено на тысячу отдельных фрагментов, и объединительный процесс повсюду протекал изолированно. Будучи далеко не одномерным, процесс преобразования и объединения контроля над производством являлся, по сути, стремительным развитием бесчисленных вариантов производственных систем. Процесс консолидации мирового рынка парадоксальным образом развивался за счет многообразия и диверсификации, но, несмотря на это, он был реальным.

Тенденция к консолидации мирового рынка имела несколько важных последствий. С одной стороны, широкий перенос из господствующих регионов мира дисциплинарной модели организации труда и всего общества породил в остальных его частях странный эффект сходства, одновременно

и приближающий остальной мир к ведущим странам, и изолирующий его от них в своеобразном гетто. То есть освободительные движения оказывались «победителями», но тем не менее попавшими в гетто мирового рынка — гигантское гетто с неопределенными границами, город трущоб, фавеллу'. С другой стороны, большое количество людей на себе ощутили *освобождение в сфере оплаты труда*, являвшееся результатом этих процессов. Освобождение в сфере оплаты труда означало включение значительных масс трудящихся в сферу действия дисциплинарного режима капиталистического производства, характерного для современности, будь то на фабрике, в поле или на каком-то ином участке общественного производства, и, следовательно, эти люди были освобождены от того полузависимого состояния, которое поддерживал империализм. Переход к системе фиксированной заработной платы мог (и так было на самом деле) сопровождаться кровопролитием; он мог порождать (и порождал в действительности) системы жестокого подавления; но даже в лачугах новых городов трущоб и фавелах система твердо установленной заработной платы определила появление новых потребностей, устремлений и требований. Например, крестьяне, ставшие наемными сельскохозяйственными рабочими и подчиненные дисциплине новой организации труда, во многих случаях страдали от плохих условий жизни, и нельзя утверждать, что они были более свободны, чем традиционные сельскохозяйственные труженики, подчиненные власти земельных собственников, но они были в то же время воодушевлены новым *стремлением к освобождению*. Когда в рамках дисциплинарного строя намечалась тенденция к созданию мирового рынка рабочей силы,

появилась также и возможность существования его противоположности. Появилось желание уйти от этого дисциплинарного строя, и возникла тенденция формирования не подчиненных дисциплине множества рабочих, стремящихся оставаться свободными.

Возрастающая мобильность больших групп мирового пролетариата — еще одно важное последствие проявляющейся тенденции консолидации мирового рынка. В противоположность старым империалистическим режимам, в которых направления трудовой мобильности регулировались преимущественно отношениями вертикальной подчиненности — между колонией и метрополией, новый мировой рынок сделал доступным более широкие горизонтальные связи. Становление мирового рынка, организованного в соответствии с дисциплинарной моделью, сопровождается напряженностью, открывающей для мобильности все направления; это проникающая мобильность, являющаяся скорее ризоматической, чем древовидной. В данном случае мы заинтересованы не только в том, чтобы дать феноменологическое описание существующей ситуации, но также в том, чтобы указать возможные пути развития данной ситуации. Новая проникающая мобильность подчиненной дисциплинарным нормам рабо-

чей силы очень значима, поскольку она указывает на подлинное и мощное стремление к свободе и на формирование нового желания, желания перемещений, которые не могут ограничиваться и контролироваться в рамках дисциплинарного режима²². Действительно, многие трудящиеся во всем мире вовлекались в насильственные миграции, протекавшие при ужасных обстоятельствах, которые с большой натяжкой можно назвать приносящими освобождение. Верно также, что эти миграции редко повышали стоимость рабочей силы, а чаще всего даже понижали ее, способствуя усилению конкуренции в среде рабочих. Однако эта мобильность дорого стоит капиталу — ее цена растущее желание освобождения.

Новая мобильность, появившаяся вследствие установления в глобальном масштабе капиталистической дисциплинарной парадигмы, имеет ряд макроэкономических последствий. Мобильность населения делает крайне сложным управление национальными рынками (в особенности национальными рынками труда) по отдельности. Адекватное поле для применения капиталистических методов управления более не ограничивается национальными границами или традиционными международными разграничительными линиями. Трудящиеся, бегущие из стран Третьего мира в развитые в поисках работы и достатка, способствовали разрушению границ между этими двумя мирами. Третий мир не исчез совсем в ходе объединения мирового рынка, а стал частью Первого мира, стал гетто, городом трущоб, фавелой в самом его сердце, появляясь там вновь и вновь. Первый мир, в свою очередь, перешел в Третий мир в форме бирж и банков, транснациональных корпораций и холодных небоскребов денег и управления. И экономическая, и политическая география в равной степени видоизменены таким образом, что разграничительные линии между различными зонами сами по себе стали нестабильными и подвижными. В результате весь мировой рынок все больше представляется единой взаимосвязанной сферой эффективного применения капиталистического управления и принуждения.

Это знаменовало момент, когда капиталистические режимы должны были подвергнуться реформам и видоизменению для того, чтобы обеспечить свою способность организовывать мировой рынок. Данная тенденция четко проявляется только в 1980-х гг. (а определенные формы обретает только после краха советской модели модернизации), но уже со времени появления ее основные черты были ясно различимы. Должен был быть создан новый механизм всеобъемлющего контроля глобального процесса — механизм, способный политически координировать новую динамику глобального капиталистического пространства и субъективные параметры его отдельных игроков; он должен был быть в состоянии связать имперский характер управления и проникающую мобильность управляемых. В следующем разделе мы рассмотрим историю реализации этого процесса и, та-

ким образом, обратимся непосредственно к созданию аппарата глобального управления.

РЕАЛЬНОЕ ПОДЧИНЕНИЕ И МИРОВОЙ РЫНОК

Перед тем, как двинуться дальше, общая логика нашего исследования требует более подробно рассмотреть взаимоотношения между тенденцией к созданию мирового рынка и парадигмой дисциплинарного производства и управления. Почему распространение дисциплинарных режимов по всему миру *является* решающим моментом рождения Империи? Мы можем дать ответ на этот вопрос, соединив принадлежащие Марксу описание фаз капиталистического подчинения общества и анализ тенденции к образованию мирового рынка. Оба процесса, в сущности, сходятся в определенной точке, иначе говоря, капиталистическое подчинение общества окончательно оформляется с созданием мирового рынка.

Ранее мы видели, что практика империализма предполагала превращение капиталом внешнего пространства во внутреннее, являясь, следовательно, процессом *формального подчинения* труда капиталу. Маркс использует термин «формальное подчинение» для обозначения процессов, при помощи которых капитал объединяет в рамках своих производственных отношений трудовую практику, возникшую вне его собственной области²³. Таким образом, процессы формального подчинения, по сути, связаны с расширением области капиталистического производства и капиталистических рынков. В определенный момент, когда капиталистическая экспансия достигает своего предела, процессы формального подчинения *более не* могут играть главную роль. Процессы *реального подчинения* труда капиталу не зависят от существования внешнего пространства и не включают в себя описанную выше экспансию. Благодаря процессам реального подчинения, интеграция труда и капитала под началом последнего становится скорее интенсивной, нежели экстенсивной, а развитие общества еще в большей степени определяется капиталом. Конечно же, процессы реального подчинения могут развиваться и без *наличия* мирового рынка, но полностью выстроенный мировой рынок без этих процессов существовать не может. Другими словами, построение мирового рынка и общее выравнивание или, по крайней мере, управление нормами прибыли в мировом масштабе не могут быть просто результатом действия финансовых факторов или кредитно-денежной политики, но могут быть достигнуты только путем преобразования общественных и производственных отношений. Дисциплина является центральным механизмом такого преобразования. Когда формируется новая общественная реальность, которая объединяет в единый процесс развитие капитала и пролетаризацию населения, политическая форма управления должна быть сама по себе изменена и выраже-

на в виде и форме, соответствующим этому процессу, — в виде мирового дисциплинарного квазигосударства.

Догадки Маркса относительно процессов реального подчинения не могут в полной мере помочь нам. Переход от формального подчинения к реальному требует объяснения через активную деятельность субъектов. Другими словами, доведенная до предела дисциплинарность, возникающая вследствие распространения в глобальном масштабе тейлоризации трудовых процессов, не может в действительности определить потребность в новой форме управления, кроме как через самовыражение активных социальных субъектов. Глобализация рынков, далеко не будучи просто страшным порождением капиталистического предпринимательства, была, по сути, результатом реализации желаний и потребностей рабочей силы тейлористского, фордистского и дисциплинарного типа во всем мире. В этом отношении процессы формального подчинения предвосхитили и довели до зрелого состояния реальное подчинение не потому, что последнее было их порождением (во что, похоже, верил сам Маркс), а потому, что в формальном подчинении были заложены условия для освобождения и борьбы, которую только реальное подчинение и могло контролировать. Активность наделенных желанием субъектов подстегивала ход этого процесса и явственно показывала, что пути назад уже не было. В ответ на эти действия и в господствующих, и в зависимых странах должна была быть установлена новая форма контроля — для того, чтобы управлять тем, что более не поддавалось контролю средствами дисциплинарной системы.

ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ НАКОПЛЕНИЕ

Как раз в то время, когда пролетариат, казалось бы, исчезает с мировой арены, он становится главным действующим лицом труда. Это утверждение в действительности не столь парадоксально, как это может показаться. То, что действительно исчезло, так это господствующее положение промышленного рабочего класса, который, при этом, не исчез и даже не уменьшился количественно — он просто утратил свое лидирующее положение и переместился географически. Мы, однако, понимаем под «пролетариатом» не только промышленный рабочий класс, но и включаем сюда всех тех, кто находится в зависимом положении, подвергается эксплуатации и трудится под властью капитала. С этой точки зрения по мере того, как капитал распространяет на весь мир сферу своих производственных отношений, все формы труда оказываются пролетаризованными. В любом обществе, повсюду в мире пролетариат во все большей мере становится олицетворением общественного труда.

Маркс описывал процесс пролетаризации с точки зрения первоначального накопления — накопления исходного или предварительного, необхо-

димого для возникновения капиталистического производства и воспроизводства. Необходимо не только накопление богатства или собственности, но и общественное накопление, то есть появление капиталистов и пролетариев. Следовательно, необходимые для этого исторические условия включают прежде всего отделение непосредственного производителя от средств производства. Для Маркса было достаточно описать английский пример подобной социальной трансформации, поскольку Англия представляла собой «высшую точку» капиталистического развития того времени. В Англии, поясняет Маркс, пролетаризация была совершена сначала за счет огораживаний общинных земель и вытеснения крестьян с их наделов, а затем — за счет жестокого преследования бродяжничества. Таким образом, английские крестьяне были «освобождены» от всех средств к существованию и согнаны в новые фабричные города, подготовлены к наемной работе и дисциплине капиталистического производства. Главная движущая сила образования класса капиталистов, наоборот, лежала вне Англии, ее составляла торговля, — а, по существу, завоевательные войны, работорговля и колониальная система. «Сокровища, добытые за пределами Европы посредством прямого грабежа, порабощения туземцев, убийств, — писал Маркс, — притекали в метрополию и тут обращались в капитал»*. Небывалый приток богатства превосходил возможности старых феодальных производственных отношений. Английские капиталисты пришли к идее создания нового режима управления, который мог бы эксплуатировать эти новые богатства.

Однако было бы ошибкой считать английский опыт появления пролетариата и капиталистов показательным для всех других случаев. В течение последних трех столетий, когда капиталистические отношения в производстве и воспроизводстве распространились по всему миру, хотя первоначальное накопление и включало всегда отделение непосредственного производителя от средств производства, таким образом создавая классы пролетариев и капиталистов, процесс социальной трансформации тем не менее неизменно носил уникальный характер. В каждом отдельном случае предшествовавшие общественные и производственные отношения были различными, разным был процесс перехода, и даже сами формы складывавшихся капиталистических производственных отношений и, в особенности, отношений воспроизводства различались в соответствии со специфическими культурными и историческими отличиями.

Несмотря на эти важные различия, представляется целесообразным сгруппировать все известные эпохе современности варианты первоначального накопления в соответствии с двумя общими моделями, которые отражают взаимоотношения между богатством и господством, внутренним и внешним факторами. Во всех случаях первоначальное накопление капитала требует нового сочетания богатства и господства. Для пер-

вой модели, которую Маркс описал применительно к Англии и которая в общих чертах подходит для Европы в целом, характерно то, что богатства, необходимые для первоначального накопления, попадают в страну извне (из колоний), а господство выступает результатом внутреннего развития (благодаря эволюции производственных отношений в Англии и в Европе в целом). В соответствии со второй моделью, которая характеризует большинство процессов первоначального накопления, протекавших в период современности за пределами Европы, ситуация меняется зеркальным образом, так, что новые богатства появляются внутри страны, а господство приходит извне (как правило, в виде европейского капитала). Перестановка мест богатств и господства, внутреннего и внешнего факторов в этих двух моделях приводят к целому ряду различий в экономических, политических и социальных структурах капитала во всем мире. Многие из таких различий, вытекающих из существования двух указанных моделей, были адекватно описаны представителями теории экономической отсталости в терминах центральных и периферийных капиталистических структур².

С выходом за пределы современности, с переходом к постсовременности процесс первоначального накопления на самом деле продолжается. Первоначальное накопление — не такой процесс, который совершается один раз и затем существует как данность; скорее, капиталистические производственные отношения и общественные классы должны воспроизводиться непрерывно. Изменилась модель, или способ первоначального накопления. Прежде всего, сочетание внешних и внутренних факторов, определяющее две модели первоначального накопления эпохи современности, постепенно становится иным. Еще более важным было изменение природы труда и аккумулировавшихся богатств. В наши дни накапливаемое общественное богатство носит все более аматериальный характер; оно включает социальные отношения, инфраструктуру, информацию и эмоциональные связи между людьми. Соответственно и общественный труд становится все более аматериальным по своей природе; он одновременно производит и воспроизводит абсолютно все стороны общественной жизни. В то время как образ пролетариата становится главным образом труда, предмет его труда также приобретает всеобщий характер. Общественный труд порождает самужизнь.

Следует подчеркнуть ведущую роль, которую сегодня играет накопление информации в процессе первоначального накопления и еще большего обобществления производства. С появлением новой информационной экономики для того, чтобы имело место капиталистическое производство, необходимо определенное накопление информации. Информация несет через свои каналы распространения и богатство, и управление производством, разрушая ранее существовавшие представления о внутреннем и внешнем

пространствах, а также уменьшая роль временного фактора, прежде определявшего первоначальное накопление. Другими словами, информационное накопление (как и первоначальное накопление, проанализированное Марксом) разрушает или, по крайней мере, деформирует ранее существовавшие производственные отношения, но (в отличие от первоначального накопления Маркса) оно немедленно интегрирует производственные процессы, протекающие в его собственных каналах распространения, и обеспечивает в различных областях общественного производства высочайшую степень производительности. Временная последовательность развития, таким образом, предельно сжимается, поскольку все общество стремится быть интегрированным тем или иным образом в сетевую структуру информационного производства. Информационные сети изменяются в сторону одновременности общественного производства. Поэтому революция информационного накопления требует гигантского скачка в сторону большего обобществления производства. Это увеличившееся обобществление, наряду с уменьшением социального пространства и значения временного фактора, является процессом, который, без сомнения, приносит капиталу возросшую производительность, но в то же время обозначает преодоление эры господства капитала и становление нового способа производства.

3.3 СОПРОТИВЛЕНИЕ, КРИЗИС, ТРАНСФОРМАЦИЯ

Непрерывность борьбы обеспечивается просто: рабочим нужны только они сами и начальник перед ними. Но непрерывность организации является редким и сложным явлением: как только происходит ее институционализация, ее сразу же начинает использовать капитализм или рабочее движение на службе капитализма

Марио Тронти

«Новые левые» появились... из вертящихся бедер Элвиса [Пресли]

Джерри Рубин

Ранее мы определили войну во Вьетнаме как отклонение от американского конституционного проекта и стремления к Империи. В то же время война была выражением желания свободы со стороны вьетнамцев, выражением крестьянской и пролетарской субъектности — важнейшим примером сопротивления одновременно последним проявлениям империализма и международному дисциплинарному режиму. Война во Вьетнаме является подлинным поворотным моментом в истории капитализма наших дней, в том смысле, что вьетнамское сопротивление представляется символом целого ряда решительных выступлений по всему миру, которые до этого времени оставались изолированными и далекими друг от друга. Крестьянство, находящееся в зависимом от многонационального капитала положении, (пост)колониальный пролетариат, промышленный рабочий класс в ведущих капиталистических странах и новый слой пролетариата, занятого интеллектуальным трудом, во всем мире оказывались в рамках общей системы эксплуатации фабрикой-обществом приобретающего глобальный характер дисциплинарного режима. Различные выступления были направлены против одного общего врага: *международного дисциплинарного порядка*. Сложилось объективное единство участников борьбы, в некоторых случаях осознаваемое, в других — неосознаваемое ими. Длинная череда выступлений против дисциплинарных режимов достигла зрелых форм и заставила капитал пойти на преобразование его собственной структуры и смену парадигмы развития.

ДВА, ТРИ, МНОГО ВЬЕТНАМОВ

В конце 1960-х гг. международная система капиталистического производства находилась в кризисе¹. Капиталистический кризис, как учит нас Маркс, — это ситуация, в которой происходит обесценение капитала, вынуждающее проводить глубокую реорганизацию производственных отношений в результате понижающего давления пролетариата на норму прибыли. Другими словами, капиталистический кризис не является просто результатом внутреннего развития капитала, но вызван непосредственно столкновением с пролетариатом². Такое марксистское понимание кризиса позволяет пролить свет на наиболее важные черты кризиса 1960-х гг. Падение нормы прибыли и крушение отношений господства в этот период могут быть лучше всего поняты, если рассматривать их как *результат* пересечения и слияния выступлений пролетариата и различных сил антикапиталистической направленности против мировой системы капитализма.

В ведущих капиталистических странах в этот период наблюдались чрезвычайно интенсивные выступления рабочих, направленные в первую очередь против дисциплинарного режима капиталистического труда. Эти выступления выражались прежде всего в общем отказе от работы и особенно в отказе работать на фабриках. Они были направлены против эффективности труда и любой модели развития, основанной на повышении производительности фабричного труда. Отрицание дисциплинарного режима и утверждение сферы свободы от работы стали определяющими чертами новой формы коллективного поведения и новой жизненной установки³. Во-вторых, эти выступления способствовали разрушению капиталистических разделений на рынке труда. Три основные характеристики рынка труда — разделение социальных групп (по классовой, расовой, этнической или половой принадлежности), подвижность рынка рабочей силы (социальная мобильность, развитие сферы услуг, новые отношения между прямым и непрямым производительным трудом и т. д.) и иерархическая структура рынка абстрактного труда, — все они оказались под угрозой из-за растущих жесткости и общности требований рабочих. Возросшее обобществление капитала также привело к росту социальной однородности пролетариата. Его окрепший голос выразил общее требование гарантированной социальной заработной платы и очень высокого уровня благосостояния⁴. В-третьих, наконец, наступление рабочих было направлено непосредственно против капиталистического господства. Отказ работать и социальная однородность пролетариата соединились в лобовой атаке на принудительную организацию общественного производства и дисциплинарного механизма господства. Это наступление рабочих было абсолютно политическим — даже когда многие массовые выступления, в особенное-

ти молодежные, казались явно аполитичными, — в той мере, в которой оно подвергало опасности и наносило удар по важнейшим политическим центрам экономической организации капитала.

Крестьянские и пролетарские выступления в зависимых странах также вынуждали реформировать местные и международные политические структуры. Десятки примеров революционной борьбы — от Китайской революции 1949 г. до войны во Вьетнаме и от Кубинской революции вплоть до многочисленных освободительных движений в Латинской Америке, Африке и арабском мире — вывели на первый план требование пролетариата о повышении заработной платы, которое различные социалистические и (или) националистические реформистские режимы вынуждены были удовлетворить и которое немедленно дестабилизировало мировую экономическую систему. Идеология модернизации, даже в тех случаях, когда она не означала «развитие», породила новые устремления, выходящие за рамки установившихся отношений производства и воспроизводства. Неожиданный рост цен на сырье, электроэнергию и некоторые виды сельскохозяйственной продукции в 1960-х и 1970-х гг. явился симптомом наличия этих новых устремлений и растущего давления пролетариата на уровень заработной платы. Последствия этих революционных выступлений имели не только количественное выражение, но также определяли качественно новое явление, характеризовавшее интенсивность кризиса. В течение более чем ста лет практика империализма ставила все формы производства во всем мире под контроль капитала, и эта тенденция только усилилась в переходный период. Эта тенденция также с необходимостью создала потенциальное, или виртуальное, единство мирового пролетариата. Это *виртуальное единство* никогда не реализовалось полностью как *политическое единство в мировом масштабе*, но тем не менее оно имело значимые последствия. Иными словами, в данном случае нам представляются наиболее важными не редкие примеры осуществления на практике и осознанного объединения трудящихся, а *объективное* совпадение революционных выступлений, которые накладывались одно на другое как раз потому, что, несмотря на свои радикальные различия, все они были направлены против мирового дисциплинарного капиталистического режима. Эта увеличивающаяся частота совпадений определила то, что мы называем «накоплением революционных выступлений».

Это накопление подрывало традиционную стратегию капитала, который долгое время опирался на иерархическую структуру международного разделения труда с тем, чтобы заблокировать всякую попытку образования достижения единства трудящихся в мировом масштабе. Уже в XIX веке, когда европейский империализм еще не потерпел сокрушительное поражение, Энгельс сожалел о том, что английский пролетариат был поставлен в положение «рабочей аристократии», поскольку его интересы оказа-

лись более связанными с существованием системы британского империализма, чем с положением многочисленных трудящихся колоний. В период заката империализма четкое международное разделение труда, безусловно, оставалось, но преимущества, которые давал национальному рабочему классу империализм, начали уменьшаться. Ставшие обычной практикой, выступления пролетариата в зависимых странах сделали невозможной применение старой империалистической стратегии переноса кризиса из метрополии на зависимые территории. Было более не реально опираться на давнишнюю тактику Сесилия Родса, заключающуюся в том, чтобы избегать опасностей внутренней классовой борьбы в Европе путем переноса экономического давления на все еще мирные зависимые владения, управлявшиеся при помощи жестоких, но эффективных методов. Пролетариат, сформировавшийся на империалистической почве, был теперь сам организован, вооружен и опасен. Таким образом, существовала тенденция к объединению мирового или многонационального пролетариата в одном общем наступлении на дисциплинарный капиталистический режим⁵. Сопrotивление и почин пролетариата зависимых стран стали символом и примером для пролетариата господствующих капиталистических государств. В силу этого сближения выступления трудящихся во всем капиталистическом мире ознаменовали конец разделения на Первый и Третий миры и возможность политической интеграции всего мирового пролетариата. Сближение этих выступлений вывело на международный уровень вопрос о преобразовании кооперации трудящихся в революционную организацию и создании подлинного политического единства.

Объективное сближение и аккумулятивное выступлений протеста сделали оценку ситуации с точки зрения теории Третьего мира, которая раньше могла приносить ограниченную пользу, абсолютно бессмысленной. В нашем понимании этот подход основывается на признании того, что важнейшее противоречие и антагонизм мировой капиталистической системы заключается в противостоянии капитала Первого мира и трудящихся Третьего мира⁶. Возможность революции, таким образом, относится всецело к странам Третьего мира. Эта точка зрения прямо или косвенно высказывалась во множестве теорий зависимости, экономической отсталости и сторонниками «мир-системного» анализа⁷. Ограниченные преимущества концепции Третьего мира заключались в ее противостоянии идее Первого мира, евроцентристскому мнению о том, что нововведения и изменения всегда исходили и могли исходить только из Европы или Америки. Однако такое зеркальное противоположение одному ложному утверждению вело лишь к другому, столь же ложному утверждению. Мы считаем концепцию Третьего мира неадекватной, поскольку она игнорирует нововведения и антагонизмы труда в Первом и Втором мирах. Более того, и это имеет наибольшее значение для нас в данном случае, подобная концепция не учи-

тывает реальное сближение движений протеста по всему миру, как в господствующих, так и в зависимых странах.

КАПИТАЛИСТИЧЕСКИЙ ОТВЕТ НА КРИЗИС

По мере того, как слияние выступлений протеста по всему миру подрывало капиталистические и империалистические возможности дисциплины, экономический порядок, который господствовал в мире в течение почти тридцати лет, золотой век американской гегемонии и капиталистического роста, начал постепенно угасать. Форма и содержание капиталистического регулирования международного развития на послевоенный период были директивно определены на конференции в Бреттон Вудсе, штат Нью Гемпшир, в 1944 г.* Бреттонвудская система была основана на трех основополагающих принципах. Ее первой особенностью являлась всеобъемлющая экономическая гегемония Соединенных Штатов Америки над всеми несоциалистическими странами. Эта гегемония обеспечивалась стратегическим выбором в пользу либерального пути развития, основанного на относительно свободной торговле и, в большей степени, на сохранении золота (около трети мировых запасов которого принадлежали США) как гарантии могущества доллара. Доллар был «столь же ценным, как и золото». Во-вторых, эта система нуждалась в соглашении о валютной стабилизации между США и остальными ведущими капиталистическими государствами (в первую очередь европейскими, а затем уже Японией), касающемся традиционных территорий европейских империалистических держав, в которых ранее господствовали английский фунт и французский франк. Преобразования в ведущих капиталистических странах могли быть, таким образом, профинансированы за счет положительного сальдо торгового баланса в США и гарантированы валютной системой, ориентированной на доллар. Наконец, Бреттонвудская система навязала установление квази-империалистических отношений между США и всеми зависимыми от них несоциалистическими странами. Экономическое развитие США, а также стабилизация и преобразования в Европе и Японии были гарантированы Америкой постольку, поскольку она в результате своих отношений с зависимыми странами накапливала империалистическую сверхприбыль.

Система американской валютной гегемонии была принципиально новым явлением, поскольку если контроль над прежними международными валютными системами (особенно британской) был сосредоточен в основном в руках частных банкиров и финансистов, то Бреттонвудская система делегировала контрольные полномочия ряду правительственных и регулирующих организаций, включая Международный Валютный Фонд, Всемирный Банк, и в конечном счете Федеральной резервной системе США⁹. Таким образом, Бреттонвудская система может рассматриваться

как валютное и финансовое выражение господства модели Нового курса в мировой капиталистической экономике.

Кейнсианские и псевдоимпериалистические механизмы Бреттонвудской системы в конце концов оказались в кризисе, когда продолжавшиеся выступления трудящихся в США, Европе и Японии увеличили цену стабилизации и реформистской политики и когда антиимпериалистические и антикапиталистические выступления в зависимых странах начали препятствовать получению сверхприбылей¹⁰. Когда мотор империализма начал работать вхолостую и выступления трудящихся становились все более наступательными, торговый баланс США стал значительно смещаться в направлении Европы и Японии. Первая фаза кризиса — незаметно наступившая, отнюдь не бурная — началась в конце 1960-х гг. Поскольку механизмы Бреттонвудской системы сделали доллар фактически неконвертируемым, финансовое управление мировым производством и торговлей вступило на стадию, характеризовавшуюся относительно свободным обращением капитала, созданием мощного евродолларового рынка и установлением политического равноправия в США и практически всех ведущих странах¹¹. Однако взрывоопасные события 1968 года в Европе, США и Японии в сочетании с победой Вьетнама в войне с США полностью подорвали временную стабилизацию. Стагфляция открыла дорогу безудержной инфляции. Отсчет второй фазы кризиса может вестись с 17 августа 1971 года, когда президент Никсон отменил обратимость доллара в золото, сделав доллар де-юре неконвертируемым, и ввел десятипроцентную пошлину на все товары, импортируемые в США из Европы¹². Весь государственный долг США был переложено на плечи Европы. Это было сделано только благодаря экономической и политической мощи США, напомнивших, таким образом, европейским государствам об исходных условиях Бреттонвудского соглашения, о своей гегемонии как высшей точке эксплуатации и капиталистического господства.

В 1970-е гг. кризис был официально признан и приобрел структурный характер. Система политического и экономического равновесия, изобретенная в Бреттон Вудсе, пришла в полнейший беспорядок, и все, что от нее осталось, так это суровая реальность гегемонии США. Снижавшаяся эффективность механизмов Бреттонвудской системы и разложение финансовой системы фордизма в ведущих странах сделали очевидным то, что восстановление мировой капиталистической системы должно будет включать всеобъемлющее изменение экономических отношений и переход к новой парадигме в определении мирового господства. Однако подобный кризис не всегда носит исключительно негативный характер и является неприемлемым с точки зрения капитала. Маркс утверждал, что капитал на самом деле глубоко заинтересован в экономическом кризисе в силу его преобразующих возможностей. С точки зрения интересов системы в целом от-

дельные капиталисты консервативны. Они сосредоточивают свое внимание в первую очередь на максимизации личных прибылей в краткосрочной перспективе, даже когда это влечет разрушительные последствия для совокупного капитала в долгосрочном плане. Экономический кризис способен преодолеть подобное сопротивление, уничтожить убыточные сектора экономики, видоизменить организацию производства и обновить его технологические параметры. Иными словами, экономический кризис может способствовать трансформации, которая восстановит общий высокий уровень прибыли, таким образом эффективно отвечая на вызов, созданный выступлениями трудящихся. Общее обесценение капитала и его попытки уничтожить организацию трудящихся способствуют изменению сути кризиса — вместо несбалансированности обращения и перепроизводства ею становится реорганизация аппарата управления, что изменяет соотношение между развитием и эксплуатацией.

Принимая во внимание интенсивность и слаженность выступлений 1960-х и 1970-х гг., перед капиталом были открыты два пути к снижению их накала и реструктуризации управления, и он испробовал каждый из этих путей по очереди. Первый путь, имевший только ограниченную эффективность, являлся *репрессивным вариантом* — в основе своей консервативными действиями. Репрессивная стратегия капитала была направлена на то, чтобы полностью изменить ход общественного процесса, разделить и разукрупнить рынок труда и восстановить свой контроль над всем производственным циклом. Таким образом, капитал ставил в привилегированное положение организации, обеспечивающие гарантированный уровень заработной платы ограниченному числу работающих, привязывая этот слой населения к данным структурам и усиливая разделение между ним и более маргинальными группами. Восстановление системы иерархического обособления, как внутри отдельных государств, так и в международном масштабе, было увенчано контролем над социальной мобильностью и изменчивостью. Использование технологии как средства осуществления репрессивной стратегии, включая автоматизацию и компьютеризацию производства, являлось основным оружием, применявшимся в этом процессе. Предшествовавшие фундаментальные технологические изменения в истории капиталистического производства (введение конвейерной сборки и массового выпуска продукции) влекли за собой очень крупные преобразования самого производственного процесса (тейлоризм) и значительное движение вперед в регулировании общественного цикла воспроизводства (фордизм). Однако технологические изменения 1970-х гг. с их упором на автоматизированную рационализацию производства довели эти процессы до предела, до крайней точки. Тейлористский и фордистский механизмы более не могли контролировать динамику производительных и общественных сил¹³. Подавление, осуществлявшееся через старую систему

господства, возможно, и могло положить конец разрушительным проявлением кризиса и неистовству выступлений трудящихся, но оно также являлось саморазрушающим выбором, который мог задушить само капиталистическое производство.

Тогда пришло время обратиться ко второму пути, опиравшемуся на технологические нововведения, направленные теперь не только на подавление, но скорее на *изменение самого состава пролетариата*, и, таким образом, интегрировавшему его новые практики и формы, извлекавшему из них выгоду и господствовавшему над ними. Для того, чтобы понять возникновение второго варианта капиталистического ответа на кризис — пути, означавшего изменение парадигмы, — необходимо выйти за рамки непосредственной логики капиталистической стратегии и планирования. История различных форм капитализма всегда была историей *реактивации* на внешние факторы: предоставленный самому себе, капитал никогда не откажется от получения прибыли. Другими словами, капитализм претерпевает крупное изменение только тогда, когда его на это вынуждают и когда его текущее состояние престаёт быть прочным. Чтобы понять этот процесс с точки зрения его действующей силы, мы должны встать на позиции противоположной стороны, то есть на позиции пролетариата и остающегося некапиталистическим мира, который все больше втягивается в капиталистические отношения. Сила пролетариата накладывает ограничения на капитал и не только определяет кризис, но и диктует условия и сущность трансформации капитала. *Пролетариат фактически создает общественные и производственные формы, которые капитал будет вынужден принять в будущем.*

Мы можем усмотреть первый намек на эту определяющую роль пролетариата, если зададимся вопросом, как США оказались в состоянии поддерживать свою гегемонию во время кризиса. Ответ на этот вопрос по большей части заключается, как это ни парадоксально, не в исключительной одаренности американских политиков или предпринимателей, а в силе и творческом потенциале американского пролетариата. В то время как ранее, основываясь на другом подходе, мы определили вьетнамское сопротивление американской агрессии как символический эпицентр протеста, теперь, говоря об изменении парадигмы мирового капиталистического господства, мы видим, что американский пролетариат выступает как субъект, наиболее полно выражающий чаяния и потребности трудящихся во всем мире¹⁴. В противовес традиционному утверждению о слабости американского пролетариата вследствие его незначительного представительства в политических партиях и участия в профсоюзах, по сравнению с Европой и любыми другими частями света, мы, как ни странно, считаем его сильным именно вследствие этих причин. Сила рабочего класса сосредоточена не в институтах представительства, но в антагонизме им и автономии

самих трудящихся¹⁵. Вот что обозначало подлинную силу американского промышленного рабочего класса. Более того, в еще большей степени, чем в промышленном рабочем классе, созидательный потенциал пролетариата и его способность к борьбе были сосредоточены среди трудящихся вне фабрик и заводов. Даже (и особенно) те, кто отказывался работать, представляли серьезную угрозу и выдвигали созидательные альтернативы¹⁶. Таким образом, для того, чтобы понять, почему американская гегемония сохранялась, недостаточно сослаться только на силовые методы, использовавшиеся американским капитализмом по отношению к капиталистам в других странах. Гегемония США поддерживалась антагонистической силой американского пролетариата.

Новая гегемония, которая, как казалось, осталась в руках США, тогда еще была ограничена и замкнута в рамках старых механизмов дисциплинарных преобразований. Для того, чтобы привести процесс преобразований в соответствие с характером политических и технологических изменений, требовалось изменение парадигмы. Иными словами, капитал должен был столкнуться с *проявлением силы пролетариата как субъекта*, с новым производством субъективности пролетариата и дать свой ответ на него. Это новое производство субъективности достигло (помимо борьбы за благосостояние, о чем мы уже упоминали) уровня, который можно было бы назвать экологической борьбой, борьбой за образ жизни, что выразилось в конечном счете в развитии аматериального труда.

ЭКОЛОГИЯ КАПИТАЛА

Мы до сих пор не достигли понимания сути второго варианта капиталистического ответа на кризис, изменения парадигмы, которое вывело капитализм за рамки логики и практики дисциплинарной модернизации. Мы должны еще раз вернуться назад и проанализировать те ограничения, которые накладывали на капитал мировой пролетариат и некапиталистическое окружение, что делало трансформацию необходимой и одновременно диктовало ее условия.

В годы Первой мировой войны многим наблюдателям, и особенно марксистским теоретикам империализма, казалось, что уже слышен похоронный звон и капитал стоит на грани неминуемого краха. В течение десятилетий капитал вел крестовый поход за распространение своего могущества, использовал значительные территории для его умножения, а теперь впервые столкнулся с тем, что дошел до границ своего возможного расширения. Как только этот предел был достигнут, империалистические державы неизбежно оказались в состоянии смертельного конфликта друг с другом. Капитал, как заметила Роза Люксембург, зависел от своей периферии, от своего некапиталистического окружения. Оно было необходи-

мо капиталу для того, чтобы получать и капитализировать прибавочную стоимость и таким образом продолжать цикл накопления. В начале XX века выяснилось, что империалистические авантюры капиталистического накопления вскоре приведут к истощению некапиталистического окружения и капитал будет обречен на «голодную смерть». Все, что не относилось к сфере капитала, — будь-то из мира человека, животных, растений или минералов — рассматривалось с точки зрения капитала и его экспансии как формы природы¹⁷. Таким образом, критика империалистического капитализма была проявлением экологического сознания — экологического ровно постольку, поскольку оно признавало подлинные пределы возможности природы и катастрофические последствия выхода за эти ограничения¹⁸.

Однако когда мы пишем эту книгу в конце XX века, капитализм чудесным образом процветает, процесс накопления идет лучше, чем когда-либо. Как согласуется этот факт с подробным и тщательным анализом множества марксистских авторов начала XX века, которые указывали на империалистические конфликты как на симптомы грядущего экологического бедствия, превышающего адаптационные возможности природы? Можно высказать три предположения, которые могут приблизить нас к разгадке тайны, почему капитализм по-прежнему жизнеспособен. Во-первых, как утверждают некоторые, капитал перестал носить империалистический характер, он реформировался, повернул время вспять, возвратился к дням своей юности, к свободной конкуренции и установил шадящие, экологические отношения со своим некапиталистическим окружением. Хотя видные теоретики, от Маркса и до Розы Люксембург, не указывали на то, что подобный процесс входит в противоречие с сущностью самого капиталистического накопления, даже беглый взгляд на мировую политическую экономию наших дней должен убедить кого угодно решительно отвергнуть это объяснение. Представляется вполне очевидным, что капиталистическая экспансия продолжалась ускоренными темпами и во второй половине XX века, открывая новые территории для распространения на них капиталистического рынка и подчиняя некапиталистические производственные процессы власти капитала.

Вторая гипотеза заключается в том, что неожиданная устойчивость капитализма обеспечивается просто продолжением процессов экспансии и накопления, которые мы проанализировали ранее, и что полное истощение окружающей среды еще не наступило, а критический момент исчерпания всех сил природы и экологические бедствия еще впереди. Действительно, запасы ресурсов в странах некапиталистического окружения оказались очень велики. Хотя так называемая «Зеленая революция» и сделала частью системы капитализма значительную долю мирового некапиталистического сельского хозяйства, а другие модернизационные процессы включили

новые территории и страны в цикл капиталистического накопления, по-прежнему оставались громадные (хотя, безусловно, ограниченные) объемы рабочей силы и материальных ресурсов, которые только предстояло включить в систему капиталистического производства и зоны для расширения рынков. Например, крах социалистических режимов в Советском Союзе и Восточной Европе, наряду с открытием китайской экономики в период после смерти Мао Цзэдуна, предоставили мировому капиталу доступ на значительные территории некапиталистического окружения — подготовленные к включению в капиталистическую систему за годы социалистической модернизации. Даже в регионах, давно и прочно интегрировавшихся в мировую капиталистическую систему, по-прежнему остаются богатые возможности для ее дальнейшей экспансии. Иными словами, в соответствии с этой гипотезой некапиталистическое окружение остается под формальным контролем капиталистического мира, и соответственно накопление, по крайней мере частично, может по-прежнему осуществляться за счет этого формального подчинения: предрекавшие неизбежный крах капитализма не ошибались, они лишь выступили слишком рано. Тем не менее ограничения, накладываемые некапиталистической средой, реально существуют. Рано или поздно некогда обильные природные ресурсы иссякнут.

Третья гипотеза, которая может рассматриваться как дополнение ко второй, заключается в том, что капитал в наши дни продолжает накопление за счет подчинения в рамках цикла расширенного воспроизводства, но все чаще его власть распространяется не на некапиталистическое окружение, а на его собственную область — то есть подчинение перестает быть *формальным*, а становится *реальным*. Капитал теперь ориентируется не на внешнее, а на внутреннее пространство, и, таким образом, его экспансия приобретает скорее интенсивный, нежели экстенсивный характер. Этот переход основан на качественном скачке в технологической организации капиталистического производства. Предыдущие стадии промышленной революции принесли созданные промышленным способом потребительские товары, а затем созданные механическим способом станки, а теперь мы сталкиваемся с промышленным производством сырья и продуктов питания, иначе говоря, механически созданными природой и культурой¹⁹. Можно сказать, следуя за Фредериком Джеймисоном, что постмодернизация является экономическим процессом, возникающим, когда машинные и промышленные технологии охватывают весь мир, когда процесс модернизации завершен и когда формальное подчинение некапиталистического окружения достигает своего предела. Благодаря процессу технологической трансформации эпохи современности все в природе стало связано с капиталом или, по крайней мере, стало областью его приложения²⁰. В то время как накопление в эту эпоху основано на формальном подчинении нека-

питалистического окружения, во времена постсовременности накопление связано с реальным подчинением в самом капиталистическом мире. Это представляется подлинным ответом капитализма на угрозу «экологического бедствия», ответом, направленным в будущее²¹. Завершение индустриализации общества и природы, то есть завершение процесса модернизации, является, однако, только предварительным условием для перехода к постмодернизации и описывает происходящую трансформацию только в смысле отрицания, как некое иное, последующее, *пост-* явление. В следующем разделе мы рассмотрим реальное содержание процессов постмодернизации, или информатизации производства.

ПОКУШЕНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАРНЫЙ РЕЖИМ

Для того, чтобы глубже понять вышеописанный переход, требуется рассмотреть его решающий фактор, заключающийся в изменении субъективности рабочей силы. В период кризиса, в 1960-е и 1970-е гг., рост благосостояния и универсализация дисциплины как в ведущих, так и в зависимых странах создали новое измерение свободы трудящихся масс. Иными словами, рабочие воспользовались дисциплинарной эпохой, особенно моментами ее слабости и политической дестабилизации (как, например, в период Вьетнамского кризиса) с тем, чтобы расширить общественную власть труда, увеличить стоимость рабочей силы и пересмотреть набор потребностей и стремлений, которым должны были соответствовать уровень заработной платы и общего благосостояния. Используя терминологию Маркса, можно сказать, что стоимость необходимого труда необычайно возросла, и — безусловно, самое важное с точки зрения капитала, — во время как продолжительность необходимого рабочего времени увеличивалась, показатели прибавочного рабочего времени (следовательно, и прибыли) снижались. С точки зрения капиталиста, стоимость необходимого труда является объективным экономическим параметром — ценой рабочей силы, столь же объективной, как цена пшеницы, нефти и других товаров — но в действительности она определяется социально и является показателем силы выступлений социального протеста на протяжении длительного времени. Определение совокупности социальных потребностей, качество проведения досуга, организация семейных отношений, ожидания от жизни — все это задействовано и существенным образом представлено в стоимости воспроизводства рабочей силы. Огромный рост социальных выплат (включая одновременно уровень заработной платы и пособий) во время кризиса 1960-70-х гг. явился непосредственным результатом аккумуляции выступлений социального протеста, связанных с проблемами сфер воспроизводства, внерабочего времени, жизни вообще.

Социальные выступления не только увеличили стоимость воспроиз-

водства и уровень социальных выплат (уменьшая тем самым уровень прибыли), но также, что более важно, привели к изменению качества и сущности самого труда. Особенно в ведущих капиталистических странах, где мера свободы, предоставленной трудящимся и завоеванной ими, была наивысшей, а отрицание дисциплинарного режима общества-фабрики сочеталось с переоценкой общественной ценности всей производительной деятельности. Дисциплинарный режим со всей очевидностью более не удовлетворял потребностям и чаяниям молодежи. Перспектива получить работу, гарантирующую постоянную и стабильную занятость восемь часов в день, пятьдесят недель в году на всю жизнь, перспектива подчиниться царящему на обществе-фабрике режиму нормализации, что было мечтой для многих из их родителей, теперь казалась смерти подобной. Массовое отрицание дисциплинарного режима, которое принимало самые различные формы, было не только выражением негативных эмоций, но и созидательным моментом, который Ницше называл переоценкой ценностей.

Различные формы общественной полемики и экспериментов так или иначе сводились к отказу принимать некую жесткую программу материального производства, характерную для дисциплинарного режима, его модель фабрики с большим количеством рабочих, его нуклеарную структуру семьи²². Затем эти движения проповедовали более гибкую созидательную динамику и то, что можно было бы назвать более *материальными* формами производства. С точки зрения традиционных «политических» групп, принимавших участие в американских общественных движениях 1960-х гг., разные формы социального экспериментирования, развившиеся в большом количестве в тот период, представляли собой отход от «настоящей» политической и экономической борьбы, но они не увидели, что *эксперименты «всего лишь в сфере культуры» имели чрезвычайно глубокие политические и экономические последствия.*

Концепция «выпадения» является на самом деле очень слабым объяснением того, что происходило в Хейт-Эшбери и повсюду в США в 1960-х гг. Двумя важнейшими процессами были отказ от дисциплинарного режима и экспериментирование с новыми формами производительности. Этот отказ ежедневно проявлялся в разных вариантах и в тысячах случаев. Учащийся колледжа экспериментировал с ЛСД вместо того, чтобы искать работу; девушка отказывалась выходить замуж и создавать семью; «простодушный» афро-американский рабочий выступал против неравной системы оплаты труда, при помощи любых доступных средств отказываясь работать²³. Молодежь, отвергавшая удушающую повторяемость фабрики-общества, изобретала новые формы мобильности и гибкости, новый образ жизни. Студенческие движения способствовали приданию высокой общественной значимости знанию и интеллектуальному труду. Феминистские движения, прояснившие политическое содержание «личных» отношений

и отрицавшие патриархальную дисциплину, повысили общественную ценность того, что традиционно считалось женской работой, включающей в основном деятельность, связанную с эмоциональной поддержкой и уходом и направленную на оказание услуг, необходимых для общественно-воспроизводства²⁴. Все многообразие этих движений и возникающая контркультура выдвигали на первый план социальную значимость кооперации и коммуникации. Массовая переоценка ценностей общественно-производства и производства новых субъективностей открывали путь для глубокого изменения рабочей силы. В следующем разделе мы подробно рассмотрим, как показатели значения этих движений — мобильность, гибкость, знания, коммуникация, кооперация, эмоции и аффекты — определили трансформацию капиталистического производства в последующие десятилетия.

Различные попытки анализа «новых социальных движений» оказали очень ценную услугу, настаивая на политической значимости культурных движений в полемике с представителями узко экономического подхода, преуменьшающего их значение²⁵. Однако эти исследования сами по себе являются чрезвычайно ограниченными, поскольку, как и те, против кого они выступают, они сохраняют узкое понимание экономического и культурного. Что еще более важно, они не признают *мощной экономической силы движений в области культуры*, иначе говоря, возрастающей нераздельности явлений экономики и культуры. С одной стороны, капиталистические отношения развивались для того, чтобы подчинить себе все аспекты общественного производства и воспроизводства, все области жизни; но, с другой стороны, культурные связи переопределяли сущность производственных процессов и экономическую структуру стоимости. Благодаря огромным масштабам аккумуляции движений протеста, один способ производства, и прежде всего способ производства субъективности, уничтожался, и на его месте создавался новый.

Эти новые циклы производства субъективности, сфокусированные на драматических изменениях характера стоимости и труда, появились внутри дисциплинарной организации общества, а на последнем этапе были направлены против нее. Социальные движения предвосхитили осознание капиталом необходимости смены парадигмы производства и определили ее форму и содержание. Если бы не было войны во Вьетнаме, рабочих и студенческих выступлений в 1960-х гг., если бы не было 1968 года и второй фазы активизации феминизма, если бы не было целой серии антиимпериалистических выступлений, капитал был бы удовлетворен простым поддержанием принципов организации своей власти, счастлив тем, что избавлен от хлопот, связанных с необходимостью изменять парадигму производства. Это удовлетворение имело бы несколько причин: поскольку естественные границы развития вполне его устраивали; поскольку ему уг-

рожало развитие аматериального труда; поскольку ему было известно, что проникающая мобильность и процессы смещения мировой рабочей силы содержали в себе потенциал для новых кризисов и классовых конфликтов дотоле невиданного характера. Перестройке производства от фордизма к постфордизму, от модернизации к постмодернизации предшествовало появление новой формы субъективности²⁶. Этот переход от фазы совершенствования дисциплинарного строя к следующей фазе смены производственной парадигмы был инициирован снизу, пролетариатом, состав которого к тому времени изменился. Капиталу не нужно было изобретать новую парадигму (даже если бы он был способен сделать это), поскольку *подлинный момент творчества уже состоялся*. Задача капитала состояла в том, чтобы возглавить новую систему, которая уже была независимо от него создана и определена в рамках нового отношения к природе и труду, отношений самоуправляющегося производства.

В этот момент дисциплинарная система стала ненужной и должна была быть отвергнута. Капитал должен был завершить процесс зеркального отражения и перемены мест, вызванный новым качеством рабочей силы; он должен был приспособиться к этой системе, чтобы снова быть в состоянии управлять. Мы полагаем, что именно поэтому промышленные и политические круги, полагавшиеся в наибольшей степени и наиболее осознанно на предельно возможную модернизацию дисциплинарной модели производства (такие, как ведущие представители капитала в Японии и Восточной Азии), более всех пострадали во время этого преобразования. Только те формы существования капитала способны процветать в новом мире, которые адаптируются к новой структуре рабочей силы — аматериальной, кооперативной, коммуникативной и аффективной, а также управляют ею.

ПРЕДСМЕРТНЫЕ МУКИ СОВЕТСКОЙ ДИСЦИПЛИНАРНОЙ СИСТЕМЫ

Описав в первом приближении условия и формы существования новой парадигмы, мы хотели бы кратко рассмотреть одно из огромных последствий процесса ее смещения, проявившееся в сфере субъективности, — крах Советской системы. Наше основное положение, в котором мы едины со многими исследователями Советского мира²⁷, заключается в том, что система вступила в полосу кризиса и погибла из-за своей структурной неспособности выйти за рамки дисциплинарного управления, как в отношении способа производства, который являлся фордистским и тейлористским в своей основе, так и в отношении формы политической власти, которая представляла собой социалистический вариант кейнсианства, будучи, таким образом, просто системой, осуществлявшей модернизацию внутри страны и проводившей империалистическую политику в отношении внешне-

го мира. Это отсутствие гибкости в адаптации системы управления и производственного механизма к изменениям характера рабочей силы усилило сложности трансформации системы. Неповоротливый бюрократический аппарат Советского государства, унаследованный от длительного периода ускоренной модернизации, поставил власть в СССР в нетерпимое положение, когда она должна была реагировать на новые требования и желания, выражавшиеся возникавшими по всему миру субъективностями, сначала в рамках процесса модернизации, а затем и вне его пределов.

Вызов постсовременности исходил прежде всего не от враждебных государств, а от новой субъективности рабочей силы и ее новой интеллектуальной и коммуникативной структуры. Режим, особенно в его либеральных проявлениях, был не в состоянии дать адекватный ответ на эти требования субъективности. Система могла бы продолжать, и в течение некоторого времени продолжала, функционировать на базе модели дисциплинарной модернизации, но она не могла совмещать модернизацию с новой мобильностью и созидательным потенциалом рабочей силы — важнейшими условиями, вдохнувшими жизнь в новую парадигму и ее сложные механизмы. В условиях принятия программы звездных войн, гонки ядерных вооружений и освоения космоса СССР, возможно, еще был в состоянии не отставать от своих противников в технологическом и военном отношении, но система не смогла справиться с бросившим ей вызов конфликтом, возникшим в субъективной области. Иными словами, она оказалась неконкурентоспособной прежде всего там, где разворачивалась действительная борьба за власть, не смогла ответить на вызов сравнительной эффективности экономических систем, поскольку передовые коммуникационные технологии и кибернетика эффективны лишь тогда, когда они опираются на субъективность или, что еще лучше, когда они вызываются к жизни субъективностями, участвующими в производственных процессах. Для Советского режима проблема управления силой новых субъективностей была вопросом жизни и смерти.

Таким образом, в соответствии с нашим тезисом, после драматических последних лет правления Сталина и бесплодных нововведений Хрущева брежневский режим заморозил развитие сложившегося в сфере производства гражданского общества, достигшего высокой степени зрелости и нуждавшегося, после чрезвычайной мобилизации для нужд ведения войны и роста производства, в социальном и политическом признании. В капиталистическом мире широкая пропаганда в годы холодной войны и наличие необычайно сильной идеологической машины фальсификации и дезинформации не позволили оценить реальные достижения Советского общества и скрытую в нем политическую диалектику. Идеология холодной войны именovala это общество тоталитарным, но на самом деле это было общество, характеризовавшееся яркими образцами свободы и творчества,

такими же яркими, как циклы экономического развития и модернизация. Советский Союз являлся не тоталитарным государством, а бюрократической диктатурой²⁸. Только отказавшись от искаженных представлений, мы сможем проследить, как политический кризис возник в СССР и воспроизводился до тех пор, пока режим не был уничтожен.

Сопротивление бюрократической диктатуре стало причиной кризиса. Отказ советского пролетариата работать был на самом деле тем же методом борьбы, который использовал пролетариат капиталистических стран, загоняя свои правительства в цикл кризиса, реформ и реструктуризации. Такова наша общая идея: несмотря на задержки в развитии капитализма в России, колоссальные потери во Второй мировой войне, относительную культурную изоляцию, относительное исключение из мирового рынка, жестокую политику лишения свободы, голод и убийство граждан, — несмотря на все это и на колоссальные отличия от ведущих капиталистических государств, пролетариат в России и других странах Советского блока смог к 1960–70-м гг. поставить те же самые проблемы, что и пролетариат в капиталистических странах²⁹. Даже в России и других странах, находившихся под советским контролем, требование повышения заработной платы и большей свободы развивалось в соответствии с ритмом модернизации. И также как и в капиталистических странах, здесь определился новый образ рабочей силы, которая теперь содержала в себе колоссальные созидательные возможности, основанные на развитии интеллектуальной мощи производства. Именно эту новую созидательную реальность, интеллектуально развитые массы с их жизненной силой, советские лидеры пытались запереть в рамках дисциплинарной военной экономики (угроза войны постоянно вызывалась в воображении) и загнать в тиски социалистической идеологии развития экономики и трудовых отношений, то есть в рамки социалистического управления капиталом, что не имело более никакого смысла. Советская бюрократия была не в состоянии создать механизм, необходимый для *постсовременной* мобилизации новой по своему качеству рабочей силы. Она испытывала перед ней испуг: крах других дисциплинарных режимов, изменение субъекта труда, ранее составлявшего движущую силу систем тейлоризма и фордизма, вселяли в нее страх. Это была точка, в которой кризис стал необратимым и, принимая во внимание оценивание брежневского застоя, катастрофическим.

Нам представляется важным даже не отсутствие или нарушение индивидуальных и формальных прав и свобод трудящихся, а растрата производительной энергии масс, которые исчерпали возможности модернизации и хотели теперь освободиться от социалистического управления капиталистическим накоплением, чтобы перейти на более высокий уровень производительности. Это подавление и эта энергия были силами, которые, каждая со своей стороны, привели к тому, что советская система рассыпалась, как

карточный домик. Гласность и перестройка, несомненно, представляли собой самокритику советских властей и сделали необходимым переход к демократии как условие достижения новой производительности системы, но к ним прибегли слишком поздно и слишком нерешительно, чтобы остановить кризис. Советская государственная машина остановилась, лишенная горючего, которое могли производить только новые субъекты производства. Группы интеллектуального и аматериального труда отказали режиму в своей поддержке, и их исход обрек систему на смерть: смерть от победы социалистической модернизации, от неспособности воспользоваться ее результатами и приобретениями, от полного удушья, жертвой которого стали субъекты, требовавшие перехода к постсовременности.

3.4 ПОСТМОДЕРНИЗАЦИЯ, ИЛИ ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

Постмодернизм не является понятием, которое можно определить раз и навсегда, а затем использовать с чистой совестью. Это понятие, если таковое вообще существует, прояснится только в конце, а не в начале наших дискуссий о нем.

Фредерик Джеймисон

Хорошие новости из Вашингтона заключаются в том, что все без исключения члены Конгресса поддерживают идею создания информационной супермагистрали. Плохие же новости заключаются в том, что никто понятия не имеет, что это такое.

конгрессмен Эдвард Марки

В последнее время общим местом стало представление о том, что начиная со Средних веков происходила последовательная смена экономических парадигм развития как смена трех исторических этапов, каждый из которых определяется господствующей отраслью экономики: первая парадигма, при которой основу экономики составляли сельское хозяйство и добыча полезных ископаемых, вторая, в рамках которой преимущественное положение занимали промышленность и производство товаров народного потребления, и третья, сегодняшняя парадигма, в которой предоставление услуг и управление информацией составляют основу экономического производства¹. Таким образом, господствующее положение в экономике переходило от первичного к вторичному, а затем к третичному сектору производства. Экономическая *модернизация* включает переход от первой парадигмы ко второй, от преобладания сельского хозяйства к господству промышленного производства. Модернизация означает индустриализацию. Переход от второй парадигмы к третьей, от преобладания промышленности к преобладанию сферы услуг и информации, можно было бы назвать *постмодернизацией* или, лучше, *информатизацией* экономики.

Наиболее очевидное определение, признак перехода от одной парадигмы к другой, выражается прежде всего в количественном плане, как в отношении доли населения, занятого в каждой из этих производственных сфер, так и в отношении доли общей стоимости, производимой разными

секторами производства. Изменения в статистике рабочей силы в ведущих капиталистических странах в течение последнего столетия действительно указывают на решающие сдвиги². Однако такой количественный взгляд может привести к серьезному недопониманию этих экономических парадигм. Количественные показатели не могут отразить как *качественные* изменения в ходе постепенного перехода от одной парадигмы к другой, так и *иерархическую взаимосвязь* различных секторов экономики в рамках каждой парадигмы. В процессе модернизации и перехода к парадигме преобладания промышленного производства происходило не только количественное снижение показателей сельскохозяйственного производства (и числа занятых сельскохозяйственных рабочих, и доли в производимой общей стоимости), но также, что более важно, само сельскохозяйственное производство видоизменялось. Когда оно оказалось под властью промышленности, даже еще оставаясь господствующим с точки зрения количественных показателей, сельскохозяйственное производство стало испытывать социальное и финансовое давление со стороны промышленности, и, более того, само оно приобрело промышленный характер. Конечно же, сельское хозяйство не исчезло; оно осталось важной составляющей частью промышленной экономики периода современности, но оно являлось теперь видоизмененным сельским хозяйством, приобретшим промышленный характер.

Количественная оценка ситуации также не позволяет увидеть иерархическую взаимосвязь национальных или региональных экономик в мировой системе, что ведет ко всевозможным историческим ошибкам, к проведению аналогий там, где их нет. Например, с точки зрения количественного подхода можно рассматривать некоторые общества XX века, в которых большая часть рабочей силы была занята в сельском хозяйстве или добывающей промышленности и большая часть стоимости производилась именно в этих областях (как, например, в Индии или Нигерии), как аналогичные обществам, существовавшим некогда в прошлом с такой же долей занятых и такой же частью стоимости, создаваемой в этих областях производства (Франция или Англия). Эта историческая иллюзия сводит аналогию к временной последовательности так, что некая экономическая система рассматривается как занимающая то же положение или стадию в общей последовательности развития, что занимала другая в предшествующий период, как будто обе они развиваются по одному пути, двигаясь вслед друг другу. С качественной точки зрения, то есть исходя из их положения в мировой системе власти, экономики этих обществ абсолютно несопоставимы. В примере, относящемся к ранним этапам истории (Франция или Великобритания в прошлом), сельское хозяйство было господствующей сферой в экономике, а в примере из более поздних времен (Индия или Нигерия в XX веке) — сферой, подчиненной промышленному производ-

тву в рамках мировой системы. Две экономические системы находятся не на одном пути развития, а в абсолютно различных и даже противоположных ситуациях — господства и подчинения. При столь различном с точки зрения иерархии положении абсолютно разными являются и подавляющее большинство экономических факторов — отношения обмена, соотношение кредитных и долговых обязательств и т. д.³ Для того, чтобы рассматриваемые экономики XX века заняли такое же положение, что и экономики Англии и Франции в прошлом, им пришлось бы изменить соотношение сил и занять господствующее место в нынешней экономической системе, как, например, в свое время сделала Европа в рамках средневековой экономики Средиземноморья. Иными словами, исторические изменения должны найти свое отражение в соотношении сил в экономической сфере.

иллюзии РАЗВИТИЯ

Дискурс экономического *развития*, внедренный в рамках американской гегемонии в соответствии с моделью Нового курса в послевоенный период, использует подобные ложные исторические аналогии для обоснования экономической политики. Этот дискурс предполагает, что экономическая история всех стран мира следует одному единственному пути развития, каждая в разное время и с разной скоростью. Страны, в которых уровень производства в настоящее время отстает от ведущих государств и которые соответственно считаются развивающимися, при условии, что они продолжают следовать по выбранному пути за развитыми государствами и будут повторять их экономическую политику и стратегию, — со временем достигнут такого же уровня (той же стадии) развития. Вместе с тем подобная теория развития не учитывает, что экономики так называемых развитых стран определяются не только некими количественными характеристиками или внутренней структурой, но и, что намного важнее, *их господствующим положением в мировой системе*.

Критика теории развития, исходящая от сторонников теорий экономической отсталости и теорий зависимости, сформулированных в первую очередь в контексте анализа ситуации в Латинской Америке и Африке в 1960-х гг., была полезна и важна как раз потому, что она подчеркивала, что эволюция национальной или региональной экономической системы зависит в значительной мере от места данной системы в иерархии и раскладе сил мировой системы капитализма⁴. Ведущие регионы продолжают свое развитие, а зависимые сохраняют свое отставание как взаимоподдерживающие полюсы мирового баланса сил. Утверждение о том, что зависимые экономики отстают, не означает, что они не изменяются или не растут; оно означает, что они *остаются в подчиненном положении в мировой системе* и, значит, никогда не достигнут обещанного им положения ведущих, раз-

витых экономик. В некоторых случаях отдельные страны или регионы могут оказаться способны изменить свое положение в мировой иерархии, но суть в том, что, какую бы позицию ни занимали отдельные государства, иерархическая взаимосвязь остается определяющим фактором⁵.

Однако сами сторонники теории экономической отсталости также придерживаются иллюзии экономического развития⁶. Схематично обобщая их взгляды, заметим, что их логика основана на двух справедливых в историческом отношении утверждениях, но из них делается ошибочный вывод. Во-первых, сторонники этой теории утверждают, что именно распространение колониальных режимов и (или) других форм империалистического господства породило экономическое отставание зависимых экономик, которое было сохранено вследствие их интеграции в мировую систему ведущих капиталистических государств, частичного соединения с ними и вытекающей из этого реальной и остающейся актуальной в наши дни зависимости от них. Во-вторых, они утверждают, что сами ведущие экономики первоначально создали свои полностью внутренне интегрированные и независимые структуры, будучи относительно изолированными друг от друга, лишь ограниченно взаимодействуя с другими экономикой и испытывая незначительное влияние мировых процессов⁷.

Однако из этих двух более или менее исторически приемлемых утверждений они впоследствии делают необоснованный вывод: раз ведущие экономики достигли предельной целостности в условиях относительной изоляции, а отстающие стали расчлененными и зависимыми из-за своей интеграции в мировую систему, то достижение последними относительной изоляции обеспечит их развитие и достижение внутренней целостности. Иными словами, в качестве альтернативы «ложному развитию», которое проповедуют экономисты ведущих капиталистических государств, сторонники теории экономической отсталости предлагают «подлинное развитие», предполагающее выход экономики из системы связей, ставящих ее в положение зависимости, и относительно изолированное развитие как автономной экономической структуры. Поскольку именно так развивались господствующие ныне экономики, это, вероятно, и есть верный путь к преодолению экономической отсталости. Однако данный силлогизм требует признать, что законы экономического развития могут преодолеть различия исторического пути государств.

Альтернативное представление о развитии основывается парадоксальным образом на историческом заблуждении, являющемся принципиальным для господствующей теории развития, против которой оно направлено. Тенденции развития мирового рынка должны отвергнуть любое представление о том, что какая-нибудь страна или регион могут изолировать или отделить себя от глобальных сетей власти с тем, чтобы воссоздать условия прошлого и развиваться так, как некогда развивались ведущие капи-

талистические страны. Даже господствующие государства сегодня зависят от мировой системы; взаимодействия в рамках мирового рынка привели к возрастающей утрате целостности экономик всех стран. Более того, любая попытка изоляции или отделения приведет только к установлению более жестокой формы господства глобальной системы, бессилию и нищете.

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

Процессы модернизации и индустриализации видоизменили и дали новые определения всем элементам общественного устройства. Когда сельское хозяйство было модернизировано до уровня промышленного производства, ферма постепенно превратилась в фабрику, с характерными для нее дисциплиной, технологией, уровнем заработной платы и т. д. Сельское хозяйство по степени модернизации сравнялось с промышленностью. Более того, само общество постепенно было индустриализировано вплоть до изменения отношений между людьми и природы человека. Общество стало подобно фабрике. В начале XX века Роберт Музиль великолепно выразил мысль об изменении человечества в процессе перехода от идиллии сельскохозяйственного мира к социальной фабрике: «Было время, когда люди росли естественным образом в дружественных для них условиях, и это был очень надежный путь стать самим собой. Но в наши дни, когда все в мире взбудоражено, когда все отделяется от почвы, на которой выросло, даже когда это касается сотворения души, человек вынужден был, и это происходило в действительности, заменить традиционное ремесло определенными занятиями, приходящими вместе с машинным производством и фабрикой»⁸. Способ стать человеком и сама природа человека решительным образом изменились в рамках перехода, определявшегося модернизацией.

Однако в наше время *модернизация закончилась*. Иными словами, промышленное производство более не господствует над другими формами экономической жизни и социальными явлениями. Показателем подобного сдвига являются количественные изменения в найме рабочей силы. В то время как процесс модернизации был отмечен миграцией рабочей силы из сельского хозяйства и добывающих отраслей (первичный сектор производства) в промышленность (вторичный сектор производства), процесс постмодернизации, или информатизации, проявился через отток рабочей силы из промышленности в сферу услуг (третичный сектор производства) — сдвиг, произошедший в ведущих капиталистических странах и особенно в США с начала 1970-х гг. Сфера услуг охватывает широкую область деятельности от медицинского обслуживания, образования и финансов до сферы транспорта, развлечений и рекламной индустрии. Содержание работы часто меняется, и от работника требуется способность к переобуче-

нию. Еще более важно то, что сфера услуг характеризуется первостепенным значением знаний, информации, эмоций и коммуникаций. В этом отношении многие называют постиндустриальную экономику информационной экономикой.

Утверждение, что модернизация завершилась и что мировая экономика сегодня находится в стадии постмодернизации, движется в сторону информационной экономики, не означает, что промышленное производство исчезнет или перестанет играть важную роль даже в наиболее развитых регионах планеты. Так же как процессы индустриализации трансформировали сельское хозяйство и повысили его продуктивность, так и информационная революция меняет промышленное производство, изменяя и обновляя производственный процесс. Новый императив управления теперь звучит так: «Относись к производству как к услуге»⁹. На самом деле, по мере трансформации промышленности разделение на сферу производства и сферу услуг начинает размываться¹⁰. Так же, как в процессе модернизации все области производства стремились к тому, чтобы приобрести промышленный характер, так в процессе постмодернизации все производство тяготеет к производству услуг, к тому, чтобы стать информационным.

Безусловно, не все страны, даже среди ведущих капиталистических государств, приступили к осуществлению проекта постмодернизации одним и тем же путем. На основе изменения статистики занятости в странах «большой семерки» с 1970 г. Мануэль Кастельс и Юко Аояма выделили две основные модели или два пути информатизации¹¹. Обе модели включают рост занятости в постиндустриальной сфере услуг, но делают упор на разных видах услуг и различных отношениях между сектором услуг и производственной сферой. Первый путь тяготеет к *модели экономики услуг* и представлен США, Великобританией и Канадой в качестве лидеров. Эта модель предполагает резкое уменьшение числа рабочих мест в промышленности и соответствующий рост в сфере услуг. В особенности надо отметить, что финансовые услуги, связанные с управлением капиталом, становятся доминирующими по отношению к другим секторам услуг. Во второй модели, *инфо-индустриальной*, типичными представителями которой являются Япония и Германия, число занятых в промышленности сокращается медленнее, чем в первой модели, и, что более важно, процесс информатизации тесно связан и служит для укрепления мощи существующего промышленного производства. Сектор услуг, напрямую связанный с промышленным производством, сохраняет в рамках данной модели более высокую значимость в сравнении с другими видами услуг. Эти две модели представляют собой две стратегии управления и получения преимущества при экономическом переходе, но необходимо прояснить, что они обе последовательно движутся в направлении информатизации экономики и увеличивающегося значения производственных потоков и сетей.

Хотя зависимые страны и регионы мира не в состоянии реализовывать подобные стратегии, процессы постмодернизации тем не менее вносят необратимые изменения и в их развитие. То обстоятельство, что информатизация и сдвиг в сторону сферы услуг имели место прежде всего в господствующих капиталистических странах, а не где-то еще, не должно возвращать нас к объяснению нынешней мировой экономической ситуации с точки зрения линейных стадий развития. Справедливо утверждение, что, когда промышленное производство сократилось в ведущих странах, оно было успешно перенесено в зависимые государства, например из США и Японии в Мексику и Малайзию. Подобные географические сдвиги и перемещения могут заставить кого-то поверить, что в глобальном масштабе сложилась новая организация стадий экономического развития, в которой ведущие страны являются информационными экономиками сферы услуг, непосредственно зависящие от них страны — индустриальными экономиками, а зависимые государства низшего эшелона — аграрными экономиками. С позиций стадияльной концепции развития, например, можно предположить, взглянув на сегодняшний экспорт промышленного производства, что автомобильный завод, построенный корпорацией «Форд» в Бразилии в 1990-х гг., сравним с заводом Форда в Детройте, построенным в 1930-х гг., поскольку оба эти производственные предприятия относятся к одной стадии промышленного развития.

Однако при более внимательном рассмотрении мы видим, что эти два завода сравнивать нельзя, и различия между ними крайне важны. Прежде всего два предприятия отличаются друг от друга с точки зрения технологии и производственной практики. Когда основной капитал экспортируется, он, как правило, экспортируется на условиях обеспечения самой высокой степени своей производительности. Таким образом, завод Форда в Бразилии 1990-х гг. не строился с применением технологий завода Форда в Детройте 1930-х гг., а базировался на наиболее передовых и наиболее производительных из доступных компьютерных и информационных технологий. Сама технологическая инфраструктура завода делает его принадлежащим к информационной экономике. Во-вторых, и это, вероятно, наиболее важное замечание, два предприятия находятся в разных отношениях господства — подчинения в рамках мировой экономики в целом. Автомобильный завод в Детройте в 1930-х гг. был вершиной мировой экономики, находившейся в господствующем положении и дававшей наибольшее производство стоимости; в 1990-х гг. автомобильный завод, расположенный в Сан-Паулу, Кентукки или Владивостоке, занимает подчиненное положение в мировой экономике — подчиненное по отношению к производству услуг с высокой долей добавленной стоимости. В наши дни вся экономическая деятельность постепенно подпадает под контроль информационной экономики и под ее воздействием претерпевает качествен-

ное изменение. Географические различия в мировой экономике являются не признаками сосуществования различных стадий развития, а разделительными границами новой глобальной иерархии производства.

С точки зрения зависимых регионов становится все более очевидно, что модернизация более не является ключом к экономическому прогрессу и конкуренции. Зависимые территории низшего эшелона, такие, как Экваториальная Африка, практически исключены из системы потоков капитала и передачи новых технологий и, таким образом, оказываются на грани голода¹². Конкурентная борьба за места в среднем эшелоне мировой иерархии ведется не посредством индустриализации, а посредством информатизации производства. Крупные страны с диверсифицированной экономикой, такие, как Индия и Бразилия, могут одновременно поддерживать все уровни производственных процессов: основанное на информации производство услуг, промышленное производство товаров, а также традиционные ремесла, сельское хозяйство и горнодобывающую промышленность. Между этими формами производства не обязательно должна существовать историческая преемственность, они перемешиваются и сосуществуют. Все формы производства существуют в рамках сетевых структур мирового рынка и подчинены информатизированному производству

Начатая в 1950-х гг. трансформация экономики Италии ясно показывает, что относительно отсталые экономики не просто проходят те же стадии, что и развитые страны, но эволюционируют посредством создания альтернативных и смешанных моделей. После Второй мировой войны Италия все еще была в основном крестьянской страной, но в 1950-е и 1960-е гг. она пережила бурную, хотя и незавершенную модернизацию и индустриализацию, первое экономическое чудо. Затем в 1970-е и 1980-е гг., когда процессы индустриализации все еще не были завершены, итальянская экономика претерпела еще одну трансформацию, процесс постмодернизации, и совершила, таким образом, второе экономическое чудо. Эти два итальянских экономических чуда не были на самом деле скачками вперед, которые позволили бы Италии достичь уровня ведущих мировых экономик, скорее, они представляли собой сочетание различных незавершенных экономических форм. Наиболее важным в данном примере, что позволяет считать развитие Италии общей моделью для всех остальных отстающих экономик, является то обстоятельство, что *итальянская экономика не завершила одну стадию преобразований (индустриализация) перед тем, как приступить к следующей (информатизация)*. Как отмечают сейчас два экономиста, трансформация итальянской экономики обнаруживает «интересный переход от прото-индустриальной фазы к прото-информационной»¹³. Во многих регионах еще сохраняется традиционное крестьянство наряду с элементами индустриализации и частичной информатизации. Таким об-

разом, разные стадии развития представлены одновременно, сливаясь в некий гибрид, смешанную экономику, которая различается не характером, а степенью смешения в разных точках мира.

Как и модернизация в предшествующую эпоху, постмодернизация, или информатизация, в наши дни означает новый способ стать человеком. Там, где речь идет о сотворении души, как сказал бы Музиль, традиционные станочные методы следует заменить киберинтеллектом, знаниями информационных и коммуникативных технологий. Необходимо создать то, что Пьер Леви называет антропологией киберпространства¹⁴. Эта смена метафор дает нам первое представление о происходящей трансформации, но необходим более пристальный взгляд, чтобы четко различить изменения в нашем понимании человеческого и в самом человечестве, которые происходят при переходе к информационной экономике.

СОЦИОЛОГИЯ АМАТЕРИАЛЬНОГО ТРУДА

Переход к информационной экономике неизбежно включает изменение в качестве и природе труда. Это наиболее прямое социологическое и антропологическое последствие перехода от одной экономической парадигмы к другой. В наши дни информация и коммуникации играют определяющую роль в производственных процессах.

Первый аспект этой трансформации определяется многими исследователями как изменение фабричного труда — автомобильная промышленность является здесь наиболее часто приводимым примером перехода от фордистской модели к тойотистской¹⁵. Важнейшее структурное различие между этими моделями заключается в системе связи между производством и потреблением продукции, то есть в обмене информацией между производством и рынком. Фордистская модель породила относительно «безмолвные» отношения между производством и потреблением. Массовое производство стандартизированной продукции в фордистскую эпоху могло рассчитывать на адекватную потребность в ней и, таким образом, в незначительной степени нуждалось в том, чтобы «прислушиваться» к рынку. Обратный поток информации — от потребления к производству — действительно позволял изменениям на рынке стимулировать перемены в организации производства, но эта схема сообщения была ограниченной (из-за жестких и изолированных друг от друга каналов планирования и проведения конструкторских работ) и медленно действующей (из-за негибкости технологий и процедур массового производства).

Тойотизм переворачивает фордистскую структуру связи между производством и потреблением. В идеале, в соответствии с этой моделью, производственное планирование непосредственно и постоянно находится во взаимосвязи с рынками. На заводах не скапливаются излишки, а товары

производятся только по мере необходимости, в соответствии с сегодняшним спросом на рынках. Таким образом, данная модель включает не только более высокую скорость обратной связи (рынок — производство), но и инверсию взаимосвязи, поскольку, по крайней мере теоретически, решение о производстве товара принимается после и как реакция на решение рынка. В предельных случаях товар не производится до тех пор, пока потребитель не выбрал и не оплатил его. Однако в общем плане было бы более корректным рассматривать эту модель как стремящуюся к непрерывной взаимосвязи или быстрой коммуникации между производством и потреблением. Такая промышленная среда составляет первый уровень, позволяющий говорить, что коммуникации и информация стали играть центральную роль в производстве. Можно сказать, что инструментальное действие и коммуникативное действие тесно переплелись в процессе информатизированного промышленного производства; но тут же стоит добавить, что понимание коммуникации просто как передачи информации о состоянии рынков является обедненным¹⁶.

Сфера услуг в экономике рождает более сложную модель производственных коммуникаций. В самом деле, большая часть услуг основана на постоянном обмене информацией и знаниями. Поскольку производство услуг не создает материальных товаров длительного пользования, мы определяем труд, занятый в таком производстве, как *аматериальный труд* — труд, производящий аматериальные блага, такие, как услуга, продукт культуры, знание или коммуникация¹⁷. Одна сторона аматериального труда может быть описана по аналогии с работой компьютера. Возрастающее повсеместное использование компьютеров постепенно привело к изменению трудовой практики и трудовых отношений, наряду с изменением и всей общественной практики и социальных отношений. Знакомство и владение компьютерными технологиями становится все более общим и основным условием трудовой квалификации в ведущих странах. Даже когда непосредственный контакт с компьютерами не имеет места, использование различных символов и информации в соответствии с принципами работы компьютера чрезвычайно распространено. В предыдущую эпоху рабочие учились действовать подобно машинам как на фабрике, так и вне ее стен. Люди даже стали (благодаря фотографиям Майбриджа, например) воспринимать человеческую деятельность вообще как нечто механическое. В наши дни мы все больше мыслим подобно компьютерам, на фоне все возрастающей роли коммуникационных технологий и их специфической модели взаимодействия в трудовой деятельности. Одной из новаторских особенностей компьютера является его способность постоянно изменять свое функционирование по мере использования. Даже самые элементарные формы искусственного интеллекта позволяют компьютеру расширять и совершенствовать свои возможности, основываясь на взаимодействии с

пользователем и окружением. Такая же постоянная взаимосвязь характеризует в наши дни широкий спектр форм производственной деятельности, как включающих непосредственно использование компьютеров, так и не предполагающих такое использование. Компьютер и коммуникационная революция в производстве преобразовали трудовую деятельность таким образом, что она тяготеет к модели, характерной для информации и коммуникационных технологий¹⁸. Различные устройства, основанные на принципах кибернетики и взаимодействия с пользователем, становятся искусственно созданной частью нашего тела и разума, линзой, через которую мы по-новому воспринимаем наше тело и разум. Антропология киберпространства является подлинным признанием новых условий существования человека.

Роберт Райх называет такой вид аматериального труда, связанного с компьютерами и коммуникациями, «символически-аналитическими услугами» — задачами, включающими «принятие решений, определение целей и стратегическое управление»¹⁹. Утверждается, что такой вид труда создает максимально высокую долю добавленной стоимости, и поэтому Райх считает его ключевым для конкуренции в условиях новой мировой экономики. Однако он признает, что рост этой основанной на знании креативно-символической деятельности приводит к соответствующему росту не создающих большей доли добавленной стоимости и не требующих высокой квалификации занятий по рутинному преобразованию символов, таких, как ввод данных в компьютер и электронная обработка текстов. Так постепенно возникает основное разделение труда в рамках аматериального производства.

Следует заметить, что одним из последствий информатизации производства и возникновения аматериального труда стала гомогенизация трудовой деятельности. С точки зрения Маркса, в XIX веке конкретные формы трудовой деятельности носили принципиально гетерогенный характер: швейное и текстильное производства включали несопоставимые между собой конкретные операции. Только абстрагированные от своих конкретных форм, различные виды трудовой деятельности могли рассматриваться вместе и в сопоставлении друг с другом, являясь уже не швейным и текстильным производством, а использованием рабочей силы *вообще, абстрактным трудом*²⁰. Однако по мере компьютеризации производства гетерогенность отдельных форм трудовой деятельности снижалась, а рабочий все дальше отдалялся от объекта своего труда. Трудовая деятельность на компьютеризованном швейном производстве и на компьютеризованном текстильном производстве может включать одни и те же конкретные операции — преобразование символов и информации. Безусловно, орудия труда всегда до известной степени отделяли труд от его объекта. Однако раньше они были сравнительно жестко связаны с определенными

ми задачами или определенными группами задач; различные орудия труда соответствовали разным видам деятельности — инструменты портного, принадлежности суконщика, или позднее, швейная машина и электрический ткацкий станок. Компьютер же является универсальным устройством, или основным инструментом, посредством которого могут выполняться все виды деятельности. Таким образом, благодаря компьютеризации производства всякий труд приобретает значение абстрактного труда.

Однако модель компьютера описывает лишь одну сторону коммуникационного и аматериального труда, принимающего участие в производстве услуг. Другой стороной аматериального труда является *аффективный труд*, связанный с взаимодействием между людьми. Здравоохранение, например, основано преимущественно на аффективном труде и заботе о больных, а индустрия развлечений нацелена на то, чтобы вызвать эмоции и манипулировать ими. Даже если труд воздействует на тело или эмоции, он аматериален в том смысле, что его продукт неосязаем: чувство облегчения, здоровье, удовлетворение, волнение или страсть. Для характеристики такого труда часто используют термин «услуги, которые один человек предоставляет другому», то есть услуги, традиционно предоставляемые родственниками или соседями, но действительно важным здесь является то, что они связаны с производством аффектов и манипулированием эмоциями. Аффективное производство, обмен и коммуникация связаны с взаимодействием между людьми, причем оно может быть как реальным, так и виртуальным, как в индустрии развлечений.

Вторая сторона аматериального труда, его аффективный аспект, выходит за рамки модели обмена знаниями и коммуникаций, характерной для компьютера. Аффективный труд поддается лучшему пониманию, если исходить из того, что в феминистском анализе «женской работы» называется «телесным трудом»²¹. Труд, связанный с уходом за больными, относится, без сомнения, к сфере материального, соматического, но создаваемые им аффекты тем не менее аматериальны. Аффективный труд создает социальные связи, формы сообщества, биовласть. В данном случае вновь становится очевидным, что инструментальное действие экономического производства связано с коммуникативным действием человеческих взаимоотношений; в данном случае, однако, коммуникативный аспект не был обеднен, а наоборот, производство обогащается за счет сложности взаимодействий между людьми.

Резюмируя, можно выделить три типа аматериального труда, которые возводят сферу услуг на вершину информационной экономики. Первый связан с промышленным производством, которое приобрело информационный характер и включило в себя коммуникационные технологии, что привело к изменению самого производства. Производство рассматривается как услуга, и материальный труд по выпуску товаров длительного поль-

зования соединяется с аматериальным трудом и тяготеет к нему по своему характеру. Второй тип аматериального труда связан с решением аналитически-символических задач, которые распадаются на творческую и интеллектуальную деятельность, с одной стороны, и рутинные операции над символами — с другой. Наконец, третий тип аматериального труда включает порождение аффектов и манипулирование ими, он предполагает взаимодействие (реальное или виртуальное) между людьми, а также телесный труд. Таковы три типа трудовой деятельности, способствующие развитию процессов постмодернизации в мировой экономике.

Перед тем, как двигаться дальше, следует отметить, что в каждой из трех форм аматериального труда кооперация является неотъемлемой частью самого труда. Иными словами, этот аспект аматериального труда не привносится или создается извне, как это было с ранними формами труда, но *кооперация всецело присуща трудовой деятельности как таковой*¹². Это обстоятельство ставит под сомнение старое определение (свойственное классической и марксистской политической экономии), в соответствии с которым рабочая сила рассматривается как «переменный капитал», то есть как сила, которая задействуется и объединяется только благодаря капиталу, поскольку способность рабочей силы к кооперации (особенно в аматериальном производстве) дает труду возможность самому повышать свою стоимость. Разум и тело отдельного индивида по-прежнему нуждаются в наличии таких же других, чтобы производить стоимость, но эти другие не обязательно появляются благодаря капиталу и его возможностям руководить производством. В наши дни производительный труд, богатство и создание общественных излишков принимают форму кооперативного взаимодействия за счет лингвистических, коммуникационных и аффективных связей. Таким образом, в выражении своих собственных созидательных возможностей аматериальный труд несет в себе потенциал некоего стихийного и изначального коммунизма.

СЕТЕВОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Непосредственным географическим последствием перехода от индустриальной к информационной экономике является резкая децентрализация производства. Процессы модернизации и переход к индустриальной парадигме привели к значительной концентрации производительных сил и массовым миграциям рабочей силы в промышленные центры, такие, как Манчестер, Осака и Детройт. Эффективность массового промышленного производства зависела от концентрации и близости элементов, позволявших создать производственный комплекс, упростить транспортировку продукции и коммуникации. Однако информатизация промышленности и растущее преобладание сферы услуг сделали подобную концентрацию произ-

водства более не нужной. Размер и эффективность более не связаны между собой напрямую; на самом деле, значительный размер во многих случаях стал помехой. Успехи в области телекоммуникаций и информационных технологий сделали возможной детерриториализацию производства, что привело к рассредоточению массового производства и исчезновению фабричных городов. Коммуникация и контроль за производством могут эффективно осуществляться на расстоянии, а в некоторых случаях продукция аматериального производства может доставляться по всему миру с минимальными задержками и затратами. Различные производственные мощности способны скоординированно и одновременно работать на выпуск одного изделия таким образом, что заводы могут находиться в разных местах. В некоторых секторах экономики само производственное помещение исчезает, т. к. работники взаимодействуют исключительно при помощи новых информационных технологий²³.

В процессе перехода к информационной экономике конвейер был заменен *сетью* как организационной моделью производства, преобразующей формы кооперации и коммуникации как на каждом конкретном предприятии, так и между ними. На массовой фабрике схема кооперации при выпуске продукции определялась в первую очередь размещением рабочих в цеху. Каждый рабочий взаимодействовал со своими соседями, и взаимосвязь ограничивалась физическим соседством одного рабочего с другим. Кооперация между разными производствами также требовала физического соседства, как для координации производственных циклов, так и для минимизации издержек транспортировки и времени выпуска продукции. Например, расстояние между угольной шахтой и сталелитейным производством и эффективность каналов транспортировки и коммуникации между ними являлись важными факторами общей эффективности сталелитейного производства. Аналогично, для автомобильной промышленности эффективность каналов коммуникации и транспортировки между поставщиками комплектующих являлась определяющей для эффективности всей системы в целом. При переходе же к информационно ориентированному производству и сетевому принципу организации производственная кооперация и эффективность более не зависят в такой степени от централизации и территориальной близости. Информационные технологии способствуют тому, что расстояния становятся менее значимыми. Рабочие, вовлеченные в общий производственный процесс, могут легко связываться и взаимодействовать друг с другом, находясь в разных местах и не думая о расстояниях. Фактически сетевой принцип производственной кооперации не требует наличия какого-то территориального или физического центра.

Тенденция к детерриториализации производства еще более заметна в области аматериального труда, включающего обработку знаний и инфор-

мации. Производственные процессы могут протекать в форме, почти сходной с функционированием коммуникационных сетей, для которых расположение и расстояние имеют крайне ограниченное значение. Рабочие могут даже оставаться дома и просто подключаться к сети. Труд в системе информационного производства (как услуг, так и товаров длительного пользования) основывается на том, что можно было бы назвать *абстрактной кооперацией*. Такой труд придает еще большее значение передаче знаний и информации между трудящимися, но эти взаимодействующие работники не собираются вместе и могут быть даже в определенной степени неизвестны друг другу или же известны только благодаря той производственной информации, которую они передают. Цепь кооперации объединяется в сеть и превращается в товар на абстрактном уровне. Таким образом, в пространственном аспекте производственные мощности могут детерриториализовываться и тяготеть к виртуальному существованию, как своеобразные точки координат в сети коммуникаций. В противоположность прежней вертикально организованной индустриально-корпоративной модели, в наши дни производство стремится к тому, чтобы быть организованным как горизонтально интегрированное сетевое предприятие²⁴.

Информационные сети также освобождают производство от территориальных ограничений в том отношении, что они стремятся установить прямой контакт между производителем и потребителем, невзирая на разделяющее их расстояние. Один из основателей корпорации «Майкрософт» Билл Гейтс доводит эту тенденцию до логического предела, предсказывая, что в будущем сети полностью преодолечат все преграды, стоящие на пути обращения товаров, и это сделает возможным возникновение идеального, «свободного от трений» капитализма: «Информационная супермагистраль расширит электронное рыночное пространство и сделает его главным посредником, всеобщим маклером»²⁵. Если бы предсказания Гейтса сбылись, сети свели бы на «нет» значение расстояния и сделали бы транзакции мгновенными. Производство и потребление стали бы тогда постоянной данностью друг для друга, невзирая на то, где они находятся в реальном географическом пространстве.

Эти тенденции к детерриториализации производства и возрастающей мобильности капитала не являются абсолютными, существуют также весомые встречные тенденции, но в той мере, в какой эти две тенденции все-таки проявляются, они ослабляют положение трудящихся. В эпоху фордистской организации массового промышленного производства капитал был привязан к специфической территории и, следовательно, вынужден был вступать в договорные отношения с ограниченным числом трудящихся. Информатизация производства и возрастающая роль аматериального производства способствовали освобождению капитала от территориальных ограничений и необходимости договариваться. Капитал может отка-

заться от переговоров с данным местным населением, переместившись в другую точку мировой сети — или просто использовать возможность такого перемещения как козырь на переговорах. Таким образом, все трудящиеся, которые добились ранее определенной стабильности и возможности определять условия договора, оказались в ситуации все более неустойчивой занятости. Поскольку возможности рабочей силы склонять капитал к уступкам уменьшились, сетевое производство смогло поставить себе на службу различные старые формы негарантированного труда, такие, как внештатная работа, работа на дому, частичная занятость и сельская оплата²⁶.

Децентрализация и пространственное рассредоточение производственных процессов в глобальном масштабе, характерные для постмодернизации, или информатизации экономики, вызывают соответствующую централизацию контроля над производством. Центробежные процессы в производстве сбалансированы центростремительной тенденцией в управлении. С точки зрения локальной перспективы компьютерные сети и техника связи, включенные в систему производства, позволяют более широко вести наблюдение за рабочими из главного, территориально удаленного центра. В виртуальном паноптикуме сетевого производства контроль за трудовой деятельностью, в принципе, может быть индивидуальным и постоянным. Однако централизация управления предстает еще более четко в общей перспективе. Географическое рассредоточение производства породило потребность в чрезвычайно централизованном управлении и планировании, а также в централизации специальных услуг, требующихся производству, особенно финансовых²⁷. Финансовые и посреднические услуги, сосредоточенные в нескольких ключевых городах (таких, как Нью-Йорк, Лондон и Токио), организуют и направляют всемирные сети производства. Таким образом, как и массовый демографический сдвиг, закат и опустошение старых промышленных городов шли рука об руку с ростом новых глобальных центров, подлинных городов контроля.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СУПЕРМАГИСТРАЛИ

Структура и управление сетями коммуникаций являются необходимыми условиями для производства в информационной экономике. Всемирные сети должны создаваться и контролироваться таким образом, чтобы гарантировать порядок и получение прибыли. Не удивительно, что правительство США рассматривает создание и регулирование всемирной информационной инфраструктуры как один из важнейших своих приоритетов и что сети коммуникации стали главной областью слияний и конкуренции для транснациональных корпораций.

Советник Федеральной комиссии по связи Питер Коуи приводит инте-

ресную аналогию для роли, которую эти сети играют в новой парадигме производства и власти. Создание новой информационной инфраструктуры, говорит он, рождает условия для глобального производства и управления так же, как строительство дорог обеспечивало их для Римской империи²⁸. Широкое распространение римского инженерного искусства и технологии было одновременно и наиболее долговечным даром имперским владениям, и важнейшим условием для осуществления контроля над ними. Тем не менее римские дороги не играли главную роль в производственных процессах в Империи, а только упрощали обращение товаров и технологий. Возможно, более удачной аналогией для всемирной информационной инфраструктуры могло бы быть строительство железных дорог для расширения сферы интересов империалистических экономик XIX и XX века. В ведущих странах железные дороги консолидировали индустриальную экономику, а железнодорожное строительство на колонизированных и экономически зависимых территориях открывало их для проникновения капиталистических компаний, способствуя включению этих территорий в империалистические экономические системы. Однако, как и римские дороги, железные дороги играли только внешнюю роль в империалистическом и промышленном производстве, доводя линии коммуникаций и каналы транспортировки до новых залежей сырья, рынков и рабочей силы. *Новизна информационной инфраструктуры заключается в том, что она является составной частью новых производственных процессов и полностью им имманентна.* Завершающей точкой производства, информации и коммуникации является сегодня сама производимая продукция; сеть выступает одновременно и областью производства, и сферой обращения.

С точки зрения политической организации всемирная информационная инфраструктура может быть охарактеризована как сочетание *демократического* и *олигополистического* механизмов, которые функционируют в соответствии с разными моделями сетевых систем. Демократическая инфраструктура представляет собой горизонтально выстроенную и детерриториализованную модель. Интернет, который начинался как проект Управления перспективных исследований Министерства обороны США, а в наши дни распространился по всему миру, является основным примером демократической сетевой структуры. Неопределенное и потенциально неограниченное число взаимосвязанных узлов не объединены с каким-либо главным контрольным центром; все узлы, независимо от их местонахождения, связываются с другими узлами через бесчисленное множество всевозможных каналов и переключений. Интернет, таким образом, напоминает структуру телефонных сетей и в действительности включает их как собственные средства коммуникации так же, как он опирается на компьютерные технологии для создания коммуникативных узлов. Развитие сото-

вой связи и переносных компьютеров, делая гораздо более подвижными новые узлы коммуникаций в сети, усилило процессы детерриториализации. По исходному замыслу структура Интернета была предназначена для того, чтобы противостоять военному нападению. Поскольку у нее нет центра и практически каждая часть может функционировать как автономное целое, сеть сможет продолжать работать, даже когда часть ее уничтожена. Децентрализация, тот же элемент замысла, который обеспечивает выживание, делает контроль за сетью крайне затруднительным. Поскольку ни один узел сети не является необходимым для сообщения между другими, ему трудно регулировать или запрещать это сообщение. Это демократическая модель названа Делезом и Гваттари ризомой, корневой системой, неиерархической и нецентрализованной сетевой структурой²⁹.

Олигополистическая сетевая модель представлена в системах телевидения. В соответствии с этой моделью, на телевидении или радио, например, существует единственный и в значительной мере стационарный передающий центр, но точки приема сигнала потенциально бесконечны и территориально не ограничены, хотя такие образцы телевидения, как кабельные телевизионные сети, в определенной степени ограничивают эти каналы. Вещательная сеть характеризуется централизованным производством продукции, массовым распространением и односторонней связью.

Вся индустрия культуры — от распространения газет и книг до фильмов и видеокассет — традиционно развивалась в соответствии с этой моделью. Сравнительно небольшое число корпораций (а в некоторых регионах один единственный предприниматель, как Руперт Мердок, Сильвио Берлускони или Тед Тернер) могут контролировать все эти сети. Олигополистическая модель подобна не ризоме, а дереву, все ветви которого отходят от центрального ствола.

Сети новой информационной инфраструктуры являются гибридом двух вышеописанных моделей. Как в предыдущую эпоху Ленин и другие критики империализма отмечали объединение международных корпораций в квазимонополии (контролировавшие железные дороги, банки, электроэнергетику и т. п.), в наши дни мы являемся свидетелями конкуренции между транснациональными корпорациями за создание и объединение квазимонополий в новой информационной инфраструктуре. Различные телекоммуникационные корпорации, производители компьютерной техники и программного обеспечения, а также корпорации, занимающиеся новостным бизнесом и развлечениями, сливаются и расширяют свою деятельность, добиваясь раздела и контроля над все новыми областями производственной инфраструктуры. Безусловно, останутся демократические звенья или стороны консолидированной мировой паутины, которые смогут противостоять попыткам контроля благодаря децентрализованной структуре взаимодействия в сети. Однако уже происходит процесс мае-

сированной централизации контроля (де-факто и де-юре) за сеть посредством объединения основных элементов информационной и коммуникационной властной структуры: Голливуд, Microsoft, IBM, AT&T и т. д. Новые коммуникационные технологии, которые несли надежду на новую демократию и социальное равенство, породили, на самом деле, новые формы неравенства и исключения из общественной жизни, как в ведущих странах, так, в особенности, за их пределами³⁰.

ОБЩЕСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ "

На протяжении всей эпохи современности существовало постоянное стремление приватизировать общественную собственность. В Европе обширные общинные земли, образовавшиеся с распадом Римской Империи и распространением христианства, со временем перешли в частные руки в ходе капиталистического первоначального накопления. По всему миру от обширных общественных владений остались только легенды: лес Робин Гуда, Великие Равнины американских индейцев, степи кочевых племен и т. д. В ходе становления индустриального общества, формирование и распад общественных владений развивались по еще более крутой спирали. Справедливо утверждение, что, когда это было вызвано потребностями накопления (чтобы стимулировать ускорение или скачок в развитии, сконцентрировать и мобилизовать средства производства, вести войну и т. д.), доля общественной собственности увеличивалась за счет принудительного отчуждения значительных секторов гражданского общества и передачи богатств и собственности в коллективное пользование. Однако эта общественная собственность вскоре вновь переходила в частные руки. В ходе каждого такого процесса коллективное владение, считавшееся естественным, превращалось за общественный счет во вторую или третью природу, действовавшую в конечном счете в интересах частной выгоды. Вторая, отличная от исходной природа создавалась, например, при перегораживании великих западных рек Северной Америки и обеспечении водой засушливых равнин, а затем это новое богатство перешло в руки сельскохозяйственных магнатов. Капитализм приводит в движение постоянно повторяющийся процесс частного присвоения общественных благ: экспроприации того, что принадлежит всем.

Взлет и падение государства всеобщего благосостояния в XX веке является следующим витком спирали общественного и частного присвоения собственности. Кризис государства благосостояния означал, в первую очередь, что структуры социальной помощи и распределения, которые были созданы на общественные средства, приватизируются и экспроприируются ради частной выгоды. Нынешняя неолиберальная тенденция приватизации энергетики и услуг связи является еще одним витком спирали. Он

заклучается в передаче частным компаниям энергетических мощностей и коммуникационных сетей, созданных за счет колоссальных вложений общественных средств. Тем не менее рыночные механизмы и неолиберализм выживают и после этих попыток частного присвоения природы второй, третьей и n-ой степени. Общественное достояние, равно как и простой народ, которые раньше рассматривались как основа понятия общественнойности, экспропрированы для частных нужд, и никто не может с этим ничего поделать. Таким образом, общественное, общественность исчезли, приватизированы, даже как понятия. Иначе говоря, имманентная взаимосвязь общественного и общественнойности заменена трансцендентной властью частной собственности.

Мы не собираемся особо сожалеть по поводу разрушения и экспроприации, которые несет капитализм по всему миру, даже несмотря на то, что сопротивление его могуществу (и особенно сопротивление экспроприации государства благосостояния) является, безусловно, в высшей степени этической и важной задачей. Вместо этого мы задаемся вопросом, что означают общественное и общественность в наши дни, в разгар постсовременности, информационной революции и вытекающих из них изменений способа производства. На самом деле, мы полагаем, что в наши дни все мы составляем наиболее полную и глубокую общность, которая когда-либо существовала за всю историю капитализма. Очевидно, что все мы являемся частью производственного мира, состоящего из коммуникаций и социальных сетей, взаимосвязанных процессов и общих языков. Наша экономическая и социальная реальность определяется производимыми и потребляемыми материальными объектами в меньшей степени, чем со-производимыми услугами и отношениями. Производить все в большей степени означает создавать кооперацию и коммуникативно связанные общности.

Сам концепт частной собственности, понимаемый как исключительное право использовать некое благо и распоряжаться всем достоянием, проистекающим из владения этим благом, в новой ситуации становится все более бессмысленным. Остается все меньше и меньше благ, которыми можно владеть и пользоваться исключительно в этом смысле; производит общество как целое, и в процессе своего производства оно воспроизводится и изменяется. Таким образом, основание классического представления о частной собственности, характерного для современности, в определенной степени разрушается самим способом производства, отличающим постсовременность.

Тем не менее можно возразить, что новые социальные условия производства ни в коей мере не ослабили юридическое и политическое обеспечение частной собственности. Кризис понятия частной собственности не является таковым в практической сфере, напротив, как тенденция режим частной экспроприации благ действует повсюду. Это возражение было бы

существенным, если бы не то обстоятельство, что в смысле своего значения на лексическом уровне и в плане взаимодействия друг с другом (в контексте лингвистического и кооперативного производства) труд и общественная собственность переплетаются. Частная собственность же, несмотря на свою юридическую значимость, не может не становиться все более абстрактным и трансцендентальным концептом и, следовательно, все более оторванной от реальности.

На этой почве рождается новое понимание «общественного достояния». Делез и Гваттари в работе *Что такое философия?* утверждают, что в современную эпоху, в контексте коммуникативного и интерактивного производства, создание того или иного концепта есть не просто эпистемологическая операция, но также и онтологическое действие. Создание концептов и того, что эти авторы называют «общими именами», действительно сочетает в себе знания и действия масс, заставляя их работать совместно. Создание концептов означает воплощение в реальность проекта сообщества. Не существует другого способа выработать тот или иной концепт, кроме как работать сообща. Эта общность, с точки зрения феноменологии производства, эпистемологии концепта и, наконец, практики, является проектом, в котором массы всецело воплощают себя. Общественное достояние является воплощением, производством и освобождением для масс. Руссо говорил, что первый человек, который захотел получить частицу природы в свое личное владение и превратил это владение в трансцендентную форму частной собственности, был изобретателем зла. Добро и благо, напротив, это то, что является общим.

3.5 СМЕШАННОЕ УСТРОЙСТВО

Одной из замечательных особенностей информационной супермагистрали является то, что достичь виртуальной справедливости гораздо проще, чем подлинной... В виртуальном мире все мы созданы равными.

БИЛЛ Гейтс

СДВИГ производственной парадигмы в сторону сетевой модели распространил растущую мощь транснациональных корпораций за традиционные границы национальных государств и поставил ее над ними. Новизна этой ситуации может быть осознана с точки зрения длительной борьбы за власть между капиталистами и государством. Велика опасность неверного толкования истории этого конфликта. Необходимо уяснить, и это представляется наиболее важным, что несмотря на неизменный антагонизм между капиталистами и государством, их взаимоотношения являются действительно конфликтными, только если смотреть на них с позиций каждого капиталиста в отдельности.

Маркс и Энгельс характеризуют государство как комитет, управляющий общими делами капиталистов; под этим они имеют в виду, что, хотя действия государства временами противоречат непосредственным интересам отдельных капиталистов, в долгосрочной перспективе они всегда выражают интересы совокупного капиталиста, то есть коллективного субъекта общественного капитала как целого¹. Продолжая свои рассуждения, Маркс и Энгельс утверждают, что конкуренция между капиталистами, какой бы свободной она ни была, не гарантирует общественное благо для совокупного капиталиста, поскольку сиюминутная эгоистическая погоня за прибылью отдельных капиталистов в основе своей близорука. Государство необходимо из соображений благоразумия, чтобы согласовывать интересы отдельных капиталистов, возвышая их до уровня совокупного интереса всего капитала. Таким образом, капиталисты будут всегда бороться с властью государства, даже когда государство действует в их общих интересах. Этот конфликт является поистине счастливым, благотворным примером диалектики с точки зрения общественного капитала как целого.

КОГДА ГИГАНТЫ ПРАВЯТ МИРОМ

Диалектическая взаимосвязь между государством и капиталом принимала различные формы на разных этапах капиталистического развития. Краткая и весьма грубая периодизация позволит выявить, по крайней мере, основные характерные черты этой динамики. В XVIII и XIX столетиях, когда капитализм установился в Европе в полной мере, государство управляло делами всего общественного капитала, но использовало при этом относительно ненавязчивые формы вмешательства. При ретроспективном взгляде этот период стали рассматривать (с определенной долей искажения) как золотой век европейского капитализма, характеризовавшийся режимом свободной торговли между относительно небольшим числом капиталистов. За рамками европейских национальных государств в этот период, до того, как была полностью выстроена система могущественной колониальной администрации, европейский капитал встречал еще меньше преград. В значительной мере капиталистические компании действовали как полновластные хозяева на колонизированных или близких к этому статусу территориях, устанавливая свою собственную монополию на применение силы, собственную полицию, собственные суды. Голландская Ост-Индская

компания, например, управляла эксплуатируемыми ею территориями на острове Ява до конца XVIII века, располагая своей собственной структурой суверенного господства. Даже после того, как компания была ликвидирована в 1800 году, капитал управлял территорией относительно свободно от государственного участия или контроля². Ситуация была практически такой же для капиталистов, действовавших в британских колониях в Южной Азии и Африке. Суверенный статус Британской Ост-Индской компании сохранялся до тех пор, пока в 1858 г. Ост-Индский акт не передал компанию под власть королевы, а на юге Африки капиталистические авантюристы и предприниматели свободно хозяйничали, по крайней мере, до конца XIX века*. Таким образом, этот период характеризовался относительно низкой потребностью в государственном вмешательстве внутри страны и за границей: в европейских государствах регулирование деятельности капиталистов (ради их общих интересов) проходило без значительных конфликтов, а в колониях они обладали практически суверенным статусом.

Взаимоотношения государства и капитала постепенно изменились в XIX — начале XX века, когда экономические кризисы стали все больше угрожать развитию капитала. В Европе и США корпорации, тресты и картельные достигли в своем развитии уровня, позволявшего установить квазимонополии в отдельных отраслях и секторах промышленности и выйти далеко за национальные границы. Монополистическая стадия представляла непосредственную угрозу для капитализма, поскольку она ослабляла конкуренцию между капиталистами, являющуюся основой всей капиталиста-

ческой системы⁴. Образование монополий и квазимонополий также подрывало способность государства регулировать развитие экономики, и, следовательно, гигантские корпорации получали возможность ставить свои частные интересы выше интересов совокупного капиталиста. Следствием этого стали ожесточенные столкновения, в ходе которых государство пыталось установить контроль над корпорациями, вводя антитрестовское законодательство, повышая налоги и тарифы и расширяя государственное регулирование промышленности. В колониях неконтролируемые действия компаний, пользовавшихся суверенными правами, и капиталистов авантюристического толка также вели к кризису. Например, в Индии восстание 1857 г., направленное против господства Ост-Индской компании, изменило отношение британского правительства к многочисленным бедствиям, к которым приводили действия колониальных капиталистов, оставленных без контроля. Акт об управлении Индией, принятый английским парламентом в следующем году, являлся непосредственной реакцией на угрозу кризиса. Европейские державы постепенно создали четко выстроенные и хорошо действующие органы управления в колониях, эффективно восстанавливая экономическую и социальную активность на основе юрисдикции национальных государств, защищая тем самым интересы общественного капитала в целом от кризисов. В метрополиях и колониях национальные государства вынуждены были энергично вмешиваться для защиты интересов общественного капитала в целом от посягательств капиталистов, каждый из которых исходил из соображений собственной выгоды.

В наши дни достигла зрелости третья фаза взаимоотношений государства и капитала, когда транснациональные корпорации преодолевают юрисдикцию и полномочия национальных государств. Может показаться, что вековое диалектическое противостояние закончилось: *государство потерпело поражение, а корпорации правят миром!* В последние годы появилось большое количество работ исследователей, придерживающихся левой ориентации, в которых этот феномен рассматривается в апокалиптическом ключе, как представляющий опасность для человечества, оказавшегося в руках ничем не сдерживаемых корпораций, и которые тоскуют по временам, когда национальные государства выступали в роли защитников⁵. Соответственно, сторонники капитала приветствуют новую эру дерегулирования и свободной торговли. Однако если бы все было так в действительности, если бы государство на самом деле перестало управлять делами совокупного капитала, и благотворный диалектический конфликт государства и капитала действительно был бы преодолен, тогда капиталистам следовало бы больше всех опасаться за свое будущее! Без государства общественный капитал не имеет средств для выработки и реализации своих коллективных интересов.

Нынешняя фаза развития капитализма не может быть адекватно оха-

рактирована как победа капиталистических корпораций над государством. Хотя транснациональные корпорации и всемирные сети производства и обращения подорвали могущество национальных государств, функции государства и различные элементы его устройства фактически перешли на другие уровни и в другие области. Необходимо более детально рассмотреть, как изменились взаимоотношения между государством и капиталом. Прежде всего, следует признать наличие кризиса политических отношений на национальном уровне. По мере того, как концепция национального суверенитета теряет свою эффективность, то же происходит и с так называемой автономией политического⁶. Сегодня представление о политике как о самостоятельной области выработки консенсуса и сфере посредничества между конфликтующими социальными силами имеет крайне ограниченное распространение. Консенсус в большей мере определяется экономическими факторами, такими как равновесие торгового баланса и игра на колебаниях курсов валют. Контроль за этими процессами не принадлежит политическим силам, которые традиционно рассматривались как носители суверенитета, а консенсус не достигается при помощи традиционных политических механизмов. Государственное управление и политика полностью интегрируются в систему транснационального господства. Контроль осуществляется посредством ряда международных органов и структур. Это в полной мере относится и к механизмам политического посредничества, которые на практике действуют как механизмы бюрократического посредничества и социологии управления, а не как традиционные политические способы опосредования конфликтов и сглаживания классовых противоречий. Политика не исчезает; исчезает всякое представление об ее автономии.

Закат автономии политического свидетельствует также и об исчезновении независимого пространства, в котором могла бы зародиться революция в рамках данного национального политического режима или в котором социальное пространство могло бы быть преобразовано при помощи государства. Традиционные идеи контрвласти и сопротивления суверенитету государства современности становятся все менее и менее реалистичными. Эта ситуация в некотором смысле напоминает ту, в которой оказался Макиавелли в другую эпоху: трагическое и ужасающее поражение «гуманистической» революции, которое она потерпела, столкнувшись с княжеской властью, а точнее говоря, с государством начала современности. Макиавелли понимал, что действия отдельных героических личностей (вроде тех, что описывал Плутарх) более не могли поколебать новый суверенитет княжеской власти. Требовалось найти новую форму сопротивления, которая была бы адекватна новому измерению суверенитета. В наши дни мы видим, что традиционные формы сопротивления, такие как институционализованные организации трудящихся, развивавшиеся на про-

тяжении большей части XIX-XX веков, начинают терять свое могущество. Сегодня необходимо найти новые формы сопротивления.

Наконец, упадок таких традиционных сфер, как политическая деятельность и массовое сопротивление, дополняется трансформацией демократического государства, заключающейся в том, что его функции становятся составной частью действующих на глобальном уровне механизмов управления транснациональных корпораций. Демократическая модель государственно регулируемой эксплуатации функционировала на национальном уровне в ведущих странах столь длительное время, потому что она была способна сдерживать растущий конфликтный потенциал динамическим образом, иными словами, поскольку она сохраняла потенциал для развития наряду с утопией государственного планирования, и, наконец, потому что классовая борьба в каждой из стран порождала определенный дуализм власти, на котором и основывались структуры унитарного государства. Когда эти условия исчезли, как в действительности, так и на уровне идеологии, демократические национальные капиталистические государства саморазрушились. Единая система управления разрушалась и преобразовывалась в целый ряд отдельных структур (банков, международных агентств по планированию и т. д., в дополнение к традиционным независимым от правительства институтам), легитимность которых все в большей степени исходит от власти на наднациональном уровне.

Однако признание факта роста транснациональных корпораций и выхода их за рамки юрисдикции национальных государств не должно приводить нас к выводу о том, что конституционные механизмы и органы как таковые пришли в упадок, что относительно свободные от контроля государства транснациональные корпорации свободно конкурируют между собой и регулируют свою деятельность. Просто конституирующие функции перешли к другому уровню. Признавая упадок традиционной конституирующей системы на национальном уровне, необходимо проследить, как власть конституируется на наднациональном уровне, иными словами, как начинает складываться Империя.

ПИРАМИДА МИРОВОГО УСТРОЙСТВА

На первый взгляд и с точки зрения эмпирического наблюдения рамки нового мирового устройства представляются неорганизованным и даже хаотическим сочетанием контролирующих и представительных организаций. Эти элементы глобального устройства рассредоточены в широком спектре институтов (в национальных государствах, в объединениях государств и во всевозможных международных организациях); они делятся по своим функциям и содержанию (политические и финансовые структуры, органы здравоохранения и образования), и все они вовлечены в различные сфе-

ры производственной деятельности. Однако при более внимательном рассмотрении эта беспорядочная группа организаций имеет определенные точки соприкосновения. В большей степени, чем элементы прямого управления, некие общие матрицы разграничивают накладывающиеся друг на друга области в общем беспорядке всемирной правовой системы и политической жизни. Анализируя конфигурацию власти в глобальном масштабе, ее различные формы и органы, мы ясно различаем пирамидальную структуру, состоящую из трех последовательно расширяющихся ярусов, каждый из которых делится, в свою очередь, на несколько уровней.

На вершине пирамиды находится единственная сверхдержава, США, удерживающая гегемонию в использовании силы в глобальном масштабе, — сверхдержава, которая может действовать самостоятельно, но предпочитает выступать совместно с другими государствами в рамках Организации Объединенных Наций. Этот уникальный статус был обретен Америкой с окончанием холодной войны и был впервые подтвержден ею в ходе войны в Персидском заливе. На втором уровне, составляющем все еще первый ярус постепенно расширяющейся пирамиды, несколько национальных государств контролируют важнейшие рычаги мировой финансовой системы и имеют, таким образом, возможность управлять процессами глобального обмена. Эти государства объединены в ряд организаций — Большая Семерка (G7), Парижский и Лондонский клубы, Давосский экономический форум и т. д. Наконец, на третьем уровне первого яруса находятся разнородные объединения (с участием примерно того же круга государств, что доминируют в военной и финансовой областях), обладающие властью в вопросах культуры и биополитики в глобальном масштабе.

Ниже первого и главного яруса единой системы мирового господства располагается второй ярус, власть в котором не собрана воедино, а распределяется по всему миру и упор делается не столько на организационное единство, сколько на согласованность действий. Структура этого яруса определяется в основном сетевыми структурами, созданными транснациональными корпорациями на мировом рынке: это сети движения капитала, технологий, миграций населения и т. п. Эти производственные структуры, формирующие и питающие рынки, пронизывают весь мир благодаря защите и гарантиям со стороны центральной власти, составляющей первый уровень глобальной системы. Если воспользоваться свойственным эпохе Просвещения представлением о том, что ощущения возникают в тот момент, когда к лицу неодушевленной статуи подносится роза, то можно сказать, что транснациональные корпорации наполняют жизнью жесткую структуру центральной власти. В самом деле, посредством перераспределения в глобальном масштабе капитала, технологий, товаров и населения транснациональные гиганты создают развитые сети коммуникации и обеспечивают удовлетворение потребностей. Единственный и неоспо-

римый центр управления миром тем самым сочленяется с транснациональными корпорациями и организацией рынков. Мировой рынок одновременно и унифицирует те или иные территории, и делает их различными, изменяя географию земного шара. На втором ярусе, на уровне, часто подчиненном власти транснациональных корпораций, располагается основная масса суверенных национальных государств, объединенных в региональные организации по территориальному признаку. Эти государства выполняют различные функции, такие как политическое опосредование с оглядкой на интересы ведущих мировых держав, хозяйственная деятельность с учетом интересов транснациональных корпораций и перераспределение доходов в соответствии с биополитическими потребностями на своей ограниченной территории. Национальные государства являются своеобразными фильтрами в системе мирового обращения; через них как через регуляторы распространяется мировое господство, иными словами, они контролируют и регулируют перемещение богатств к центру мировой власти и в обратном направлении, а также насаждают дисциплину среди собственного населения, насколько это еще возможно.

Третий, наиболее широкий ярус пирамиды состоит из различных групп, представляющих интересы населения в системе мировой власти. Массы не могут быть включены в ее структуру напрямую, но должны пройти через своего рода фильтры, созданные механизмами представительства. Какие же группы или организации выполняют функцию сдерживания и/или легитимации, свойственную народному представительству, в мировой структуре власти? Кто представляет Народ в системе мирового устройства? Или, что еще важнее, какие силы и процессы превращают массы в Народ, который затем может быть представлен в системе мирового устройства? Во многих случаях эту роль принимают на себя национальные государства, особенно когда речь идет о зависимых или малых государствах. Например, в рамках Генеральной Ассамблеи ООН малые государства, численно составляющие большинство, но по своему влиянию являющиеся абсолютным меньшинством, выступают, по крайней мере, как символический противовес и одновременно средство легитимации политики ведущих держав. В этом смысле все население мира представлено на заседаниях Генеральной Ассамблеи и на всех остальных общемировых форумах. Таким образом, поскольку сами национальные государства (как более или менее демократические, так и авторитарные) выступают как выразители воли Народа, их представительство в глобальном масштабе может претендовать лишь на опосредованное выражение воли народа через два уровня: государство представляет Народ, который, в свою очередь, представляет массы.

Однако не только национальные государства формируют и представляют Народ в новой глобальной *системе*. На третьем ярусе пирамиды Народ

(в глобальном масштабе) более четко и непосредственно представлен не правительствами, а целым рядом организаций, являющихся хотя бы относительно независимыми от государства и капитала. Нередко эти организации рассматриваются как части глобального гражданского общества, отражающие потребности и желания масс в формы, способные быть представленными в функционирующей системе глобальной власти. В этом новом образовании глобального масштаба можно по-прежнему найти традиционные компоненты гражданского общества, такие как средства массовой информации и религиозные институты. Средства массовой информации в течение длительного времени называют себя голосом и даже совестью Народа в противовес государственной власти и частным интересам капитала. Они рассматриваются как дополнительный элемент системы сдержек и противовесов действиям правительства, предлагая объективный и независимый взгляд на все, что Народ хочет или должен знать. Однако уже давно очевидно, что на самом деле СМИ часто не так уж независимы, с одной стороны, от капитала и, с другой — от государства⁷. Религиозные организации имеют еще более давнюю историю в качестве неправительственных институтов, представляющих Народ. Рост религиозного фундаментализма (как исламского, так и христианского) в той мере, в которой он выражает интересы Народа в противовес государству, должен, вероятно, рассматриваться как один из компонентов нового глобального гражданского общества, однако когда религиозные организации выступают против государства, они сами нередко становятся государствами.

Новейшая и, пожалуй, ведущая сила глобального гражданского общества представлена неправительственными организациями (НПО)^{III}. Термин «неправительственные организации» не получил строгого определения. В данном случае под НПО мы понимаем всякую организацию, претендующую на то, что она представляет Народ и действует в его интересах, функционирующую при этом отдельно от (а часто и направленную против) государственных структур. Многие исследователи рассматривают НПО как синоним «организаций народа», поскольку интересы народа определяются как отличные от интересов государства⁸. Эти организации действуют на местном, национальном и наднациональном уровнях. Таким образом, термин НПО объединяет чрезвычайно широкий круг разнородных организаций: в начале 1990-х гг. в мире насчитывалось более 18000 неправительственных организаций. Некоторые из них играют традиционную роль профсоюзов (как, например, Ассоциация женщин-предпринимателей г. Ахмадабада, Индия); другие наследуют миссионерской традиции религиозных сект (Организация католической помощи); а третьи стремятся выражать интересы групп населения, не представленных государством (Всемирный Совет аборигенных народов). Было бы абсолютно бесполезным пытаться охарактеризовать деятельность всех этих многочисленных

i

, |
j,j
ф
, | Γ

I

I
н' <
1

и разных по своей природе организаций с помощью одного единственного определения⁹.

Некоторые критики утверждают, что поскольку НПО независимы от государственной власти и часто находятся с ней в конфликте, их деятельность соответствует неолиберальной модели мирового капитала и служит ей. Они заявляют, что в то время, как капитал посягает на властные полномочия государства сверху, НПО делают то же самое, действуя на основе «параллельной стратегии» «снизу», и представляют собой «общественное лицо» неолиберализма¹⁰. То, что действия многих НПО способствуют продвижению неолиберального проекта мирового капитала, действительно справедливо, но следует подчеркнуть, что это не относится к деятельности всех НПО. Тот факт, что эти организации являются неправительственными или даже находятся в оппозиции к властям, сам по себе не сближает их с интересами капитала. Существует много способов оставаться вне государственной структуры и находиться к ней в оппозиции, и неолиберальная модель является лишь одним из них.

Для нашего анализа и в контексте Империи наибольший интерес имеет последняя из перечисленных нами форм НПО — та, что представляет наименее защищенные слои населения, которые не могут представлять себя сами. Такие НПО, которые часто называются в более широком плане гуманитарными организациями, являются, на самом деле, одним из самых влиятельных и заметных элементов нового мирового порядка. Их функция заключается не в защите частных интересов какой-либо ограниченной группы, а в том, чтобы напрямую представлять интересы, общие для людей во всем мире. Организации, борющиеся за права человека («Международная Амнистия» и «Америкас Уотч»), группы сторонников мира («Свидетель Мира» и «Шанти Сена»), а также организации, занимающиеся оказанием медицинской помощи и борьбой с голодом («Оксфам» и «Врачи без границ»), — все они защищают человеческую жизнь от пыток, голода, убийств, незаконного содержания под стражей и политических расправ. Их политическая деятельность основана на универсальном моральном принципе — страдающие имеют право на жизнь. В этом отношении, может быть, не совсем верно говорить, что эти НПО выражают интересы тех, кто не в состоянии сам себя представлять (воюющие народы, голодающее население и т. п.), или что они выражают интересы Народа всего мира как единого целого. Они идут гораздо дальше. Они выражают жизненную силу, составляющую основу Народа, и, таким образом, эти НПО превращают политику в решение вопроса об основах жизни, о жизни во всей ее всеобщности. Эти НПО пронизывают всю почву биовласти; они являются тончайшими каналами сегодняшней сетевой структуры управления, иначе говоря (пользуясь предложенной нами метафорой), они являются широким основанием мировой пирамиды. На этом широком, наиболее общем уров-

не деятельность НПО совпадает с действиями Империи «по ту сторону политики», в области биовласти, отвечая на запросы самой жизни.

ПОЛИБИЙ " И УПРАВЛЕНИЕ ИМПЕРИЕЙ

Если отойти от эмпирического описания, можно легко заметить, что возникшее трехчастное деление функций и элементов позволяет непосредственно перейти к рассмотрению проблематики Империи. Иными словами, наблюдаемая нами сегодня ситуация напоминает теоретическое описание империи как высшей формы государственного правления, данное Полибием применительно к Риму и донесенное до нас европейской традицией¹¹. Для Полибия Римская Империя была вершиной политического развития, поскольку она объединила три «правильные» формы государственной власти: монархию, аристократию и демократию, — воплотившиеся соответственно в фигуре императора, Сенате и комициях^у. Империя удерживала эти формы от скатывания в порочный круг разложения, когда монархия становится тиранией, аристократия — олигархией, а демократия — охлократией или анархией.

Согласно Полибию, монархия укрепляет единство и преемственность власти. Она является основой и важнейшей составной частью имперской власти. Аристократия рождает справедливость, чувство меры и добродетель, а также распространяет их на все сферы общественной жизни. Наконец, демократия организует массы в соответствии с правилами представительства таким образом, что образующийся при этом Народ способен находиться под управлением государственной власти, а та, в свою очередь, вынуждена удовлетворять его потребности. Демократия гарантирует дисциплину и перераспределение благ в обществе. Империя, образующаяся в наши дни, также — с учетом реалий времени — основывается на функциональном равновесии трех этих форм государственной власти: монархического единства высшей власти и ее монополии на применение силы в глобальном масштабе; функции аристократии выполняют транснациональные корпорации и отдельные государства; демократические, представительные комиции представлены опять-таки государствами и различными видами НПО, объединениями СМИ и другими «народными» образованиями. Можно сказать, что формирующийся имперский строй соединяет три традиционные правильные формы государственной власти в сочетании, которое может быть формально сопоставлено с моделью Полибия, хотя его содержание решительно отличается от социально-политической структуры Римской Империи.

Представляется возможным оценить, в каких областях наша сегодняшняя ситуация близка модели устройства Империи Полибия, а в каких, наоборот, далека, проследив, как эта модель интерпретировалась в истории

европейской политической мысли. Основное направление интерпретации дошло до наших дней через работы Макиавелли и других авторов эпохи Возрождения в Италии. Традиция, заложенная Макиавелли, была дополнена в ходе дискуссий, предшествовавших и последовавших за Английской революцией, и, наконец, она достигла своего наивысшего развития в трудах отцов-основателей и при выработке Конституции США¹². Основным новшеством, проявившимся в ходе развития этой традиции, явилось преобразование классической *трехчастной* модели Полибия в *трехфункциональную* модель конституционного устройства. Во все еще средневековом, протобуржуазном обществе, каким являлась Флоренция во времена Макиавелли или даже предреволюционная Англия, модель Полибия рассматривалась как нечто, соединяющее три различные классовые общности: монархии принадлежали право на использование силы и объединительная функция, аристократии — земля и армия, а буржуазии — город и деньги. Если государство развивалось правильно, любой возможный конфликт между этими социальными силами должен был разрешаться в интересах всех. Однако в политической мысли современности, от Монтескье до авторов *Федералиста*, это объединение трансформировалось в модель, описывающую *не социальные общности, а их функции*¹³. Социальные группы и классы рассматривались как наделенные определенными функциями: исполнительной, судебной и представительной. Эти функции были абстрагированы от своих коллективных носителей, или классов, и рассматривались как чисто юридические понятия. Впоследствии сформировалось представление о системе равновесия этих функций, которая по форме была той же, что ранее обеспечивала компромисс классов. Это было равновесие сдержек и противовесов, силы и контрсилы, постоянно воспроизводившее единство государства и связь отдельных его частей¹⁴.

Мы полагаем, что в некотором отношении исходная античная модель устройства Империи, предложенная Полибием, ближе к сегодняшней действительности, чем ее вариант, видоизмененный либеральной традицией эпохи современности. В наши дни мы вновь переживаем период зарождения и концентрации власти, функции которой определяются в большей степени с точки зрения взаимоотношений различных групп и осязаемой, материальной силы, чем с позиций возможного равновесия и формализации всей системы. На данном этапе конституирования Империи требования, характерные для конституционализма (такие как разделение властей и формальная законность всех действий), не имеют первоочередного значения (см. Раздел i.i).

Можно даже утверждать, что наш опыт конституирования Империи, находящейся в процессе становления, в большей мере заключается в развитии и сосуществовании не столько «правильных» форм государственной власти, как это утверждает традиция, сколько «неправильных». Все эле-

менты этого смешанного устройства проявляются первоначально как будто сквозь искажающую линзу. Монархия вместо того, чтобы утверждать легитимность власти и являться неременным условием ее единства, представлена в форме полицейской силы, действующей в глобальном масштабе, то есть как форма тирании. Транснациональная аристократия, похоже, предпочитает финансовые спекуляции предпринимательским добродетелям и является, таким образом, паразитической олигархией. Наконец, демократические силы, которые в этой системе должны играть роль активного и открытого элемента имперской машины, проявляются в большей степени как замкнутые группы, корпорации, носители суеверий и фундаментализма разного толка, являющиеся выразителем консервативного, если не откровенно реакционного духа¹⁵. Как на уровне отдельных стран, так и на международной арене ограниченная сфера имперской «демократии» представлена *Народом* (организованными группами частных интересов, защищающими установленные привилегии и собственность), а не *массами* (всеобщностью свободных производительных практик).

ГИБРИДНОЕ УСТРОЙСТВО

Однако Империя, возникающая в наши дни, не является возвратом к античной модели Полибия, даже в ее негативной, «неправильной» форме. Сегодняшняя ситуация может быть лучше понята в терминах постмодернизации, то есть эволюции, выводящей по ту сторону либеральной модели смешанного устройства, созданной в период современности. Система юридической формализации, механизм конституционных гарантий и общая структура равновесия трансформируются в соответствии с двумя основными направлениями перехода от современности к постсовременности.

Первое направление трансформации затрагивает природу смешанного характера государственного устройства — происходит переход от модели *смешения* самостоятельных социальных общностей или функций, характерной для античности и современности, к процессу смешения, гибридизации функций управления текущей ситуацией. Процессы реального подчинения — подчинения труда капиталу и поглощения всего мира Империей — вынуждают различные ипостаси власти уничтожить пространственное измерение и преодолеть некоторую дистанцию, которые определяли ранее их взаимоотношения, и соединяют эти ипостаси в новых, гибридных формах. Такое изменение пространственных взаимоотношений преобразует и сами процессы осуществления власти. Прежде всего, имперская монархия эпохи постмодернизации правит единым мировым рынком, и, таким образом, она призвана гарантировать обращение товаров, технологий и рабочей силы — обеспечивать на деле общее функционирование рынка. Однако процесс глобализации монархической власти

имеет смысл, только если рассматривать его как цепь процессов гибридизации монархии с другими формами власти. Имперская монархия не пребывает в каком-то одном, поддающемся обособлению центре — у нашей постсовременной Империи нет своего Рима. Само монархическое начало в его социальном воплощении многообразно и пространственно рассредоточено. Процесс гибридизации предстает еще более четко на примере развития «аристократической функции», в особенности, развития сетевой производственной структуры и рынков. В действительности, аристократическая функция сложным образом переплетается с монархической функцией. В условиях постмодернизации перед аристократией стоит задача не только установить вертикальные связи между центром и периферией для производства и реализации товаров, но также постоянно сводить друг с другом огромное число производителей и потребителей, как на рынках, так и вне их. Первоначально остававшиеся несколько в стороне взаимоотношения между производством и потреблением становятся все важнее по мере того, как выпуск продукции все больше определяется сферой аматериальных услуг, производимых в сетевых структурах. На этом этапе гибридизация становится основным и определяющим элементом формирования циклов производства и обращения¹⁶. Наконец, демократические функции в Империи определяются той же цепью монархических и аристократических гибридизаций, в определенной мере изменяя их взаимоотношения и рождая новые отношения силы. На всех трех уровнях, монархическом, аристократическом и демократическом, все то, что ранее рассматривалось как смешанное, являясь на самом деле органическим соединением функций, которые при этом оставались независимыми и четко отличающимися друг от друга, в наши дни тяготеет к гибридизации самих этих функций. Таким образом, можно определить это первое направление трансформации государственной власти как переход от *смешанного к гибриднему устройству*.

Второе направление структурной трансформации, характеризующееся как новым качеством самого общественного устройства, так и изменением его теоретической составляющей, проявляется в том, что на нынешнем этапе господство во все более значительной мере осуществляется над темпоральными измерениями общества, а значит, над его субъективным измерением. Необходимо понять, каким образом монархический элемент выступает и как единое мировое правительство, контролирующее обращение благ, и как механизм организации коллективного общественного труда, создающий условия его воспроизводства¹⁷. Аристократический элемент устанавливает свою иерархическую власть и функции управления транснациональной системой производства и обращения не только при помощи традиционных финансовых инструментов, но в большей степени за счет средств и динамики кооперации самих общественных сил. Процессы со-

циальной кооперации конституируются именно в рамках аристократической функции. Наконец, хотя и монархическая, и аристократическая функции опираются на субъективное и производственное измерения нового гибридного устройства, ключевую роль в происходящей трансформации играет демократический элемент, который в своем нынешнем темпоральном измерении вынужден в конечном счете обращаться к массам. Вместе с тем, не следует забывать о том, что в новой Империи изменяется смысл понятия «демократия», в рамках которого массы оказываются подчинены гибким и изменяющимся аппаратам контроля. Именно здесь, в сфере управления происходит важнейший качественный скачок: переход от дисциплинарной парадигмы к парадигме контроля¹⁸. Власть осуществляется непосредственно над поведением производящих и кооперирующих субъектов; различные институты создаются и постоянно видоизменяются в соответствии с ритмом этого поведения; топография власти больше не связана с пространственными отношениями, а определяется, в первую очередь, темпоральными перемещениями субъектов. В данном случае мы вновь сталкиваемся с а-локальностью власти, о которой мы писали ранее, когда рассматривали вопросы суверенитета. А-локальность — это пространство, где находят осуществление гибридные контрольные функции имперской системы.

В этой имперской а-локальности, в гибридном пространстве, созданном процессом конституирования, наблюдается постоянное и ничем не ограниченное движение субъектов. Наша проблематика в данном случае остается, в целом, той же, что и применительно к смешанному устройству, но она также интенсивно дополняется различными перестановками, модуляциями и гибридизациями, являющимися частью перехода к постсовременности. В этом пространстве приобретает определенную форму восхождение от социального к политическому и юридическому, всегда составляющее сущность всякого конститутивного процесса; здесь возникают взаимоотношения социальных и политических сил, требующих в этом процессе формального признания, и, наконец, здесь различные функции (монархическая, аристократическая и демократическая) выступают мерой силы формирующих их субъектов, пытаясь заполучить контроль над отдельными фазами процесса их становления.

БОРЬБА ЗА ПРИНЦИПЫ УСТРОЙСТВА ИМПЕРИИ

Конечной задачей нашего анализа процессов конституирования Империи и выявления ее обликов является нахождение той почвы, на которой могли бы зародиться силы сопротивления ей и сформироваться альтернативные варианты развития. В Империи, как и в государствах древности и современности, сами принципы устройства являются предметом борьбы,

но в наши дни сущность предмета борьбы и сама ее природа совершенно неясны. Общие контуры современного имперского строя могут быть представлены в виде ризомы, разветвленной корневой системы, универсальной сети коммуникаций, все точки или узлы которой связаны между собой. Парадоксальным образом такая сетевая структура представляется одновременно и совершенно открытой, и совершенно закрытой для направленных против нее выступлений и для вмешательства в процессы ее функционирования. С одной стороны, сеть формально допускает, чтобы все возможные составляющие цепи взаимоотношений были бы в ней одновременно представлены, но, с другой стороны, сама эта сеть в действительности выступает как а-локальность. Таким образом, столкновения вокруг принципов устройства Империи будут разворачиваться в этом неопределенном и зыбком пространстве.

Эти столкновения будут определяться тремя ключевыми переменными, лежащими в пространстве между общим и сингулярным, единичным, между аксиоматикой господства и самоопределением субъекта, а также между производством субъективности властью и автономным характером сопротивления самих субъектов. Первая переменная касается обеспечения функционирования сети и ее общей управляемости таким образом, что (в положительном аспекте) сеть может функционировать всегда и (в отрицательном аспекте) ее работа не может быть направлена против тех, кому принадлежит власть¹⁹. Вторая переменная затрагивает вопрос о том, кто распределяет услуги в рамках сетевой инфраструктуры, и кто заинтересован, чтобы эти услуги справедливо оплачивались; и, таким образом, сеть была способна поддерживать в стабильном состоянии и воспроизводить экономическую систему капитализма и одновременно производить свойственное этой системе социальное и политическое деление общества²⁰. Наконец, третья переменная касается самой сети. Она связана с механизмами, производящими различия между субъектами, а также с теми каналами, посредством которых эти различия реализуются в рамках общей системы.

В соответствии с тремя названными аспектами, каждая субъективность должна стать субъектом, занять подчиненное положение в рамках общей сети контроля (в значении, характерном для раннего этапа современности: субъект — *subdictus* — подданный суверенной власти), и, в то же время, каждый должен быть независимым участником процесса производства и потребления в рамках сетевой структуры. Возможна ли подобная двойственность? Может ли система одновременно обеспечивать политическое подчинение и субъективность производителя/потребителя? Вероятно, не может. На самом деле, главным условием существования *всеобщей сетевой структуры*, служащей основанием всего данного строя, является то, что она носит *гибридный* характер, то есть в нашем случае, что политический субъект непостоянен и пассивен, а производящий и потребляющий агент

реален и активен. Это означает, что, далеко не будучи простым повторением традиционного равновесия, образование нового смешанного устройства ведет к фундаментальному дисбалансу его составных частей, а следовательно, и к новой социальной динамике, освобождающей производящего и потребляющего субъекта от механизмов политического подчинения (по крайней мере, она делает последнее весьма формальным). В области производства и регулирования субъективности и возникает, как представляется, важнейшее пространство борьбы.

Вытекает ли эта ситуация непосредственно из капиталистической трансформации способа производства, появления постмодернистских тенденций в развитии культуры и процессов политического конституирования Империи? Пока мы не можем сделать такой вывод. Тем не менее, очевидно, что в новой ситуации стратегия сбалансированного и регулируемого участия, которая всегда была характерна для имперской и либеральной смешанной формы политического устройства, столкнулась со значительными затруднениями и решительным выражением своей автономии со стороны вовлеченных в анализируемый нами процесс субъектов — участников производства, будь то индивиды или коллективная рабочая сила. Представляется, что именно в области производства и регулирования субъективности и в разделении понятий политического и экономического субъекта мы можем обнаружить основу для будущих выступлений протеста, в которых заново будут поставлены вопросы принципов организации власти и равновесия сил — подлинной кризисной ситуации, а возможно даже и революции.

СПЕКТАКЛЬ ПОЛИТИЧЕСКОГО УСТРОЙСТВА

Однако пространство, открытое для борьбы, которое, казалось бы, появляется, моментально исчезает, когда мы обращаемся к новым механизмам, посредством которых осуществляется управление гибридными сетями участия²¹. На самом деле различные функции и органы гибридного строя соединяет то, что Ги Дебор назвал спектаклем, интегрированный и одновременно рассредоточенный аппарат образов и идей, производящий и регулирующий общественный дискурс и общественное мнение²². В обществе спектакля то, что раньше составляло сферу публичного, открытое пространство политического взаимодействия и участия, полностью исчезает. Спектакль уничтожает любую форму коллективной социальности, помещая, образно выражаясь, каждого индивида в его собственный автомобиль, перед его собственным телеэкраном и в то же время навязывая новую массовую социальность, единообразие действий и мыслей. В этом пространстве спектакля традиционные формы борьбы за принципы политического устройства становятся невозможными.

Распространенное убеждение, что средства массовой информации (и особенно телевидение) уничтожили политику, ложно лишь настолько, насколько оно основано на идеализированном представлении о том, что представляли собой демократический политический дискурс, обмен и участие в период, предшествовавший веку СМИ. Отличие манипулирования политикой при помощи СМИ в наше время от прежней ситуации является отличием не по существу, а по степени. Иными словами, в прошлом, без сомнения, существовали многочисленные способы формирования общественного мнения и общественного восприятия, но сегодняшние СМИ предоставляют несоизмеримо большие возможности для этого. Как отмечает Дебор, в обществе спектакля существует только то, что показывается, и ведущие СМИ имеют почти что монопольное право решать, что показывать людям. Этот закон спектакля господствует в сфере движимой СМИ электоральной политики; искусство манипулирования, появившееся первоначально в США, сегодня распространилось по всему миру. В электоральном дискурсе внимание практически полностью сосредоточено на том, как выглядят кандидаты, на определении наиболее удачного времени для выступлений и создании имиджа. Ведущие вещательные сети устраивают своего рода спектакль на «малой сцене», который отражается (и, несомненно, в определенной мере формирует) спектакль, устраиваемый кандидатами и политическими партиями, которые они представляют. Даже прозвучавший не так давно известный призыв обращать внимание не на имидж, а на основные положения программы и сущность избирательной кампании, сегодня кажется безнадежно наивным. Соответственно утверждения, что политики действуют подобно звездам шоу-бизнеса, а политические кампании развиваются по логике рекламных акций, — казавшиеся радикальными и скандальными тридцать лет назад, — сегодня считаются не требующими доказательств. Политический дискурс является продвижением определенного товара, а участие в политической жизни сведено к выбору между имиджами, выступающими в роли потребительских товаров.

Говоря, что спектакль включает *манипулирование общественным мнением и политическими процессами при помощи СМИ*, мы не утверждаем, что где-то за занавесом прячется маленький человечек, великий Волшебник Страны Оз, контролирующий все, что показывают, о чем думают и что делают. Не существует какой-то точки, из которой управляют спектаклем. Вместе с тем, спектакль развивается так, *как будто* эта точка существует. По словам Дебора, спектакль является одновременно диффузно рассеянным и интегрированным. Таким образом, многочисленные теории мирового заговора, образованного правительствами или какими-либо иными силами, распространившиеся в последние десятилетия, можно признать одновременно и истинными, и ложными. Как блестяще показал Фредерик Джеймисон на взятом из сегодняшнего дня материале кино, теории заго-

вора являются грубым, но эффективным средством постижения механизмов функционирования подобной тотальности^{2*}. Политический спектакль разыгрывается таким образом, *как будто* СМИ, вооруженные силы, правительство, транснациональные корпорации, мировые финансовые институты и т. д. сознательно и открыто направляются из единого центра власти, хотя в действительности это не так.

Общество в этих условиях управляется при помощи старого испытанного средства. Еще Томас Гоббс отмечал, что для эффективного господства «страсть, на которую можно положиться, — это страх»²⁴. По Гоббсу, страх скрепляет и обеспечивает общественный порядок, а в наше время страх является основным механизмом контроля в обществе, живущем по законам спектакля²⁵. Хотя, на первый взгляд, кажется, что это общество основано на желании и удовольствии (желании получать блага и удовольствии от потребления), на самом деле, оно функционирует за счет распространения страха, иначе говоря, спектакль рождает формы желания и удовольствия, тесно связанные со страхом. В терминологии европейской философии раннего этапа современности распространение страха называлось *суеверием*. В самом деле, политика страха всегда осуществлялась посредством различных суеверий. Изменились только формы и механизмы суеверий, сеющие страх.

Безусловно, спектакль страха, объединяющий характерный для постсовременности гибридный строй и манипулирование общественным мнением и политикой при помощи СМИ, лишает почвы любые формы борьбы за принципы имперского устройства. Создается впечатление, что просто-напросто не остается места, силы для какого бы то ни было сопротивления, существует только суровая машина власти. Осознание власти спектакля и невозможности традиционных форм сопротивления представляется важным моментом, однако история на этом не заканчивается. По мере упадка прежних сфер и форм борьбы появляются новые, более значимые и действенные. Спектакль имперского порядка не поставлен раз и навсегда, на самом деле он открывает реальные возможности для решительного изменения сюжета и содержит новый революционный потенциал.

! ' v
;
| /'
j |
| j i
| ! <
I, j
! { ;
| • j'
! |
! - '

3.6 КАПИТАЛИСТИЧЕСКИЙ СУВЕРЕНИТЕТ, ИЛИ УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ КОНТРОЛЯ

*До тех пор, пока общество основано на деньгах,
нам всегда будет их не хватать. '*

Листовка, парижская забастовка, декабрь 1995 г.

*Разрушение капиталистического способа про-
изводства изнутри и, следовательно, ликвида-
ция заложенного в нем противоречия, само по
себе означает prima facie переход к новому спо-
собу производства.*

Карл Маркс

Соединение капитала и суверенитета может показаться весьма противоре-
речивым. Суверенитет эпохи современности по сути своей основывается
на *трансценденции* суверена — будь-то Государь, государство, нация или
даже Народ, — над обществом. Гоббс предложил осязаемую метафору су-
веренитета, утвердившуюся во всей общественно-политической мысли
современности, — Левиафана, возвышающегося над обществом и массами.
Суверен выступает как своего рода актив или резервный капитал власти,
призванный разрешить или отсрочить кризис современности. Более того,
свойственный современности суверенитет, как мы подробно рассмотре-
ли, осуществляется посредством установления и сохранения четких гра-
ниц между территориями, населением, различными социальными функ-
циями и т. д. Таким образом, суверенитет является также добавочным ре-
гулятором социальных потоков и функций. Иными словами, суверенитет
осуществляется посредством нанесения на социальное поле разделитель-
ных полос.

Капитал, напротив, действует на плане *имманенции*, посредством про-
межуточных звеньев и сети отношений господства, не опираясь на какой-
либо всеобщий центр власти. В исторической перспективе капитал стре-
мится к уничтожению традиционных социальных барьеров, распростра-
няясь на новые территории и вовлекая в этот процесс все новые и новые
слои населения. Пользуясь терминологией Делеза и Гваттари, капитал фун-
кционирует посредством общего дерегулирования потоков, всеобъемлю-
щей детерриториализации, вновь соединяя затем эти дерегулированные
и детерриториализованные потоки¹. Функционирование капитала мож-
но охарактеризовать как детерриториализующее и имманентное с точки

зрения трех аспектов, о которых писал еще Маркс. Во-первых, в процессе первоначального накопления капитал отрывает различные группы населения от их определенным образом установленных и закрепленных мест проживания и приводит их в движение. Он устраняет сословия и создает «свободный пролетариат». Традиционные культуры и формы социальной организации уничтожаются в ходе этого неустанного шествия капитала по миру с тем, чтобы создать сети и пути распространения для одной единственной культурной и экономической системы производства и обращения. Во-вторых, капитал соединяет все формы стоимости, сводит их на одном, общем плане и приравнивает их к деньгам, всеобщему эквиваленту стоимости. Капитал стремится свести все прежние разновидности статуса, чины и привилегии к денежным отношениям, то есть к количественным и соизмеримым экономическим параметрам. В-третьих, законы функционирования капитала не являются чем-то изолированным и жестко установленным, стоящим над непосредственной деятельностью капитала и с высоты своего положения направляющим его, напротив, это исторически изменяющиеся законы, имманентные самому функционированию капитала: законы определения величины прибыли, нормы эксплуатации, реализации прибавочного продукта и т. д.

Таким образом, капитал нуждается не в трансцендентной власти, а в механизмах контроля, расположенных в плане имманенции. В процессе общественного развития капитала механизмы суверенитета, свойственного современности, — процессы регулирования, сверхрегулирования и дерегулирования, утвердившие трансцендентный порядок на ограниченном и сегментированном общественном пространстве, — постепенно заменяются *аксиоматикой*: совокупностью уравнений и отношений, определяющих значение социальных переменных и коэффициентов непосредственно и одинаковым образом для всего социального пространства, невзирая на прежние устоявшиеся определения и термины². Основная особенность этой аксиоматики заключается в том, что отношения здесь первичны, тогда как обозначающие их термины — вторичны. Другими словами, в данной системе постулаты «не являются суждениями, которые могут оказаться истинными или ложными, поскольку они содержат относительно неопределенные *переменные*. Только когда мы присваиваем этим переменным конкретные значения, иначе говоря, заменяем их некими константами, — только тогда постулаты становятся верными или ложными суждениями, в соответствии с выбранными константами»³. Капитал как раз и действует на основе подобной аксиоматики пропозициональных функций. Придание деньгам функции всеобщего эквивалента стоимости объединяет разрозненные элементы в поддающуюся количественной оценке и сравнению систему, а постоянно действующие законы, или уравнения капитала, определяют использование этих элементов и их изменение по от-

ношению к константам, заменяющим переменные. В той же мере, в какой аксиоматика отвергает любые термины и определения, предшествовавшие отношениям логической дедукции, капитал разрушает барьеры, существовавшие в докапиталистическом обществе, — и даже границы государств отходят на второй план по мере того, как капитал воплощает себя на мировом рынке. Капитал стремится создать однородное пространство, определяемое нерегулируемостью потоков, гибкостью, постоянной изменчивостью и тенденцией к выравниванию⁴.

Таким образом, трансцендентный характер суверенитета эпохи современности вступает в конфликт с имманентностью капитала. Исторически капитал опирался на суверенитет и поддержку таких его структурных компонентов, как право и сила, но эти же структуры всегда противоречили в принципе и мешали на практике функционированию капитала, препятствуя, в конечном счете, его развитию. Вся история современности, насколько мы ее прослеживаем, может рассматриваться как эволюция попыток опосредования и разрешения этого противоречия. Исторический процесс опосредования не был взаимодействием равных сторон, а представлял собой однонаправленное движение от трансценденции суверенитета к плану имманенции капитала. В своем исследовании практики управления в европейских государствах в период между XVII и XVIII веками этот процесс рассмотрел Фуко, писавший о переходе от понятия «суверенитета» (абсолютной формы суверенитета, выраженной в воле и личности Государя) к «власти правительства» (форме суверенитета, характеризующей децентрализацией экономики власти и управления движением товаров и населения)⁵. Этот переход от одной формы суверенитета к другой, как важно отметить, совпадает с ранней стадией развития и экспансии капитала. Каждая форма суверенитета периода современности в конкретных исторических условиях обеспечивала функционирование капитала в конкретный исторический период, но в то же время создавала препятствия на пути его развития, которые необходимо было преодолеть. Эти развивавшиеся во времени взаимоотношения являются, вероятно, наиболее значимыми для любой теории капиталистического государства.

В определенный исторический период гражданское общество выступало посредником между имманентными силами капитала и трансцендентной властью характерного для современности суверенитета. Гегель заимствовал термин «гражданское общество» из работ английских экономистов, понимая его как посредника между эгоистическими стремлениями множества экономически активных индивидов и объединенным интересом государства. Гражданское общество опосредует взаимоотношения (имманентного) Множества и (трансцендентного) Единого. Институты гражданского общества выполняли функцию пропускных каналов, по которым перемещались социальные и экономические силы, собирая послед-

ПЕРЕХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА

• j ние в нерушимое единство и вновь расходясь в стороны, подобно ирригационной системе, распределяя силу этого единства по всему имманентному социальному пространству. Иными словами, негосударственные институты организовывали капиталистическое общество под началом государства и распространяли власть последнего на все общество. В рамках нашей концепции, можно утверждать, что гражданское общество было той сферой, где суверенитет государства эпохи современности становился имманентным капиталистическому обществу, а оно, в свою очередь, приобрело трансцендентные черты, сблизившись с государством.

Однако в наше время гражданское общество больше не может быть адекватным посредником между капиталом и суверенитетом. Составляющие его структуры и институты постепенно исчезают. Как мы уже доказывали, это исчезновение становится очевидным с точки зрения ослабления диалектических отношений между капиталистическим государством и рабочей силой, то есть упадка влияния и роли профсоюзов, упадка практики коллективного договора в трудовом найме и упадка представительства трудящихся как реальной политической силы⁶. Исчезновение гражданского общества также очевидно по сопутствующему переходу от дисциплинарного общества к обществу контроля (см. Раздел 2.6). В наши дни социальные институты, составлявшие основу дисциплинарного общества (школа, семья, учреждения здравоохранения, фабрика), в значительной мере совпадающие или тесно связанные с институтами гражданского общества, повсеместно находятся в кризисе. По мере их разрушения, субъектно ориентированная логика, которая раньше господствовала в них, выходит наружу и заполняет все социальное пространство. Разрушение этих институтов, исчезновение гражданского общества и упадок дисциплинарного режима влечет за собой стирание разделительных линий, покрывавших социальное пространство эпохи современности. На их место приходит сетевая структура общества контроля⁷.

По отношению к дисциплинарной модели общественного устройства и гражданскому обществу, общество контроля представляет собой еще один шаг вперед к плану имманенции. Дисциплинарные институты, границы эффективного действия их логики и производимые ими разграничения социального пространства выступали как вертикали или трансценденции по отношению к плану социального. Следует при этом с осторожностью подходить к определению того, где кроется эта трансцендентность дисциплинарного общества. Фуко настаивал на том, и это было основой основ его исследования, что подчинение дисциплине абсолютно имманентно находящимся под ее властью субъектам. Другими словами, дисциплина не является голосом извне, диктующим сверху, что нам делать, обязывающим нас, как сказал бы Гоббс, а представляет собой род внутреннего принуждения, неотделимого от нашей воли, имманентного и неразрывно связанного

с нашей субъективностью. Однако институты, являющиеся условием возможности дисциплинарной модели и определяющие в пространственном отношении зоны ее эффективности, все же в некоторой мере отделены от общественных сил, которые она порождает и которым придает определенную форму. Эти институты в действительности относятся к области суверенитета, а точнее, к области посредничества между обществом и суверенитетом. Стены тюрьмы одновременно делают возможной и ограничивают логику карцера, то есть принуждение к дисциплине посредством наказания. Они дифференцируют социальное пространство.

Фуко с необыкновенной пронизательностью описывает дистанцию между трансцендентностью стен этих институтов и имманентностью дисциплины, используя концепции *диспозитива* (*dispositif*) и диаграммы, выражающие несколько последовательных уровней абстракции⁸. Несколько упрощая терминологию, можно сказать, что *диспозитив* (термин, использованный Фуко, можно также перевести как «механизм», «аппарат» и даже «развертывание») является общей стратегией, лежащей в основе имманентного и повседневного проявления дисциплины. Логика карцера, например, является унифицированным диспозитивом, посредством которого, в конечном счете, обеспечивается надзор и поддержание режима в тюрьме, — в этом смысле она абстрагирована и отлична от множества прочих тюремных практик. На следующем уровне абстракции *диаграмма* обеспечивает развертывание дисциплинарного диспозитива. Например, отвечающая идее карцера архитектура паноптикума, позволяя надзирать за всеми заключенными из одной центральной точки, из точки власти, является диаграммой, или виртуальным замыслом, который может быть актуализирован в различных дисциплинарных диспозитивах. Наконец, сами институты выступают как отдельные и реальные социальные формы воплощения диаграммы. Тюрьма (ее стены, администрация, надзиратели, правила внутреннего распорядка и т. д.) не управляет заключенными подобно тому, как суверен управлял своими подданными. Она создает пространство, в котором заключенные, вследствие действия диспозитивов карцера и повседневных практик, *сами подчиняются дисциплине*. Было бы точнее сказать, следовательно, что дисциплинарное учреждение само по себе не является носителем господства, а ключевым элементом осуществления господства в дисциплинарном обществе выступает его абстрагирование и трансцендирование по отношению к социальному пространству производства субъективностей. Суверенитет становится виртуальным (но от этого не менее реальным), и актуализируется везде и повсюду через проявления дисциплины.

В наши дни крушение стен институтов и выравнивание социального пространства являются признаками превращения этих вертикалей в горизонтальные плоскости сфер контроля. Вместе с тем, переход к обще-

ству контроля ни в коей мере не означает исчезновения дисциплины. В действительности, имманентное присутствие дисциплины — в форме самодисциплинирования субъектов, еле заметного, но постоянного отпечатка дисциплинарной логики на самих субъектах, — еще более расширяется в рамках контроля. Изменения, произошедшие с распадом прежних институтов, состоят в том, что дисциплинарные диспозитивы стали менее ограниченными и менее четко локализованными пространственно на социальном поле. Дисциплина в карцере, дисциплина в школе и на фабрике тесно переплелись в гибридном производстве субъективности. В процессе перехода к обществу контроля элементы трансценденции, свойственные дисциплинарному обществу, ослабли, а его имманентный аспект, напротив, стал более заметным и приобрел всеобщий характер.

Имманентное производство субъективности в рамках общества контроля сочетается с аксиоматической логикой капитала, и их сходство свидетельствует о новой, более полной совместимости суверенитета и капитала. Производство субъективности в рамках гражданского и дисциплинарного общества на определенном этапе способствовало упрочению власти капитала и облегчало его экспансию. Общественные институты современности породили значительно более подвижные и гибкие социальные идентичности, чем предшествовавшие им образы субъектов. Субъективности, производимые в рамках институтов, созданных в эпоху современности, были подобны стандартизованным деталям машины, выпускавшимся на предприятии массового производства: заключенный, мать, рабочий, учащийся и т. п. Каждая деталь играла точно определенную роль в общем механизме, но она носила стандартизованный характер, производилась в массовом порядке и могла, таким образом, быть заменена на любую аналогичную деталь. Однако на определенном этапе развития устойчивость этих стандартизованных деталей, идентичностей, производимых социальными институтами, стала препятствием на пути дальнейшего поступательного развития к большей мобильности и гибкости. Переход к обществу контроля подразумевает производство субъективностей без четкой социальной идентификации, гибридных и изменчивых. По мере того, как стены, очерчивавшие и разделявшие в период современности сферы действия различных институтов, постепенно исчезают, субъективности начинают производиться одновременно несколькими институтами, сочетание которых и степень участия в этом процессе различны. Конечно, в дисциплинарном обществе идентичность индивида не была одномерной, но ее раз-

дивид мог быть матерью или отцом дома, рабочим на фабрике, учеником в школе, заключенным в тюрьме или пациентом в психиатрической лечебнице. В обществе контроля все эти различия времени и местонахождения утрачивают свою определенность и разграниченность. Гибридная субъек-

тивность, производимая в обществе контроля, не выступает как идентичность заключенного, пациента психиатрической клиники или рабочего, но конституируется каждой из присущих им логик. Гибридная субъективность — это рабочий вне фабрики, ученик вне школы, заключенный вне тюрьмы, пациент вне стен клиники, — все это одновременно. Гибридная субъективность не принадлежит ни одной из этих идентичностей, и одновременно принадлежит им всем — вне рамок общественных институтов, но еще более строго подчиняясь их дисциплинарной логике*. Так же, как и имперский суверенитет, субъекты в обществе контроля имеют смешанную структуру.

«ВЫРОВНЕННЫЙ» МИР

В процессе перехода суверенитета к плану имманенции, разрушение границ происходило как на национальном, так и на глобальном уровне. Исчезновение гражданского общества и общий кризис институтов дисциплинарной модели совпали с упадком национальных государств как барьеров, оформлявших и организовывавших обособленные звенья мировой системы управления. Формирование стирающего национальные границы глобального общества контроля развивается параллельно с образованием мирового рынка и реального подчинения глобального общества капиталу.

В XIX — начале XX века империализм способствовал выживанию и распространению капитализма (см. Раздел §1). Разделение мира на сферы влияния ведущими капиталистическими государствами, создание колониальной администрации, предоставление торговых привилегий и введение тарифов, создание монополий и картелей, раздел регионов добычи полезных ископаемых и промышленного производства — все это способствовало глобальной экспансии капитала. Империализм являлся системой, призванной удовлетворять потребности и защищать интересы капитала, находящегося в фазе завоевания всего мира. И, тем не менее, как отмечают большинство критиков империалистической стадии развития (стоящие на коммунистических, социалистических и капиталистических позициях), империализм по определению вступал в конфликт с капиталом. Это было подобно лечению, угрожавшему жизни пациента. Хотя империализм обеспечивал для капитала пути и средства захвата новых территорий и распространения капиталистического способа производства, он, в то же время, создавал и укреплял в мире жесткие границы между его различными пространствами, поддерживал строгое деление на внутреннее и внешнее, препятствовавшее свободному перемещению капитала, рабочей силы и товаров — таким образом, мешая завершению процесса образования мирового рынка.

Империализм является действующей в глобальном масштабе машиной,

направляющей, регулирующей и территориализующей капитал, блокирующей одни направления его распространения и стимулирующей другие. Мировой рынок, напротив, нуждается в выровненном пространстве, для движения свободных, нерегулированных и детерриториализованных потоков капитала. Этот конфликт между свойственными империализму разграничениями и выровненным пространством мирового рынка вновь делает актуальным пророчество Розы Люксембург о крахе капитализма: «Империализм является историческим методом для продления существования капитала, но он в то же время служит вернейшим средством, чтобы кратчайшим путем положить его существованию объективный предел»¹⁰. Система международных отношений и сегментация мира эпохи империализма действительно способствовали развитию капитализма, но одновременно они оказались препятствием для детерриториализующих потоков капитала и выровненного пространства капиталистического развития, и поэтому они должны были уйти в прошлое. Роза Люксембург была, по существу, права: *империализм означал бы смерть для капитала, если бы он не был преодолен*. Окончательное становление мирового рынка неизбежно означало конец империализма.

Уменьшение влияния национальных государств и исчезновение связанной с ними системы международных отношений сделали бессмысленным использование термина «Третий мир». История его появления крайне проста. Этот термин возник в качестве дополнения к биполярному разделению мира в годы холодной войны на ведущие капиталистические государства и ведущие страны социалистического лагеря таким образом, что под Третьим миром понималось все, не относившееся к этому основному конфликту, — граница или свободное пространство, за контроль над которым первые два мира должны были конкурировать. Поскольку холодная война закончилась, для такого деления больше нет оснований. Это верно, однако завершенным завершением этой простой истории не уместается подлинная история, связанная с данным термином, его использованием и оказанным им влиянием.

По крайней мере с начала 1970-х гг. многие исследователи утверждали, что Третий мир никогда не существовал в том смысле, что вышеописанная концепция стремится представить в качестве однородного целого ряд совершенно разных государств, не замечая или просто игнорируя значительные социальные, экономические и культурные различия таких стран, как, например, Парагвай и Пакистан или Марокко и Мозамбик. Вместе с тем, признавая очевидную разнородность этих государств, мы не должны забывать, что с точки зрения капитала в период осуществления им глобальной экспансии подобная постулирующая единство и гомогенность концепция имела некоторый смысл. Так, очевидно, что Роза Люксембург рассуждает с позиций капитала, разделяя мир на пространство капитализма

и некапиталистическое окружение. Без сомнения, разные части этого окружения кардинально отличаются друг от друга, но, с точки зрения капитала, все они составляют единое целое — потенциальную область для расширенного накопления и последующего подчинения капиталу. В годы холодной войны, когда территория Второго мира была прочно закрыта для проникновения, Третий мир был для ведущих капиталистических государств открытым пространством, полным возможностей. Различные формы культурной, социальной и экономической жизни потенциально могли быть формально подчинены динамике капиталистического производства и капиталистических рынков. С точки зрения этого потенциального подчинения, несмотря на реально существовавшие значительные различия между государствами, Третий мир действительно существовал.

Столь же логичным представляется и выделение Самиром Амином, Иммануилом Валлерстайном и другими исследователями в рамках общей системы капитализма центральных, периферийных и полупериферийных государств". Центр, периферия и полупериферия выделяются, исходя из различных форм социальной, политической и бюрократической практики, различных производственных процессов и разных типов накопления. (Новейшая концепция деления на Север и Юг в этом отношении отличается незначительно). Как и концепция Первого-Второго-Третьего миров, разделение капиталистического мира на центр, периферию и полупериферию сглаживает и заслоняет подлинные различия между народами и культурами, но делает это с целью подчеркнуть будущее единство политических, социальных и экономических форм, формирующееся в ходе характерных для империализма и протекавших в течение длительного времени процессов формального подчинения. Иными словами, такие понятия, как Третий мир, Юг, периферия, сглаживают реальные различия между странами, чтобы подчеркнуть процессы унификации, характерные для капиталистического развития и, что еще более важно, они указывают на возможность *потенциального единства интернационала оппозиции, потенциального объединения антикапиталистических сил и стран.*

Географические границы между странами или даже между центральными и периферийными, северными и южными группами государств более не являются определяющими в структуре мирового разделения и распределения производства, накопления и социальных форм. Благодаря децентрализации производства и консолидации мирового рынка, распределение и перемещение капитала и рабочей силы в мировом масштабе приобрели такой размах и такие формы, что более не представляется возможным определить ту или иную значительную географическую область как центр или периферию, Север или Юг. В таких географических регионах, как Южный Конус ^ или Юго-Восточная Азия, все уровни развития производства могут существовать одновременно и рядом — от высочайшего уровня

развития технологии, производительности труда и накопления вплоть до самых неразвитых форм; при этом сложный социальный механизм обеспечивает их различие и взаимодействие. В крупнейших городах труд также представлен самыми различными формами, от вершин капиталистического производства до его дна: подпольные мастерские, использующие труд нелегальных эмигрантов в Нью-Йорке и Париже, могут соперничать с аналогичными предприятиями в Гонконге или Маниле. Если Первый и Третий мир, центр и периферия, Север и Юг когда-то и были разделены национальными границами, то в наши дни они с легкостью проникают друг в друга, устанавливая неравные отношения и барьеры в многочисленных новых областях. Было бы неверным утверждать, что с точки зрения капиталистического производства и обращения США и Бразилия, Англия и Индия являются ныне одинаковыми территориями, но эти государства различаются не по своей сущности, а лишь по степени развития. Разные нации и регионы включают в себя в разной пропорции то, что раньше рассматривалось как элементы Первого и Третьего мира, центра и периферии, Севера и Юга. География неравномерности развития, а также линии разделения и элементы иерархии теперь определяются не стабильными национальными или межнациональными границами, а подвижными внутри- и наднациональными барьерами.

С определенной долей правоты можно возразить, что голоса, доминирующие в новом глобальном порядке, настойчиво объявляют национальные государства «умершими» только в тех случаях, когда понятие «нация» становится революционным оружием угнетенных, когда его берет в свои руки «весь мир голодных и рабов». После победы национально-освободительных движений и образования потенциально дестабилизирующих, опасных для ведущих государств международных объединений, утвердившихся за десятилетия, прошедшие после Бандунгской конференции, что может более всего подорвать влияние национализма и интернационализма в странах Третьего мира, чем лишение их главной опоры — национального государства! Иными словами, в соответствии с данной точкой зрения, которая дает одну из весьма правдивых версий этой сложной истории, национальное государство, являвшееся гарантом международного порядка и основой империалистической экспансии и суверенитета, стало в результате роста и объединения антиимпериалистических сил элементом, в наибольшей степени угрожающим этому порядку. Таким образом, империализм в ответ вынужден был отказаться от преимуществ своего собственного оружия и уничтожить его, пока оно не было использовано против него самого.

Мы полагаем, что было бы величайшей ошибкой испытывать какую-либо ностальгию по временам существования национальных государств или вновь проводить политику, основанную на принципе нации. Во-первых,

fj,

jj'
Г'
|
] ;

подобные попытки не имеют смысла, т. к. упадок национального государства — это не просто следствие определенной идеологической установки, которую можно изменить усилием политической воли, это структурный и необратимый процесс. Нация являлась не просто явлением культуры, неким чувством принадлежности и сопричастности к историческому наследию, а, прежде всего, экономико-правовым образованием. Снижающаяся эффективность этого образования ясно прослеживается через эволюцию ряда международных экономико-правовых институтов, таких как ГАТТ (Генеральное соглашение о таможенных тарифах и торговле) *¹¹, Всемирная торговая организация, Всемирный банк и Международный валютный фонд. Глобализация производства и обращения, подкрепленная ростом наднациональных правовых институтов, снижает эффективность правовых структур, действующих на национальном уровне. Во-вторых, что еще более важно, даже если бы идея нации все еще оставалась эффективным оружием, она содержит в себе целый ряд репрессивных идеологий и структур (как мы доказывали в Разделе 2.2), и поэтому *любая* ориентированная на нее стратегия должна быть отвергнута.

НОВАЯ СЕГМЕНТАЦИЯ

Общее выравнивание или сглаживание социального пространства, как в отношении угасания гражданского общества, так и с точки зрения стирания национальных границ, не подразумевают исчезновения социального неравенства и сегментации. Напротив, они становятся в значительной степени более жесткими, но принимают при этом иную форму. Можно сказать, что центр и периферия, Север и Юг более не определяют сущность международного порядка, смещаясь ближе друг к другу. Для Империи характерно тесное сосуществование совершенно разных типов населения, рождающее ситуацию постоянной социальной угрозы и требующее наличия мощных аппаратов общества контроля, способных обеспечить разделение и гарантировать управление новой структурой социального пространства.

Особенности городской архитектуры в мировых мегаполисах иллюстрируют один из аспектов этой новой сегментации. Где разрыв между богатством и бедностью увеличился, а физическое расстояние между богатыми и бедными, наоборот, сократилось, как это произошло в таких мировых центрах, как Лос-Анджелес, Сан-Паулу и Сингапур, там требуется принимать действенные меры для разделения. Лос-Анджелес, вероятно, является лидером в том, что Майк Дэвис называет «крепостной архитектурой», когда не только частные дома, но и деловые центры, а также правительственные здания располагают открытым и доступным пространством внутри за счет создания закрытого и непроницаемого внешнего периметра¹². Эта

тенденция в проектировании городов и архитектуре выразила в конкретной, осязаемой форме то, что мы называли ранее исчезновением внешне-го или разрушением публичного пространства, ранее служившего местом свободного и незапрограммированного заранее социального взаимодействия.

Этот анализ архитектурных тенденций является только кратким вступлением к проблематике нового разделения и сегментации, происходящих в обществе. Новые разделительные линии в наибольшей степени определяются политикой в сфере трудовых отношений. Компьютерная и информационная революция, позволившая соединить в режиме реального времени различные группы рабочей силы по всему миру, привела к ожесточенной и неограниченной конкуренции между работниками. Информационные технологии были использованы для того, чтобы ослабить структурное сопротивление рабочей силы, как с точки зрения устойчивости системы заработной платы, так и в отношении культурных и географических различий. Таким образом, капитал смог навязать рабочей силе темпоральную гибкость и пространственную мобильность. Следует со всей определенностью сказать, что процесс ослабления сопротивления и стойкости рабочей силы стал в высшей степени политическим процессом, направленным на достижение формы управления, обеспечивающей максимизацию экономической прибыли. Вот где теория имперского административного действия становится для нас основной.

Имперская политика в области трудовых отношений направлена, в первую очередь, на снижение стоимости труда. Это по сути напоминает процесс первоначального накопления, процесс повторной пролетаризации масс. Регулирование продолжительности рабочего дня, являвшееся подлинной основой социалистической политики последних двух столетий, было полностью уничтожено. Рабочий день в наши дни часто продолжается двенадцать, четырнадцать, шестнадцать часов, без выходных и отпусков; к работе в равной степени привлекаются мужчины, женщины и дети, а также старики и инвалиды. У Империи найдется работа для каждого! Чем менее регулируемым является режим эксплуатации, тем больше появляется работы. На этой основе рождается новая сегментация рабочих мест. Она определяется (говоря экономическим языком) различными уровнями производительности, но для описания сути перемен достаточно сказать, что работы становится больше, а заработная плата снижается. Подобно тому, как бич Божий проходит по обществу (так Гегель описал введение варварских законов Аттилой, вождем гуннов), новые нормы производительности дифференцируют и сегментируют рабочую силу. В мире по-прежнему есть регионы, где нищета способствует воспроизводству рабочей силы с минимальными затратами, в крупных городах по-прежнему есть районы, где различия в потреблении заставляют бедняков продавать свой труд за-

дешево, подчиняясь еще более жестокому, чем раньше, режиму капиталистической эксплуатации.

Движение финансовых потоков в той или иной мере подчинено тем же утверждаемым в глобальном масштабе правилам, что и гибкая организация рабочей силы. С одной стороны, спекулятивный и финансовый капитал стремится туда, где стоимость рабочей силы является наименьшей, а административное давление, гарантирующее возможность ее эксплуатации, — наибольшим. С другой стороны, страны, в которых сохраняются жесткие структуры организации труда, препятствующие ее полной гибкости и мобильности, подвергаются наказанию, мучениям и, в конце концов, уничтожаются мировыми финансовыми механизмами. Фондовый рынок падает, когда уровень безработицы снижается, то есть фактически когда число рабочих, которые не являются абсолютно мобильными и готовыми к любым изменениям, растет. То же самое происходит, когда социальная политика в том или ином государстве не в полной мере соответствует имперской установке на гибкость и мобильность — или лучше сказать, когда отдельные элементы государства благосостояния сохраняются как свидетельство стойкости национального государства. Финансовая политика обеспечивает проведение в жизнь сегментации, диктуемой политикой в сфере трудовых отношений

Страх перед насилием, бедность и безработица являются, в конечном счете, главной силой, устанавливающей и поддерживающей эту новую сегментацию. В основе различных новых форм сегментации лежит политика коммуникации. Как мы отмечали выше, сутью информации, передающейся посредством системы коммуникаций, является страх. Постоянный страх нищеты и боязнь будущего заставляют бедных бороться за получение работы и поддерживают разногласия в среде мирового пролетариата. Страх является важнейшим залогом новой сегментации общества.

АДМИНИСТРАТИВНАЯ СИСТЕМА ИМПЕРИИ

Описав, как традиционные социальные барьеры уничтожаются в процессе образования Империи, и как одновременно создается новая сегментация, мы должны рассмотреть административные образования, при помощи которых развиваются эти процессы. Нетрудно заметить, что данные процессы противоречивы. Когда власть приобретает имманентный характер, а суверенитет трансформируется в идею полномочий правительства, функции управления и режим контроля должны развиваться в направлении, сглаживающем различия. Однако в ходе этого процесса различия, наоборот, углубляются таким образом, что имперская интеграция рождает новые механизмы разделения и- сегментации разных слоев населения. Проблема имперской администрации состоит, следовательно, в том, чтобы

управлять этим процессом интеграции и, соответственно, умирять, мобилизовывать и контролировать разделенные и сегментированные общественные силы.

Однако постановка проблема требует дальнейшего уточнения. На самом деле сегментация масс во все времена была условием политического администрирования. Отличие настоящего момента заключается в том, что если в режимах национального суверенитета в эпоху современности административная система действовала в направлении *линейной* интеграции конфликтов и создания слаженно действующего аппарата, способного их подавить, то есть в направлении рациональной нормализации общественной жизни, как для решения административной задачи достижения равновесия, так и для проведения административных реформ, то в контексте Империи административная система становится *фрактальной* и стремится разрешать конфликты не путем принуждения, создавая слаженно действующий аппарат, а посредством контроля различий. Понять сущность административной системы Империи, отправляясь от того, как определял административную систему Гегель, уже невозможно, поскольку определение Гегеля основывается на опосредующих механизмах буржуазного общества, составляющих пространственный центр общественной жизни.

Но она в равной степени не может быть познана и исходя из определения

Вебера, основанного на принципе рациональности, на постоянном темпоральном опосредовании и зарождающемся принципе легитимности.

Первый принцип имперской административной системы заключается в том, что *управление политическими целями отделено от управления предназначенными для их реализации бюрократическими средствами*. Таким образом, новая парадигма не только отличается, но и противопоставлена прежней, характерной для эпохи современности, модели системы государственного управления, которая постоянно стремилась к согласованности политических целей и бюрократических средств. Режиму Империи свойственно то, что бюрократия (и административные средства в целом) рассматриваются не в соответствии с линейной логикой соразмерности целям, а на основе дифференциальной и множественной инструментальной логики. Для административной системой Империи проблемой является не ее единство, а инструментальная многофункциональность. Если для процесса легитимации и дл* административной системы государства в период современности решающее значение имели универсальность и равнозначность административных действий, то для имперского режима основополагающими являются сингулярность и адекватность действий специфическим целям.

Из этого первого принципа вытекает следствие, кажущееся парадоксальным. Ровно в той мере, в какой происходит сингуляризация административной системы, и она более не является всего лишь исполнителем ре-

шений, принятых централизованными политическими и совещательными органами, административная система становится все более автономной и все более тесно связанной с различными социальными группами: представляющими интересы труда и капитала, этническими и религиозными, легальными и криминальными и т. д. Вместо того, чтобы способствовать социальной интеграции, *имперская административная система действует как механизм рассеивания и дифференциации*. Это второй принцип административной системы Империи. Административная система, следовательно, будет тяготеть к выработке особых процедур, позволяющих режиму напрямую взаимодействовать с отдельными социальными сингулярностями, и система будет тем эффективнее, чем более непосредственной окажется связь с различными составляющими социальной реальности. Таким образом, деятельность административной системы во все возрастающей мере замыкается на самой себе и, в конечном счете, оказывается ограниченной только теми особыми проблемами, которая она должна решить. Становится все более и более затруднительным обнаружить единые принципы действия административной системы во всех частях и структурах имперского режима. Короче говоря, традиционно применяемое к административной системе требование всеобщности, равного отношения ко всем, заменяется дифференциацией и сингуляризацией, когда каждая ситуация оценивается по-своему.

Несмотря на то, что ныне выделить последовательную и всеобъемлющую логику управления, подобную существовавшей в системах суверенитета эпохи современности, представляется затруднительным, это не означает, что имперский аппарат не является единым. Автономия и единство действий административной системы обеспечиваются иными способами, не похожими ни на нормативную дедукцию континентальной юридической системы, ни на процедурный формализм англо-саксонского права. Скорее, они обеспечиваются за счет применения той же структурной логики, что задействована в процессе создания Империи: полицейской и военной логики (подавление потенциально разрушительных сил ради обеспечения мира в Империи), экономической логики (навязывания рынка, подчиненного, в свою очередь, финансовой системе Империи), а также идеологической и коммуникативной логики. Единственным источником обеспечения автономии и легитимности действий административной системы Империи является следование нормам дифференциации, диктуемым этой логикой. Однако такая легитимация не является непосредственной. Административная система не ориентирована в стратегическом отношении на практическую реализацию различных аспектов имперской логики. Она подчинена решению этой задачи постольку, поскольку эти различные аспекты выступают как движущая сила мощных военных, экономических и коммуникативных средств, придающих легитимность самой админист-

ративной системе. *Административные действия, таким образом, принципиально не носят стратегического характера и обретают легитимность различными непрямыми способами.* Таков третий принцип деятельности имперской административной системы.

Охарактеризовав эти три «негативных» принципа имперской административной системы — ее инструментальный характер, процедурную автономию и гетерогенность — необходимо поставить вопрос, что позволяет ей функционировать, не порождая при этом все время острого общественного антагонизма. Какая сила придает этой разрозненной системе контроля, неравенства и разделения значительную меру согласия и легитимности? Ответ на этот вопрос связан с четвертым, «позитивным», принципом имперской административной системы. Цементирующим средством и важнейшим достоинством административной системы Империи является ее *эффективность на локальном уровне.*

Для того, чтобы понять, как этот четвертый принцип поддерживает всю административную систему в целом, рассмотрим характер административных взаимоотношений, существовавших между феодальными территориальными единицами и королевской властью в Европе в средние века или между мафией и государством в период современности. В обоих случаях процедурная автономия, дифференцированное применение властных полномочий и связи на местном уровне с различными группами населения, наряду со специфическим и ограниченным применением легитимного насилия, в целом не противоречат принципу слаженно действующего и единого управления. Эти системы распределения административных полномочий сочетались с локальным эффективным использованием военной, финансовой и идеологической мощи. В средневековой Европе вассал должен был предоставлять воинов и денежные средства, когда король в них нуждался (в условиях, когда идеология и коммуникации в значительной степени контролировались церковью). В структуре мафии административная автономия большой семьи и применение насилия (сходное с полицейским) в определенном социальном пространстве гарантируют приверженность основным принципам капиталистической системы и поддерживают «правлящий политический класс». Как в случае средневековой организации или в системе мафии, автономия обособленных административных образований не вступает в противоречие с имперской административной системой — напротив, она содействует увеличению ее общей эффективности.

Местная автономия является основополагающим условием, *sine qua non*, развития имперского режима. Принимая во внимание мобильность населения Империи, обеспечение принципа легитимности административной системы было бы невозможно, если бы ее автономия не отражала динамизм процессов перемещения масс. Было бы также невозможно управлять различными сегментами населения посредством процессов, делающих

их более мобильными и более гибкими в пространстве гибридных форм культуры и многонациональных гетто, если административная система также не была бы гибкой и способной к постоянному реформированию и дифференциации. Согласие с имперским режимом вытекает не из трансценденциальных справедливого правления, как это было в правовых государствах современности, а благодаря эффективности этого режима на локальном уровне.

Мы рассмотрели только самые общие черты имперской административной системы. Ее определение, основанное только на автономной локальной эффективности ее действий, не может само по себе уберечь эту систему от возможных угроз, мятежей, попыток ее уничтожения и даже от обычных конфликтов между отдельными ее элементами. Однако подобная постановка вопроса позволяет перейти к проблеме «монарших привилегий» имперского правительства — поскольку мы определили, что урегулирование конфликтов и обращение к применению легитимного насилия осуществляется за счет саморегулирования (производства, денежного обращения и коммуникаций) и внутренних возможностей Империи. Вопрос об административной системе, таким образом, становится вопросом о власти.

КОМАНДНАЯ СИСТЕМА ИМПЕРИИ

В то время, как политические режимы современности стремились соединить административную и командную системы, сделать их неразличимыми, имперская командная система отделена от административной. И в имперской системе, и в системе периода современности внутренние противоречия в сочетании с рисками и возможными отклонениями в работе децентрализованной административной системы требуют гарантии верховного управления. Авторы, стоявшие у истоков теории правовых основ государства эпохи современности, видели эти основы в том, что изначально верховная власть была создана в силу призыва к ее необходимости, но теория имперской командной системы не нуждается в подобных мифах для объяснения своего происхождения. Она появилась не благодаря призыву масс, находящихся в состоянии борьбы всех против всех и нуждающихся в верховной власти, способной установить мир (как у Гоббса), и не в ответ на обращение торгового сословия, стремящегося обеспечить безопасность своих сделок (как у Локка и Юма). Появление имперской командной системы является результатом социального взрыва, который разрушил все прежние отношения, составлявшие сущность суверенитета.

Имперская власть осуществляется не средствами дисциплинарного воздействия, как в государстве времен современности, а при помощи инструментов биополитического контроля. Их основой и объектом приложения являются производящие массы, которые невозможно унифицировать и

нормализовать, но управлять которыми все равно необходимо, даже признав за ними автономию. Понятие Народа более не выступает в качестве организованного субъекта командной системы, и, следовательно, идентичность Народа заменяется мобильностью, гибкостью, постоянной дифференциацией масс. Этот сдвиг демистифицирует и уничтожает двигавшуюся в период современности по замкнутому кругу идею легитимности власти, в соответствии с которой власть создает из масс единый субъект, а он, в свою очередь, легитимирует создавшую его власть. Эта софистическая тавтология более не действует.

Управление массами осуществляется при помощи инструментов современной капиталистической системы и в рамках социальных отношений реального подчинения. Это управление может осуществляться только в соответствии с внутренними разграничительными линиями в сфере производства, обмена и культуры — иными словами, в биополитическом контексте бытия масс. В контексте детерриториализованной автономии это биополитическое существование масс потенциально может трансформироваться в автономную массу производительности интеллекта, в абсолютную демократическую власть, как сказал бы Спиноза. Если бы это произошло, господство капитализма в области производства, обмена и коммуникаций было бы уничтожено. Предотвращение подобного развития событий является первоочередной и важнейшей задачей имперского правительства. Вместе с тем необходимо учитывать, что существование Империи зависит от сил, представляющих эту угрозу, автономных сил производственной кооперации. Эти силы необходимо контролировать, но их нельзя уничтожать.

Гарантии, которые Империя предоставляет глобализированному капиталу, не предполагает управление населением на микрополитическом и/или микроадминистративном уровне. Аппарат командной системы не имеет доступа к локальным пространствам и к установленному темпоральному порядку жизни, которыми занимается административная система; он не может управлять сингулярностями и их действиями. Имперская командная система обеспечивает для мирового капиталистического развития общее равновесие глобальной системы, которое она постоянно стремится развивать и оберегать.

Имперский контроль осуществляется при помощи трех глобальных и абсолютных средств: ядерной бомбы, денег и эфира. Защитные возможности термоядерного оружия, сосредоточенные на вершине пирамиды Империи, представляют собой постоянную угрозу уничтожения самой жизни на Земле. Это есть средство абсолютного насилия, открывающее новую метафизическую перспективу, полностью меняющее наше представление о том, каким образом суверенное государство обладает монополией на легитимное использование физического насилия. Раньше, во времена

современности, эта монополия обрела легитимность или в силу необходимости изъятия оружия у жестокой и неорганизованной толпы, беспорядочной массы индивидов, пытавшихся уничтожить друг друга, или как орудие защиты от врагов, то есть от других народов, организованных в государства. Оба эти способа легитимации были ориентированы, в конечном счете, на выживание людей. В наши дни они становятся неэффективными. Экспроприация средств насилия у предположительно склонного к самоуничтожению населения приобретает форму административных и силовых действий, направленных лишь на сохранение сегментации различных производственных сфер. Второй способ легитимации также становится малоэффективным, поскольку ядерная война между государствами становится все менее и менее вероятной. Развитие ядерных технологий и их концентрация в руках Империи ограничились суверенитетом большинства стран мира таким образом, что они лишились возможности самостоятельно решать вопросы войны и мира, являвшейся главным элементом традиционной концепции суверенитета. Более того, устрашающая сила ядерной бомбы, находящейся в руках Империи, свела военное противоборство к уровню ограниченного конфликта, гражданской войны и т. д. Она передала любой военный конфликт в исключительную компетенцию административной и полицейской власти. Ни в одном другом измерении переход от современности к постсовременности и от суверенитета государства эпохи современности к Империи не представляется столь очевидным, как с точки зрения роли ядерного оружия. Империя, в конечном счете, определяется здесь как «а-локальность» жизни или, иными словами, как носитель абсолютной разрушительной силы. Империя, таким образом, является высшей формой биовласти в том смысле, что она представляет собой абсолютную противоположность силы жизни.

Деньги являются вторым глобальным средством абсолютного контроля. Создание мирового рынка заключалось, прежде всего, в уничтожении национальных рынков посредством финансовых инструментов, в отказе от национальных и/или региональных систем валютного регулирования и подчинении этих рынков интересам финансовой власти. По мере того, как национальные финансовые системы утрачивают последние черты самостоятельности, сквозь них постепенно проступают контуры новой унилатеральной финансовой ретерриториализации, сосредоточенной вокруг политических и финансовых центров Империи, глобальных мегаполисов. Этот процесс не является созданием единого кредитно-денежного режима на базе отдельных новых центров производства, новых сфер обращения и создания стоимости, а напротив, в его основании лежат исключительно политические потребности Империи. Деньги выполняют в Империи функцию универсального арбитра, но, как и в случае с имперской ядерной мощью, этот арбитр не имеет ни определенного местоположения, ни транс-

цендентного статуса. В такой же степени, как угроза применения ядерного оружия служит оправданием тому, что власть приобретает всеобщую форму полицейской власти, деньги постоянно действуют в качестве верховного судьи в отношении производственных функций, а также вопросов меры стоимости и распределения богатств, лежащих в основе мирового рынка. Финансовые инструменты являются основным средством контроля на мировом рынке¹³.

Эфир является третьим и последним из важнейших средств имперского контроля. Управление коммуникацией, структурирование системы образования и регулирование сферы культуры предстают сегодня, более чем когда бы то ни было ранее, независимыми друг от друга областями деятельности. Однако всех их поглощает эфир. Нынешние системы коммуникации не подчиняются суверенитету, напротив, суверенитет, как кажется, подчинен им — суверенитет выражается посредством систем коммуникации. В этой области парадоксы, порождающие разложение территориального и/или национального суверенитета, проявляются с наибольшей четкостью. Возможности детерриториализации, которыми обладает коммуникация, уникальны: коммуникация не просто ограничивает и ослабляет суверенитет эпохи современности с его привязкой к определенной территории; она подрывает саму возможность связи порядка и пространства. Она навязывает постоянное и неограниченное обращение знаков. Детерриториализация является основной действующей силой, а обращение знаков — формой проявления социальной коммуникации. В этом отношении и в этом эфире языки становятся функциями обращения и служат для разрушения любых форм суверенитета. Образование и культура также вынуждены подчиниться законам попавшего в замкнутый круг общества спектакля. Здесь мы достигаем высшей точки процесса разрушения связи между порядком и пространством. И здесь мы способны воспринимать эту связь только как существующую в *ином пространстве*, которое в принципе не может выражено функциями суверенитета.

Пространство коммуникации полностью детерриториализовано. Оно совершенно отлично от тех остаточных пространств, что мы рассматривали в связи с монополией на физическое насилие и определением денег как верховного судьи в вопросах меры. В данном случае речь идет не об остатке, а о *метаморфозе* — метаморфозе всех элементов политической экономии и теории государства. Коммуникация является формой капиталистического производства, где капитал добывается полного подчинения общества своему режиму в глобальном масштабе, уничтожая все альтернативные пути развития. Даже если альтернатива когда-нибудь и будет предложена, она должна будет родиться в рамках общества реального подчинения и обнаружить все его основные противоречия.

Три вышеописанные способа контроля вновь заставляют нас вспом-

нить о трех ярусах имперской пирамиды власти. Ядерная бомба соответствует монархической власти, деньги — аристократической, а эфир — демократической. Может сложиться впечатление, что каждым из этих механизмов управляют США. Может показаться, что Америка подобна новому Риму, или нескольким новым Римам: Вашингтон контролирует ядерное оружие, Нью-Йорк — деньги, а Лос-Анджелес — эфир. Однако любая подобная концепция, связывающая пространство Империи с определенной территорией, неизбежно наталкивается на гибкость, мобильность и детерриториализацию — свойства, лежащие в основе имперского аппарата. Возможно, монополия на применение насилия и управление денежными потоками и могут отчасти быть представлены в территориальном измерении, но применительно к коммуникации это невозможно. А ведь именно коммуникация является центральным элементом, обеспечивающим производственные отношения, направляющим капиталистическое развитие, а также изменяющим производительные силы. Подобная динамика порождает в высшей степени незавершенную ситуацию: централизованный локус власти вступает в противоборство с властью субъектов производства, властью всех тех, кто участвует в интерактивном производстве коммуникации. Здесь, в этой постоянно меняющейся сфере имперского господства над новыми формами производства, коммуникации чаще всего, подобно капиллярным сосудам, распылены по всему социальному пространству.

БОЛЬШОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА БОЛЬШЕ НЕТ!

«Большого правительства больше нет», — раздается боевой клич консерваторов и неолибералов на всем пространстве Империи. Контролируемые республиканцами Конгресс США под руководством Ньюта Гингрича всеми силами пытался опровергнуть идею большого правительства, называя ее «тоталитарной» и «фашистской» (эта сессия Конгресса, претендовавшая на то, чтобы носить имперский характер, на деле напоминала балаган). Складывалось впечатление, что вернулись назад времена резких обличительных речей Генри Форда, направленных против президента Франклина Д. Рузвельта! Или, скорее, далеко не столь славное время первого правительства Маргарет Тэтчер, когда она неистово и с чисто английским чувством юмора пыталась распродать общественную собственность, являвшуюся достоянием всей нации, — от телекоммуникационных компаний до системы водоснабжения, от железных дорог и нефтяных компаний до университетов и больницы. Однако в США представители наиболее алчного консервативного крыла зашли слишком далеко, и это, в конце концов, стало ясно всем. Основным моментом, и одновременно жестокой иронией, являлось то обстоятельство, что они предприняли атаку на большое правительство как раз тогда, когда для развития постсовремен-

ной информационной революции такая структура управления была больше всего необходима, чтобы создавать информационные супермагистрали, контролировать равновесие на биржах на фоне массированных спекуляций, поддерживать валютные курсы, осуществлять вложения государственных средств в военно-промышленный комплекс с целью способствовать изменению способа производства, реформировать систему образования и приспособить ее к новым производственным отношениям и т. д. Именно в это время, после распада Советского Союза, имперские задачи, стоявшие перед американским правительством, имели первостепенную важность, и большое правительство было нужнее всего.

Когда сторонники глобализации капитала выступают против большого правительства, они проявляют не только лицемерие, но и неблагодарность. Что стало бы с капиталом, если бы он не использовал большое правительство и не вынуждал бы его веками работать исключительно в своих интересах? Где бы оказался сегодня имперский капитал, если бы правительство не было бы сильным настолько, чтобы располагать правом жизни и смерти в отношении всего населения Земли? Что стало бы с капиталом, если бы не большое правительство, способное печатать деньги, тем самым производя и воспроизводя мировой порядок, гарантирующий капиталу власть и богатство? Или мог бы капитал обойтись без коммуникационных сетей, при помощи которых отчуждается результат кооперации трудящихся масс? Каждое утро, просыпаясь, капиталисты и их сторонники по всему миру вместо того, чтобы читать очередные выпады против большого правительства на страницах Уолл Стрит Джорнэл, должны опускаться на колени и благословлять его!

В наши дни, когда наиболее радикальные консервативно настроенные противники большого правительства упали духом под тяжестью противоречивости своей позиции, пришел наш черед подобрать лозунги, брошенные ими наземь. Настала наша очередь заявить: «Большого правительства больше нет!» Почему этот лозунг должен быть исключительной собственностью консерваторов? Безусловно, закалившись в классовой борьбе, мы хорошо знаем, что большое правительство может являться инструментом перераспределения социальных благ, и что под напором выступлений рабочего класса оно принимало участие в борьбе за равенство и демократию. Но эти времена прошли. В условиях имперской постсовременности большое правительство стало просто деспотическим средством господства и тоталитарного производства субъективности. Оно дирижирует огромным оркестром субъектов, сведенных до положения товара. Это, следовательно, определяет пределы его желания: таковы на деле разграничительные линии, в соответствии с которыми в этой биополитической Империи устанавливается новое разделение труда в мировом масштабе, в интересах воспроизводства способности власти эксплуатировать и подчинять

население. Мы же, напротив, боремся, поскольку желание не имеет предела, и (поскольку желание жить и желание производить суть одно и то же) потому, что жизнь может постоянно, свободно и в одинаковой степени принадлежать всем и воспроизводиться.

Можно возразить, что эта производственная биополитическая вселенная все же нуждается в определенном управлении, и что, реалистично мысля, надо стремиться не уничтожить большое правительство, а контролировать его. Необходимо развеять подобные иллюзии, отравлявшие социалистические и коммунистические традиции в течение столь долгого времени! С точки зрения масс и их стремления к автономному самоуправлению, необходимо положить конец бесконечному повторению того, о чем 150 лет назад с горечью писал Маркс, отмечая, что все революции только укрепляли государство вместо того, чтобы его разрушить. Это стало особенно заметно в наш век, когда великий компромисс (в его либеральной, социалистической и фашистской формах) между большим государством, крупным бизнесом и сильными профсоюзами заставил государство породить чудовищные явления: концентрационные лагеря, ГУЛАГ, гетто и т. п.

«Вы просто сборище анархистов», — воскликнул бы, увидев нас, Платон. Но это не так. Мы были бы анархистами (подобно Фрасимаху и Калликлу, бессмертным собеседникам Платона), если бы не рассуждали с позиций материальности, заключенной в сетях производственной кооперации, иными словами, с позиций человечности, создаваемой системой производства, конституированной «общим именем» свободы. Мы не анархисты, а коммунисты, видевшие, сколько репрессий и разрушений принесли человечеству либеральные и социалистические большие правительства. Сейчас мы видим, как Империя стремится создать это все вновь, как раз тогда, когда сама природа производственной кооперации позволяет трудящимся самим стать правительством.

ЧАСТЬ 4

ЗАКАТ И ПАДЕНИЕ ИМПЕРИИ

4.1 ВИРТУАЛЬНОСТИ

Людей больше не существует, хотя пока нет...
люди отсутствуют.

ЖильДелез

В ходе нашего рассмотрения мы, в основном, имели дело с Империей в терминах критики того, что есть и что существует, то есть в онтологических терминах. Однако порой с целью усилить доводы мы обращались к проблематике Империи и с позиций этико-политического дискурса, калькулирующего механику страстей и интересов, например, когда в начале своего исследования мы признали, что Империя менее плоха или даже лучше, нежели предшествующие парадигмы власти, если смотреть с точки зрения масс. Возможно, английская политическая теория в период от Гоббса до Юма являет собой классический образец такого рода этико-политического дискурса, который начинался с пессимистичного описания естественной природы человека и стремился, опираясь на трансцендентальное понимание власти, обосновать легитимность государства. Левиафан (более или менее либеральный) менее плох, чем война всех против всех, он лучше, ибо устанавливает и сохраняет мир¹. Однако этот стиль политического теоретизирования уже мало полезен. Он исходит из того, будто субъект может быть понят как пребывающий в естественном состоянии и вне общества, а затем производит с ним своего рода трансцендентальную социализацию. В Империи нет какой-либо внешней субъектности, в ней все локальности подчинены общей «а-локальности». Вымышленная идея политики как трансцендентального явления больше не действует и не обладает никакой доказательной силой, поскольку все мы погружены полностью в сферы социального и политического. И в тот момент, когда к нам приходит осознание этого непреложного веления постсовременности, политическая философия вынуждает нас ступить на территорию онтологии.

ЗА ПРЕДЕЛАМИ МЕРЫ (НЕ-ИЗМЕРИМОЕ)

Когда мы говорим, что политическая теория должна иметь дело с онтологией, мы имеем в виду, прежде всего, что политика не может быть создана извне. Политика дана непосредственно, она — поле чистой имманенции. Империя формируется на этом поверхностном горизонте, куда погружены наши тела и умы. Она абсолютно позитивна. Не существует какой-то

внешней логической машины, ее конституирующей. Наиболее естественно в этом мире то, что он кажется политически единым, рынок — глобальным, и что власть организована через эту всеобщность. Имперская политика выражает бытие в его глобальном охвате — великое море, волнуемое лишь ветрами и течениями. Нейтрализация трансцендентального воображения, таким образом, есть первый смысл, в котором политическое в имперских владениях означает онтологическое².

Политическое также должно пониматься как онтологическое потому, что все трансцендентные детерминации стоимости и меры, использовавшиеся для придания порядка отправлениям власти (то есть для определения ее цен, иерархий и подразделений), утратили свою внутреннюю взаимосвязанность. Все — от священных мифов о власти, исследованием которых занимались такие представители исторической антропологии, как Рудольф Отто и Жорж Дюмезиль, до правил новой политической науки, описанных авторами *Федералиста*; от Прав Человека и до норм международного публичного права — все это исчезает с переходом к Империи. Империя диктует свои законы и сохраняет мир, следуя модели постсовременного права и постсовременного закона, посредством изменчивых, гибких, локализованных, привязанных к условиям места и времени процедур³. Империя создает онтологическую ткань, в которой все властные отношения — политические и экономические, равно как общественные и личные — сплетены воедино. Через эту гибридную зону биополитическая структура бытия проявляется как сфера, где раскрывается внутренняя структура имперского устройства, поскольку в глобальности биовласти любая твердо установленная мера стоимости стремится к исчезновению, а имперский горизонт власти в конце концов оказывается горизонтом вне меры. Не только трансцендентное политическое, но и трансцендентное как таковое перестало определять меру.

Большая западная метафизическая традиция всегда питала отвращение к тому, к чему неприложима мера. От аристотелевской теории добродетели как меры⁴ до гегелевской теории меры как ключа к переходу от существования к сущности⁵ вопрос о мере был прямо связан с вопросом о трансцендентном порядке. Даже теория стоимости Маркса отдает свою дань этой метафизической традиции: его теория стоимости на самом деле является теорией меры стоимости*. Однако только на онтологическом горизонте Империи мир, наконец, оказывается за пределами меры, и на этом горизонте мы можем ясно видеть ту глубокую ненависть, которую метафизика питает к не-измеримому. Она возникает из идеологической необходимости дать порядку трансцендентное онтологическое обоснование. Точно так же как Бог необходим для классической трансценденции власти, так же и мера нужна для трансцендентного обоснования ценностей государства современности. Если нет никакой меры, говорят метафизики, то

нет и космоса; а если нет космоса, то нет и государства. В таких теоретических рамках невозможно помыслить что-либо, находящееся за пределами меры, или, точнее, *не должно* его помыслить. На всем протяжении истории современности не-измеримое было объектом анафемы, абсолютного эпистемологического запрета. Сегодня эта метафизическая иллюзия исчезает, поскольку в контексте биополитической онтологии со всеми ее атрибутами трансцендентное — вот, что немислимо. Когда сегодня политическая трансценденция все еще провозглашается, это напрямую ведет в тиранию и варварство.

Когда мы говорим «не-измеримое», мы имеем в виду, что политические процессы бытия Империи находятся вне всякой заранее заданной меры. Мы имеем в виду, что отношения между способами существования и сегментами власти всегда создаются заново, и бесконечно варьируются. Указатели, задаваемые командной системой Империи (такие как экономическая стоимость), всегда устанавливаются на основе случайных и чисто конвенциональных составляющих. Конечно, чтобы гарантировать, что случайность не станет губительной, что она не усилит бури, поднимающиеся на морях бытия, существуют важнейшие, ключевые средства имперской власти, — такие как монополия на ядерное оружие, контроль над деньгами и колонизация эфира. Эта королевская гвардия Империи гарантирует, что случайность станет необходимостью и не обернется беспорядком. Однако эти высшие средства власти не являют собой образ порядка или мерило космоса; напротив, их эффективность основывается на разрушении (посредством бомбы), наказании (посредством денег) и запугивании (посредством коммуникации).

Здесь можно задаться вопросом, не подразумевает ли идея не-измеримости абсолютного отрицания понятия справедливости. История идеи справедливости действительно обычно связана с определенным представлением о мере, будь это мера равенства или мера пропорциональности. Более того, как говорит Аристотель, следуя за Феогнидом, «всю добродетель в себе справедливость соединяет»⁷. Так неужели мы просто делаем бессмысленное нигилистское заявление, когда утверждаем, что в онтологии Империи ценность находится за пределами меры? Неужто мы утверждаем, будто не существует ни ценности, ни права, ни даже добродетели? Нет, в отличие от тех, кто долго настаивал, что утверждение ценности возможно только в образе меры и порядка, мы заявляем, что ценность и справедливость могут существовать и действовать внутри не-измеримого мира. Здесь мы снова видим, какое значение имела революция, осуществленная гуманизмом Ренессанса. *Ni Dieu, ni maitre, ni l'homme* — никакая трансцендентная власть или мера не может определять ценности нашего мира. Ценность может определяться только собственным непрерывным обновлением и творчеством человечества.

ПО ТУ СТОРОНУ МЕРЫ (ВИРТУАЛЬНОЕ)

Даже когда политическое оказывается сферой, где не действует мера, стоимость, тем не менее, сохраняется. Даже если у постсовременного капитализма больше нет шкалы для точного измерения стоимости, она, тем не менее, все еще могущественна и вездесуща. Это доказывается, во-первых, продолжением существования эксплуатации и, во-вторых, неустанно идущим процессом создания богатства и постоянными производственными инновациями — фактически мобилизующими труд в любой точке мира. В Империи создание стоимости имеет место *по ту сторону меры*. Различие между абсолютным характером имперской глобализации, ходом ее процессов за пределами меры и производительной деятельностью по ту сторону меры должно быть проанализировано с точки зрения деятельности субъекта, создающей и воссоздающей мир в его целостности.

Однако нам нужно здесь особо подчеркнуть нечто более существенное, нежели простое утверждение, что труд остается главным элементом, составляющим основу общества в момент, когда капитал переходит в свою постсовременную стадию. Если «за пределами меры» относится к невозможности власти рассчитывать и упорядочивать производство на глобальном уровне, то «по ту сторону меры» относится к витальному контексту производства, выражению труда как желания и к его способностям конституировать биополитическую ткань Империи снизу. «По ту сторону меры» отсылает к новой *локальности в а-локальном мире*, локальности, определяемой производительной деятельностью, автономной по отношению к любому режиму меры, устанавливаемому извне. «По ту сторону меры» отсылает к *виртуальности*, наполняющей всю биополитическую ткань имперской глобализации.

Под виртуальностью мы понимаем совокупность принадлежащей массам способности действовать (быть, любить, преобразовать, творить). Мы уже видели, как виртуальная совокупность власти масс была создана в борьбе и объединена в желание. Теперь нам предстоит выяснить, как виртуальное влияет на границы возможного, затрагивая, таким образом, действительное. Переход от виртуального через возможное к действительному является важнейшим творческим актом⁸. Живой труд — вот что создает коридор для перехода от виртуального к действительному; это — средство осуществления возможности. Тот труд, что сломал клетки экономической, социальной и политической дисциплины и превзошел любое регулирующее измерение капитализма эпохи современности вместе с его государственной формой, теперь выступает в качестве совокупной социальной деятельности, социальной деятельности как таковой⁹. Труд — это производительный переизбыток по отношению к существующему порядку и правилам его воспроизводства. Этот производительный переизбы-

ток есть одновременно результат коллективной силы эмансипации и суть новой социальной виртуальности производительных и освободительных возможностей труда.

При переходе к постсовременности одним из основных условий труда является то, что он функционирует за пределами меры. Темпоральная регламентация труда и все прочие экономические и/или политические критерии меры, применявшиеся к нему, теперь устранены. Сегодня труд — это, прежде всего, социальная сила, вдохновляемая мощью знания, аффекта, науки и языка. На самом деле, труд — это производительная деятельность всеобщего интеллекта и всеобщего тела, деятельность за пределами меры. Труд оказывается просто *способностью действовать*, сингулярной и всеобщей одновременно: сингулярной от того, что труд становится исключительным владением ума и тела масс; и всеобщей постольку, поскольку желание, которое выражают массы в движении от виртуального к возможному, непрерывно осуществляется как *общее дело*. Только когда сформировано то, что является общим, может существовать производство и может расти общая производительность. Все, что блокирует эту способность действовать, есть просто препятствие, которое нужно преодолеть, препятствие, которое при необходимости можно обойти, ослабить и разрушить критическими способностями труда и повседневной страстной мудростью аффекта. Способность действовать конституируется трудом, интеллектом, страстью и аффектом, сведенными воедино.

Представление о труде как о способности к совместному действию связывают с процессом создания сообщества отношения одновременности, соразмерности и развития. Они являются обоюдными, так как с одной стороны, сингулярные силы труда непрерывно создают новые структуры общности, а с другой, общее сингуляризуется, становится единичным¹⁰. Таким образом, мы можем определить виртуальную власть труда как силу самовозрастания, которая превосходит саму себя, сливается с другими и посредством такого слияния создает растущую, расширяющуюся общность. Совместные действия труда, интеллекта, страсти и аффекта образуют *конститутивную власть*.

Описываемый нами процесс не является просто формальным; он материален, и осуществляется в биополитической сфере. Виртуальность действия и изменение материальных условий, которые порой присваиваются этой способностью действовать и обогащают ее, конституируются в онтологических механизмах или аппаратах по ту сторону меры. Этот онтологический аппарат по ту сторону меры — *расширяющая свои границы власть* свободы и онтологического созидания, распространяющаяся повсюду.

Это последнее определение может показаться излишним. Если способность действовать создает стоимость «снизу», если она трансформирует ее согласно ритму движения общего, и если она определяет основные ма-

териальные условия своей собственной реализации, то очевидно, что она несет в себе расширяющую свои границы силу, силу по ту сторону меры. Однако это определение не излишне. Скорее оно добавляет новое измерение к понятию, поскольку показывает положительное свойство а-локальности, а также невозможность ограничить совместные действия по ту сторону меры. Это расширенное определение играет антидиалектическую роль, демонстрируя созидательную способность того, что находится по ту сторону меры. Обращаясь к истории философии, можно добавить, с целью прояснить смысл этой расширяющей свои границы силы, что хотя определения способности действовать в терминах единичного и общего восходят к идеям Спинозы, приведенное нами определение в действительности является ницшеанской концепцией. Распространяющаяся повсюду способность действовать обнаруживает онтологическую основу своего самовозрастания, то есть свою способность не только разрушать ценности, происходящие из трансцендентной области меры, но и создавать новые¹¹.

В онтологическую почву Империи, вспаханную и орошенную могущественным, самовозрастающим и совместным трудом, была посажена виртуальность, стремящаяся стать действительностью. Ключи от возможности, то есть от модусов бытия, которые преобразуют виртуальное в действительное, находятся в этой сфере по *ту* сторону меры.

ПАРАЗИТ

Здесь можно возразить, что, несмотря на силу масс, Империя все еще существует и властвует. Мы, в свою очередь, подробно описали ее функционирование и выявили ее крайнюю жестокость. Однако по отношению к виртуальности масс, имперское правительство оказывается пустой раковиной или паразитом¹². Означает ли это, что власть, которую постоянно применяет Империя, чтобы утвердить свой порядок и укрепить бессилие масс, на самом деле неэффективна? Если бы это было так, то все выдвинутые нами вплоть до нынешнего момента аргументы относительно внешнего по отношению к онтологическому развитию масс характера имперского правления были бы противоречивы. Разрыв между виртуальностью и возможностью, который, как мы полагаем, можно было бы преодолеть с точки зрения действия масс, на деле остается не преодоленным в силу имперского господства. Кажется, что две силы вступают в противоречие друг с другом.

Однако мы не считаем, что здесь действительно есть противоречие. Противоречие статично только в формальной логике; однако оно никогда не статично в логике материальной (то есть политической, исторической и онтологической), помещающей его в сферу возможного, то есть в сферу власти. В самом деле, отношение, которое имперское правление устанавли-

ливаает для виртуальности масс, есть просто статичное отношение подавления. Политика имперского правительства по *сути* своей негативна, она проводится посредством мер, направленных на насильственное упорядочение действий и событий, рискующих обернуться беспорядками. Во всех случаях шаги, предпринимаемые имперской властью, являются регулятивными, а не конститутивными, даже когда их последствия имеют достаточно продолжительный характер. Чрезмерности имперского принуждения образуют в лучшем случае хронику событий политической жизни, то есть по сути, самый немощный и скучный образ отражения бытия.

Монаршие прерогативы имперского правительства, его монополия на бомбу, деньги и эфир коммуникаций, являются лишь способностями разрушения и потому — силами отрицания. Своими действиями имперское правительство вмешивается в проект масс по соединению виртуальности и возможности, только разрушая его и замедляя его осуществление. В данном отношении Империя влияет на ход истории, что, однако, не дает основание определять ее как позитивную силу — напротив, ход истории все более подрывает легитимность ее командной *системы*.

Когда то или иное действие Империи оказывается результативным, это происходит не в силу его собственной действенности, а потому, что оно выступает как реакция на сопротивление имперской власти со стороны масс. В этом смысле можно действительно говорить о том, что сопротивление предшествует власти¹³. Когда имперское правительство предпринимает какие-либо шаги, оно обращает свою активность на освободительные порывы масс с тем, чтобы их разрушить, и, в свою очередь, продвигается вперед благодаря этому сопротивлению. Монаршие прерогативы Империи и все ее политические инициативы выстраиваются в соответствии с ритмом актов сопротивления, конституирующих бытие масс. Иными словами, эффективность регулятивных и репрессивных мер Империи определяется, в конечном итоге, виртуальным, конститутивным действием масс. Сама по себе Империя не является положительной реальностью. И всякий момент ее взлета есть момент падения. Любой шаг имперской власти является ответом на сопротивление масс, ответом, воздвигающим новое препятствие, которое должно быть преодолено массами¹⁴.

Имперское господство не производит ничего жизненного и онтологического. С точки зрения онтологии оно совершенно пассивно и негативно. Конечно, власть присутствует повсюду, но она *повсюду* потому, что повсюду происходит игра сопряжений между виртуальностью и возможностью, сопряжений, которые являются единственной областью действия масс. Имперская власть — это негативный остаток, осадок деятельности масс; это паразит, черпающий жизненные силы из их способности создавать все новые источники энергии и стоимости. Паразит, который тянет соки жизни из своего хозяина, при этом подвергает опасности собствен-

ное существование. Функционирование имперской власти неизбежно связано с ее упадком.

НОМАДИЗМ И СМЕШЕНИЕ НАРОДОВ

Онтологическая ткань Империи создается лежащей по ту сторону меры деятельностью масс и их виртуальными силами. Эти виртуальные, конститутивные силы находятся в постоянном конфликте с конституированной властью Империи. Они абсолютно позитивны, поскольку их «бытие-против» это «бытие-для», иными словами, сопротивление, становящееся любовью и общностью. Мы сейчас находимся именно в этой ключевой точке безграничной конечности, соединяющей виртуальное и возможное, вовлеченные в переход от желания к грядущему будущему¹⁵.

Это онтологическое отношение воздействует прежде всего на пространство. Виртуальность мирового пространства составляет первую детерминацию движений масс — виртуальность, которая должна стать реальностью. Пространство, которое можно просто пересечь, должно превратиться в пространство жизни; движение по замкнутому кругу должно стать свободой. Иными словами, мобильные массы должны получить всемирное гражданство. Сопротивление масс крепостной зависимости — борьба против рабской принадлежности к нации, к идентичности, к народу и потому бегство от суверенитета и ограничений, налагаемых им на субъективность, — полностью позитивно. Номадизм и смешение народов оказываются здесь образами добродетели, первыми этическими практиками на территории Империи. В этой перспективе объективное пространство капиталистической глобализации разрушается. Только пространство, становящееся живым благодаря постоянному движению субъектов, и только пространство, определяемое свободными перемещениями (легальными или нет) индивидов и групп, может быть реальным. Сегодняшние славословия в адрес локального могут означать возврат к прошлому и даже быть фашистскими, когда они противостоят циркуляциям и смешению, воздвигающая стены нации, этничности, расы, народа и тому подобного. Однако понятие локального не определяется изоляцией и чистотой крови. По сути, если разрушить стены, которые окружают локальное (и таким образом отделяют это понятие от расы, религии, этничности, нации и народа), его напрямую можно связать со всеобщим. Конкретная всеобщность — вот то, что помогает массам перемещаться в пространстве и делать новое пространство своим. Это — общее пространство номадизма и смешения. В этом круговращении складывается общий человеческий род, многоцветный Орфей, наделенный безграничной силой; в этом круговращении возникает общность людей, складывается сообщество, обнимающее все человечество. Далекое от всякой просвещенческой туманности и кантианской

мечтательности, желание масс составляет не космополитизм, а общность рода, единство человечества¹⁶. Как в день пятидесятницы, только на светский лад, тела смешиваются, и кочевники говорят на одном языке.

В этом контексте онтология — совсем не абстрактная наука. Она включает в себя концептуальное признание производства и воспроизводства бытия и, таким образом, признание того, что политическая реальность создается динамикой желания и практической реализацией труда как стоимости. Сегодня пространственное измерение онтологии демонстрируется реальными процессами глобализации масс, то есть созданием единства, желанием общности человечества.

Одним из основных примеров функционирования этого пространственного измерения выступают процессы, которые положили конец Третьему миру вместе со всей былой славой и бесчестием его борьбы, силой желаний, наполнявших процессы освобождения, и нищетой результатов, увенчавших успех освободительного движения. Настоящими героями освобождения Третьего мира сегодня, по сути, могли стать эмигранты или потоки населения, разрушавшие старые и новые границы. На самом деле, герой постколониализма — это тот, кто непрестанно преодолевает территориальные и расовые границы, кто разрушает всякий партикуляризм, стремясь к единой цивилизации. Имперская власть, напротив, изолирует население в бедности и позволяет ему действовать лишь в смиренной рубашке подчиненных постколониальных наций. Уход от локализма, преодоление традиций и границ и бегство от суверенитета были движущими силами освобождения Третьего мира. И здесь, более чем когда бы то ни было, мы можем ясно увидеть различие, которое Маркс проводил между *эмансипацией* и *освобождением*¹⁷. Эмансипация — это вхождение новых наций и народов в имперское общество контроля с его новыми иерархиями и сегментациями; освобождение, напротив, означает разрушение границ и отказ от вынужденной миграции как модели поведения, повторное присвоение, репроприацию пространства и власть масс определять процессы циркуляции и смешения индивидов и населения в глобальном масштабе. Третий мир, созданный колониализмом и империализмом национальных государств и очутившийся в капкане холодной войны, разрушается, когда старые правила политической дисциплины государства эпохи современности (и присущие ему механизмы географического и этнического регулирования населения) внезапно рассыпаются. Он разрушается, когда на всей онтологической территории глобализации весь мир голодных и рабов становится самой могущественной сущностью, поскольку его новый сингулярный номадизм есть главная созидательная сила, а богатейшая динамика его желания сама по себе является приближающимся освобождением.

Способность к перемещению есть основное определение виртуальное-

ти масс, а сам процесс перемещения — это первый этический акт контримперской онтологии. Этот онтологический аспект биополитического перемещения и смешения еще более отчетливо проявляется в сопоставлении с другими значениями, приписываемыми постсовременным процессам перемещения населения, таким как рыночные обмены или скорость коммуникации. Эти моменты скорости и перемещения объясняются, скорее, жестокостью имперского принуждения¹⁸. Обмены и коммуникация, подчиненные капиталу, интегрированы в его логику, и только радикальный акт сопротивления сможет снова вернуть продуктивный смысл новой мобильности и гибридности субъектов, осуществив их освобождение. Этот разрыв, и только он, переносит нас на онтологическую территорию масс, где перемещение и гибридизация имеют биополитическую природу. Биополитическое перемещение фокусирует и утверждает сущностные детерминации производства, самовозрастания и свободы. Перемещение — это глобальный исход, то есть номадизм; и это телесный исход, то есть смешение народов.

ВСЕОБЩИЙ ИНТЕЛЛЕКТ И БИОВЛАСТЬ

Мы настаивали ранее на значимости и ограниченности понятия о «всеобщем интеллекте» у Маркса (Раздел 1.2). В определенной точке капиталистического развития, возможность которой Маркс лишь предвидел, в будущем, силы труда наполняются силами науки, коммуникации и языка. Всеобщий интеллект оказывается коллективным, общественным разумом, созданным накопленными знаниями, технологиями, научной и технической информацией. Стоимость труда, таким образом, реализуется новой, универсальной и конкретной рабочей силой через присвоение и свободное использование новых производительных сил. То, что Маркс видел как будущее, — это наша эпоха. Радикальное преобразование рабочей силы и инкорпорация науки, коммуникации и языка в производительные силы переопределили всю феноменологию труда и весь мировой горизонт производства.

Опасность дискурса всеобщего интеллекта состоит в том, что он рискует полностью остаться в плане мышления, как если бы новые силы труда были лишь интеллектуальными, а не телесными (Раздел 3-4). Как мы видели ранее, новые силы и новые позиции аффективного труда, ориентированного на межперсональное взаимодействие, являются такой же характерной чертой нынешней рабочей силы, как и труд интеллектуальный. Бивласть дает имя этим производительным способностям жизни, являющимся в равной мере интеллектуальными и телесными. Фактически на сегодняшний день производительные силы являются полностью биополитическими. Иными словами, они пронизывают и непосредственно создают

не только производство, но и всю сферу воспроизводства. Биовласть становится действующей силой производства, когда весь контекст воспроизводства подчиняется господству капитализма, то есть когда воспроизводство и жизненные отношения, его составляющие, сами непосредственно становятся производством. Биовласть — это другое имя реального подчинения общества капиталу, а также синоним глобализованного порядка производства. Производство заполняет поверхности Империи; это — машина, полная жизни, разумной жизни, которая, выражая себя в производстве и воспроизводстве, а также в перемещении (труда, аффектов, языка), создает общество с новым коллективным смыслом и считает кооперацию добродетелью и признаком цивилизации.

Силы науки, знания, аффекта и коммуникации — вот основные силы, составляющие нашу антропологическую виртуальность и действующие на поверхностях Империи. Это действие распространяется по территориям, объединенным общностью языка и обозначающим точки пересечения производства и жизни. Труд становится все более и более аматериальным, реализуя свою стоимость в сингулярном, непрекращающемся процессе инноваций в производстве; его способность все более утонченным и интерактивным образом потреблять и использовать услуги социального воспроизводства постоянно возрастает. Разум и аффект (а по сути, взаимосвязь тела и ума), едва они становятся основными производительными силами, заставляют производство и жизнь объединиться в области своего действия, поскольку жизнь есть ни что иное, как производство и воспроизводство совокупности тел и умов.

Отношение между производством и жизнью настолько изменилось, что теперь оно является прямо противоположным применительно к его пониманию наукой политической экономии. Жизнь больше не производится в циклах воспроизводства, подчиненных динамике рабочего дня; напротив, жизнь — вот, что главенствует надо всем производством и наполняет его. По сути, стоимость труда и производства определяется в глубинах жизни. Промышленность не производит никакой прибавочной стоимости, кроме той, что порождается социальной деятельностью — и вот почему, затопленная бурным потоком жизни, стоимость находится по ту сторону меры. Никакой прибавочной стоимости не было бы, если бы производство не приводилось в движение наполняющим его социальным разумом, всеобщим интеллектом и одновременно аффектами, определяющими социальные отношения и управляющими выражениями социального бытия. Переизбыток стоимости проявляется сегодня в аффектах, телах, наполненных знаниями, в остроте ума и чистой способности к действию. Товарное производство стремится к тому, чтобы целиком находить свое осуществление в языке, под которым мы подразумеваем разумные машины, непрерывно подпитываемые аффектами и страстями".

К этому моменту наших рассуждений уже должно быть понятно, что же конституирует *социальную кооперацию* здесь, на поверхности имперского общества: совместные усилия, синергии жизни или же производительные проявления *жизни как таковой*. Джорджио Агамбен использовал термин «жизнь как таковая» чтобы обозначить негативный, нижний предел человечности и найти за политическими безднами, открытыми тоталитаризмом в эпоху современности, условия (предполагающие большую или меньшую степень героизма) человеческой пассивности¹⁰. Мы бы сказали, что, напротив, в своих зверствах, целью которых было сведение человеческого существования к минимально возможному уровню «жизни как таковой», фашизм и нацизм тщетно пытались разрушить ту огромную силу, которой могла стать сама жизнь, и уничтожить форму накопления новых сил производительной кооперации масс. В этой связи можно было бы сказать, что реакционное безумие нацизма и фашизма вырвалось на волю в тот момент, когда капитал осознал, что общественная кооперация больше не является результатом вложений капитала, а представляет собой самостоятельную силу а priori всякой производительной деятельности. Когда человеческая мощь непосредственно проявляется в качестве автономной силы коллективной кооперации, капиталистическая предыстория подходит к концу. Иными словами, капиталистическая предыстория завершается, когда общественная кооперация и кооперация субъектов перестает быть результатом, а становится предпосылкой, когда сама жизнь обретает достоинство производительной силы, когда она оказывается богатством виртуальности.

Принадлежащие массам силы науки, аффекта и языка стремительно изменяют условия общественного производства. Поле, на котором производительные силы вновь присваиваются массами, оказывается полем радикальных метаморфоз — сценой действия творца. Это действие состоит прежде всего в полном изменении условий производства субъекта кооперации; оно состоит в акте слияния и гибридации с машинами, вновь присвоенными и изобретенными массами, и потому оно состоит в исходе, не просто пространственном, но механическом, в том смысле, что субъект преобразовывается (и тем самым преумножает конституирующую его кооперацию) в машину. Это — новая форма исхода: исход в машину (или вместе с машиной) — технический исход¹¹. Относящаяся ко временам современности история рабочего и субъекта суверенитета уже содержит длинный список преобразований в сфере техники, но процесс соединения человека и машины больше не идет линейным путем, как в период современности. Мы достигли того момента, когда отношения власти, определявшие эту гибридацию человека и машины, а также процессы технических преобразований, могут быть ниспровергнуты. Маркс понимал, что конфликт между рабочим и машиной был ложным конфликтом: «Требуются из-

вестное время и опыт для того, чтобы рабочий научился отличать машину от ее капиталистического применения и вместе с тем переносить свои атаки с материальных средств производства на общественную форму их эксплуатации»²². Сейчас новые виртуальности, сегодняшняя жизнь как таковая способны взять под контроль процессы технических преобразований. В Империи политическая борьба за определение машинной виртуальности, то есть за альтернативы перехода от виртуального к реальному, является основной. Эта новая сфера производства и жизни открывает для сил труда поле преобразований, которые в будущем посредством кооперации субъектов можно и должно контролировать с точки зрения этики, политики и производства.

RES GESTAE/MACHINAE

В последние годы много говорили о конце истории, и одновременно это реакционное прославление конца истории, представляющее нынешнее положение вещей вечным и неизменным, породило немало справедливых возражений. Между тем, несомненно верно, что в период современности власть капитала и «го институтов суверенитета оказывала серьезное влияние на историю, господствовала над историческим процессом. Виртуальные силы масс в эпоху постсовременности означают конец этого господства и этих институтов. *Эта* история закончилась. Обнаружилось, что капиталистическое господство — лишь переходный период. И если трансцендентная телеология, созданная капиталистической современностью, подходит к концу, то как массы смогут найти сменяющий ее материалистический телос²³?

На этот вопрос можно было бы ответить, только проведя феноменологическое и историческое исследование отношений между виртуальностью и возможностью, то есть после того, как удастся ответить на вопрос о том, в каком случае, как и когда виртуальность масс, пройдя стадию возможности, становится действительностью. В этом отношении онтология возможного оказывается основной сферой исследования. Эта проблематика ставилась рядом авторов от Лукача до Бенямина, от Адорно до позднего Витгенштейна, от Фуко до Делеза и, по сути, всеми, кто осознал закат современности. Во *всех* этих случаях вопрос был поставлен вопреки чудовищным метафизическим преградам! И теперь мы видим, насколько ничтожными оказывались даваемые ответы в сравнении с грандиозностью вопроса. Что очевидно сегодня, так это то, что авторы, работающие в данной проблематике, не рискуют возвратиться к старым моделям метафизической традиции, даже наиболее убедительным из них. По сути, сегодня все метафизические традиции совершенно устарели. И если существует какое-то решение данной проблемы, оно не может не быть материаль-

ным и обладающим взрывной силой. Хотя сначала наше внимание было привлечено к интенсивности элементов виртуальности, конституирующих массы, теперь оно должно сосредоточиться на гипотезе, согласно которой эти виртуальности накапливаются и достигают адекватного их силе критического уровня, когда они готовы реализовать себя. И в этом смысле мы говорим о всеобщем интеллекте и его воплощении в знании, аффекте и кооперации; и в том же смысле мы говорим о различных формах коллективного исхода тех номадических движений масс, которые заново присваивают и обновляют пространства.

Тут мы имеем дело с двумя основными тенденциями. Первая состоит в том, что виртуальность заполнит все поле *res gestae*. Виртуальность движется вперед и обнаруживает, что способность *historia rerum gestarum* господствовать над действующими виртуальными сингулярностями окончательно исчезла. Это *historia*, которая подходит к концу, когда появляются новые могущественные виртуальности и освобождаются от бытия, подчиненного гегемонии капитала и его институтов. Сегодня только *res gestae* обладают историческими возможностями, вернее, сегодня нет истории, а есть только историчность. Вторая тенденция состоит в том, что сингулярные виртуальности, обретая автономию, также получают способность к самовозрастанию. Они выражают себя как машины обновления. Они не только отказываются подчиняться старым системам стоимости и эксплуатации, но и действительно создают собственные безграничные возможности. Именно здесь определяется материалистический телос, основанный на действии сингулярностей, телеология, являющаяся результатом *res gestae* и образом машинной логики масс.

Res gestae, сингулярные виртуальности, управляющие связью между возможным и действительным, оказываются в первом случае за пределами меры, а во втором — по ту сторону меры. Эти виртуальности, являющиеся мостиком между возможным и действительным, разыгрывают обе карты: будучи за пределами меры как орудие разрушения (деконструктивное в теории и подрывное на практике) и будучи по ту сторону меры как конститутивная власть. Виртуальное и возможное соединены как неотвратимость нового будущего и как революционная машина.

4.2 ПОРОЖДЕНИЕ И РАЗЛОЖЕНИЕ

Нельзя пропить каплю американской крови, не пролив при этом кровь целого мира... Наша кровь как течение Амазонки, образованное тысячей величественных потоков, сливающихся воедино. Мы не столько нация, сколько целый мир; ибо пока мы не назовем весь мир нашими прародителями, подобно Мелхиседеку, нет у нас ни отца, ни матери... Наш род восходит ко всему миру... Мы — наследники всех времен и со всеми народами делим наше наследие.

Герман Мелвилл

Судьбой predeterminedено, что отныне и впредь Америка будет находиться в центре западной цивилизации, а не на ее окраине.

Уолтер Липпман

От американского бизнеса никуда не скроешься.

Луи-Фердинанд Селин

Теория создания Империи, как было установлено европейскими теоретиками Империи за последние несколько тысяч лет, одновременно является теорией ее упадка. Уже в античности, во времена греко-римского мира, Фукидид, Тацит и Полибий столь же подробно описали последовательность подъема и падения, как позднее это сделали отцы церкви и теоретики раннего христианства. Во всех этих случаях, когда речь шла об Империи, дело касалось не просто повторения классической теории чередования «правильных» и «неправильных» форм правления, потому что Империя по определению его преодолевает. Однако внутренний кризис идеи Империи стал полностью очевиден лишь в эпоху Просвещения и эпоху формирования европейской современности, когда такие авторы, как Монтескье и Гиббон, сделали проблему упадка Римской империи одной из центральных тем исследования политических форм суверенного государства эпохи современности¹.

ПОДЪЁМ И ПАДЕНИЕ (МАКИАВЕЛЛИ)

Уже в классической античности идея Империи предполагала кризис. Империя рассматривалась в концептуальных рамках натуралистической те-

ории форм правления; и хотя Империя и нарушает циклическое чередование правильных и неправильных форм, она не свободна от участи разложения града и мира. История находится во власти Тюхе (Фортуны или Судьбы), которая со временем неизбежно разрушает совершенство, достигаемое Империей. От Фукидида до Тацита, от Афин до Рима необходимое равновесие форм общественной жизни и форм правления укладывалось в рамки этого линейного хода судьбы. В своем исследовании Римской империи Полибий порвал с идеей циклического характера исторического развития, в соответствии с которой люди, создавая политические институты, переходят от правильных к неправильным формам общественной жизни и власти: от монархии к тирании, от аристократии к олигархии и от демократии к анархии, начиная затем новый цикл. Полибий утверждал, что Римская империя порвала с этим циклом, создав смешанное правление — соединение правильных форм власти (см.: Раздел 3-5)- Империя, таким образом, понимается не столько как господство над не имеющим границ пространством и временем, сколько как движение, которое мощью социальных сил, стремящихся освободиться от естественного циклического характера исторического времени, соединяет пространство и время. Однако улыбка судьбы — дело случая. Смещение правильных форм правления, господство гражданской добродетели, может бросить вызов судьбе, но не может ее отменить. Кризис и упадок — это тенденции, которые необходимо преодолевать каждодневно.

В эпоху европейского Просвещения такие авторы, как Монтескье и Гиббон, отвергли натуралистическое представление об этом процессе. С точки зрения науки об обществе упадок Империи объяснялся как следствие невозможности установить раз и навсегда исторические и социальные структурные рамки жизни масс и сохранять неизменной добродетель ее героев. Разложение и упадок Империи были, таким образом, не заранее предполагаемым естественным процессом, предначертанным циклами исторической судьбы, а результатом невозможности (или, по крайней мере, исключительной трудности) для человека управлять бесконечным пространством и временем. Безграничность Империи делала невозможным функционирование правильных институтов и их сохранение на неопределенно долгое время. Тем не менее, Империя была целью, на достижение которой были направлены желание и гражданская добродетель масс, а также свойственная им способность творить историю. Именно постоянное изменение ситуации не позволяло обеспечить контроль над безграничным пространством и временем, что неизбежно ограничивало всеобъемлющие цели управления узкими политическими и социальными аспектами. Авторы эпохи Просвещения показали нам, что со временем правление, приближающееся к совершенству, будет установлено в пределах ограниченного пространства и времени. Поэтому между Империей и реальное-

тью господства присутствовало принципиальное противоречие, которое неминуемо должно было порождать кризисы.

В действительности, Макиавелли, оглядываясь на идеи древних и превосходящая идеи мыслителей эпохи современности, первым наиболее точно выявил парадокс Империи⁷. Он прояснил проблематику, отделив ее как от натурализма древних, так и от социологизма, свойственного теориям эпохи современности, показав ее, скорее, в поле имманенции и чистой политики. У Макиавелли расширяющие границы своих владений структуры власти движимы диалектикой социальных и политических сил Республики. Только там, где социальные классы политически выражают себя, участвуя в открытой и непрерывной игре власти и контрвласти, свобода и расширение границ взаимосвязаны, и, следовательно, появляется возможность для возникновения Империи. Макиавелли говорит, что нет такой идеи Империи, которая не была бы в конечном итоге всеобъемлющей идеей свободы. Именно в этой диалектике свободы и заключаются элементы разложения и распада. Когда Макиавелли рассматривает падение Римской империи, он в первую очередь обращает внимание на кризис гражданской религии, то есть на ослабление социальной связи, объединявшей различные идеологические силы общества и позволявшей им сообща участвовать в открытом взаимодействии власти и контрвласти. Христианская религия была именно тем, что разрушило Римскую империю, погасив гражданский пыл, который служил основой языческого общества, конфликтное, но лояльное участие граждан в постоянном совершенствовании институтов и развитии свободы.

Античное представление о неизбежном и естественном характере разложения правильных форм правления, таким образом, оказалось полностью отброшено, поскольку формы правления можно оценивать только во взаимосвязи с социальными и политическими отношениями, создающими институты. Точно так же отброшено было свойственное Просвещению и современности представление о неизбежности кризиса пространства и времени в условиях отсутствия границ и контроля, потому что оно возвращало к сфере гражданской власти: только на этом и ни на каком ином основании можно оценивать пространство и время. Выбор, таким образом, делается не между правлением и разложением, Империей и распадом, а между, с одной стороны, социально укорененным и расширяющим свои границы правлением, то есть правлением «гражданским» и «демократическим», а с другой — различными практиками правления, когда власть основывается на трансценденции и подавлении. Здесь необходимо пояснить, что, когда мы, беря их в кавычки, говорим о понятиях «града» или «демократии» как об основе экспансионистской активности Республики и как о единственной возможности образования прочной Империи, мы вводим идею участия, связанного с жизненной силой населения и его спо-

способностью порождать диалектику власти и контрвласти, — идею, которая имеет мало общего с классической или характерной для современности идеей демократии. С такой точки зрения «демократическим» в какой-то степени были даже правление Чингисхана и Тамерлана, а также легионов Цезаря, армий Наполеона и армий Сталина и Эйзенхауэра, ибо все они сделали возможным участие населения, которое поддерживало их экспансионистскую деятельность. Суть всех перечисленных примеров и общей идеи Империи заключается в утверждении пространства имманентности. Имманентность определяется как отсутствие всяких внешних ограничений, задаваемых той или иной направленностью действия масс, причем в своем утверждении и разрушении имманентность связана лишь с режимами возможности, которые служат основой ее возникновения и развития.

Здесь мы возвращаемся к сути парадокса, согласно которому всякая теория Империи предполагает возможность ее упадка, но теперь мы можем приступить к его объяснению. Если Империя всегда олицетворяет безусловную позитивность, осуществление правления масс и всецело имманентный аппарат, то она оказывается незащищенной от кризиса в силу самого этого определения, а не потому, что ей противостоит какая-то иная необходимость или трансценденция. Кризис свидетельствует о существовании альтернативной возможности в плане имманенции; кризис не предопределен, но всегда возможен. Макиавелли помогает нам понять этот имманентный, конститутивный и онтологический смысл кризиса. Однако лишь в нынешней ситуации это сосуществование кризиса и поля имманентности становится полностью очевидным. Поскольку пространственное и временное измерения политической деятельности перестают быть пределами и превращаются в созидающие механизмы имперского правления, сосуществование позитивного и негативного в пространстве имманентности теперь выступает как открытая альтернатива. Сегодня одни и те же движения и тенденции служат причиной и возникновения, и распада Империи.

FINIS EUROPAE (ВИТГЕНШТЕЙН)

Сосуществование имперского духа со знаменами кризиса и упадка нашло различные выражения в европейском дискурсе последних двух столетий, зачастую принимая форму рефлексии либо на тему конца европейской гегемонии, либо — кризиса демократии и торжества массового общества. На всем протяжении этой книги мы утверждали, что в период современности правительства Европы развивали не *имперские*, а *империалистические* формы. Идея Империи, тем не менее, сохранялась в Европе, а отсутствие ее реального воплощения постоянно вызывало сожаление. Европейские споры об Империи и причинах ее упадка интересны нам

по двум основным причинам: во-первых, в центре этих споров стояла тема кризиса идеала имперской Европы, и, во-вторых, этот кризис бьет именно по тому скрытому содержанию определения Империи, которое связано с идеей демократии. Другой момент, который мы должны иметь здесь в виду, — это позиция, с какой велись споры: точка зрения, принимающая историческую драму упадка Империи с позиций опыта коллективного существования. Тема *кризиса Европы* превратилась в дискурс об упадке Империи и переплелась с темой кризиса демократии, а также с вопросами о формах сознания и сопротивления, порождаемых этим кризисом.

Алексис де Токвиль, возможно, был первым, кто представил проблему в таком ключе. Его исследование массовой демократии в Соединенных Штатах с присущим им духом инициативы и экспансии привело его к горькому и пророческому признанию невозможности для европейских элит и дальше оставаться главенствующей силой мировой цивилизации³. Уже Гегель ощущал нечто весьма похожее: «Америка есть страна будущего, в которой впоследствии... обнаружится всемирно-историческое значение; в эту страну стремятся все те, кому наскучил исторический музей старой Европы»⁴. Однако Токвиль осмыслил этот переход намного глубже. Причина кризиса европейской цивилизации и ее имперских практик заключается в том, что европейской добродетели — или ее аристократической морали, оформленной в институтах суверенитета эпохи современности — не удастся идти наравне с жизненными силами массовой демократии.

Смерть Бога, которую начали осознавать многие европейцы, в действительности была свидетельством того, что Европа утратила роль центра планеты, причем осмыслить это они могли лишь на выработанном современностью языке мистицизма. От Ницше до Буркхардта, от Томаса Манна до Макса Вебера, от Шпенглера до Хайдеггера, Ортеги-и-Гассета и многих других авторов, творивших на рубеже девятнадцатого и двадцатого веков, это прозрение стало постоянным рефреном, повторяемым с такой горечью⁵! Появление масс на социальной и политической сцене, исчерпание культурных и производственных моделей современности, угасание европейских империалистических проектов и конфликты между нациями на почве нужды, бедности и классовой борьбы — все это выступало необратимыми признаками упадка. Это была эпоха господства нигилизма, поскольку безысходным было само время. Ницше поставил окончательный диагноз: «Европа — это больной»⁶. Две мировые войны, опустошившие ее территорию, торжество фашизма и теперь, после краха сталинизма, возвращение самых ужасных призраков национализма и нетерпимости — все это служит подтверждением того, что эти догадки, в сущности, оказались верны.

На наш взгляд, единственной хорошей новостью оказывается то, что в

противовес старым европейским державам возникла новая Империя. Кому хочется и дальше видеть этот блеклый и паразитический европейский правящий класс, который последовательно переходил от *ancient regime** к национализму, от популизма к фашизму, а теперь стремится к всеобщему неолиберализму? Кому хочется и дальше видеть те идеологии и те бюрократические аппараты, которые питали и поддерживали разлагающиеся европейские элиты? И кто до сих пор может оставаться на стороне тех систем профсоюзов и тех корпораций, которые напрочь лишены всякого жизненного духа?

Наша задача здесь — не сокрушаться о кризисе Европы, скорее, она состоит в том, чтобы в ходе его исследования выявить те элементы, что, подтверждая данную тенденцию, указывали бы, однако, на возможное сопротивление, обозначали границы положительной реакции и альтернативы. Эти элементы часто возникали почти вопреки желанию теоретиков кризиса, современниками которого они были: именно сопротивление обеспечивает прыжок в будущее — реальное и должное будущее, заявившее о себе в прошедшем, своеобразное будущее, заранее явленное в прошедшем. В этом смысле, болезненное исследование причин кризиса европейской идеологии может стать обнаружением новых, открытых возможностей. Именно поэтому важно проследить, как развивался кризис Европы, поскольку обличение кризиса не только у таких авторов, как Ницше и Вебер, но также и в общественном мнении эпохи позволило увидеть чрезвычайно значимую позитивную сторону событий, содержащую в себе основополагающие особенности новой мировой Империи, становящейся сегодня реальностью. Силы, породившие кризис старого имперского мира, заложили основания новой Империи. Недифференцированная масса, которая одним своим присутствием способна была уничтожить современную традицию с ее трансцендентной властью, оказывается теперь мощной производительной силой и неисчерпаемым источником возрастания стоимости. Новая витальность, очень близкая к варварским силам, похоронившим Рим, воскрешает поле имманенции, открытое нам смертью европейского Бога. Любая теория кризиса Европейского Человека и упадка идеи европейской Империи в той или иной мере является признаком новой жизненной силы простых людей, или, как мы предпочитаем говорить, желания масс. Ницше провозглашал это с горных вершин: «Я впитал в себя дух Европы — теперь я хочу нанести ответный удар!»⁷ Преодоление современности означает преодоление барьеров и трансценденций европоцентризма и переход к решительному принятию имманентности как единственной области теории и практики политики.

После начала Первой мировой войны те, кто участвовали в великой бойне, отчаянно пытались осмыслить кризис и совладать с ним. Возьмем свидетельства Франца Розенцвейга и Вальтера Беньямина. Для них обо-

их своеобразная светская эсхатология была инструментом, позволяющим получить доступ к опыту кризиса⁸. После исторического опыта войны и страданий, а также, возможно, в смутном предчувствии Холокоста, они пытались найти надежду и свет спасения. Однако обойтись без обращения к диалектике, пусть и вопреки своим намерениям, им не удалось. Конечно, диалектика, которая проклинала диалектику, объединившую и освятившую европейские ценности, оказалась внутренне пустой и теперь целиком определялась в негативных терминах. Однако апокалиптическая картина, в которой этот мистицизм искал освобождения и спасения, также во многом предопределялась кризисом. Беньямин с горечью признавал это: «Прошлое несет в себе потайной указатель, отсылающий ее [историю] к избавлению... А если это так, то между нашим поколением и поколениями прошлого существует тайный уговор. Значит, нашего появления на земле ожидали. Значит нам, так же как и всякому предшествующему роду, сообщена слабая мессианская сила, на которую притязает прошлое. Просто так от этого притязания не отмахнуться»⁹.

Этот теоретический опыт сформировался именно там, где кризис современности проявился наиболее остро. На этой же почве другие авторы стремились порвать с остатками диалектики и ее способностью объяснения. Однако нам кажется, что даже самые глубокие мыслители того времени не способны были порвать с диалектикой и преодолеть влияние кризиса. По Максу Веберу, кризис суверенитета и легитимности может быть разрешен только посредством прихода к власти политиков, наделенных иррациональным даром харизмы. По Карлу Шмитту, диапазон суверенных практик можно прояснить, лишь обратившись к «решению». Однако иррациональная диалектика не может разрешить или даже ослабить кризис реальности¹⁰. И внушительная тень эстетизированной диалектики стоит даже за хайдеггеровским представлением о пастырской задаче в мире разрозненного и разорванного бытия.

Подлинным прояснением ситуации мы более всего обязаны французским философам, которые перечитали Ницше по прошествии нескольких десятилетий, в 1960-х годах¹¹. Их новое прочтение было связано с переориентацией позиции критики, которая произошла тогда, когда стало появляться осознание конца действенности диалектики и когда осознание это подтвердилось в новых практических и политических опытах, сосредоточенных на производстве субъективности — производстве субъективности как власти, как установления автономии, которую невозможно свести к какому-то абстрактному или трансцендентному синтезу¹². Не диалектика, но неприятие, сопротивление, насилие и позитивное утверждение бытия теперь обозначали отношения между местом кризиса в реальности и адекватным ответом на него. То, что во время кризиса 1920-х годов казалось противостоянием трансценденции и истории, спасения и разложе-

ния, а также мессианства и нигилизма, теперь стало онтологически определенной позицией, находящейся за пределами и противостоящей любым остаткам диалектики, а следовательно, находящейся по ту сторону диалектики. Это был новый материализм, который отрицал всякую трансцендентную составляющую и стал основой радикальной переориентации образа мысли.

Чтобы понять глубину этого перехода, следовало бы сосредоточить внимание на осознании и предвосхищении его в творчестве Людвиг Витгенштейна. Ранние работы Витгенштейна дали новую жизнь главным темам европейской мысли начала XX века: условия жизни в духовной пустыне и поиск смысла, сосуществование мистицизма тотальности и онтологического стремления к производству субъективности. Новейшая история с ее драмой, сначала лишенная какой бы то ни было диалектики, затем была освобождена Витгенштейном от всякой случайности. История и опыт стали тем пространством, где в отчаянной попытке обнаружить в кризисе логику субъект был материализован и заново возвращен к жизни. Во время Первой мировой войны Витгенштейн писал: «То, как все обстоит, есть Бог. Бог есть то, как все обстоит. Только из сознания *уникальности моей жизни* возникает религия — наука — и искусство». И далее: «И это сознание есть сама жизнь. Могла бы существовать этика, если бы не существовало ни одного живого существа, кроме меня? Если этика должна быть чем-то основополагающим: да! Если я прав, то для этического суждения недостаточно того, что мир дан. Тогда мир в себе не является ни добрым, ни злым... Добро и зло входят только через субъекта. А субъект не принадлежит миру, но есть граница мира». Витгенштейн разоблачает Бога войны и пустыню вещей, где отныне добро и зло неразличимы, вследствие чего мир достиг предела тавтологической субъективности: «Здесь видно, что строго проведенный солипсизм совпадает с чистым реализмом»¹³. Однако предел этот созидателен. Альтернатива в полной мере дана тогда и только тогда, когда субъект полагается вне мира: «Мои предложения служат прояснению: тот, кто поймет меня поднявшись с их помощью — по ним — над ними, в конечном счете признает, что они бес-смысленны. (Он должен, так сказать, отбросить лестницу, после того как поднимется по ней.) Ему нужно преодолеть эти предложения, тогда он правильно увидит мир»¹⁴. Витгенштейн осознает конец всякой диалектики и всякого смысла, заключенных в логике мира, а не в ее крайнем, субъективном преодолении.

Трагическая траектория этого философского опыта позволяет нам уловить те составляющие, которые сделали восприятие кризиса современности и упадка идеи Европы (отрицательным, но необходимым) условием определения грядущей Империи. Голоса этих авторов были голосами вопиющих в пустыне. Некоторые из представителей этого поколения оказались в лагерях смерти. Другие придали кризису постоянный характер посред-

ством иллюзорной веры в советскую модернизацию. Оставшиеся, большая группа этих авторов, бежали в Америку. И их голоса действительно были голосами вопиющих в пустыне, но их единичные, разрозненные догадки о существовании жизни в пустыне дают нам инструменты, позволяющие осмыслить перспективы масс в новой реальности постсовременной Империи. Эти авторы первыми определили условие полной детерриториализации грядущей Империи, причем сами они уже жили в ней так же, как массы живут в ней сегодня. Негативность, отказ от участия, обнаружение пустоты, пронизывающей все вокруг — это означает безоговорочное помещение себя в имперскую реальность, которая определяется кризисом. Империя — это пустыня, а кризис здесь неотличим от хода истории. Если в эпоху античности кризис Империи считался результатом естественной цикличности истории, а в период современности кризис очерчивался рядом апорий времени и пространства, то теперь образы кризиса и практики Империи стали неотличимыми друг от друга. Однако теоретики кризиса XX века учат нас, что в этом лишенном территориального и временного измерения пространстве, где создается новая Империя, и в этой пустыне смысла открытое признание кризиса может привести к осуществлению сингулярного и коллективного субъекта, к власти масс. Массы освоились с отсутствием пространства и точно установленного времени; они мобильны и гибки, и они воспринимают будущее только как множество возможностей, простирающихся во всех направлениях. Грядущая имперская вселенная, слепая к смыслу, исполнена многогранной тотальностью производства субъективности. Упадок перестал быть грядущей судьбой, а превратился в сегодняшнюю реальность Империи.

АМЕРИКА, АМЕРИКА

Бегство европейских интеллектуалов в Соединенные Штаты было попыткой вновь обрести утраченное пространство. Разве американская демократия по сути своей не основывалась на демократии «исхода», переселения, на позитивных и недиалектических ценностях, на плюрализме и свободе? Разве эти ценности наряду с представлением о фронтире, о новых рубежах не обеспечивали вновь и вновь расширение их демократической основы, преодолевавшее все абстрактные ограничения нации, этничности и религии? Иногда эта мелодия исполнялась на высоких нотах в виде проекта «*Rax Americana*», провозглашенного либеральными лидерами, иногда — на низких, будучи облаченной в форму американской мечты о социальной мобильности и равных возможностях достижения богатства и свободы для всякого честного человека, короче говоря, в форму «американского образа жизни». Проект «Нового курса», направленный на преодоление мирового кризиса 1930-х годов, который столь сильно отличался от европей-

ских политических и культурных проектов ответа на кризис и был, в сравнении с ними, куда более либеральным, укрепил это преставление об американском идеале. Когда Ханна Арендт ставила американскую революцию выше французской, поскольку первая воплощала неограниченное стремление к политической свободе, а вторая была ограниченной по своим целям борьбой лишь с нуждой и неравенством, она прославляла не только идеал свободы, неизвестный более европейцам, но и его ретерриториализацию в Соединенных Штатах¹⁵. В каком-то смысле, складывалось впечатление, будто преемственность, существовавшая между американской историей и историей Европы, была прервана, а Соединенные Штаты взяли иной курс, но на самом деле Соединенные Штаты олицетворяли для этих европейцев возрождение идеи свободы, которую Европа утратила.

С точки зрения находившейся в состоянии кризиса Европы Соединенные Штаты, «Империя свободы» Джефферсона, олицетворяли возрождение имперской идеи. Ведущие американские авторы девятнадцатого века воспевали эпические масштабы свободы нового континента. Натурализм Уитмена стал ее утверждением, а реализм Мелвилла — ее желанием. Американское пространство было территориализовано во имя установления свободы и в то же самое время постоянно детерриториализовалось благодаря переносу границ и переселению. Ведущие американские философы, от Эмерсона до Уайтхеда и Пирса, сделали гегельянство (или на самом деле апологию империалистической Европы) открытым для духовных течений процесса, который был новым и необъятным, определенным и безграничным¹⁶.

Переживавших кризис европейцев пленили эти песни сирен о новой Империи. И европейский американизм, и антиамериканизм в двадцатом веке служат проявлением сложной взаимосвязи между кризисом в Европе и американским имперским проектом. Американская утопия воспринималась по-разному, но она играла роль важнейшего ориентира на всем протяжении европейской истории двадцатого века. Постоянная устремленность взоров к Америке проявлялась как в унынии кризиса, так и в боевом духе авангарда, иными словами, в самоуничтожении современности и неопределенном, но неудержимом стремлении к новизне, которое направляло последнюю волну великих культурных движений Европы — от экспрессионизма и футуризма до кубизма и абстракционизма.

Военная история спасения Европы американскими армиями в двух мировых войнах разворачивалась одновременно с историей спасения европейской политики и культуры. В результате ряда операций в сфере культуры и идеологии американская гегемония в Европе, основывавшаяся на финансовых, экономических и военных структурах, стала казаться естественной. Рассмотрим, например, как перед окончанием Второй мировой войны локус художественного производства и сама идея современного ис-

куста переместилась из Парижа в Нью-Йорк. Серж Жильбо приводит замечательную историю о том, что, когда война и нацистская оккупация повергли парижскую художественную сцену в состояние смятения, в самый разгар идеологической кампании в поддержку ведущей роли Соединенных Штатов в послевоенном мире, абстрактный экспрессионизм таких нью-йоркских художников, как Джексон Поллок и Роберт Мазервелл, был признан естественным продолжением и следующим шагом европейского и особенно парижского модернизма. Нью-Йорк присвоил себе идею современного искусства:

Таким образом, американское искусство изображалось логической кульминацией давнего и непрестанного стремления к абстракции. Как только американская культура была возведена в ранг образца для всего мира, значение того, что было специфически американским, должно было измениться: то, что было характерно для американской культуры, стало теперь олицетворением «западной культуры» в целом. Так американское искусство превратилось из регионального в мировое, а затем и в общечеловеческое искусство... В этом отношении послевоенная американская культура заняла то же положение, что и американская экономическая и военная мощь: на нее была возложена ответственность за сохранение демократических свобод в «свободном» мире¹⁷.

История перемещения центра художественного производства и, что еще более важно, художественной критики является всего лишь одной из сторон сложной идеологической операции, которая сделала американскую глобальную гегемонию естественным и неизбежным следствием кризиса Европы.

Как ни парадоксально, даже проявления самого яростного национализма в европейских странах, приведшие к столь ожесточенным конфликтам в первой половине столетия, в конечном итоге сменились соперничеством за то, кому лучше всего удастся выразить крайний американизм. В сущности, во времена Ленина Советский Союз, возможно, расслышал песнь сирены американизма наиболее отчетливо. Задача заключалась в том, чтобы повторить наиболее впечатляющие успехи капитализма, достигнутые Соединенными Штатами. Советы отвергали средства, используемые Соединенными Штатами, и утверждали, что социализм мог бы достичь тех же результатов более коротким и быстрым путем — тяжелым трудом и принесением в жертву свободы. Эта роковая двусмысленность пронизывает и заметки Грамши об американизме и фордизме, один из наиболее важных текстов для понимания проблемы Америки с европейской точки зрения¹⁸. Грамши считал, что Соединенные Штаты с характерным для них сочетанием новых форм тейлористской организации труда и могущества капиталистов неминуемо установят свое господство, став ориен-

тиром будущего, и это единственно возможный путь развития. Согласно Грамши, вопрос состоит в том, будет ли революция активной (по образцу революции в Советской России) или примет пассивные формы (как в фашистской Италии). Созвучие американизма и государственного социализма должно бы быть очевидным, проявляясь в параллелизме их путей развития по обе стороны Атлантики на всем протяжении «холодной войны», что в конечном итоге привело к опасному соперничеству в сфере освоения космоса и гонке ядерных вооружений. Эта параллельность путей развития всего лишь подчеркивает то, что в определенной мере американизм проник в самое сердце даже своего наиболее могущественного противника. Развитие России в двадцатом веке в какой-то степени было микрокосмом развития Европы.

Неспособность европейского самосознания признать собственный упадок часто принимала форму проецирования его кризиса на американскую утопию. Такая проекция продолжалась до тех пор, пока сохранялась настоятельная потребность и необходимость повторного открытия пространства свободы, способного продлить телеологическое видение, высшим выражением которого служит, наверное, гегельянский историцизм. Парадоксы этой проекции множились до тех пор, пока европейское самосознание не столкнулось лицом к лицу со своим явным и необратимым упадком и не обратилось в ответ к другой крайности: важнейший участок соперничества, где подтверждалось и раз за разом усиливалось формальное влияние американской утопии, теперь способствовал обнаружению ее полной несостоятельности. Россия Солженицына стала абсолютным негативом наиболее карикатурных и апологетических образов американской утопии в духе Арнольда Тойнби. Не стоит удивляться, что идеологии конца истории, которые в равной степени являются эволюционными и постмодернистскими, возникают именно для того, чтобы положить конец всей этой идеологической путаницы. Американская Империя положит конец Истории.

Однако мы знаем, что эта идея Американской Империи как спасения утопии всецело иллюзорна. Прежде всего, грядущая Империя не является американской, а Соединенные Штаты — ее центром. Основополагающий принцип Империи, как мы описывали его на протяжении всей этой книги, заключается в том, что ее власть не имеет никакой реальной и локализуемой территории или центра. Имперская власть распределена в сетях посредством мобильных и взаимосвязанных механизмов контроля. Сказанное не означает, что правительство США и территория США ничем не отличаются от правительства и территории любой другой страны: Соединенные Штаты, безусловно, занимают привилегированное положение в глобальных сегментациях и иерархиях Империи. Однако поскольку власть и границы национальных государств приходят в упадок, различия

между национальными территориями становятся все более относительными. Ныне эти различия являются не качественными (каковыми были, например, различия между территорией метрополии и территорией колонии), а количественными.

Кроме того, Соединенные Штаты не в состоянии сгладить или предотвратить кризис и упадок Империи. Соединенные Штаты — это не то место, куда европеец или, что одно и то же, субъект современности мог бы бежать, чтобы избавиться от своей тревоги и не чувствовать себя несчастным; такого места не существует. Средством выхода из кризиса является онтологическая смена субъекта. Следовательно, наиболее важный сдвиг происходит в самом человечестве, ибо с окончанием современности также наступает конец надежды обнаружить то, что могло бы определять личность как таковую, вне сообщества, вне отношений кооперации, вне необходимых и противоречивых отношений, с которыми сталкивается человек в а-локальности, то есть в мире и в массах. Здесь и возникает вновь идея Империи, не как территории, не как образования, существующего в ясно очерченных, определенных масштабах времени и места, где есть народ и его история, а скорее как ткани онтологического измерения человека, тяготеющего к тому, чтобы стать универсальным.

КРИЗИС

Становление постсовременности и переход к Империи связаны с процессом реальной конвергенции сфер, которые обычно называют базисом и надстройкой. Империя оформляется, когда язык и коммуникация или, в действительности, аматериальный труд и кооперация становятся ведущей производительной силой (см. Раздел 3-4). Начинает работать надстройка, а вселенная, в которой мы живем, становится вселенной производственных языковых сетей. Линии производства и репрезентации пересекаются и переплетаются в одной и той же языковой и производственной области. В этом контексте различия, которые определяют основные категории политической экономики, начинают стираться. Производство становится неотличимым от воспроизводства; производительные силы сливаются с производственными отношениями; постоянный капитал все чаще образуется и олицетворяется переменным капиталом: умами, телами и кооперацией производящих субъектов. Социальные субъекты — это одновременно производители и продукты этой единой машины. Таким образом, в этой новой исторической формации невозможно больше выделить знак, субъекта, стоимость или практику, которые были бы «внешними» по отношению к ней.

Однако образование этой тотальности не отменяет эксплуатацию. Скорее, оно дает ей новое определение, прежде всего по отношению к ком-

муникации и кооперации. Эксплуатация — это экспроприация кооперации и уничтожение значений лингвистического производства. Следовательно, в самой Империи постепенно возникает сопротивление принуждению. Сопротивление эксплуатации проявляется во всех глобальных сетях производства и обуславливает кризисы всех их узловых центров. Кризис разворачивается одновременно с постсовременной тотальностью капиталистического производства; он свойственен имперскому контролю. В этом отношении закат и падение Империи определяются не как диахроническое развитие, смена одного состояния другим, а как синхроническая реальность. Кризис пронизывает каждый момент развития и перестройки этой тотальности.

С реальным подчинением общества капиталу социальные антагонизмы могут проявить себя посредством конфликта в любую минуту и на каждом этапе коммуникативного производства и обмена. Капитал поистине стал всем миром. Потребительная стоимость и все остальные отсылки к стоимости и процессам ее возрастания, казавшиеся внешними по отношению к капиталистическому способу производства, постепенно исчезли. Субъективность полностью слилась с обменом и языком, но это вовсе не означает, что теперь она лишена конфликтного потенциала. Технологическое развитие, основанное на генерализации коммуникативных производственных отношений, является движущей силой кризиса, а производительный всеобщий интеллект — пристанищем антагонизмов. Кризис и упадок связаны не с чем-то внешним по отношению к Империи, но с самой ее сутью. Они относятся к самому производству субъективности, и таким образом, они одновременно свойственны процессам воспроизводства Империи и им же противостоят. Кризис и упадок — это не скрытая от глаз основа Империи, не грозное будущее, но ясная и очевидная реальность, всегда ожидаемое событие, постоянно присутствующая латентность.

Это полночь в ночи призраков. И вновь воцарившаяся Империя, и массы, обладающие новыми созидательными способностями, основанными на интеллекте и кооперации, движутся в потемках, и ничто не может осветить нашу дальнейшую судьбу. Тем не менее, у нас появился новый ориентир (а завтра, возможно, появится и новое самосознание), который заключается в том, что Империя определяется кризисом, что ее упадок уже идет, и он идет постоянно, и что, следовательно, потенциал конфликта реализуется в определенном событии и сингулярности. Что означает на практике то обстоятельство, что кризис имманентен Империи и не отличим от нее? Можно ли в этой ночной тьме строить содержательные теории, обладающие прогностической силой и применять к текущим событиям какие-либо определения?

ПОРОЖДЕНИЕ

Два основных препятствия мешают нам сразу ответить на эти вопросы. Первое представлено властной мощью буржуазной метафизики и, в особенности, широко распространенной иллюзией, что капиталистический рынок и капиталистический способ производства вечны и несокрушимы. Своеобразная естественность капитализма — это чистой воды мистификация, и нам необходимо немедленно избавиться от этого заблуждения. Второе препятствие представлено множеством теорий, авторы которых не видят никакой альтернативы существующей форме правления, кроме беспросветной анархии, и тем самым впадают в мистицизм конца истории. Согласно мнению такой идеологии, боль существования невозможно артикулировать, осознать и обратить в протест. Эта теоретическая позиция выливается лишь в цинизм и квиетистскую рутину. Иллюзия естественности капитализма и радикализм идеи конца истории в действительности дополняют друг друга. Их взаимосвязь проявляется в опустошающем бессилии. Суть в том, что ни одной из этих позиций (ни апологетической, ни мистической) не удастся ухватить важнейшую сторону биополитического порядка — его производительную способность. Они не в состоянии понять реальную силу масс, которая постоянно становится возможной и действительной. Иными словами, они упускают из вида основополагающую производительную способность бытия.

Мы можем ответить на вопрос о том, как выйти из кризиса, лишь спустившись на уровень биополитической виртуальности, дополненной сингулярными и созидательными процессами производства субъективности. Однако как же возможны прорыв и появление нового в том плоском, абсолютно замкнутом мире, куда мы погружены, в мире, где ценности кажутся уничтоженными пустотой смысла и отсутствием какой-либо точки отсчета? Здесь нам следует избегать как возвращения к описанию желания и его онтологической избыточности, так и утверждения измерения «по ту сторону». Достаточно отметить порождающее измерение желания и, следовательно, его продуктивность. В действительности, полное смешение политического, социального и экономического в устройстве настоящего обнаруживает биополитическое пространство, которое (намного лучше ностальгической утопии политического пространства у Ханны Арендт) объясняет способность желания противостоять кризису¹⁹. Следовательно, полностью изменяется весь концептуальный горизонт. Биополитическое, рассматриваемое с точки зрения желания, есть не что иное, как конкретное производство, человеческая общность в действии. Желание оказывается здесь производительным пространством, реальностью человеческой кооперации в построении истории. Это производство является в чистом виде воспроизводством человека, способностью порождения. Желательное

производство есть порождение или, скорее, избыток труда и накопление силы, включенное в коллективное движение сингулярных сущностей, его причина и его завершение.

Когда наш анализ не выходит за горизонт биополитического мира, где социальное, экономическое и политическое производство и воспроизводство совпадают, онтологическая и антропологическая перспективы начинают все больше совмещаться друг с другом. Империя притягивает на то, чтобы быть хозяином этого мира, потому что она в состоянии его уничтожить. Какое ужасное заблуждение! В действительности, мы — хозяева мира, потому что наше желание и труд непрерывно его обновляют и возрождают. Биополитический мир — это неисчерпаемое сочетание порождающих действий, движущей силой которых является коллективное (как место пересечения сингулярностей). Никакая метафизика, за исключением совершенно бредовых теорий, не может претендовать на описание человечества как разобщенного и бессильного. Никакая онтология, за исключением трансцендентной, не может сводить человечество к отдельным личностям. Никакая антропология, за исключением патологической, не может определять человечество как негативную силу. Порождение, первичный факт метафизики, онтологии и антропологии, представляет собой коллективный механизм и аппарат желания. Биополитическое становление прославляет это «первичное» измерение в абсолютных терминах.

Эта новая действительность подталкивает к коренному пересмотру политической теории. Например, в биополитическом обществе нельзя полагаться на страх как на единственную движущую силу заключения общественного договора, как полагал Томас Гоббс, отрицая тем самым любовь масс. Точнее, в биополитическом обществе решение суверена никогда не может противоречить желанию масс. Если бы основополагающие для периода современности стратегии суверенитета и соответствующие им силы противодействия находили бы выражение сегодня, мир остановился бы в своем развитии, потому что исчезла бы сама возможность порождения. Ибо для порождения необходимо, чтобы политическое уступило место любви и желанию, то есть важнейшим силам биополитического производства. Политическое — это не то, чему учит нас циничный макиавеллизм политиканов; скорее, оно, как говорит нам демократический Макиавелли, представляет собой власть порождения, желания и любви. Политическая теория должна переориентироваться в соответствии с этой логикой и усвоить язык порождения.

Порождение — это *основа (primum)* биополитического мира Империи. Чтобы существовать, основа — этот замкнутый мир гибридизации естественного и искусственного, потребностей и машин, желания и коллективной организации экономического и социального — должна постоянно самовозобновляться. Порождение — это, прежде всего, базис и движущая

!!
{
'

1

№ ;| I

!P. '
}| ,
\U
?

сила производства и воспроизводства. Порождающая связь наполняет смыслом коммуникацию, и всякая модель (повседневной, философской или политической) коммуникации, которая не признает это главенство порождающей связи, является ошибочной. Социальные и политические отношения Империи соответствуют этому этапу развития производства и позволяют объяснить порождающую и производящую биосферу. Мы, таким образом, достигли предела виртуальности реального подчинения производящего общества капиталу, но именно на этом пределе возможность порождения и коллективная сила желания раскрываются в полной мере.

РАЗЛОЖЕНИЕ

Порождению противостоит разложение. Не будучи необходимым дополнением порождения, как того хотелось бы разнообразным течениям платонизма в философии, разложение представляет собой простое его отрицание¹⁰. Разложение разрывает цепь желания и препятствует его распространению на биополитический горизонт производства. Оно создает черные дыры и онтологический вакуум в жизни масс, которые не удается скрыть даже самой изощренной политической науке. Разложение, в отличие от желания, является не движущей онтологической силой, а простой нехваткой онтологического основания биополитических практик бытия.

Разложение присутствует в Империи всюду. Она являет собой краеугольный камень господства. В различных формах оно свойственно высшим органам управления Империи и подчиненным им администрациям, самым отборным и самым прогневшим правительственным полицейским частям, лобби правящих классов, мафиям влиятельных социальных групп, церквям и сектам, преступникам и скандалистам, крупным финансовым конгломератам и повседневным экономическим сделкам. Распространяя разложение, имперская власть покрывает дымовой завесой весь мир, и власть над массами осуществляется в этом омерзительном облаке, в отсутствие света и истины.

Нет ничего удивительного в том, что мы сами воочию видим разложение и узнаем зияющую пустоту пелены безразличия, которую имперская власть расстилает над миром. В сущности, способность видеть разложение — это, если воспользоваться высказыванием Декарта, «la faculte la mieux partagee du monde», самая распространенная способность в мире. Разложение легко ощутить, потому что оно проявляется непосредственно как форма насилия, как оскорбление. И оно действительно является оскорблением: в сущности, разложение — это знак невозможности соединения власти и ценности, а его осуждение, таким образом, оказывается непосредственным, основанным на интуиции осознанием нехватки бытия.

Разложение — это препятствие, не позволяющее телу и разуму осуществить то, на что они способны. Поскольку знание и существование в биополитическом мире всегда заключаются в производстве стоимости, эта нехватка бытия оказывается раной, стремлением общества к смерти, отделением бытия от мира.

Формы, в которых проявляется разложение, столь многообразны, что всякая попытка их перечисления напоминает попытку вычерпать море чайной ложкой. И все же приведем несколько примеров, хотя, конечно, формы разложения ни в коей мере ими не ограничиваются. Во-первых, существует разложение как индивидуальный выбор, противостоящий и опирающийся основополагающую общность и солидарность, определяемую биополитическим производством. Это малое повседневное насилие суть разложение, придающее власти мафиозные черты. Во-вторых, существует разложение производственного строя или эксплуатация в собственном смысле. Она включает то обстоятельство, что стоимость, создаваемая совместным трудом, экспроприируется, и то, что *ab origine* в биополитическом производстве было общественным, приватизируется. Капитализм неотделим от разложения в форме приватизации. Как говорит Блаженный Августин, создание великих царств — то же самое воровство, только очень крупное. Однако и Августин Гиппонский, столь трезвый в этом пессимистическом представлении о власти, онемел бы сегодня от изумления при виде масштабов воровства, осуществляемого финансовой властью. Действительно, когда капитализм утрачивает свою связь со стоимостью (и как с мерой эксплуатации человека, и как с нормой прогресса всего общества), он тотчас же оборачивается разложением. Все более абстрактные последствия его функционирования (от накопления прибавочной стоимости до валютных и финансовых спекуляций) оказываются неодолимым движением к всеобщему разложению. Если капитализм по определению представляет собой систему разложения, спланируемую, тем не менее, как в басне Мандевиля, тем, что ее персонажи по отдельности плохи, но система в целом хороша, и оправдываемую, соответственно, всеми правыми и левыми идеологами вследствие ее прогрессивной роли, то в случае, когда мера теряется, а прогресса как цели больше не существует, от капитализма не остается ничего, кроме разложения. В-третьих, разложение проявляется в функционировании идеологии или, точнее, в искажении смыслов языковой коммуникации. Здесь разложение затрагивает сферу биополитики, поражая ее производственные узлы и препятствуя ее процессам порождения. Это разрушение проявляется, в-четвертых, когда в практиках имперского правления угроза террора становится орудием решения ограниченных или региональных конфликтов и аппаратом имперского развития. Имперское господство в этом случае меняет свой облик и может попеременно проявляться то как разложение, то как разрушение, словно показы-

вая их глубокою взаимозависимостью. Вместе они танцуют над пропастью, над зияющей в Империи пропастью небытия.

Такие примеры можно было бы множить до бесконечности, но в основе всех этих форм разложения лежит операция онтологического устранения, которая определяется и осуществляется в форме разрушения сингулярной сущности масс. Массы должны быть едиными или распасться на разрозненные частицы: так массы могут подвергнуться разложению. Именно поэтому от представлений о разложении, свойственных античности и периоду современности, невозможно сразу же перейти к представлениям постсовременным. В то время как в античности и в период современности разложение определялось посредством теоретических схем и/или отношений ценности и выражалось мерой отступления от нормы, так что подчас оно могло играть определенную роль при смене форм правления и восстановлении ценностей, то сегодня, напротив, разложение не может играть никакой роли в преобразовании форм правления, так как оно само есть сущность и тотальность Империи. Разложение — это чистое исполнение власти в отсутствие сколько-нибудь пропорциональной или адекватной связи с миром жизни. Разложение — это господство, направленное на разрушение сингулярности масс посредством их принудительной унификации и/или безжалостной сегментации. Именно поэтому Империя неминуемо клонится к упадку в самый момент ее возникновения.

Этот негативный образ господства над продуктивной биовластью оказывается еще более парадоксальным при рассмотрении его с точки зрения телесности. Биополитическое порождение полностью преобразовывает тела масс. Ими, как мы знаем, являются тела, ставшие более совершенными благодаря кооперации и интеллектуальной мощи, тела, которые уже приобрели черты гибридности. Следовательно, в эпоху постсовременности порождение дает нам тела «по ту сторону меры». В этом контексте разложение оказывается простой болезнью, расстройством и увечьем. Именно так власть всегда действовала против более совершенных тел. Разложение также оказывается душевным расстройством, наркотиком, тоской и скукой, но это всегда было неотъемлемой частью современности и дисциплинарных обществ. Своеобразие сегодняшнего разложения заключается в том, что вместо разрыва общности сингулярных тел и воспрепятствования ее деятельности имеет место разрыв производительной биополитической общности и воспрепятствование ее жизни. Здесь мы, таким образом, сталкиваемся с парадоксом. Империя осознает и извлекает выгоду из того обстоятельства, что в кооперации и общности тела производят и получают больше, но она должна помешать этой автономии кооперации и установить над ней контроль, чтобы не быть уничтоженной ею. Разложение направлено на то, чтобы помешать этому движению тел «по ту сторону меры», этой сингулярной универсализации новой мощи тел, угрожающей самому существ-

вованию Империи. Парадокс неразрешим: чем богаче становится мир, тем больше Империя, основывающаяся на этом богатстве, вынуждена отрицать условия производства богатства. Наша задача заключается в том, чтобы выяснить, каким образом разложение в конечном итоге можно вынудить уступить свою власть порождению.

!

!

4.3 МАССЫ ПРОТИВ ИМПЕРИИ

Широким массам необходима материальная религия чувств [eine sinnliche Religion]. Однако не только им, она также необходима и философу. Монотеизм рассудка и сердца, политеизм воображения и творчества, вот что нам нужно... У нас должна быть новая мифология, но она должна быть поставлена на службу идеям. Это должна быть мифология разума.

Das älteste Systemprogramm des deutschen Idealismus, Гегель, Гельдерлин, Шеллинг

Мы не испытываем недостатка в коммуникации. Напротив, у нас ее слишком много. Нам не хватает творчества. Нам не хватает сопротивления настоящему.

Жиль Делез и Феликс Гваттари

Имперская власть больше не может разрешать конфликт между общественными силами путем опосредования, смещения конфликта в иную плоскость. Социальные конфликты, формирующие политическое, противостоят друг другу напрямую, без каких бы то ни было посредников. В этом состоит сущностная новизна ситуации, сложившейся с формированием Империи. Империя создает больший потенциал для революции, нежели системы власти эпохи современности, поскольку предлагает нам (наряду с машиной господства) альтернативу: весь мир эксплуатируемых и поработанных, массы, открыто, безо всяких посредников противостоящие Империи. На данном этапе наша задача, как говорит Августин, — понять, насколько это в наших силах, «...начало, распространение и предначертанный конец обоих Градов... о которых я сказал, что они... некоторым образом переплетены, и друг с другом смешаны»¹. Теперь, после того, как мы уделили столь пристальное внимание Империи, нам нужно сосредоточиться непосредственно на массах и на их потенциальной политической власти.

ДВА ГРАДА

Наши исследовательские усилия следует, прежде всего, посвятить вопросу о том, как массы могут стать *политическим субъектом* в условиях Империи. Мы, конечно, можем признать существование масс в качестве элемен-

та устройства Империи, однако под данным углом зрения они способны предстать в своем существовании как порожденные имперской властью и зависимые от нее. В новой, постсовременной Империи нет императора Каракаллы, дарующего гражданство всем своим подданным и тем самым формирующего массы как эксплуатируемых и порабощенных производителей более отчетливо прослеживается в истории революций XX века. В период от коммунистических революций 1917 и 1949 годов, великой битвы с фашизмом в 30-е и 40-е гг. XX века до различных освободительных движений 60-х и вплоть до 1989 года возникли, получили широкое распространение и укрепились условия получения массами гражданства. Отнюдь не потерпевшие поражения революции XX века способствовали развитию и изменению условий протекания классового конфликта, создавая основы новой политической субъектности, — мятежных масс, противостоящих имперской власти. Тот ритм, который задали революционные движения — это ритм новой *aetas*, новой полноты времен и их перехода в новое качество.

Формирование Империи есть не причина, а следствие возвышения этих новых сил. Поэтому не стоит удивляться тому, что Империя, несмотря на все свои усилия, оказывается неспособной к созданию правовой системы, адекватной новой реальности глобализации общественных и экономических отношений. Эта неспособность (послужившая отправным пунктом для нашего рассуждения в Разделе i.i) вызвана вовсе не предельным расширением сферы регулирования, не является она и простым результатом трудностей перехода от прежней системы международного публично-права к новой имперской системе. Нет, эта неспособность объясняется революционной природой масс, чья борьба и создала Империю в качестве собственного перевернутого образа. Теперь, на этой новой сцене, они представляют собой неудержимую силу и создают избыток стоимости по отношению ко всем формам законности и права.

Для подтверждения этой гипотезы достаточно лишь взглянуть на нынешний уровень развития масс и обратить внимание на то, с какой силой они себя выражают, каков уровень их витальности. В процессе труда массы самостоятельно производят и воспроизводят жизненный мир в целом. Самостоятельность производства и воспроизводства означает построение новой онтологической реальности. По сути, работая, массы производят себя как сингулярность. Это сингулярность, которая утверждает новую локальность в а-локальности Империи, эта сингулярность, являющаяся реальностью, произведенной кооперацией, представленной языковой общностью и развитой процессами гибридизации. Массы утверждают свою сингулярность, опрокидывая идеологическую иллюзию, будто на глобальных поверхностях мирового рынка все люди взаимозаменяемы. Ставя идеологию рынка с головы на ноги, массы своим трудом двигают вперед

биополитическую сингуляризацию человеческих групп и множеств в каждой точке глобального взаимодействия.

Классовая борьба и революционные процессы прошлого подорвали политические силы народов и наций. Революционное вступление, писавшееся с XIX по XX столетие, подготовило новую структуру субъектов труда, которой сегодня настало время претвориться в жизнь. Кооперация и коммуникация в различных сферах биополитического производства определяют новую продуктивную сингулярность. Массы — это не произвольное собрание и смешение народов, это — сингулярная власть *нового града*.

Здесь можно вполне обоснованно возразить, что всего перечисленного недостаточно для того, чтобы массы утвердились в качестве действительного политического субъекта или субъекта, способного контролировать собственную судьбу. Однако это возражение можно опровергнуть, поскольку революционное прошлое и нынешние возможности производственной кооперации, постоянно изменяющие антропологические характеристики масс, не могут не выявить свой собственный телос, материальное подтверждение освобождения. В античном мире с похожей ситуацией столкнулся Плотин:

Вернее было бы, если бы кто-либо возвестил: «Бежим в дорогое отечество!» ... Отечество же наше там, откуда мы пришли, и Отец наш там. Итак, каков же путь, каково бегство? Не ногами нужно совершать его, ибо ноги всюду переносят нас лишь с одной земли на другую, и не нужно готовить повозку с лошадьми или корабль, но следует оставить все это и, закрыв глаза, отринуть телесное зрение и пробудить зрение духовное, которое имеется у всех, но пользуются которым немногие².

Так представляли себе новый телос древние мистики. Однако сегодня массы пребывают на поверхностях Империи, где нет ни Бога-Отца, ни трансценденции, а есть лишь наш имманентный труд. Телеология масс является теургической; она заключена в возможности направить технологии и производство на удовлетворение их собственных желаний и на увеличение их власти. Массам нет необходимости искать за пределами их собственной истории и производительной силы средства, необходимые для того, чтобы стать политическим субъектом.

Таким образом, начинает формироваться материальная мифология разума, она создается языками, технологиями и всеми средствами, составляющими жизненный мир. Это — материальная религия чувств, освобождающая массы от всяких остатков суверенной власти и от «длинной руки» Империи в любых ее проявлениях. Мифология разума — это символическая и образная артикуляция, позволяющая онтологии масс найти свое выражение в деятельности и в сознании. Мифология языков масс раскрывает телос *града Земного*, оторванного силой собственной участи от вся-

кой принадлежности и подчинения *граду Божьему*, потерявшему всю свою славу и законность. Метафизическим трансцендентным посредникам, насилию и разложению, противостоит тем самым абсолютная конституция труда и кооперации, град Земной масс.

БЕСКОНЕЧНЫЕ ПУТИ (ПРАВО НА ГЛОБАЛЬНОЕ ГРАЖДАНСТВО)

Процесс формирования масс первоначально предстает как пространственное движение, конституирующее их в безграничном пространстве. Возможность перемещения товаров и, следовательно, такого особого товара, как рабочая сила, рассматривалась капитализмом с самого момента его зарождения в качестве важнейшего условия накопления. Однако те виды движения индивидов, групп и населения, которые мы обнаруживаем сегодня в Империи, не могут быть полностью подчинены законам капиталистического накопления, ибо они избыточны, постоянно переливаются через край и разрушают границы меры. Передвижения масс расширяют границы пространства, а их перемещения создают новые места обитания. Самостоятельно выбранные направления движения — вот что определяет надлежащее местонахождение масс. Паспорта и прочие официальные документы во все меньшей степени смогут регулировать наши перемещения через границы. Массы создают новую географию по мере того, как производительные потоки тел определяют новые реки и порты. Города земли станут однажды огромными вместительными кооперирующего человечества и локомотивами циркуляции, временными пристанищами и сетями массового размещения активного, преисполненного жизни человечества.

Посредством циркуляции массы заново присваивают пространство, конституируя себя в качестве субъекта действия. Если мы пристальнее взглянем в то, как протекает процесс формирования субъективности, то заметим, что эти новые пространства характеризуются необычными топологиями, неограниченно далеко простирающимися в подземном слое ризомами, корневищами — географическими мифологиями, размечающими новые тропы судьбы. Эти перемещения нередко стоят ужасных страданий, но вместе с тем в них присутствует желание освобождения, не удовлетворяемое иначе, кроме как присвоением новых пространств, где рождается новая свобода. Повсюду, куда приходят эти новые движения, формируя на своем пути новые формы жизни и кооперации, — повсюду они создают то богатство, которое паразитический постсовременный капитализм иначе просто не знал бы, как высосать из крови пролетариата. Можно ли представить себе сельское хозяйство и сферу услуг Соединенных Штатов без труда мексиканских мигрантов или арабскую нефть без палестинцев и пакистанцев? Более того, где был бы огромный передовой сектор ама-

териального производства от дизайна и моды до электроники и науки в Европе, США и Азии без «нелегального труда» огромного множества людей, стремящихся к сияющим горизонтам капиталистического богатства и свободы? Массовая миграция стала необходимой для производства. Все дороги проложены, нанесены на карту и пройдены. Кажется, что чем интенсивнее движение по каждой из них, и чем труднее оно дается, тем более производительными они становятся. Эти пути выводят «град Земной» из тьмы и растерянности, в которые ввергает его Империя. Так массы обретают власть для утверждения своей автономии, передвигаясь и выражая себя посредством аппарата возвращения себе пространства, его широкого освоения и утверждения свободы перемещения.

Признание потенциальной автономии перемещающихся масс, тем не менее, всего лишь указывает на суть вопроса. Что нам нужно понять, так это то, каким образом массы организуются и заново определяют себя в качестве позитивной политической силы. Вплоть до этого момента мы могли описывать потенциальное существование этой политической силы лишь в формальных терминах. Было бы ошибкой остановиться на этом и не продолжить исследование зрелых форм сознания и политической организации масс, не признавая их мощи, скрытой в территориальных перемещениях рабочей силы Империи. Как же мы можем признать (и раскрыть) конститутивную политическую тенденцию внутри и по ту сторону спонтанности перемещений масс?

Для начала можно подойти к данному вопросу с другой стороны: с рассмотрения полицейской системы Империи, сдерживающей эти движения. По правде говоря, Империя не знает, как контролировать эти пути, и она может лишь попытаться обвинять в противозаконных действиях тех, кто ими следует, даже тогда, когда эти перемещения необходимы для капиталистического производства. Так, ведущие из Южной Америки в Северную Африку и сопредельных с Сахарой территорий европейские лидеры называют «дорогами терроризма», или еще: население, вынужденное пересекать Индийский океан, попадает в рабство в «Arabia felix»¹ — перечень можно продолжать, тем не менее, потоки населения не убывают. Империя должна ограничить и изолировать пространственные перемещения масс, чтобы они не смогли обрести политическую легитимность. С этой точки зрения особенно важно, что Империя использует свою власть, чтобы управлять различными силами национализма и фундаментализма и направлять их в нужное русло (см. разделы 2.2 и 2.4). Не менее важно и то, что Империя использует свою военную и полицейскую мощь для приведения к порядку непокорных и бунтовщиков². Однако эти имперские практики сами по себе не снимают политического напряжения, присущего спонтанному пе-

ремещению масс. *Все эти репрессивные действия остаются в существенной мере внешними по отношению к массам и их перемещениям.* Империя способна лишь разделять, обособлять и изолировать. Имперский капитал и в самом деле с неутомимым упорством выступает против перемещений масс он патрулирует моря и границы; в каждой стране он разделяет и обособляет; а в мире труда он усиливает расколы и разграничения по признаку расы, пола, языка, культуры и т. п. Но даже и тут ему приходится проявлять осмотрительность, чтобы не слишком ограничить производительные способности масс, поскольку Империя чрезвычайно от них зависима. Существующие в мире преграды, мешающие перемещениям масс, должны быть устранены, а попытки сдерживать движение масс оказываются парадоксальным, инвертированным проявлением их силы.

Это возвращает нас к нашим важнейшим вопросам: как действия масс могут стать политическими? Как могут массы организовать и направить свои силы против подавления и беспрестанной территориальной сегментации со стороны Империи? Единственный ответ, который мы можем дать, — действие масс становится политическим прежде всего в том случае, когда оно непосредственно и осознанно направлено против ключевых репрессивных операций Империи. Это вопрос распознавания возможных действий и сопротивления им, чтобы не позволить Империи устанавливать свой порядок снова и снова; это вопрос пересечения и разрушения барьеров и разделительных линий, навязанных новой коллективной рабочей силе; это вопрос собирания воедино опыта сопротивления, чтобы потом обратить его против нервных центров имперского господства.

Однако эта поставленная перед массами задача — несмотря на ее очевидность на концептуальном уровне — все же остается довольно абстрактной. Какие же специфические и конкретные практики могли бы дать жизнь этому политическому проекту? Мы не можем здесь этого сказать. Тем не менее, то, что мы видим, есть первый элемент политической программы глобальных масс, первое политическое требование — *глобальное гражданство*. В 1996 году на демонстрациях за права *sans papiers*, иностранцев, проживающих во Франции без документов, лозунги гласили: «*Papiers pour tous*», «Документы для всех!» Требование документов на проживание для всех означает, в первую очередь, что каждый станет обладателем всей полноты гражданских прав в стране, где он (она) живет и работает. И это не утопичное и не нереалистичное политическое требование. Это лишь требование того, чтобы правовой статус населения был пересмотрен в соответствии с произошедшими в последние годы реальными экономическими изменениями. Капитал сам требовал роста мобильности рабочей силы и непрерывного перемещения через национальные границы. В ведущих регионах (Европе, Соединенных Штатах, Японии, а также в Сингапуре, Саудовской Аравии и некоторых других) капиталистическое

производство чрезвычайно зависимо от притока рабочих из подчиненных регионов мира. И, следовательно, данное политическое требование предполагает юридическое признание имеющего место факта капиталистического производства и предоставление всем работающим гражданских прав в полном объеме. По существу, это политическое требование выражает в постсовременную эпоху основополагающий конституционный принцип современности, связывающий воедино право и труд и наделяющий гражданством рабочих, участвующих в создании капитала.

Этому требованию может быть придан более общий и радикальный характер по отношению к постсовременным условиям Империи. Если сначала массы требуют юридического признания каждым государством перемещений, необходимых капиталу, то следующим шагом должно стать требование контроля самих масс над процессами перемещения. Массы должны сами решать, куда, когда и зачем им передвигаться. Они также должны иметь право не быть вовлечёнными в процессы перемещения и жить там, где они жили, а не быть принуждаемы к постоянным скитаниям. *Всеобщее право контролировать собственное перемещение — есть, в конечном счёте, требование массами глобального гражданства.* Это требование является радикальным постольку, поскольку оно бросает вызов важнейшему инструменту имперского контроля над производством и жизнью масс. Глобальное гражданство — это способность масс заново обрести контроль над пространством, создав тем самым новую картографию.

ВРЕМЯ И ТЕЛО (ПРАВО НА СОЦИАЛЬНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ)

Помимо тех пространственных измерений, которые мы рассматривали до сих пор, на бесконечных путях своего перемещения массы соприкасаются с множеством других элементов. В частности, массы обретают контроль над временем и создают новые темпоральности, которые можно увидеть, обратившись к изменениям в сфере труда. Понимание структуры этих новых темпоральностей позволит понять и то, насколько способны массы перевести потенциал последовательности своих действий в реальную политическую тенденцию.

Новые темпоральности биополитического производства невозможно понять в рамках традиционных представлений о времени. Аристотель в *Физике* определяет время как меру движения между «до» и «после». Огромное достоинство определения Аристотеля состоит в том, что оно делает понятие времени независимым от индивидуального опыта и от спиритуализма. Время — это коллективный опыт, воплощаемый и живущий в движениях масс. Между тем, Аристотель идет дальше и сводит это коллективное время, детерминированное опытом масс, к трансцендентному числу меры. Вся западная метафизика, от Аристотеля до Канта и

*•
Л
"f
|*

Хайдеггера, неизменно связывала время с трансцендентным миром. В период современности действительность воспринималась не иначе как мера, и, в свою очередь, мера воспринималась не иначе как априорно данная (реально или формально), как то, что помещает бытие внутрь трансцендентного порядка. Только постсовременность реально порывает с этой традицией, но не с той первой частью аристотелевского определения времени как коллективного конститутивного опыта, а со второй, трансцендентной составляющей. В постсовременности время больше не определяется никакой трансцендентной мерой, никаким априоризмом: время непосредственно принадлежит существованию. Именно здесь и происходит разрыв с аристотелевской традицией меры. По сути, с нашей точки зрения трансцендентализм темпоральности в решающей степени разрушается тем фактом, что теперь невозможно установить меру труда: ни по соглашению, ни путем исчисления. Труд полностью возвращается к коллективному существованию и благодаря этому оказывается неотъемлемой частью кооперации масс.

Благодаря кооперации, коллективному существованию и коммуникативным сетям, которые формируются и ре-формируются массами, время подвергается репроприации, обретается заново в плане имманенции. Оно не дано а priori, но несет на себе печать коллективного действия. Новая феноменология труда масс открывает его как основополагающую созидательную деятельность, которая, благодаря кооперации, преодолевает все воздвигаемые на ее пути препятствия и непрестанно вос-создает мир. Деятельность масс конституирует время по ту сторону меры. Поэтому время может быть определено как неизмеримость движения между «до» и «после», как имманентный процесс конституирования⁴. Процессы онтологического конституирования раскрываются через коллективные движения кооперации, через новую ткань, сотканную производством субъективности. В этом поле онтологического конституирования возникает новый пролетариат в качестве конститутивной власти.

Это — *новый пролетариат*, а не *новый промышленный рабочий класс*. Данное различие принципиально. Как мы пояснили ранее, «пролетариат» — общее понятие, которое включает в себя всех тех, чей труд эксплуатируется капиталом, все массы, охваченные отношениями кооперации (см. Раздел 1.3). Промышленный рабочий класс представлял собой лишь *частный* момент в истории пролетариата и его революций в тот период, когда капитал был способен свести стоимость к мере. Тогда казалось, что только труд наемных рабочих может быть производительным, а потому все прочие виды труда казались попросту воспроизводящими или даже непроизводительными. Между тем, в биополитическом контексте Империи производство капитала, как никогда ранее, оказывается соединено с производством и воспроизводством самой общественной жизни, и потому

становится все сложнее проводить различия между производительным, воспроизводящим и непроизводительным трудом. Труд — будь то материальный или аматериальный, умственный или физический — производит и воспроизводит общественную жизнь, и одновременно эксплуатируется капиталом. Обширный ландшафт биополитического производства позволяет нам, наконец, признать абсолютную всеобщность понятия пролетариата. Возрастающая в биополитическом контексте нераздельность производства и воспроизводства также ярко показывает отсутствие меры времени и стоимости. Когда труд выходит за фабричные стены, становится все сложнее поддерживать фикцию существования меры рабочего дня, отделяя, таким образом, время производства от времени воспроизводства, то есть рабочее время от времени досуга. В сфере биополитического производства нет часов, которые бы отбивали время; пролетариат производит во всей своей всеобщности, повсюду и в течение всего дня.

Эта всеобщность биополитического производства делает очевидным второе программное политическое требование масс: *социальная заработная плата и гарантированный доход для всех*. Социальная заработная плата противопоставляется здесь, прежде всего, семейной заработной плате, этому важнейшему инструменту разделения труда между полами, посредством которого в заработную плату, получаемую мужчиной — рабочим, за его производительный труд, включается также и возмещение за неоплачиваемый воспроизводящий труд его жены и иждивенцев. Семейная заработная плата позволяет мужчине-добытчику прочно удерживать контроль над семьей в своих руках и сохраняет ложные представления о том, какой труд является производительным, а какой — нет. По мере исчезновения различия между производительным и воспроизводящим трудом исчезает и легитимность семейной заработной платы. Социальная заработная плата выходит далеко за пределы семьи, она распространяется на массы в целом и даже на безработных, ибо производят массы в целом, а их производство необходимо с точки зрения общего социального капитала. При переходе к постсовременности и биополитическому производству рабочая сила становится все более коллективной и социальной. Теперь уже невозможно сохранять прежний лозунг «каждому по труду», поскольку труд не может быть индивидуализирован и измерен. Требование социальной заработной платы распространяется на население в целом и является требованием того, чтобы все виды деятельности, необходимой для производства капитала, были признаны и соответствующим образом оплачены посредством социальной заработной платы в форме гарантированного дохода. Поскольку гражданство распространяется на всех, то этот гарантированный доход следует считать гражданским доходом, который причитается каждому как члену общества.

ТЕЛОС (ПРАВО НА РЕПРОПРИАЦИЮ)

Поскольку в условиях биовласти Империи жизнь и производство стремятся к слиянию, потенциально классовая борьба может вспыхнуть в любой области жизни. Теперь нам придется столкнуться с проблемой того, как же на практике может разворачиваться классовая борьба, и, кроме того, как в ходе отдельных выступлений может выстраиваться ее последовательная программа, как может возникнуть конститутивная власть, способная сокрушить врага и построить новое общество. По сути, проблема состоит в том, как тело масс сможет обрести форму телоса.

Первый аспект проблемы телоса масс связан со смыслами языка и коммуникации. По мере того, как коммуникация все больше становится тканью производства, а языковая кооперация все более превращается в структуру производительной материальности, контроль над смыслами и значениями языка, а также над сетями коммуникации становится основным предметом политической борьбы. Вероятно, понимал это и Юрген Хабермас, но в то же время признавал освободительную роль языка и коммуникаций лишь за отдельными изолированными сегментами общества⁵. Переход к постсовременности и к Империи кладет конец подобному рода дроблению жизненного мира и непосредственно являет коммуникацию, производство и жизнь как одно сложное целое, как открытое поле конфликта. Теоретики и практики науки давно обращали внимание на этот узел противоречий, но сегодня вся рабочая сила (представляющая материальный и аматериальный, умственный и физический труд) вовлечена в борьбу за языковые смыслы и против колонизации коммуникативной общности капиталом. Все элементы разложения и эксплуатации навязываются нам посредством языковых и коммуникативных систем производства: их разрушение на словах необходимо не менее, чем их разрушение на деле. В действительности это не вопрос критики идеологии, если под идеологией мы по-прежнему подразумеваем надстроечную, внешнюю по отношению к производству область идей и языка. То есть в условиях идеологии имперского режима критика идеологии превращается одновременно и в критику политической экономии и жизненного опыта. Каким образом смысл и значение могут получить иную направленность, то есть организовать в альтернативные, внутренне цельные коммуникативные аппараты? Как мы можем обнаружить и придать направленность перформативным линиям языковых множеств и коммуникативных сетей, создающих ткань жизни и производства? Знание должно стать языковым действием, а философия — реальной *репроприацией знания*⁶. Иными словами, знание и коммуникация должны конституировать жизнь путем борьбы. Первый аспект телоса предстает перед нами тогда, когда аппараты, связывающие коммуникацию с образом жизни, развиваются благодаря борьбе масс.

Каждому языку и коммуникативной сети соответствует система машин, а проблема машин и их использования позволяет нам обозначить второй аспект телоса масс, который продолжает первый, включая его в себя. Мы прекрасно знаем, что машины и технологии не являются нейтральными и независимыми сущностями. Они — биополитические орудия, используемые в особых системах производства, благоприятствующие одним практикам и создающие препятствия другим. Изучаемые нами процессы формирования нового пролетариата подошли к тому важнейшему порогу, когда массы осознают свое единство с машинами и технологиями и начинают понимать возможности их нового использования, при котором пролетариат больше не занимает подчиненное положение «переменного капитала», будучи составной частью производства капитала, но является самостоятельным агентом производства. При переходе от борьбы за смысл языка к построению новой системы машин телос приобретает большую последовательность и цельность. Его второй аспект служит тому, чтобы то, что уже было создано в языке, стало устойчивым, материальным развитием желания свободы. Соединение человека и машины перестает быть процессом, идущим лишь на задворках общества; оно становится ключевым моментом формирования масс и утверждения их власти.

Поскольку такое изменение может осуществиться только при условии мобилизации колоссальных коллективных средств, телос должен иметь коллективную форму. Он должен претвориться в реальность как место столкновения субъектов и как механизм конституирования масс⁷. Это третий аспект в серии переходов, формирующих материальную телеологию нового пролетариата. Здесь сознание и воля, язык и машина призваны способствовать коллективному созиданию истории. Свидетельствами реальности этого процесса могут быть только опыт и творческая практика масс. Вот почему власть диалектики, считающей, что формирование коллективного идет скорее через опосредование, а не через конституирование, рушится окончательно. В этом смысле созидание истории является созиданием жизни масс.

Четвертый аспект относится к биополитике. Субъектность живого труда показывает — прямо и непосредственно в борьбе за смыслы языка и технику — что если кто-то говорит о коллективных средствах создания нового мира, то он говорит о взаимосвязи между жизненной силой и ее политической организацией. Здесь объединяются политическое, социальное, экономическое и витальное. Они в полной мере становятся взаимосвязанными и взаимозаменяемыми. Практики масс наполняют этот сложный и единый горизонт — горизонт одновременно онтологический и исторический. Именно здесь биополитическая ткань раскрывается для созидательной и конститутивной власти.

Наконец, пятый и последний аспект непосредственно связан с сози-

дательной мощью масс, с их конститутивной властью, — то есть с продуктом их творческого воображения, определяющего образ и структуру их собственного формирования. Эта конститутивная, созидательная власть делает возможной постоянную открытость процессу радикального и последовательного преобразования. Она делает возможными равенство и солидарность, те не зазвучавшие в полную силу требования, которые в действительности были самыми главными, но оставались абстрактными декларациями на протяжении всей конституционной истории современности. Вполне закономерно, что постсовременные массы заимствуют из конституции Соединенных Штатов то, что позволило ей стать, в отличие и вопреки всем прочим конституциям, имперской: ее представление о постоянно отодвигаемой границе, фронтире свободы, и ее определение открытой пространственности и темпоральности, утверждаемых конститутивной властью. Но этот новый уровень возможностей ни в коей мере не дает гарантий их реализации, не означает предопределенности будущего. И все же, несмотря на все эти оговорки, существует нечто, что действительно предвещает наступающее будущее: телос, пульсацию которого мы ощущаем, массы, которые мы создаем в желании.

Теперь мы сможем сформулировать третье политическое требование масс — *право на репроприацию*. Право на репроприацию — это прежде всего право на обретение заново средств производства. Социалисты и коммунисты в течение долгого времени требовали, чтобы пролетариат имел свободный доступ к машинам и ресурсам, используемым в процессе производства, и мог их контролировать. Однако в контексте аматериального и биополитического производства это традиционное требование приобретает новый облик. Массы не просто используют в производстве машины, но и сами все прочнее соединяются с машинами по мере того, как средства производства во все большей мере интегрируются в умы и тела масс. В этих условиях репроприация означает свободный доступ и контроль над знанием, информацией, коммуникацией и аффектами — поскольку именно они являются основными средствами биополитического производства. Однако одно то, что эти производственные машины встроены в массы, вовсе не означает, что массы обретают над ними контроль. Скорее, это делает их отчуждение еще более жестоким и оскорбительным. Право на репроприацию — это, по сути, право масс самостоятельно себя контролировать и производить.

POSSE

Телос масс должен жить и организовывать свое политическое пространство, выступая против Империи и одновременно пребывая в ситуации «полноты времен», в предлагаемых Империей онтологических условиях.

Мы видели, как массы движутся по уходящим в бесконечность путям, как они обретают материальную форму, обретая заново время и соединяясь с новыми машинными системами. Мы также видели, как сила масс материализуется в вакууме, неизбежно сохраняющемся в сердце Империи. Теперь вопрос заключается в том, как в рамках этого измерения поставить проблему становления масс в качестве субъекта. Иными словами, виртуальные условия должны воплотиться в конкретный образ. В противоположность граду Божьему град Земной должен явить свою мощь как аппарат мифологии разума, организующего биополитическую действительность масс.

Мы хотим поименовать массы в их политической автономии и производительной деятельности латинским термином *posse*, означающим власть как действие. У гуманистов эпохи Возрождения триада *esse — nosse — posse* (бытие — знание — возможность) представляла собой метафизическое ядро той основополагающей философской парадигмы, которая была обречена пребывать в кризисе в то время, как современность постепенно обрела форму. Европейская философия эпохи современности в своих истоках и творческих прорывах, не покорившихся трансцендентализму, постоянно стремилась к тому, чтобы поместить *posse* в центр онтологической динамики: *posse* — это машина, сливающая воедино знание и бытие в творческом процессе, захватывающем все новые и новые сферы. Когда Ренессанс достигает зрелости и вступает в столкновение с силами контрреволюции, гуманистическое *posse* становится силой и символом сопротивления в том смысле, какой Бэкон вкладывал в понятие *inventio* или эксперимента, Кампанелла — в понимание любви и Спиноза — в идею *potentia*. *Posse* — это то, на что способны ум и тело. Именно потому, что *posse* питалось силами сопротивления, оно из метафизического термина превратилось в термин политический. *Posse* обращено к власти масс и к их телосу, к воплощенной мощи знания и бытия, всегда открытой возможному.

Нынешние американские рэп-группы снова открыли для себя слово «*posse*» как существительное, обозначая им силу, придающую музыке и текстам группы собственное лицо, сингулярное различие постсовременных масс. Конечно, идеал рэпперов — это, скорее всего, *posse comitatus* Дикого Запада, сила сборища вооруженных людей, всегда готовых к охоте на преступников по приказу шерифа. Впрочем, американские фантазии о линчевателях и преступниках не слишком-то нам здесь интересны. Гораздо интереснее проследить глубинную, скрытую этимологию этого слова. Кажется, будто это понятие эпохи Возрождения удивительной волей судьбы было обретено заново и, вобрав в себя частичку безрассудства, вновь стало достойным высокой политической традиции

С этой точки зрения мы хотели бы говорить о *posse*, а не о «*res-publica*», поскольку общественное (*publica*) и действия сингулярностей, его состав-

ляющих, выходят за рамки любого предмета (*res*) и, в силу самого своего устройства, не могут быть в нем заключены. Наоборот, сингулярности являются производителями. Подобно возрожденческому «*posse*», пронизанному познанием и принадлежавшему метафизическому корню бытия, они тоже будут источником новой политической реальности, которую массы определяют в онтологическом вакууме Империи. *Posse* оказывается точкой, наилучшим образом позволяющей нам взглянуть на массы как на сингулярную субъектность: *posse* составляет способ производства и жизнь этой субъектности.

Как и во всяком процессе обновления, возникающий способ производства противостоит условиям, от которых ему необходимо освободиться. Способ производства масс противостоит эксплуатации во имя труда, собственности — во имя кооперации, разложению — во имя свободы. Он обеспечивает самовозрастание стоимости тел в труде, репродуцирует производительный интеллект посредством кооперации и превращает существование в свободу. История классового состава пролетариата и история борьбы трудящихся дают возможность увидеть матрицу этих всегда новых и вместе с тем predeterminedенных изменений в процессах самовозрастания стоимости, кооперации и политической самоорганизации в качестве успешного социального проекта.

Первую фазу борьбы рабочих в условиях собственно капиталистического производства, то есть фазу промышленного производства, предшествовавшую эпохе фордизма и тэйлоризма, определяет образ *профессионального рабочего*, высококвалифицированного, включенного в иерархию системы промышленного производства. Эта борьба была направлена прежде всего на превращение особой силы возрастания стоимости труда рабочего и производственной кооперации в оружие осуществления проекта *репродуциции*, предназначенного утвердить центральную роль сингулярного образа собственной производительной силы рабочего. Лозунгом этой борьбы была республика советов рабочих; советы трудящихся были ее телосом; автономия осуществления модернизации была ее программой. Рождение профсоюзов современного типа и создание авангардной партии относятся именно к этому периоду борьбы рабочих и в решающей мере определяют ее характер.

Вторую фазу борьбы рабочих в условиях капиталистического производства, которая соответствует расцвету фордизма и тэйлоризма, определяет образ *работника массового производства*. Борьба работника массового производства соединяла в себе самовозрастание стоимости труда в форме отказа от труда на фабрике и распространение власти рабочего на все механизмы общественного воспроизводства. Программой данного этапа борьбы было создание реальной *альтернативы* системе капиталистической власти. Организация массовых профсоюзов, создание государ-

ства благосостояния и социал-демократический реформизм — все это результаты отношений силы, определявшихся работниками массового производства и их решающим влиянием на процессы капиталистического развития. Коммунистическая альтернатива существует на данном этапе как контрвласть, формирующаяся в рамках процессов капиталистического развития.

Сегодня, на этапе борьбы трудящихся, соответствующем постфордистскому, информационному режиму производства, возникает образ *социального рабочего*, объединяющий в себе все ранее разрозненные черты аматериальной рабочей силы. Теперь на повестке дня находится созидательная мощь, конститутивная власть, объединяющая интеллектуальную силу масс и самовозрастание стоимости на всех уровнях гибкой и номадической производственной и общественной кооперации. Иными словами, программа социального рабочего — это проект *конституции*, проект *новой социальной организации*. В сегодняшней матрице производства конститутивная власть труда может быть выражена как самовозрастание стоимости человека (равные права гражданства для всех на всем пространстве мирового рынка), как кооперация (право на коммуникацию, на создание языков и на контроль над коммуникативными сетями) и как политическая власть, то есть фактически как организация общества, базис власти которого определяется выражением потребностей каждого. Это организация социального рабочего и аматериального труда, организация власти в сфере производства и политики как биополитического единства, управляемого, организуемого и руководимого массами — абсолютная демократия в действии.

Posse производит хромосомы своей будущей организации. На передовой линии этой битвы находятся тела, прочно объединившие в себе результаты прошлой борьбы и воплощающие онтологически обретенную власть. Эксплуатация должна быть устранена не только на практике, но и в своих предпосылках, в своем базисе, выброшена из генезиса реальности. Эксплуатация должна быть исключена из тел аматериальной рабочей силы, а также из социального знания и аффектов воспроизводства (рождения, любви, из всего спектра родственных и общественных отношений и так далее), которые объединяют стоимость и аффект в единую силу. Создание новых тел — вне эксплуатации — является основополагающим элементом базиса нового способа производства.

Этот способ производства масс репроприрует богатства капитала и одновременно средствами науки и социального знания путем кооперации создает новое богатство. Кооперация отменяет право собственности. В эпоху современности частная собственность нередко легитимировалась посредством труда. Однако подобное отождествление, если оно вообще когда-либо имело смысл, сегодня полностью безосновательно. Сегодня,

в эпоху господства кооперативного и аматериального труда, частная собственность на средства производства является всего лишь отвратительным деспотическим пережитком. Наблюдается тенденция переструктурирования орудий производства в коллективной субъективности и коллективном разуме и аффектах трудящихся; предпринимательство организуется кооперацией субъектов во всеобщем интеллекте. Таким образом, на мировой сцене начинает появляться организация масс в качестве политического субъекта, *posse*. Массы — это биополитическая самоорганизация.

Безусловно, должен настать момент, когда репроприация и самоорганизация достигнут того порога, за которым должны начаться реальные события. Это происходит в момент утверждения политического — когда генезис завершен, а самовозрастание стоимости, кооперативное объединение субъектов и пролетарское управление производством становятся конститутивной властью. В этот момент республика эпохи современности прекращает свое существование и возникает постсовременное *posse*. Это — начало строительства града Земного — сильного и непохожего ни на какой град Божий. Способность к созданию локальностей, темпоральностей, перемещений и новых тел уже утверждает его гегемонию в действиях масс против Империи. Разложению имперской власти уже противостоит производительность тел, кооперация и система производства, выстраиваемая самими массами. Единственное событие, которого мы все еще ожидаем, — это создание, а точнее восстание, мощной организации. В онтологическом плане уже сформирована и утверждена причинно-следственная цепочка, вся инфраструктура новой организации общества непрерывно создается и обновляется новой производительностью совместного труда, так что единственное, чего мы ждем — момента, когда политическое развитие *posse* достигнет зрелости. Мы не знаем, как свершится это событие, у нас нет готового решения. Только массы в своем практическом опыте смогут предложить подобное решение и определить, когда и как возможное станет действительным.

БОРЕЦ

В эпоху постсовременности, когда исчезает образ народа, только борец выражает жизнь масс с наибольшей полнотой — активный участник биополитического производства и сопротивления Империи. Говоря о борце, мы ни в коей мере не обращаем свой мысленный взор к унылому аскету, стороннику Третьего Интернационала, чья душа была преисполнена заботой об интересах Советского государства, подобно тому, как воля папы римского была запечатлена в сердцах иезуитов. Ничего подобного мы не имеем в виду, и никого, кто действует, повинувшись порядку и дисциплине, но воображая при этом, что руководствуется некими высшими соображениями.

Напротив, мы обращаемся к образу, вызывающему в памяти коммунистов и борцов за свободу, совершивших революции XX века, интеллектуалов-антифашистов, подвергшихся преследованиям и изгнанию, республиканцев — участников гражданской войны в Испании и движения Сопротивления в странах Европы, а также борцов, сражавшихся за свободу в ходе всех антиколониальных и антиимпериалистических войн. Прототипом образа революционера служит образ борца-агитатора из организации «Индустриальные рабочие мира». «Бродяга», ведя неустанный агитацию, создал объединения рабочих людей снизу, и вместе с организационными формами он привносил утопические идеи и революционное знание. Борец был основным действующим лицом «великого похода» эмансипации труда в XIX и XX столетиях, креативной сингулярностью того гигантского коллективного движения, каким была борьба рабочего класса.

На протяжении всего этого долгого периода деятельность борца состояла, прежде всего, из практик сопротивления капиталистической эксплуатации на производстве и в обществе. Кроме того, она состояла — благодаря сопротивлению, а также помимо него — в коллективном создании и применении контрвласти, способной покончить с властью капитала и предложить альтернативную программу организации управления. Бросая вызов цинизму буржуазии, денежному отчуждению, экспроприации жизни, эксплуатации труда, колонизации чувств и тому, что им сопутствует, борец шел на бой. Вмятеже проявлял он свою гордость. Вновь и вновь представлял он в облике мученика в трагической истории коммунистической борьбы. Порой, впрочем, не часто, нормальных структур правового государства хватало для подавления и разрушения этой контрвласти. Однако когда они не справлялись, на помощь легальным репрессивным организациям призывались фашизм, белая гвардия государственного террора, а той мафии, состоящие на службе капиталистических «демократий».

Сегодня, после многочисленных побед капитализма, после того, как были развеяны надежды социалистов, и после того, как под именем ультралиберализма было упрочено капиталистическое насилие над трудом, почему же тогда все еще появляются отдельные вспышки борьбы, углубляется сопротивление, а борьба разгорается все с новой и с новой силой? Мы должны с уверенностью заявить, что эта новая борьба не является простым повторением организационных формул прежнего революционного движения рабочего класса. Сегодня борец не может даже претендовать на миссию представителя, на то, что он репрезентирует важнейшие человеческие нужды эксплуатируемых. Напротив — революционная политическая борьба сегодня должна вновь продемонстрировать то, что всегда было ее надлежущей формой: она есть не репрезентативное, а конститутивное действие. Борьба сегодня — это позитивная, созидательная и новаторская деятельность. Это форма, в которой мы и все те, кто выступает против

господства капитализма, признаем себя сегодня борцами. Борцы творчески противостоят имперскому господству. Иными словами, сопротивление непосредственно связано с творческими инвестициями в сферу биополитики и с формированием основанных на принципах кооперации аппаратов производства и общности. В этом заключается основной элемент новизны сегодняшней борьбы: она вбирает в себя все сильные стороны опыта, накопленного двухсотлетней историей революционной деятельности, но одновременно она связана с новым миром, миром, которому неведомо ничто внешнее. Он знает только внутреннее, витальное и неотвратимое участие во множестве общественных структур безо всякой возможности их трансцендировать. Это внутреннее — не что иное, как производственная кооперация интеллекта масс и аффективных сетей, производительная способность постсовременной биополитики. Эта борьба превращает сопротивление в контрвласть, а бунт — в проект любви.

Пролить свет на будущее коммунистической борьбы могла бы одна старинная легенда — о святом Франциске Ассизском. Вспомним его деяния. Чтобы победить нищету масс, он принял ее как данность и открыл в ней онтологическую силу нового общества. Борец-коммунист делает то же самое: он видит в нынешнем положении масс условие их невероятного богатства. Франциск, в противоположность зарождающемуся капитализму, отверг любую инструментальную дисциплину, а в противоположность умерщвлению плоти (в нищете и смиренном согласии со сложившимся порядком) он проповедовал счастливую жизнь со всеми радостями природы и естества, со зверушками, с сестрицей-луной и братом-солнцем, с полевыми птицами, с несчастными и измученными людьми, объединившимися против сил власти и разрушения. В период постсовременности мы снова оказываемся в тех же условиях, что и Франциск, противопоставляя убожеству власти радость бытия. Вот та революция, которую не сможет остановить никакая власть, поскольку биовласть и коммунизм, кооперация и революция объединяются — в любви, простоте и невинности. Это и есть безудержная радость бытия коммунистом.

ПРИМЕЧАНИЯ

ПРЕДИСЛОВИЕ

- 1 Об ослаблении суверенитета национальных государств и преобразовании суверенитета в современной глобальной системе см.: Saskia Sassen, *Losing Control? Sovereignty in an Age of Globalization* (New York: Columbia University Press, 1996).
- 2 О понятии «Империя» см.: Maurice Duverger, «Le concept d'empire», in Maurice Duverger, ed., *Le concept d'empire* (Paris: PUF, 1980), pp. 5-23. Дюверже подразделяет исторические образцы империй на две группы: с одной стороны, Римская Империя, с другой — Китайская, Арабская, Центральноамериканская и другие. Наше исследование имеет в виду прежде всего Римскую империю, поскольку это та модель, которая положила начало евро-американской традиции, приведшей к современному мировому порядку.
- 3 «Современность — это не явление Европы как *независимой* системы, но Европы как центра». Enrique Dussel, «Beyond Eurocentrism: The World System and the limits of Modernity», in Enrique Dussel and Masao Miyoshi, eds., *The Cultures of Globalization* (Durham: Duke University Press, 1998), pp. 3-31, цит. по p. 4.
- 4 Два междисциплинарных текста послужили нам образцом при написании всей книги. Это *Капитал* Маркса и *Тысяча поверхностей* Делеза и Гваттари.
- ; Конечно же наша работа не единственная из тех, что готовят почву для исследования и критики Империи. Хотя они и не используют термин «Империя», мы видим, что работы множества авторов ориентированы в этом направлении, включая Фредерика Джеймисона, Дэвида Харви, Арджуна Аппадурайи, Гайатри Спивак, Эдварда Сайда, Джованни Арриги и Арифа Дирлика, если называть лишь самые известные имена.

11 МИРОВОЙ ПОРЯДОК

- 1 Уже в 1974 г. Франц Шурманн выделил тенденцию к формированию мирового порядка в *The Logic of World Power: An Inquiry into the Origins, Currents, and Contradictions of World Politics* (New York: Pantheon, 1974).
- 2 Об изменении форм мирных договоров в Европе см.: Leo Gross, «The Peace of Westphalia, 1648-1948», *American Journal of International Law*, 42, no. 1 (1948), 20-41.
- 3 Danilo Zolo, *Cosmopolitics: Prospects for World Government*, trans. David McKie (Cambridge: Polity Press, 1997), — один из тех, кто наиболее ясно формулирует гипотезу о том, что парадигму проекта нового мирового порядка следует вести от Венского мира. Во многих отношениях мы следуем его анализу. Также см.: Richard Falk, «The Interplay of Westphalia and Charter Conception of International Legal Order», in C. A. Blach and Richard Falk, eds., *The Future of International Legal Order* (Princeton: Princeton university Press, 1969), 1:32-70.
- 4 Hans Kelsen, *Das Problem des Souveranitat und die Theorie des Völkerrechts: Beitrag zu Einer Reiner Rechtslehre* (Tubingen: Mohr, 1920), p. 205. Также см.: *Principles of International Law* (New York: Rinehart, 1952), p. 586
- 5 Kelsen, *Das Problem des Souveranitat*, p. 319.
- 6 См.: Hans Kelsen, *The Law of the United Nations* (New York: Praeger, 1950).
- 7 О правовой истории Объединенных Наций см.: Alf Ross, *United Nations: Peace and Progress* (Totowa, N. J.: Bedminster Press, 1966); Benedetto Conforti, *The Law and the Practice of the United Nations* (Boston: Kluwer Law International, 1996); Richard Falk, Samuel S. Kim,

- and Saul H. Mendlovitz, eds., *The United Nations and a Just World Order* (Boulder: Westview Press, 1991).
- 8 О понятии «аналогии со сферой внутренней политики» как в плане его происхождения и развития, так и с точки зрения международной правовой политики, см.: Hedley Bull, *The Anarchical Society* (London: Macmillan, 1977); и прежде всего Hidemi Suganami, *The Domestic Analogy and World Order Proposals* (Cambridge: Cambridge University Press, 1989). Относительно позиции реалистической и критической школ, выступающих против концепции «аналогии со сферой внутренней политики», см.: James N. Rosenau, *Turbulence in World Politics: A Theory of Change and Continuity* (Princeton: Princeton University Press, 1990).
 - 9 См.: Norberto Bobbio, // *Problema della guerra e le vie della pace* (Bologna: Il Mulino, 1984).
 - 10 О позиции Норберта Боббио по этим вопросам прежде всего см.: // *terzoasente* (Turin: Edizioni Sonda, 1989). Однако в целом о новых направлениях теории интернационализма и о выборе между государственно-экономическими и космополитическими подходами см.: Zolo, *Cosmopolis*.
 - 11 См. работы Ричарда Фока, в первую очередь: *A Study of Future Worlds* (New York: Free Press, 1975); *The Promise of World Order* (Philadelphia: Temple University Press, 1987); и *Explorations at the Edge of Time* (Philadelphia: Temple University Press, 1992). Источник дискурса Фока и его идеалистически-реформистскую направленность можно проследить от известного первоначального плана, представленного Гренвилем Кларком и Луисом Зоном: Grenville Clark and Louise B. Sohn, *World Peace Through World Law* (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1958).
 - 12 В разделе 2.4 мы коротко рассмотрим творчество авторов, критикующих традиционную сферу международных отношений с постмодернистской точки зрения.
 - 13 «Капитализм с самого начала был явлением мир-экономики... и было бы полным непониманием ситуации утверждать, что лишь в XX веке капитализм становится „всемирным“». Immanuel Wallerstein, *The Capitalist World Economy* (Cambridge: Cambridge University Press, 1979), p. 19. Наиболее полное изложение этой точки зрения см.: Immanuel Wallerstein, *The Modern World System*, 3 vols. (New York: Academic Press, 1974-1988). См. также: Giovanni Arrighi, *The Long Twentieth Century* (London: Verso, 1995).
 - 14 См., например: Samir Amin, *Empire of Chaos* (New York: Monthly Review Press, 1992).
 - 15 В своем исследовании Римской империи мы основывались на ряде классических текстов, таких как: Gaetano de Sanctis, *Storia dei Romani*, 4 vols. (Turin: Bocca, 1907-1923); Hermann Dessau, *Ceschichte der romanischen Keiserzeit*, 2 vols. (Berlin: Weidman, 1924-1930); Michael Rostovzeff, *Social and Economic History of the Roman Empire*, 2 vols. (Oxford: Clarendon Press, 1926); Pietro de Francisci, *Genesi e struttura del principato augusteo* (Rome: Sampaolesi, 1940); и Santo Mazzarino, *Fra Oriente ed Occidente* (Florence: La Nuova Italia, 1947).
 - 16 См.: Johannes Adam Hartung, *Die Lehre von der Weltherrschaft im Mittelalter* (Halle, 1909); Heinrich Dannenbauer, ed., *Das Reich: Idee und Gestalt* (Stuttgart: Gotta, 1940); Georges de Lagarde, «La conception medieval de l'ordre en face de l'humanisme, de la Renaissance et de la Reforme», in Congresso internazionale di studi umanistici, *Umanesimo e scienza politico* (Milan: Marzorati, 1951); и Santo Mazzarino, *The End of the Ancient World*, trans. George Holmes (New York: Knopf, 1966).
 - 17 См.: Michael Walzer, *Just and Unjust Wars*, 2nd ed. (New York: Basic Books, 1992). О возвращении теории «справедливой войны» в 1990-е гг. свидетельствуют статьи в сборнике: Jean Bethke Elshtain, ed., *Just War Theory* (Oxford: Basil Blackwell, 1992).
 - 18 Здесь следует учитывать различия между *jus ad helium* (правом на войну) *ujus in hello* (военным правом), или же правилами корректного ведения войны. См.: Walzer, *Just and Unjust Wars*, pp. 61-63, 90.
 - 19 О войне в Персидском заливе и проблеме ее справедливости см.: Norberto Bobbio, *Una*

- guerraggiusta? Sul conflitto del Golfo* (Venice: Marsilio, 1991); Ramsey Clark, *The Fire This Time: U. S. War Crimes in the Gulf* (New York: Thunder's Mouth Press, 1992); Jürgen Habermas, *The Past as Future*, trans. Max Pensky (Lincoln: University of Nebraska Press, 1994); и Jean Bethke Elshtain, ed., *But Was It Just? Reflections on the Morality of the Persian Gulf War* (New York: Doubleday, 1992).
- 20 О воздействии теории систем Никласа Лумана на международную теорию права см. очерки Гюнтера Тойбнера в: Gunther Teubner and Alberto Febbrajo, eds., *State, Law, and Economy as Autopoietic Systems* (Milan: Giuffrè, 1992). Адаптировать этико-правовые теории Джона Ролза попытался Чарльз Бейтц в: Charles R. Beitz, *Political Theories and International Relations* (Princeton: Princeton University Press, 1979).
- 21 Эта концепция была введена и сформулирована Джеймсом Розенау в «Governance, Order, and Change in World Politics», in James Rosenau and Ernst-Otto Czempiel, *Governance without Government* (Cambridge: Cambridge University Press, 1992).
- 22 В качестве наиболее последовательного выражения данной концепции см. ряд работ, собранных в: V. Rittnerberger, ed., *Beyond Anarchy: International Cooperation and Regimes* (Oxford: Oxford University Press, 1994).
- 23 См.: Hans Kelsen, *Peace through Law* (Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1944).
- 24 О взглядах Макиавелли на Римскую империю см.: Antonio Negri, *Il potere costituente* (Milan: Sugarco, 1992), pp. 75–96; на английском: *Insurgencies: Constituent Power and the Modern State*, trans. Maurizio Boscaagli (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1999).
- 25 Толкование правового аспекта перехода от современности к постсовременности см.: Michael Hardt and Antonio Negri, *Labor of Dionysus: A Critique of the State-Form* (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1994), chaps. 6, 7.
- 26 Удивительно, что в дебатах сторонников интернационализма почти всегда упоминается лишь одна работа Карла Шмита: *Der Nomos der Erde im Völkerrecht des Jus Publicum Europaeum* (Köln: Greven, 1950), в то время как в этом контексте гораздо более важна другая его работа: *Verfassungslehre*, 8th ed. (Berlin: Duncker & Humblot, 1993), а также его точка зрения, раскрываемая в рамках определения понятия политического и производства права.
- 27 Для того, чтобы получить полное представление об этих процессах, возможно, достаточно прочтения работ классиков как теории международного права, так и мировой экономики, сведения воедино их наблюдений и рекомендаций, сформулированных в рамках различных дисциплин, но объединенных известной долей неореализма, или, в действительности, реализма в гоббсовском смысле. См., например: Kenneth Neal Waltz, *Theory of International Politics* (New York: Random House, 1979), и Robert Gilpin, *The Political Economy of International Relations* (Princeton: Princeton University Press, 1987).
- 28 Чтобы получить представление об исходной идее, положенной в основу обширной и часто запутанной литературы по этой теме, см.: Gene Lyons and Michael Mastanduno, eds., *Beyond Westphalia? State Sovereignty and International Intervention* (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1995); Arnold Kanter and Linton Brooks, eds., *U. S. Intervention Policy for the Post-Cold War World* (New York: Norton, 1994); Mario Bettati, *Le droit d'ingérence* (Paris: Odile Jacob, 1995); и Maurice Bernard, *La fin de l'ordre militaire* (Paris: Presses de Sciences Politiques, 1995).
- 29 Об этике международных отношений, помимо предложений Майкла Уолцера и Чарльза Бейтца, см. также: Stanley Hoffman, *Duties Beyond Borders* (Syracuse: Syracuse University Press, 1981); и Terry Nardin and David R. Mapel, eds., *Traditions of International Ethics* (Cambridge: Cambridge University Press, 1992).
- 30 Здесь мы обращаемся к двум классическим текстам: Монтеские Ш. Л., «Размышления о причинах величия и падения римлян», *Избранные произведения* (М., 1955), сс. 47–15 & Гиббон Э., *История упадка и разрушения Великой Римской империи*, в 7 тт. (М., 1997)–
- 31 Как убедительно показал Жан Эрар, утверждение о том, что закат Рима начался с

Цезаря, постоянно возникало в историографии эпохи Просвещения. См.: Jean Ehrard, *La politique de Montesquieu* (Paris: A. Colin, 1965).

- 32 Принцип разложения политических режимов неявно предполагался уже в теории форм правления, сформулированной софистами, и систематизированной позднее Платоном и Аристотелем. Принцип «разложения» политики позже был превращен в принцип исторического развития теориями, которые рассматривали смену этических норм, присущих различным формам правления, как процесс циклического развития. Из всех представителей различных теоретических направлений, предпринимавших подобные попытки (стоики, безусловно, были в этом отношении ведущей школой), Полибий единственный, кто дал каноническое описание данной модели, провозгласив созидательную роль «разложения».

1.2 БИОПОЛИТИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО

- 1 Переход от дисциплинарного общества к обществу контроля не обозначен Фуко, но он подразумевается в его работах. Мы же в своей интерпретации следуем великолепным комментариям Жюль Делеза. См.: Делез Ж., Фуко (М.: Издательство гуманитарной литературы, 1998), а также его «Послесловие к обществам контроля», *Переговоры 1972-1990* (СПб.: Наука, 2004), с. з. Кроме того, см.: Michael Hardt, «The Withering of Civil Society», *Social Text*, no. 45 (Winter 1995), 27-44.
- 2 См., прежде всего: Michel Foucault, *The History of Sexuality*, trans. Robert Hurley (New York: Vintage, 1978), 1:135-145. Фуко М., *Воля к истине: По ту сторону знания, власти и сексуальности* (М.: Касталь, 1996), ее. 238-267- Другие трактовок идеи биополитики в сочинениях Фуко см.: «The Politics of Health in the Eighteenth Century», *Power/Knowledge*, ed. Colin Gordon (New York: Pantheon, 1980), pp. 166-182; «La naissance de la medecine sociale», *Dits et ecrits* (Paris: Gallimard, 1994), 3:207-228, и особенно р. 210; и «Naissance de la biopolitique», *Dits et ecrits*, 3:818-825. Образцы работ других авторов, разделяющих концепцию биополитики Фуко, см.: Hubert Dreyfus and Paul Rabinow, eds., *Michel Foucault: Beyond Structuralism and Hermeneutics* (Chicago: University of Chicago Press, 1992), pp. 133-142; и Jacques Donzelot, *The Policing of Families*, trans. Robert Hurley (New York: Pantheon, 1979).
- 3 Michel Foucault, «Les mailles du pouvoir», *Dits et ecrits* (Paris: Gallimard, 1994), 4:182-201, цит. по р. 194-
- 4 Многие мыслители следовали этой линии Фуко и с успехом проблематизировали тематику государства благосостояния. См. прежде всего: Jacques Donzelot, *L'invention du social* (Paris: Fayard, 1984); и Francois Ewald, *Vetatprovidence* (Paris: Seuil, 1986).
- 5 См.: Маркс К., «Результаты непосредственного процесса производства», Маркс К., Энгельс Ф., *Сочинения*, т. 49. ее. 86-89- См. также: Antonio Negri, *Marx beyond Marx*, trans. Harry Cleaver, Michael Ryan, and Maurizio Viano (New York: Autonomedia, 1991).
- 6 См.: Max Horkheimer and Theodor Adorno, *The Dialectic of Enlightenment*, trans. John Cumming (New York: Herder and Herder, 1972). См. рус. пер.: Адорно Т., Хоркхаймер М., *Диалектика просвещения* (М., 1996).
- 7 См.: Gilles Deleuze and Felix Guattari, *A Thousand Plateaus*, trans. Brain Massumi (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1987).
- 8 См. например: Peter Dews, *Logic of Disintegration: Poststructuralist Thought and the Claim of Critical Theory* (London: Verso, 1987), chap. 6 и 7. Если принять это определение власти и раскалывающих ее кризисов, то дискурс Фуко (и даже в большей степени, чем дискурс Делеза и Гваттари) дает прочные теоретические основания для критики государства благосостояния. В качестве примеров исследований, которые в той или иной мере находятся в рамках этого дискурса, см.: Claus Offe, *Disorganized Capitalism: Contemporary Transformations of Work and Politics* (Cambridge, Mass.: MIT Press, 1985); Antonio Negri,

- Revolution Retrieved: Selected Writings* (London: Red Notes, 1988): а также работы Антонио Негри, включенные в: Michael Hardt and Antonio Negri, *Labor of Dionysus* (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1994), pp. 23-213.
- 9 Концепции «тоталитаризма», которые создавались в период холодной войны, оказались полезными инструментами пропаганды, но совершенно не подходят в качестве аналитического инструмента, поскольку их авторы чаще всего прибегают к зловещим инквизиторским методам и уничижающим моральным аргументам. Множество полков в наших библиотеках, заполненных исследованиями по тоталитаризму, сегодня может вызывать лишь стыд, и от них следовало бы избавиться без малейших колебаний. Чтобы получить краткое представление о такого рода литературе по тоталитаризму — от наиболее адекватной до совершенно абсурдной, — см.: Hannah Arendt, *The Origins of Totalitarianism* (New York: Harcourt, Brace, 1951); и Jeanne Kirkpatrick, *Dictatorships and Double Standards* (New York: Simon and Schuster, 1982). Более детально мы рассмотрим понятие тоталитаризма в разделе 2.2.
- ю Здесь мы обращаемся к проблематике концепции мобилизации (*Mobilmachung*), которая возникла сначала в Германии в 1920-30 гг., [и которую можно более или менее подробно проследить] от Эрнста Юнгера до Карла Шмитта. Во французской культурной традиции эти проблематика тоже появляется где-то в 1930-е годы, и полемика между этими двумя направлениями до сих пор не утихает. Фигура Жоржа Батая находится в центре этого спора. О разных способах «всеобщей мобилизации» как парадигмы создания коллективной рабочей силы в период капитализма фордистского типа см.: Jean Paul de Gaudemar, *La mobilization generate* (Paris: Maspero, 1978).
- 11 Можно проследить весьма интересное направление споров, которые плодотворно развивают предложенное Фуко понимание биовласти. Сюда входят публикации от данного Жаком Дerrиды прочтения работы Вальтера Беньямина «Критика насилия» («Force of Law», in Drucilla Cornell, Michel Rosenfeld, and David Gray Carlson, eds., *Deconstruction and the Possibility of Justice* [New York: Routledge, 1992], pp. 3-67) до одного из недавних и наиболее побуждающих к размышлениям произведений Джорджи Агамбена. Giorgio Agamben, *Homo sacer: ilpotere sovrano e la nuda vita* (Turin: Einaudi, 1995). Между тем, нам представляется важнейшим фактом, что все эти дискуссии возвращаются к вопросу о производительных измерениях «биоса», выражая в других словах материалистические измерения этого понятия вне каких бы то ни было концепций, являющихся чисто натуралистическими (жизнь как «зоэ»), либо попросту антропологическими (к чему, в частности, склонен Агамбен, делающий это понятие фактически нейтральным).
- 12 Michel Foucault, «La naissance de la medecine sociale», *bits et icrits* (Paris: Gallimard, 1994), 3:210.
- 13 См.: Henri Lefevre, *L'ideologie structuraliste* (Paris: Anthropos, 1971); Gilles Deleuze, «A quoi reconnait-on le structuralisme?» in Francois Chatelet, ed., *Histoire de la philosophie* vol. 8 (Paris: Hachette, 1972), pp. 299-335; Frederic Jameson, *The Prison-House of Language* (Princeton; Princeton University Press, 1972).
- 14 Когда Делез в частном письме 1977 года формулирует свои методологические расхождения с Фуко, первым пунктом разногласий становится ни что иное, как вопрос о производстве. Делез объясняет, почему он предпочитает термин «желание» термину «удовольствие», используемому Фуко: он пишет, что термин «желание» позволяет отразить реальную и активную динамику производства социальной реальности, тогда как удовольствие инертно и реактивно: «Удовольствие заслоняет позитивность желания и конституирование его плана имманенции». См.: GiUe Delueze, «Desir et plaisir», *Magazine Litteraire*, no. 325 (October 1994), 59-65; цит. по р. 64.
- 15 Возможно, среди всех представителей данного типа социальной критики Феликс Гваттари сделал наиболее радикальные выводы, при этом тщательно уходя от стиля конфронтации с «метанарративом», [свойственного] постмодернистской аргументации,

- в его *Chaosmosis*, trans. Paul Bains and Julian Pefanis (Sydney: Power Publications, 1995). В плане метафизики из последователей Ницше примерно схожую позицию враждует Массимо Каччиари: Massimo Cacciari, *DRAN: miridiens de la decision dans la pensee contemporaine* (Paris: L'Edat, 1991).
- 16 На английском см., прежде всего, статьи в: Paolo Virno and Michael Hardt, eds., *Radical Thought in Italy* (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1996). См. также: Christian Marazzi, *Il posto dei calzini: la svolta linguistica dell'economia e i suoi effetti nella politica* (Bellinzona: Edizioni Casagrande); и многочисленные номера французского журнала *Futur antérieur*, в особенности п. ю (1992) " 35-36 (1996)- Относительно тех работ, которые соответствуют основному замыслу данного проекта, но в конечном счете не отвечают его масштабности, см.: Andre Gorz, *Misere du present, richesse du possible* (Paris: Galilee, 1997).
- 17 Рамки данного направления исследований открывают перед ним огромные возможности и, одновременно, задают реальные ограничения. В действительности, это исследование должно быть выведено за пределы ограничений, создаваемых «рабочецентричным» («операистским») анализом капиталистического развития и государственного устройства. Одно из таких ограничений раскрыто в: Gayatri Spivak, *In Other Worlds: Essays in Cultural Politics* (New York: Routledge, 1988), p. 62, где исследовательница настаивает на том, что понятие стоимости, принятое этим направлением марксистских исследований, вполне работает применительно к ведущим странам (в том числе в контексте определенных течений феминистской теории), но дает совершенно искаженную картину, будучи примененным к зависимым регионам мира. И вопросы, поставленные Спивак, безусловно, чрезвычайно важны для проблематики, разрабатываемой в нашем исследовании. На самом деле, стоит отметить, что наиболее глубоко и основательно разработанную в методологическом плане критику биополитики можно обнаружить в феминистской теории, особенно в ее марксистском и социалистическом направлениях, которые уделяют основное внимание проблемам женского труда, аффективного труда и производства биовласти. Именно эти разработки, возможно, более всего способны послужить обновлению методологии европейских «рабочецентричных» школ.
- 18 Теории «турбулентности» международного порядка, и особенно нового мирового порядка, о которых мы ранее упоминали (см. прежде всего: J. G. Ruggie), обычно избегают при объяснении причин этой турбулентности каких-либо ссылок на противоречивый характер капиталистических отношений. Социальная турбулентность рассматривается просто как следствие динамики международных отношений, взаимодействия между различными государствами, и, таким образом, предполагается, что турбулентность может быть снижена до нормы благодаря установлению строгих дисциплинарных ограничений внутри системы международных отношений. Социальная и классовая борьба полностью выводятся за рамки анализа самим методом исследования. С позиции этой теории невозможно понять, что такое «производящий биос». То же самое в той или иной мере относится и к авторам, которые отстаивают позицию мир-системного подхода и сосредоточены в первую очередь на системных циклах и кризисах (см. упоминавшиеся ранее работы Валлерстайна и Арриги). Фактически это мир (и история) без субъективности. Здесь теряется функция производящего биоса, то есть то, что капитал — это не вещь, а общественные отношения, антагонистические отношения, где одной из сторон движет производственная жизнь масс.
- 19 Giovanni Arrighi, *The Long Twentieth Century* (London: Verso, 1995), Арриги, например, говорит о такого рода преемственной роли капиталистических корпораций. Совершенно иного рода позиция в отношении периодизации и методологии представлена в: Luciano Ferrari Bravo, «Introduzione: vecchie e nuove questioni nella teoria de U'imperialismo», in Luciano Ferrari Bravo, eds., *Imperialismo e classe operaia multinazionale* (Milan: Feltrinelli, 1975). PP-7-70.
- 20 Об этом с позиции политического анализа см.: Paul Kennedy, *Preparing for the Twenty-first*

- Century* (New York: Random House, 1993), а с точки зрения экономической топографии и социалистической критики см.: David Harvey, *The Condition of Postmodernity* (Oxford: Blackwell, 1989).
- 21 Маркс К., *Капитал*, т. I, Маркс К., Энгельс Ф., *Сочинения*, 2-е изд., т. 23, с. 608.
- 22 Библиография по этому вопросу безгранична. На самом деле, теории рекламы и потребления были интегрированы (и весьма своевременно) в теории производства, и теперь мы имеем дело с идеологией «внимания», позиционированного как экономическая стоимость! В любом случае, для того чтобы сориентироваться среди множества работ, затрагивающих данную сферу исследований, следует обратить внимание на: Susan Strasser, *Satisfaction Guaranteed: The Making of the American Mass Market* (New York: Pantheon, 1989); Gary Gross, *Time and Money: The Making of Consumer Culture* (New York: Routledge, 1993); и о наиболее интересных работах, выполненных с иных исследовательских позиций, см.: The Project on Disney, *Inside the Mouse* (Durham: Duke University Press, 1995)– Тем не менее, производство производителя не является только лишь производством потребителя. Оно охватывает помимо этого производство иерархий, механизмов включения и исключения и т. д. Наконец, оно охватывает производство кризисов. Об этом см.: Jeremy Rifkin, *The End of Work: The Decline of Global Labor Force and the Dawn of the Post-market Era* (New York: Putnam, 1995); и Stanley Aronowitz and William DiFazio, *The Jobless Future* (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1994).
- 23 Мы должны отдать должное Делезу и Гваттари и их *Тысяче поверхностей* за то, что это наиболее полно феноменологически проработанное описание той промышленно-денежно-кредитно-мировой природы, которая составляет первый уровень мирового порядка.
- 24 См.: Edward Comor, ed., *The Global Political Economy of Communication* (London: Macmillan, 1994).
- 25 См.: Stephen Bradley ed., *Globalization, Technologies and Competition: The Fusion of Computers and Telecommunications in 90s* (Cambridge, Mass.: Harvard business School Press, 1993); и Simon Sarfaty, *The Media and Foreign Policy* (London: Macmillan, 1990).
- 26 См.: Jiirgen Habermas, *Theory of Communicative Action*, trans. Thomas McCarthy (Boston: Beacon Press, 1984). Более детально такого рода отношения между коммуникацией и производством мы обсудим в разделе 3-4
- 27 См.: Michael Hardt and Antonio Negri, *Labor of Dionysus* (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1994), chaps. 6 and 7.
- 28 Несмотря на крайность взглядов авторов, представленных в сборнике: Martin Albrow and Elisabeth King, eds., *Globalization, Knowledge and Society* (London: Stage, 1990); и отнесенную сдержанность Брайана Тернера: Brian S. Turner, *Theories of Modernity and Postmodernity* (London: Sage, 1990); а также авторов работ, включенных в: Mike Featherstone, ed., *Global Culture, Nationalism, Globalization, and Modernity* (London: Sage, 1990), различия между их точками зрения, по сути, относительно невелики. Следует также иметь в виду, что образ «глобального гражданского общества» родился не только в головах отдельных философов-постмодернистов или последователей Хабермаса (таких как Жан Коуэн и Эндрю Арато), но также, и это более важно, создан авторами, принадлежащими локковской традиции международных отношений. Эта последняя группа включает в себя таких видных теоретиков, как Ричард Фок, Дэвид Хелд, Энтони Гидденс и (в определенных отношениях) Данило Золо. О понятии гражданского общества в глобальном контексте см.: Michael Waltzer, ed., *Toward a Global Civil Society* (Providence: Berghahn Book, 1995).
- 29 Иконоборческая ирония Жана Бодрийяра в его позднейших работах, таких как *The Gulf War Did Not Take Place*, trans. Paul Patton (Bloomington: Indiana University Press, 1995), обнаруживает, что французский постмодернизм в определенной своей части возвращается к собственно сюрреалистической традиции.

- 30 Имперские теории «принуждения к миру» обнаруживают теснейшую преемственность с понятиями времен окончания холодной войны о «принуждении к демократии» и «переходе к демократии». Мы уже отметили, что многие философы, занимающиеся теорией морали, поддержали войну в Персидском заливе как справедливую, тогда как теоретики права во главе с видным исследователем Ричардом Фоком были в целом против нее. См., например: Richard Falk, «Twisting the U. N. Charter to U. S. Ends», in Hamid Mowlana, George Gerbnei and Herbert Schiller, eds., *Triumph of the Image: The Media's War in the Persian Gulf* (Boulder: Westview Press, 1992), pp. 175-190. Кроме того, см. дискуссию о войне в Персидском заливе в: Danilo Zolo, *Cosmopolis: Prospects for World Government*, trans. David McKie (Cambridge: Polity Press, 1997).
- 31 Весьма показательным примером служит: Richard Falk, *Positive Prescriptions for the Future*, World Order Studies Program occasional paper no. 20 (Princeton: Center of International Studies, 1991). Для того, чтобы проследить, как НПО вписываются в эти более или менее соответствующие представления продолжателей идей Локка рамки «глобального конституционализма», стоит обратиться к публичным высказываниям Антонио Кассезе, председателя учрежденного ООН международного уголовного Суда (Амстердам), в дополнение к его книгам: *International Law in a Divided World* (Oxford: Clarendon Press, 1986); и *Human Rights in a Changing World* (Philadelphia: Temple University Press, 1990).
- 32 Даже предложения по реформированию ООН в той или иной мере лежат в русле этих идей. Хорошую библиографию по этой теме см.: Joseph Preston Barrata, *Strengthening the United Nations: A Bibliography on U. N. Reform and World Federalism* (New York: Greenwood, 1987).
- 33 Это направление развивается в ряде стратегических документов, опубликованных американскими военными ведомствами. Согласно нынешней доктрине Пентагона, проект распространения рыночной демократии должен быть подкреплен и соответствующими микростратегиями, применяемыми (прагматически и системно) к соответствующим зонам, а также постоянным выявлением тех ключевых точек и разломов внутри противостоящих США сильных культурных блоков, которые способны служить распаду этих блоков. Об этом см. работы Мориса Рунаи (Maurice Rounai) из Стратегического Института в Париже. Также см. работы об американском интервенционизме, приведенные в примечании 28 к разделу I.i.
- 34 Тут следует вновь обратиться к работам Ричарда Фока и Антонио Кассезе. В особенности следует отметить то, как «слабая» концепция осуществления правовых функций Международного суда ООН постепенно, нередко под воздействием левых политических сил, превращается в «сильную» концепцию. То есть имеет место переход от требования того, чтобы Международный суд ООН был наделен правом применять судебные санкции, осуществляющиеся под юрисдикцией структур ООН, к требованию, чтобы суд играл непосредственную и активную роль в принятии решений ООН и ее органов, руководствуясь при этом нормами справедливости и равенства государств, вплоть до прямого вмешательства во имя прав человека.
- 35 См.: Max Weber, *Economy and Society*, trans. Guenther Roth and Claus Wittich (Berkeley: University of California Press, 1968), vol. 1, chap. 3, sec. 2, «Three Pure Types of Authority», pp. 215-216.

1.3 АЛЬТЕРНАТИВЫ ВНУТРИ ИМПЕРИИ

Под «обращением к Гегелю» мы подразумеваем здесь то, что Маркс описал в своем знаменитом послесловии к первому тому *Капитала* от 24 января 1873 года. Как и Марксу, терминология Гегеля кажется нам вполне пригодной для создания концептуальных рамок нашей работы, но скоро мы столкнемся с пределами ее применимости.

Надо признать, что это упрощенное представление, во многих работах дается более

- сложная трактовка понятия локальности. Однако, как нам представляется, все эти политические штудии неизменно возвращаются к представлению о «защите» или «сохранении» выделенных определенными границами локальных идентичностей или территорий. Дорин Масси открыто защищает политику локальности, где локальность понимается не как замкнутое образование, но как пространство, открытое для потоков извне. См.: Doreen Massey, *Space, Place and Gender* (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1994), в особенности р. 5. Мы же настаиваем на том, что представление о локальности, не имеющей границ, совершенно лишает это понятие смысла. Превосходный обзор литературы и альтернативную концепцию локальности см. в: Arif Dirlik, «Place-based Imagination: Globalism and Politics of Place», рукопись не опубликована.
- 3 Мы обратимся к понятию нации более детально в разделе 2.2.
 - 4 «Я рассматриваю локальность как фундаментальное материальное свойство человеческой деятельности, признавая при этом, что она является продуктом социального производства». David Harvey, *The Limits of Capital* (Chicago: University of Chicago Press, 1984), р. 374. Арджун Аппадурай также рассматривает «производство локальности» в одном ключе с Харви и нами. См.: Arjun Appadurai, *Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization* (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1996), pp. 178-199.
 - 5 Erich Auerbach, *Mimesis: The Representation of Reality in Western Literature*, trans. Willars Trask (Princeton: Princeton University Press, 1953).
 - 6 Эта методологическая связь между критикой и выдвиганием собственной программы, прочно основанной на базе коллективного субъекта, была обозначена уже в работах Маркса, посвященных проблемам истории, и развита в XX веке различными школами неортодоксальной марксистской историографии, например, в работах Э. П. Томпсона, произведениях итальянских авторов, писавших о жизни рабочих, в трудах историков из южно-азиатских стран.
 - 7 См. например: Дебор Ги, *Общество Спектакля* (М.: Логос; Радек, 2000). Эта работа, несмотря на совершенно бредовый характер изложенных в ней идей, является наилучшим выражением нынешнего самосознания торжествующего капитала.
 - 8 Хорошим примером такого рода деконструктивистского метода, в котором одновременно проявляются его достоинства и недостатки, являются работы Гаятри Спивак и в особенности ее предисловие к книге Ranajit Guha and Gayatri Spivak, eds., *Selected Subaltern Studies* (New York: Oxford University Press, 1988), pp. 3-32.
 - 9 См.: Arif Dirlik, «Mao Zedong and 'Chinese Marxism'», in Saree Makdissi, Cesare Casarino, and Rebecca Karl, eds., *Marxism beyond Marxism* (New York: Routledge, 1996), pp. 119-148. См. также: Arif Dirlik, «Modernism and Antimodernism in Mao Zedong's Marxism», in Arif Dirlik, Paul Healey, and Nick Knight, eds., *Critical Perspectives on Mao Zedong's Thought* (Atlantic Heights, N. J.: Humanities Press, 1997), pp. 59-83.
 - 10 По поводу этой тактической двусмысленности «национальной политики» социалистических и коммунистических партий см., прежде всего, работы австро-марксистов, такие как: Бауэр О., *Национальный вопрос и социал-демократия*, пер. с нем. М. С. Панина (СПб.: Серп, 1909). Также см. известную работу: Сталин И. В., «Марксизм и национальный вопрос (1912)», *Сочинения*, т. 2 (М.: ОГИЗ, 1946). ее. 290-367. Мы еще вернемся к этим авторам в Разделе 2.2. Особый интерес представляет работа: Enzo Traverse, *Les marxistes et la question juive* (Paris: La Breche, 1990).
 - 11 О цикле антиимпериалистических выступлений в конце XIX — начале XX века (как он виделся из Китая) см.: Rebecca Karl, *Staging the World: China and the Non-West at the Turn of the Twentieth Century* (Durham: Duke University Press, в печати)
 - 12 Гипотезу о том, что борьба предрекает развитие и реструктурирование капитализма, служащих прообразом, см. в: Antonio Negri, *Revolution Retrieved* (London: RedNotes, 1988).
 - 13 Поэтому понятие пролетариата может быть понято только в терминологии самого Маркса как персонификация чисто экономической категории, то есть подчинения тру-

- да капиталу. Если мы даем иное определение самому понятию труда и расширяем его рамки, включив туда новые виды деятельности (как мы делаем во всех наших работах и продолжаем ту же линию и в этой книге), традиционное различие между экономическим и культурным разрушается. Даже когда Маркс дает формулировки, изложенные исключительно языком экономической теории, пролетариат следует в действительности понимать как *политическую* категорию. См.: Michael Hardt and Antonio Negri, *Labor of Dionysus: A Critique of the State-Form* (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1994), pp. 3-2, и Antonio Negri, «Twenty Theses of Marx», in Saree Makdissi, Cesare Cazarino, and Rebecca Karl, eds., *Marxism beyond Marxism* (New York: Routledge, 1996), pp. 149-180.
- 14 См.: Michael Hardt, «Los Angeles Novos», *Futur antirieur*, no. 12/13 (1990), 12-26.
- 15 См.: Luis Gomez, ed., *Mexique: du Chiapas a la crise financière*, Supplement, *Futur antirieur* (199«)-
- 16 См. в первую очередь: *Futur antirieur*, no. 33/34, *Tous ensemble! Reflections sur les luttes de novembre-décembre* (1996). См. также: Raghu Krishnan, «December 1995: The First Revolt Against Globalization», *Monthly Review*, 48, no. 1 (May 1996), 1-122.
- 17 Маркс К., «Восемнадцатое Брюмера Луи Бонапарта», Маркс К., Энгельс Ф., *Сочинения*, изд. 2-е, т. 8 (М.: 1957), с. 205.
- 18 См.: Gilles Deleuze, «Postscript on Control Societies», *Negotiation*, trans. Martin Joughin (New York: Columbia University Press, 1995), pp. 177-182.
- 19 В противовес теории «самого слабого звена», которая была не только сердцевинной тактики Третьего Интернационала, но была принята всей антиимпериалистической традицией, итальянское операистское движение 1960-1970-х гг. предложило теорию «самого сильного звена». Об этом важнейшем теоретическом положении см.: Mario Tronti, *Operaie e capitale* (Turin: Einaudi, 1966), особенно pp. 89-95.
- 20 Обширные и богато документированные материалы относительно техник дезинформации и умалчивания можно найти в публикациях начиная от *he Monde Diplomatique* до *Z Magazine* и *Covert Action Bulletin*. Над разоблачением и противостоянием этой дезинформации непрерывно работал Ноам Хомский, чему посвящены множество его публикаций и лекций. См., например: Edward Herman and Noam Chomsky, *Manufacturing Consent: The Political Economy of Mass Media* (New York: Pantheon, 1988). Война в Персидском заливе является замечательным примером того, как Империя управляет информационными потоками. См.: W. Lance Bennett and David L. Paletz, eds., *Taken by Storm: The Media, Public Opinion, and U. S. Foreign Policy in the Gulf War* (Chicago: University of Chicago Press, 1994); и Douglas Kellner, *The Persian Gulf TV War* (Boulder: Westview Press, 1992).
- 21 Такая попытка тривиализации, понижения смысла движений протеста посредством истолкования их как оборотной стороны самой системы сделана в работах Иммануила Валлерстайна (в иных отношениях очень достойных и значимых), а также других авторов, принадлежащих к школе мир-системного анализа. См., например: Giovanni Arrighi, Terence Hopkins, and Immanuel Wallerstein, *Antisystemic Movements* (London: Verso, 1989).
- 22 Помня об упомянутых ранее ограничениях, здесь следует обратиться к трудам Феликса Гваттари, особенно к его поздним работам, таким как *Chaosmosis*, trans. Paul Bains, and Julian Pefanis (Sydney: Power Publications, 1995).

ПОЛИТИЧЕСКИЙ МАНИФЕСТ

Louis Althusser, «Machiavel et nous», *Ecrits philosophiques et politiques*, vol. 2, ed. Francois Matheron (Paris: Stock/IMEC, 1995), pp. 39-168 и далее по тексту.

Спиноза Б., «Богословско-политический трактат», *Сочинения*, в 2-х тт., т. 2 (СПб.: Наука, 1999), с. 5-246.

2.1 ДВЕ ЕВРОПЫ, ДВЕ СОВРЕМЕННОСТИ

- 1 Музиль Р., *Человек без свойств* (М.: Ладомир, 1994).^{кн.}-2, с. 382.
- 2 Johannes Duns Scotus, *Opus Oxoniense*, Book IV, Distinctio XIII, Quaestio I, in *Opera Omnia*, vol. 8 (Hildesheim: Georg OlmsVerlagsbuchhandlung, 1969), p. 807.
- 3 Данте Алигьери, *Монархия*, пер. с итал. В. П. Зубова, комментарии И. Н. Голенищева-Кутузова (М.: Канон-Пресс-Ц; Кучково поле, 1999). с 27-
- 4 Nicolas of Cusa, «Complementum Theologicum», *Opera*, vol. 2 (Frankfurt: Minerva, 1962), ch. 2, fol. 93b (факсимиле издания Jacques Le Fevre [Paris: 1514]).
- 5 Джованни Пико делла Мирандола, «О сущем и едином», *Сочинения итальянских гуманистов эпохи Возрождения (is век)* (М.: МГУ, 1985), с. 270.
- 6 Carolus Bovillus (Charles de Bovelles), *Il libro del sapiente*, ed. Eugenio Garin (Turin: Einaudi, 1987), chap. 22, p. 73.
- 7 Ф. Бэкон, «Франциска Веруламского Великое Восстановление: Предисловие», *Сочинения*, в 2-х тт., т. 1 (М.: Мысль, 1970, ее. 68-69.
- 8 Г. Галилей, «Диалог о двух главнейших системах мира», *Избранные труды*, в 2-х тт., т. i (М.: Наука, 1964), с. 201.
- 9 William of Ockham, *A Short Discourse on the Tyrannical Government*, trans. John Kilcullen (Cambridge: Cambridge University Press, 1992), Book III, chap. 16, p. 104. Переводчик заменяет фразу «multitude» fidelium» (множество верующих) «congregation of faithful» (собрание верующих).
- ю См.: Marcilius of Padua, *Defensor Pads* (Cambridge: Cambridge University Press, 1928).
- 11 Этот революционный аспект истоков современности в его наибольшей ясности и простоте мы находим в работах Спинозы. См.: Antonio Negri, *The Savage Anomaly*, trans. Michael Hardt (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1991).
- 12 Многие пессимистически настроенные философы XIX и XX веков от Ницше до Хайдеггера и Адорно по существу правы в своем предвидении конца метафизики эпохи современности и во мнении о наличии связи между современностью и кризисом. Однако эти авторы, как правило, не понимают того, что есть две современности, и что кризис является прямым результатом конфликта между ними. По той же причине они не замечают альтернатив внутри современности, которые выходят за пределы свойственной ей метафизики. О пессимистическом настрое и кризисе см.: Massimo Cacciari, *Krisis: sagio sulla crisis delpensiero negative da Nietzsche a Wittgenstein* (Milan: Feltrinelli, 1976).
- 13 Об этих переходах внутри европейской современности см.: Ernst Bloch, *The Principle of Hope*, 3 vols., trans. Neville Plaice, Steven Plaice, and Paul Knight (Cambridge: Mass.: MIT Press, 1986), и (в совершенно ином интеллектуальном и герменевтическом контексте) Reinhart Koselleck, *Critique and Crisis: Enlightenment and the Pathogenesis of Modern Society* (Cambridge: Mass.: MIT Press, 1985).
- 14 Samir Amin, *Eurocentrism*, trans. Russel Moore (New York: Monthly Review Press, 1989), pp. 72-73-
- 15 Спиноза Б., «Этика», *Сочинения*, в 2-х тт., т. i (СПб.: Наука, 1999). с. 44²-
- 16 Там же, с. 473-
- 17 В своей дискуссии мы опираемся на следующие работы: Ernst Cassirer, *The Philosophy of the Enlightenment*, trans. Fritz C. A. Koelln and James Pettegrove (Princeton: Princeton University Press, 1951); Адорно Т. В., Хоркхаймер М., *Диалектика Просвещения* (М.; СПб.: Медиум, Ювента, 1997) и Фуко М., «Что такое Просвещение?» *Интеллектуалы и власть: Избранные политические выступления, статьи, интервью* (М.: Праксис, 2002), ее. 335-359-
- 18 См.: Jaques Chevalier, *Pascal* (Paris: Plon, 1922), p. 265.
- 19 Декарт Р., «Письмо к Мерсенну от 15 апреля 1630 г.», *Сочинения*, в 2 тт., т. i (М.: Мысль, 1989), ее. 588-589.

- 20 См.: Antonio Negri, *Descartes politico o delta ragionevole ideologia* (Milan: Feltrinelli, 1970).
- 21 Пример более поздней работы, отмеченной тем же трансцендентальным духом европейского самодовольства, см.: Massimo Cacciari, *Geo-fihsofia dell'Europa* (Milan: Adelphi, 1994).
- 11 Шопенгауэр А., «Мир как воля и представление», т. 1-2, 0 четверяком корне закона достаточного основания. *Мир как воля и представление. Критика кантовской философии* (М.: Наука, 1993)-
- 23 Там же, т. 1, с. 133-
- 24 Гегель Г. В. Ф., *Философия права* (М.: Мысль, 199^е). сс. 183-284.
- 25 Thomas Hobbes, *The Elements of Law* (Cambridge: Cambridge University Press, 1928), Part 2, Book 10, paragraph 8, p. 150.
- 26 **Jean Bodin, *On Sovereignty: Four Chapters from the Six Booh of the Commonwealth*, ed. and trans. Julian Franklin** (Cambridge: Cambridge University Press, 1992), p. 23 (из Book I, chap.8).
- 27 Руссо Ж. Ж., *Об общественном договоре* (М.: Канон-пресс, *998), с. ю8.
- 28 См.: Bodin, *On Sovereignty*.
- 29 **С. В. Macpherson, *The Political Theory of Possessive Individualism*** (Oxford: Oxford University Press, 1962).
- 30 См.: Arif Dirlik, *The Postcolonial Aura* (Boulder: Westview Press, 1997).
- 31 **Смит А., *Исследование о природе и причинах богатства народов*** (М.: Соцэкзитиз, 1962), с. 332.
- 32 Там же, с. 497-
- 33 Гегель Г. В. Ф., *Философия права* (М.: Мысль, 1990). с. 287.
- 34 См.: Michel Foucault, «La 'gouvernementalite'», *Dits et ecrits* (Paris: Gallimard, 1994), 3:635-657-
- 35 Мы рассматриваем понятие биовласти у Фуко в Разделе 1.2.
- 36 См. прежде всего: Max Weber, *Economy and Society*, 2 vols., trans. Guenther Roth and Claus Wittich (Berkeley: University of California Press, 1968).
- 37 Ф. Ницше, «Так говорил Заратустра», *Сочинения, в 2-х тт.*, т. 2 (М.: Мысль, 199^е).^с- 85-

2.2 СУВЕРЕНИТЕТ НАЦИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА

Обширное исследование как патримониального и абсолютистского государства в целом, так и его форм в Европе см.: Perry Anderson, *Lineages of the Absolutist State* (London: New Left Books, 1974).

См.: Ernst Kantorowicz, *The King's Two Bodies: A Study in Medieval Political Theology* (Princeton: Princeton University Press, 1957); и его очерк «Christus-Fiscus», *Synopsis: Festgabe fur Alfred Weber* (Heidelberg: Verlag Lambert Schneider, 1948), pp. 223-235. См. также: Marc Leopold Bloch, *The Royal Touch: Sacred Monarchy and Scrofula in England and France*, trans. J. E. Anderson (London: Routledge and Kegan Paul, 1972).

Исследование, в котором прослеживается связь экономического перехода от феодализма к капитализму с развитием европейской философии в период современности, см.: Franz Borkenau, *Der Obergang vomfeudalen zum bürgerlichen Weltbild: Studien zur Geschichte der Philosophie der Manufakturperiode* (Paris: Felix Alcan, 1934). Прекрасное всестороннее исследование философской литературы по этой проблематике см.: Alessandro Pandolfi, *Genialogie et dialectique de la raison mercantiliste* (Paris: L'Harmattan, 1996).

См.: Pierangelo Schiera, *Da U'arte de governo alle scienze dello stato* (Milan: 1968).

Андерсон Б., *Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении национализма* (М.: Канон-пресс-Ц; Кучково поле, 2001), с. 31.

Балибар Э., «Национальная форма: история и идеология», Балибар Э., Валлерстайн И.,

- Rasa, нация, класс. Двусмысленные идентичности* (М.: Логос, 2004), сс. 103-124— Также см.: Slavoj Žizek, «Le reve du nationalisme explique par le reve du ma] radical», *Futur antirieur*, no. 14 (1992), 59-82.
- 7 Работы Розы Люксембург по данной проблематике представлены в: Rosa Luxemburg, *The National Question*, ed. Horace Davis (New York: Monthly Review Press, 1976). Хороший обзор взглядов Люксембург см.: Joan Cocks, «From Politics to Paralysis: Critical Intellectuals Answer the National Question», *Political Theory*, 24, no. 3 (August 1996), 518-537. Ленин был настроен весьма критично по отношению к взглядам Р. Люксембург в первую очередь потому, что ей не доставало понимания «прогрессивного» характера национализма (даже буржуазного национализма) угнетенных стран. Таким образом, Ленин утверждает право наций на самоопределение, которое на самом деле оказывается правом всех на отделение. См.: Ленин В. И., «О праве наций на самоопределение», *Избранные сочинения*, в ю-ти тт., т. 6:1910-1917 (М.: Политиздат, 1985), сс. 113-168; *Полное собрание сочинений*, т. 25, сс. 255-320.
 - 8 Jean Bodin, *Six Books of the Commonwealth*, trans. M. J. Tooley (Oxford; Blackwell: 1955), Book VI, ch. 6, p. 112 (перевод изменен).
 - 9 Прекрасную интерпретацию творчества Бодена, убедительно показывающую связь его идей с контекстом истории Европы XVII века, см.: Julian H. Franklin, *Jean Bodin and the Rise of the Absolutist Theory* (Cambridge: Cambridge University Press, 1973); и Gerard Mairet, *Dieu mortel: essai de non-philosophie de VEtat* (Paris: PUF, 1987). Более общий взгляд, прослеживающий развитие понятия суверенитета в длительной истории европейской политической мысли, см.: Gerard Mairet, *Le principe de souveraineti* (Paris: Gallimard, 1997).
 - 10 См.: Friedrich Meinecke, *Die Idee der Staatsrason in der neueren Geschichte* (Munchen: Oldenbourg, 1924). См. также статьи, собранные Вильгельмом Дильтеем в: Дильтей В., *Воззрение на мир и исследование человека со времен Возрождения и Реформации* (М.: Университетская книга, гооо).
 - 11 За примечательным исключением работы: Otto von Gierke, *The Development of Political Theory*, trans. Bernard Freyd (New York: Norton, 1939).
 - 12 См.: Friedrich Meinecke, *Historicism: The Rise of a New Historical Outlook*, trans. J. E. Anderson (London, Routledge and Kegan Paul, 1972).
 - 13 Чтобы распознать в идеализме Гегеля семена брошенные Вико, см.: Benedetto Croce, *The Philosophy of Giambattista Vico*, trans. R. G. Collingwood (New York: Russel and Russel, 1964); и Hayden White «What is Living and What is Dead in Croce's Criticism of Vico», in Giorgio Tagliacozzo, ed., *Giambattista Vico: An International Symposium* (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1969), pp. 379-389. Уайт придает особое значение тому, как Кроче перевел работы Вико на язык идеалистических понятий, превратив философию истории Вико в философию духа.
 - 14 См.: Giambattista Vico, *De Universi Juris principio et fine uno*, in *Opere giuridiche* (Florence: Sansoni, 1974), pp. 17-343; и Johann Gottfried Herder, *Reflections on the Philosophy of the History of Mankind*, trans. Frank Manuel (Chicago: University of Chicago Press, 1968). См. рус. пер.: Гердер И. Г., *Идеи к философии истории человечества* (М., 1977)-
 - 15 Эмманюэль-Жозеф Сийес в весьма различных контекстах ясно утверждает абсолютный приоритет нации: «Нация существует прежде всего, она — начало всего». См.: Qu'es-ce que le Tiers Etatf (Geneva: Droz, 1970), p. 180.
 - 16 О творчестве Сийеса и развитии Французской революции см.: Antonio Negri, *Ipotere costituente: saggio suite alternative del moderno* (Milan: Sugarco, 1992), ch. 5, pp. 223-286.
 - 17 Прекрасное исследование о различии между массаами и народом см.: Paolo Virno, «Virtuosity and Revolution: The Political Theory of Exodus», in Paolo Virno and Michael Hardt, eds., *Radical Thought in Italy* (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1996), pp. 189-210.
 - 18 Гоббс Т., *Сочинения*, в 2-х тт., т. 1 (М.: Мысль, 1989), с. 395-

- 19 Балибар Э., «Расизм и национализм», Балибар Э., Валлерстайн И., *Раса, нация, класс. Двумьсленные идентичности* (М.: Логос, 2004), сс. 49-79- Мы вернемся к вопросу о нации в контексте истории колониализма в следующей главе.
- 20 См., например: Robert Young, *Colonial Desire: Hybridity in Theory, Culture and Race* (London: Routledge, 1995).
- 21 См.: Sieves, *Qu'est-ce que le Tier Etat?*
- 22 См. Введение Роберто Дзаперри, *ibid.*, pp. 7-117.
- 23 Больше ста лет спустя введенное Антонио Грамши понятие «национально-народного» рассматривалось как попытка поставить на службу пролетариату именно это действие класса-гегемона. Для Грамши понятие «национально-народного» является общим термином, объединяющим и народ, и интеллектуалов, и, таким образом, оно служит мощным средством осуществления народной гегемонии. Грамши А., «Тюремные тетради». *Избранные произведения*, в 3-х тт., т. 3 (М., 1959): с. 517-53- Прекрасную критику грамшианского понятия «национально-народного» см.: Alberto Asor Rosa, *Scrittore e popolo*, 7th ed. (Rome: Savelli, 1976).
- 24 Johann Gottlieb Fichte, *Addresses to the German Nation*, trans. R. F. Jones and G. H. Turnbulj (Westport Conn.: Greenwood Press, 1979).
- 25 Следует отметить, что авторы, делающие попытки интерпретировать идеи Гегеля в либеральном ключе, от Рудольфа Хайма до Франца Розенцвайга, преуспели лишь в отношении его политической теории, заострив внимание на ее аспектах, касающихся понятия нации. См.: Rudolf Naun, *Hegel und sein Zeit* (Berlin, 1857); Franz Rosenzweig, *Hegel und der Staat* (Munchen, 1920); и Erich Weil, *Hegelet l'Etat* (Paris: Vrin, 1950). Розенцвайг один из тех, кто лучше всего понимает трагедию неизбежности соединения теории нации и этики в системе Гегеля. См.: Franz Rosenzweig, *The Star of Redemption*, trans. William Hallo (New York: Holt, Rinehart, and Winston, 1971); а также прекрасную интерпретацию в: Stephane Moses, *Systeme et revelation: la philosophie de Franz Rosenzweig* (Paris: Seuil, 1982).
- 26 «Социалисты не могут достигнуть своей великой цели, не борясь против всякого угнетения наций. Поэтому они безусловно должны требовать, чтобы с.-д. партии угнетающих стран (так называемых «великих» держав особенно) признавали и отстаивали право угнетенных наций на самоопределение, и именно в политическом смысле слова, то есть право на политическое отделение». См.: Ленин В. И., «Из брошюры *Социализм и война* (Отношение РСДРП к войне)», *О национальном вопросе и национальной политике* (М.: Политиздат, 1989), сс. 3³-3⁴
- 27 См.: Malcolm X, «The Ballot or the Bullet», in *Malcolm X Speaks* (New York: Pathfinder, 1989), pp. 23-44. Рассуждения о национализме Малкольма Икса, в частности о его попытке основать Организацию Афроамериканского Единства в последний год жизни, см.: William Sales, Jr., *From Civil Rights to Black Liberation: Malcolm X and the Organization of Afro-American Unity* (Boston: South End Press, 1994).
- 28 Wahneema Lubiano, «Black Nationalism and Black Common Sense: Policing Ourselves and Others», in Wahneema Lubiano, ed., *The House That Race Built* (New York: Vintage, 1997), pp. 232-252; цит. по p. 236. См. также: Wahneema Lubiano, «Standing in for the State: Black Nationalism and 'Writing' the Black Subject», *Alphabet City*, no. 3 (October 1993), 20-23.
- 29 Вопрос о «черном суверенитете» поднимается Седриком Робинсоном как основной в ходе его выступления против поддержки В. Э. Б. Дю Буа Либерии в 1920-1930-х гг. Робинсон считает, что Дю Буа некритически поддерживает силы суверенитета современности. См.: Cedric Robinson, «W. E. B. Du Bois and Black Sovereignty», in Sidney Lemelle and Robin Kelley, eds., *Imaging Home: Culture, Class and Nationalism in the African Diaspora* (London: Verso, 1994), pp. 145-157.
- 30 Jean Genet, «Interview avec Wischenbart», in *Oeuvres completes*, vol. 6 (Paris: Gallimard, 1991). p. 282. 0 личных впечатлениях Жене от знакомства с членами «Черных пантер» и па-

лестницами см. его последний роман *Влюбленный пленник: Jean Genet, Prisoner of Love*, trans. Barbara Brey (Hanover, N. H.: Wesleyan University Press, 1991).

- 31 Бенедикт Андерсон настаивает, что философы не правы в своем пренебрежительном отношении к понятию нации, и что нам следует воспринимать его в более нейтральном свете: «В какой-то мере проблема кроется в бессознательной склонности сначала гипостазировать существование Национализма-с-большой-буквы (примерно так же, как это можно было бы сделать в отношении Возраста-с-заглавной-буквы), а затем классифицировать его как некую идеологию. (Обратите внимание: если каждый человек имеет тот или иной возраст, то Возраст — всего лишь аналитическое выражение.) На мой взгляд, все станет намного проще, если трактовать его так, как если бы он стоял в одном ряду с „родством" и „религией", а не „либерализмом" или „фашизмом"». См.: Андерсон Б., *Воображаемые сообщества. Размышления об историческом распространении национализма* (М.: Канон-пресс-Ц; Кучково поле, 2001), с. 30. У каждого есть национальность, как у каждого есть возраст, раса, пол и т. д. Опасность здесь состоит в том, что Андерсон *натурализирует* нацию и нашу к ней принадлежность. Мы же должны, наоборот, денатурализировать нацию, увидеть ее в качестве исторической конструкции и распознать ее влияние на политику.
- 32 Нольте Э., *Европейская гражданская война (1917-1945)- Национал-социализм и большевизм* (М.: Логос, 2003).
- 33 Бауэр О., *Национальный вопрос и социал-демократия* (СПб.: Серп, 1909). АНГЛИЙСКИЙ перевод выдержек из этой книги включен в: *Austro-Marxism*, trans. Tom Bottomore and Patric Goode (Oxford: Clarendon Press, 1978).
- 34 Сталин И. В., «Марксизм и национальный вопрос (1912)», *Сочинения*, т. i (М.: ОГИЗ, 1946), с. 290-367.
- 35 Мы заимствовали это выражение из работы: J. L. Talmon, *The Origins of Totalitarian Democracy* (London: Seeker and Warburg, 1952), однако не разделяем политическую позицию ее автора.
- 36 Цитируется по Введению Роберто Дзанерри к: Sieyes, *Qu'est-ce aue k Tier Etat?* pp. 7-117. цит. по p. 77-

2.3 ДИАЛЕКТИКА КОЛОНИАЛЬНОГО СУВЕРЕНИТЕТА

- 1 «Темная сторона Возрождения составляет основу... возрождения классической традиции в качестве оправдания колониальной экспансии». Walter Mignolo, *The Darker Side of the Renaissance: Literacy, Territoriality, and Colonization* (Ann Arbor: University of Michigan Press, 1995), p. vi.
- 2 Bartolome de Las Casas, *In defense of the Indians*, ed. Stafford Poole (De Kalb: Northern Illinois University Press, 1974), p. 271. См. также: Lewis Hanke, *AH Mankind Is One: A Study of the Disputation between Bartolome de Las Casas and Juan Gines de Sepulveda in 1550 on the Intellectual and Religious Capacity of the American Indians* (De Kalb: Northern Illinois University Press, 1974).
- 3 Цитируется в: C. L. R. James, *The Black Jacobins*, 2nd ed. (New York: Random House, 1963), p. 196.
- 4 Aime Cesaire, *Toussaint Louverture: la revolution francaise et leprobleme colonial* (Paris: Presence Africaine, 1961), p. 309.
- 5 Су.: Eugene Genovese, *From Rebellion to Revolution: Afro-American Slave Revolts in the Making of the Modern World* (Baton Rouge: Louisiana State University Press, 1979), p. 88.
- 6 Маркс К., *Капитал*, т. i, Маркс К., Энгельс Ф., *Сочинения*, изд. 2-е, т. 23 (М., 1960), с. 769-
- 7 Маркс К., «Британское владычество в Индии», Маркс К., Энгельс Ф., *Сочинения*, изд. 2-е, т. 9 (М., 1957), с 135-
- 8 Маркс К., «Русско-турецкие отношения — уловки и увертки британского кабинета —

- последняя нота Нессельроде — Ост-Индский вопрос», Маркс К., Энгельс Ф., *Сочинения*, изд. 2-е, т. 9, с. 205.
- 9 Маркс К., «Британское владычество в Индии», там же, с. 136.
- 10 Маркс К., «Будущие результаты британского владычества в Индии», Маркс К., Энгельс Ф., *Сочинения*, изд. 2-е, т. 9, с. 224.
- 11 Аяз Ахмад указывает на то, что, похоже, Маркс полностью заимствовал свое описание индийской истории у Гегеля. См.: Aijas Ahmad, *In Theory: Classes, Nations, Literatures* (London: Verso, 1991), pp. 231,241.
- 12 Маркс К., «Будущие результаты британского владычества в Индии», там же, с. 225.
- 13 **Robin Blackburn, *The Overthrow of Colonial Slavery, 1776-1848* (London: Verso, 1988), pp. 3.11.**
- 14 См.: Elizabeth Fox Genovese and Eugene Genovese, *Fruits of Merchant Capital: Slavery and Bourgeois Property in the Rise and Expansion of Capitalism* (Oxford: Oxford University Press, 1983), p. vii.
- 15 **Robin Blackburn, *Overthrow of Colonial Slavery*, p. 8.**
- 16 Взаимоотношение между наемным трудом и рабством в развитии капитализма является одним из центральных вопросов, разработанных в: Yann Moulier Boutang, *De L'esclavage au salariat: economie histotique du salariat bride* (Paris: Presses universitaires de France, 1998).
- 17 Это является одним из основных аргументов Робина Блэкберна в: Robin Blackburn, *Overthrow of Colonial Slavery*. См., в частности, p. 520.
- 18 **Moulier Boutang, *De l'esclavage au salariat*, p. 5.**
- 19 Franz Fanon, *The Wretched of the Earth*, trans. Constance Farrington (New York: Grove Press, 1963), p. 38. По поводу манихейского разделения колониального мира см.: Abdul JanMohamed, «The Economy of Manichean Allegory: The Function of Racial Difference in Colonialist Literature», *Critical Inquiry*, 12, no. 1 (Autumn 1985), 57-87.
- 20 **Fanon, *The Wretched of the Earth*, p. 42.**
- 21 Edward Said, *Orientalism* (New York: Vintage, 1978), pp. 4-5,104.
- 22 Культурная антропология осуществила радикальную самокритику в последние несколько десятилетий, показывая, как много ее наиболее влиятельных ранних течений участвовали и поддерживали колониалистские проекты. Ранними классическими примерами этой критики являются: Gerard Leclerc, *Anthropologie et colonialisme: essai sur l'histoire de l'africanisme* (Paris: Fayard, 1972); и Talal Asad, ed., *Anthropology and the Colonial Encounter* (London: Ithaca Press, 1973). Среди многочисленных более современных работ мы нашли особенно полезную следующую книгу: Nicholas Thomas, *Colonialism's Culture: Anthropology, Travel, and Government* (Princeton: Princeton University Press, 1994).
- 23 Этот аргумент четко разработан в: Valentin Mudimbe, *The Invention of Africa: Gnosis, Philosophy, and the Order of Knowledge* (Bloomington: Indiana University Press, 1988). См. особенно pp. 64,81 и ю8.
- 24 **Ranajit Guha, *An Indian Historiography of India: A Nineteenth-Century Agenda and Its Implications* (Calcutta: Centre for Studies in Social Sciences, 1988), p. 12.**
- 25 ***An Inquiry into causes of the insurrection of negroes in the island of St. Domingo* (London and Philadelphia: Crukshank, 1792), p. 5.**
- 26 См.: Paul Gilroy, *The Black Atlantic* (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1993), pp. 1-40.
- 27 См.: Franz Fanon, *Black Skin, White Mash*, trans. Charles Lam Markmann (New York: Grove Press, 1967), pp. 216-222.
- 28 Jean-Paul Sartre, «Black Orpheus», «*What Is Literature?*» and *Other Essays*, (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1988), p. 296.
- 29 Jean-Paul Sartre, Предисловие к Fanon, *The Wretched of the Earth*, p. 20.
- 30 «Фактически, негритюд подобен движению руки вверх для обозначения слабой доли

такта [*le temps faible*] диалектической прогрессии: теоретическое и практическое утверждение белого превосходства является тезисом; позиция негритюда как противоположной ценности есть момент негативности. Но этот негативистский момент недостаточен сам по себе, и те чернокожие, которые обращаются к нему, прекрасно это знают; они знают, что он нацелен на подготовку синтеза или на осуществление человеческого существа в безрасовом обществе. Таким образом, негритюд нужен *для* уничтожения самого себя; он является «переходом», а не «пунктом назначения», средствами, но не целью». Sartre, «Black Orpheus», p. 327.

- 31 Fanon, *The Wretched of the Earth*, p. 52.
- 32 Ibid., pp. 58-65.
- 33 См.: Malcolm X, «The Ballot or the Bullet», *Malcolm X Speaks* (New York: Pathfinder, 1989), pp. 23-44.
- 34 Мы должны помнить, что в сфере коммунистических и социалистических движений националистический дискурс не только легитимировал движения борьбы за освобождение от колониальных держав, но также служил средством, используемым для того, чтобы отстоять автономию и отличие местного революционного опыта от моделей ведущих социалистических держав. Например, китайский национализм был знаменем, под которым китайские революционеры могли сопротивляться советскому контролю и советским моделям, переводя марксизм на язык китайского крестьянства (то есть в идеи Мао Цзедуна). Подобным же образом, в последующий период, революционеры от Вьетнама до Кубы и Никарагуа настаивали на национальном характере освободительных движений для того, чтобы отстоять свою независимость от Москвы и Пекина.
- 35 Устав Организации Объединенных Наций, 2.1 в: Leland Goodrich and Edward Hambro, *Charter of the United Nations* (Boston: World Peace Foundation, 1946), p. 339. (Русск. пер. см. в: *Устав Организации Объединенных Наций и Статут Международного Суда* (Женева: Организация Объединенных Наций. Департамент Общественной Информации, 1982), с. ю. — прим. пер.)
- 36 Partha Chatterjee, *Nationalist Thought and the Colonial World: A Derivative Discourse?* (London: Zed Books, 1986), p. 168.

ЗАРАЖЕНИЕ

- 1 Луи Селин, *Путешествие на край ночи* (М.; Л.: 1934) с. иб. Последовательно цитируется в тексте.
- 2 См.: Cindy Patton, *Global AIDS I Local context*, в печати; and John O'Neill, «AIDS as a Globalizing Panic», in Mike Featherstone, ed., *Global Culture: Nationalism, Globalization, and Modernity* (London: Sage, 1990), pp. 329-342.

2.4 СИМПТОМЫ ПЕРЕХОДА

- 1 Arif Dirlik, *The Postcolonial Aura: Third World Criticism in the Age of Global Capitalism* (Boulder: Westview Press, 1997), pp. 52-83; цит. по p. 77.
- 2 См., например: Jane Flax, *Thinking Fragments* (Berkeley: University of California Press, 1990), p. 29.
- 3 Для объяснения того, как часто постмодернистские теоретики соединяют разнообразные феномены модернистской мысли в рамках единого раздела «Просвещение» см.: Kathi Weeks, *Constituting Feminist Subjects* (Ithaca: Cornell University Press, 1988), chap. 2.
- 4 bell hooks, *Yearning: Race, Gender, and Cultural Politics* (Boston: South End Press, 1990), p. 25.
- 5 Jane Flax, *Disputed Subjects* (London: Routledge, 1993), p. 91.
- 6 Что важно для постмодернистской критики, так это, во-первых, определить, что озна-

- чает «модернистское» в рассматриваемой области, и затем предложить новую парадигму, которая каким-либо образом соответствует некоторой форме постмодернистского мышления. Возьмем, например, область, которая может на первый взгляд показаться маловероятным кандидатом для подобного действия: общественное управление, то есть изучение бюрократии. Модернистская парадигма исследования, которая доминирует в данной области, определяется «предписанием нейтрального общественного управления, приписываемого Вильсону (отделение политики от управления), Тэйлору (научный менеджмент) и Веберу (иерархическое господство)». Charles Fox and Hugh Miller, *Postmodern Public Administration: Toward Discourse* (Thousand Oaks, Calif.: Sage, 1995) Р- 3' Ученые, которые убеждены в том, что эта парадигма устарела и ведет к недемократической государственной практике, могут использовать постмодернистское мышление как оружие для обеспечения перемен в данной дисциплине. В этом случае они предлагают «не-фундаментальную теорию дискурсов» как постмодернистскую модель, которая создаст более активные общественные взаимодействия и тем самым демократизирует бюрократию.
- 7 См.: James Der Derian and Michael Shapiro, eds., *International/Intertextual Relations: Postmodern Readings of World Politics* (Lexington, Mass.: Lexington Books, 1989); Jim George, *Discourses of Global Politics: A Critical (Re) Introduction to International Relations* (Boulder: Lynne Rienner Publications, 1994); и Michael Shapiro and Hayward Alker, Jr., eds., *Territorial Identities and Global Flows* (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1996).
 - 8 Homi Bhabha, *The Location of Culture* (London: Routledge, 1994), p. 18.
 - 9 Gyan Prakash, «Postcolonial Criticism and Indian Historiography», *Social Text*, no. 31/32, 1992, 8.
 - 10 См.: Edward Said, *Culture and Imperialism* (New York: Vintage, 1993), pp. 282–303.
 - 11 Edward Said, «Arabesque», *New Statesman and Society*, 7 (September 1990), 32.
 - 12 Лидере Стивенсон дает великолепный обзор концепций видения Соединенных Штатов как «нового Иерусалима» в: Anders Stephanson, *Manifest Destiny: American Expansionism and the Empire of Right* (New York: Hill and Wang, 1995).
 - 13 «Подобно большинству грез о „золотом веке“, „традиционная семья“... исчезает при ближайшем изучении. Это антиисторическая амальгама структур, ценностей и поведения, которые никогда не сосуществовали в одном и том же времени и месте». Stephanie Coontz, *The Way We Never Were: American Families and the Nostalgia Trap* (New York: Basic Books, 1992), p. 9.
 - 14 Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition* (Chicago: University of Chicago Press, 1984), p. 142.
 - 15 «Фундаментализм исламского мира, подвергающегося унижениям, является не традицией прошлого, но феноменом постсовременности: неизбежная идеологическая реакция на неудачу западной модернизации». Robert Kurz, «Die Krise, die aus dem Osten Kat», переведенное на итальянский в *Lonore perduto del lavoro*, trans., Anseim Jappe and Teresa Ricci (Rome: ManifestoHbri, 1994), p. 16. Более общий взгляд на сегодняшние заблуждения в отношении понятий традиции и групповой идентичности см.: Arjun Appadurai, «Life after Primordialism», *Modernity at large* (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1996), pp. 139–157.
 - 16 Akbar Ahmed, *Postmodernism and Islam* (New York: Routledge, 1992), p. 32.
 - 17 Rahman, *Islam and Modernity*, p. 136.
 - 18 Robert Reich, *The Work of Nations* (New York: Random House, 1992), pp. 8 и 3.
 - 19 См.: Arjun Appadurai, «Disjuncture and Difference in the Global Cultural Economy», *Modernity at Large* (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1996), pp. 27–47.
 - 20 См., например: Jean Baudrillard, *Selected Writings*, ed. Mark Poster (Oxford: Blackwell, 1988); и Umberto Eco, *Travels in Hyper-reality*, trans. William Weaver (London: Picador, 1986), pp. 3–58.

- 21 Stephen Brown, *Postmodern Marketing* (London: Routledge, 1995), p. 157. Если практика маркетинга является постмодернистской, указывает Браун, то теория маркетинга упрямо остается «модернистской» (что в данном случае означает позитивистской). Элизабет Хиршман и Моррис Холбрук также оплакивают сопротивление теории маркетинга и исследований поведения потребителей постмодернистскому мышлению в: Elizabeth Hirschman and Moris Holbrook, *Postmodern Consumer Research: The Study of Consumption as Text* (Newbury Park, Calif.: Sage), 1992.
- 22 См.: George Yudice, «Civil Society, Consumption, and Governmentality in an Age of Global Restructuring: An Introduction», *Social Text*, no. 45 (Winter 1995), 1-25.
- 23 William Bergquist, *The Postmodern Organization: Mastering the Art of Irreversible Change* (San Francisco: Jossey-Bass, 1993), p. xiii. См. также эссе в книге: David Boje, Robert Gephart Jr., and Tojo Joseph Thatchenkery, eds., *Postmodern Management and Organizational Theory* (Thousand Oaks, Calif.: Sage, 1996).
- 24 См.: Avery Gordon, «The Work of Corporate Culture: Diversity Management», *Social Text*, 44, vol. 13, no. 3 (Fall/Winter 1995), 3-30.
- 25 См.: Chris Newfield, «Corporate Pleasures for a Corporate Planet», *Social Text*, 44, vol. 13, no. 3 (Fall/Winter 1995), 31-44.
- 26 См.: Frederic Jameson, *Postmodernism, Or, The Cultural Logic of Late Capitalism* (Durham: Duke University Press, 1991); и David Harvey, *The Condition of Postmodernity* (Oxford: Blackwell, 1989).

2.5 СЕТЕВАЯ ВЛАСТЬ: СУВЕРЕНИТЕТ США И НОВАЯ ИМПЕРИЯ

- 1 Федералист. *Политические эссе А. Гамильтона, Дж. Мэдисона и Дж. Джея*, пер. под общ. ред., с предисл. Н. Н. Яковлева, коммент. О. Л. Степановой (М.: Издательская группа «Прогресс»; Литера, 1994). с. 73- Этот отрывок из 9-го выпуска *Федералиста* был написан А. Гамильтоном.
- 2 См.: J. G. A. Pocock, *The Machiavellian Moment: Florentine Political Thought and the Atlantic Republican Tradition* (Princeton: Princeton University Press, 1975); и J. S. D. Clark, *The Language of Liberty, 1660-1832* (Cambridge: Cambridge University Press, 1994).
- 3 По поводу передачи через Атлантику республиканской традиции, идущей от Английской революции к Американской, см.: Antonio Negri, *Il potere costituente* (Milan: Sugarco, 1992), chaps. 3 and 4, pp. 117-222; и David Cressy, *Coming Over: Migration and Communication between England and New England in the Seventeenth Century* (Cambridge: Cambridge University Press, 1987).
- 4 Снова см.: Negri, *Il potere costituente*. См. также: J. G. A. Pocock, «States, Republics, and Empires: The American Founding in Early Modern Perspective», in Terence Ball and J. G. A. Pocock, eds., *Conceptual Change and the Constitution* (Lawrence: University Press of Kansas, 1988), pp. 55-77.
- 5 См.: Полибий, *Всеобщая история в сорока книгах*, т. 2 (СПб.: Наука, Ювента, 1995). КН.VL-3-19, сс. 8-17.
- 6 См.: Alexis de Tocqueville, *Democracy in America*, 2 vols (New York: Knopf, 1994), особенно авторское Введение, 1:3-16. (Авторы особо ссылаются на собственное введение Токвиля, судя по всему, к первому изданию *Демократии*. Перевод сочинения Токвиля в нашей стране был осуществлен по тексту последующих (главным образом второго) изданий. См.: Токвиль Алексис де, *Демократия в Америке*, в 2-х тт. [М.: Весь мир, 2000]. — прим. пер.).
- 7 См.: Hannah Arendt, *On Revolution* (New York: Viking, 1963).
- 8 Мы прямо ссылаемся здесь на Макса Вебера: Вебер М., *Избранные произведения* (М.: Прогресс, 1997). но см. также: Michael Walzer, *Exodus and Revolution* (New York: Basic Books, 1985).

- 9 Детальный анализ противоречий в Конституции см. прежде всего: Michael Kammen, *A Machine That Would Go of Itself* (New York: Knopf, 1986).
- 10 Повсюду в своем прочтении Полибия в *Рассуждениях...* Макиавелли настаивает на необходимости осуществления Республикой экспансии с тем, чтобы не подвергнуться разложению. См.: Negri, *Ilpotere costituente*, pp. 75-97.
- 11 Сочетание реформизма и экспансионизма в «Империи права» прекрасно представлено Андерсом Стивенсоном в: Anders Stephanson, *Manifest Destiny: American Expansionism and the Empire of Right* (New York: Hill and Wang, 1995).
- 12 Вергилий, *Буколики*, эклога IV, 4-5, Вергилий Публий Марон, *Буколики. Георгики. Энеида*, пер. С. Шервинского (М.: Харьков: Фолио, 2000), с. 39. В оригинале читаем: «Ultima Cumaei uenit iam carminis aetas; / magnus ab integro saedorum nascitur ordo».
- 13 Брюс Акерман предлагает периодизацию первых трех режимов или фаз конституционной истории США. См.: *We The People: Foundations* (Cambridge: Mass. Harvard University Press, 1991), особенно pp. 58-80.
- 14 «Что разделял каждый человек прежде всего, так это ощущение страны совершенно нового типа, в уникальной степени отмеченной социальной, экономической и пространственной открытостью». Stephanson, *Manifest Destiny*, p. 28.
- 15 Маркс объясняет экономические корни Соединенных Штатов, когда анализирует идеи американского экономиста Чарльза Кэри. Соединенные Штаты являются страной, «где буржуазное общество развивалось не на основе феодализма, а начинало с самого себя». Маркс К., «Бастия и Кэри», Маркс К., Энгельс Ф., *Сочинения*, изд. 2-е, т. 46. ч. 1 (М.: 1957) с. 4- Маркс также обсуждает особенность капиталистического развития в Соединенных Штатах (наряду с другими поселенческими колониями, такими как Австралия) в: Маркс К., *Капитал*, т. 1, Маркс К., Энгельс Ф., *Сочинения*, изд. 2-е, т. 23, сс. 774-784. Анализ Токвилем социально-экономических корней Соединенных Штатов см.: Алексис де Токвиль, *Демократия в Америке*, т. 1, гл. 1 и 2, сс. 43-61-
- 16 Томас Джефферсон «видел экспансию как совершенно необходимое сопутствующее обстоятельство стабильной, надежно защищенной и процветающей Империи Свободы». Robert Tucker and David Hendrickson, *Empire of Liberty: The Statecraft of Thomas Jefferson* (Oxford: Oxford University Press, 1990), p. 162.
- 17 Конституция Соединенных Штатов Америки, ст. г, разд. г. См.: *Соединенные Штаты Америки. Конституция и законодательные акты*, под ред. и со вступительной статьей проф. О. А. Жидкова (М.: Издательская группа «Прогресс»; Универс, 1993). с. 29.0 правиле трех пятах см.: John Chester Miller, *The Wolf by the Ears: Thomas Jefferson and Slavery* (New York: Free Press, 1977), pp. 221-225. ••
- 18 Краткую историю конституционных кризисов, вызванных рабством темнокожих, от Конституционного Конвента до Гражданской Войны см: Michael Kammen, *A Machine That Would Go of Itself*, pp. 96-105.
- 19 О появлении американского промышленного рабочего класса как могучей силы в конце девятнадцатого и начале двадцатого столетий см.: David Brody, *Workers in Industrial America: Essays on Twentieth-Century Struggles* (Oxford: Oxford University Press, 1980), pp. 3-47; Stanley Aronowitz, *False Promises: The Shaping of American Working-Class Consciousness* (New York: McGraw-Hill, 1973), pp. 137-166; и Bruno Ramirez, *When Workers Fight: The Politics of Industrial Relations in the Progressive Era, 1898-1916* (Westport. Conn.: Greenwood Press, 1978).
- 20 Добротный анализ взаимоотношений между американским экспансионизмом и европейским империализмом в категориях внешней политики см.: Akira Iriye, *From Nationalism to Internationalism: U. S. Foreign Policy to 1914* (London: Routledge and Kegan Paul, 1977).
- 21 Цитируется в: Frank Ninkovich, «Theodore Roosevelt: Civilization as Ideology», *Diplomatic*

- History*, 20, no. 3 (Summer 1986), 211-245; цит. по pp. 232-233. Нинкович ясно показывает, что империализм Рузвельта был прочно укоренен в идеологии «распространения цивилизации».
- 22 О Вудро Вильсоне и судьбах прогрессистского интернационализма см.: Thomas Knock, *To End All Wars: Woodrow Wilson and the Quest for a New World Order* (Oxford: Oxford University Press, 1992).
- 23 См.: Antonio Negri, «Keynes and the Capitalist Theory of the State», in Michael Hardt and Antonio Negri, *Labor of Dionysus* (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1994), pp. 23-51.
- 24 Впечатление от доктрины Монро в момент ее провозглашения было в лучшем случае двусмысленным, и Эрнст Мей доказывает, что доктрина в такой же мере обязана своим существованием внутриполитическому давлению, как и международным проблемам; см.: Ernst May, *The Making of Monroe Doctrine* (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1975). Доктрина стала успешно претворяться в жизнь лишь с началом империалистических кампаний Теодора Рузвельта и особенно благодаря проекту строительства Панамского канала.
- 25 О долгой истории военных интервенций США в Латинскую Америку и особенно в Центральную Америку, см.: Ivan Musicant, *The Banana Wars: A History of United States Military Intervention in Latin America* (New York: Macmillan, 1990); Noam Chomsky, *Turning the Tide: U. S. Intervention in Central America and the Struggle for Peace* (Boston: South End Press, 1985); Saul Landau, *The Dangerous Doctrine: National Security and U. S. Foreign Policy* (Boulder: Westview Press, 1988).
- 26 Уильям Чейф с точки зрения социального историка определяет 1968 год как время смены режима в Соединенных Штатах: «Любой историк, который использует слово „водораздел“ для описания данного момента, подвергается риску чрезмерного упрощения сложности исторических процессов. Однако если слово привлекается для обозначения поворотного момента, который отмечает конец доминирования одной констелляции сил и начала доминирования другой, оно кажется уместным для описания того, что имело место в Америке в 1968 году». William Chafe, *The Unfinished Journey: America since World War II* (Oxford: Oxford University Press, 1986), p. 378. Чейф фиксирует здесь именно то, что мы подразумеваем под сменой конституционного режима, то есть конец доминирования одной констелляции сил и начало доминирования другой. Анализ Чейфом республиканского духа движений см. pp. 302-342.

2.6 ИМПЕРСКИЙ СУВЕРЕНИТЕТ

- 1 Кант И., «Ответ на вопрос: что такое Просвещение?» Кант И., *Сочинения*, в 6-ти тт., т. 3 (М.: Мысль, 1966).
- 2 Фуко М., «Что такое Просвещение?» *Интеллектуалы и власть*, ч. I (М.: Праксис, 2002), с. 352.
- 3 Там же.
- 4 По поводу отношений между метафизикой и политической теорией периода современности см.: Antonio Negri, *The Savage Anomaly*, trans. Michael Hardt (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1991).
- 5 Мы обнаруживаем версии этой пространственной конфигурации внутреннего и внешнего у многих нынешних философов, вызывающих у нас наибольшее восхищение — даже у тех писателей, кто, как Фуко и Бланшо, отходит от диалектики, и даже у Деррида, который останавливается на границе между внутренним и внешним, данная конфигурация представляет собой наиболее двусмысленную и темную черту теоретической мысли современности. О Фуко и Бланшо см. эссе Фуко «Maurice Blanchot: The Thought from Outside», trans. Brian Massumi, *Foucault/Blanchot* (New York: Zone Books, 1987).

- О Деррида см.: *Margins of Philosophy*, trans. Alan Bass (Chicago: University of Chicago Press, 1981).
- 6 Frederic Jameson, *Postmodernism, Or, The Cultural Logic of Late Capitalism* (Durham: Duke University Press, 1991), p. ix.
- 7 Здесь мы рассуждаем в основном о понимании политического Ханной Арендт, сформулированном в: Hannah Arendt, *The Human Condition* (Chicago: University of Chicago Press, 1958). См. рус. пер.: Арендт Х., *Vita activa* (СПб.: Алетейя, 1999).
- 8 О Лос-Анджелесе см.: Mike Davis, *City of Quartz* (London: Verso, 1990), pp. 221–263. 0 Сан-Паулу см.: Teresa Caldeira, «Fortified Enclaves: The New Urban Segregation», *Public Culture*, no. 8 (1996), 303–328.
- 9 См.: Guy Debord, *Society of the Spectacle*, trans. Donald Nicholson-Smith (New York: Zone Books, 1994). Рус. пер. см.: Дебор Ги, *Общество спектакля* (М.: Логос, 2000).
- 10 Francis Fukuyama, *The End of History and the Last Man* (New York: Free Press, 1992).
- 11 «Мы наблюдали, как машина войны... направила свои прицелы на врага нового типа, не на другое Государство или даже другой режим, но на „l'ennemy quelconque" [на любого врага]». Gilles Deleuze and Felix Guattary, *A Thousand Plateaus*, trans. Brian Massumi (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1987), p. 422.
- 12 Без сомнения, внутри мирового рынка существуют зоны лишения, где поток капитала и товаров ограничен до минимума. В некоторых случаях это лишение определяется ясным политическим решением (как в случае торговых санкций против Ирака), а в других случаях оно следует из имплицитной логики глобального капитала (как в случае замкнутого круга бедности и голода в Африке южнее Сахары). Во всех случаях, однако, эти зоны не являются внешними по отношению к капиталистическому рынку; скорее они функционируют в рамках мирового рынка как низшие ступени глобальной экономической иерархии.
- 13 Превосходное объяснение концепции диаграммы Фуко см. в: Делез Ж., *Фуко* (М.: Издательство гуманитарной литературы, 1998), сс. 59–64.
- 14 Балибар Э., «Существует ли „неорасизм"?» Балибар Э., Валлерстайн И., *Раса, нация, класс. Двусмысленные идентичности* (М.: Логос, 2004), сс. 32–33- Эйвери Гордон и Кристофер Ньюфилд выявляют нечто весьма похожее на либеральный расизм, характеризующийся в основном «антирасистской позицией, которая сосуществует с поддержкой последствий расизма», в: Avery Gordon and Christopher Newfield, «White Mythologies», *Critical Inquiry*, 20, no. 4 (Summer 1994), 737–757. цит. по p. 737.
- 15 Балибар Э., «Существует ли „неорасизм"?» Балибар Э., Валлерстайн И., *Раса, нация, класс. Двусмысленные идентичности* (М.: Логос, 2004), с. 32.
- 16 См.: Walter Benn Michaels, *Our America: Nativism, Modernism, and Pluralism* (Durham: Duke University Press, 1995); и «Race into Culture: A Critical Genealogy of Cultural Identity», *Critical Inquiry*, 18, no. 4 (Summer 1992), 655–685. Бени Майклз критикует разновидность расизма, обнаруживающую себя в культурном плюрализме, но делает это так, что его критика, похоже, укрепляет позиции нового либерального расизма. См. прекрасную критику его работы Гордоном и Ньюфилдом в «White Mythologies».
- 17 Deleuze and Guattary, *A Thousand Plateaus*, p. 178.
- 18 *Ibid.*, p. 209.
- 19 См.: Lauren Berlant, *The Queen of America Goes to Washington City: Essays on Sex and Citizenship* (Durham: Duke University Press, 1997). О полном изменении ею смысла лозунга «Личное есть политическое» см. pp. 175–180. Ее превосходный анализ «внутренней публичной сферы» см. pp. 2–24.
- 20 Либеральный порядок Империи обеспечивает своего рода «консенсус касающийся общих принципов», предложенный Джоном Ролзом, когда ото всех требуется отбросить свои «всеобъемлющие доктрины» в интересах терпимости. См.: John Rawls, *Political Liberalism* (New York: Columbia University Press, 1993). Критическое рассмотрение его

- книги см. в: Michael Hardt, «On Political Liberalism», *Qui Park*, 7, no. 1 (Fall/Winter 1993), 140-149-
- 21 О (вос)создании этнических идентичностей в Китае см., например: Ralph Litzinger, «Memory Work: Reconstituting the Ethnic in Post-Mao China», *Cultural Anthropology*, 13, no. 2 (1998), 224-255.
- 22 Делез Ж., «Послесловие к обществам контроля», *Переговоры* (СПб: Наука, 2004).
- 23 См.: Philippe Bourgois. *Ethnicity at Work: Divided Labor on a Central American Banana Plantation* (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1989).
- 24 Аристотель, *О возникновении и уничтожении*, в *Сочинениях*, в 4-х тт., т. 3 (М.: Мысль, 1981). В целом, о философских концепциях порождения и разложения см.: Reiner Schuermann, *Des hegemonies busies* (Mouvezin: T.E.R., 1996).

ОТКАЗ

- 1 См. особенно: Gilles Deleuze, «Bartleby ou la formule», *Critique et clinique* (Paris: Minuit, 1993), pp. 89-114; и Giorgio Agamben, «Bartleby 0 della contingenza», *Bartleby: la formula della creazione* (Macerata: Quodlibet, 1993), pp. 47-92. Рус. пер.: Делез Ж., «Бартлеби или формула», *Критики и клиника* (СПб: Machina, 2002), с. 96-124.
- 2 J. M. Coetzee, *The Life and Times of Michael K* (Harmondsworth: Penguin, 1983), p. 151. Рус. пер.: Кутзее Дж. М., *В ожидании варваров. Жизнь и время Михаэля К* (СПб.: Амфора, 2003).
- 3 Этьен де Ла Бозси, *Рассуждение о добровольном рабстве*, 2 изд. (М.: 1962), с. ю (см. также на с. 37 перевод того же отрывка Л. Н. Толстым — прим. пер.). На французском см.: *Discours de la servitude volontaire*, in *Oeuvres complètes* (Geneva: Stalkine, 1967), pp. 1-57; цит. по р. 14.

ИНТЕРМЕЦЦО: КОНТР-ИМПЕРИЯ

- 1 Gilles Deleuze and Felix Guattari, *Anti-Oedipus*, trans. Robert Hurley, Mark Lane, and Helen Lane (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1983), p. 239.
- 2 Одно из лучших описаний истории ИРМ содержится в объемистом произведении Джона Дос Пассоса (J. D. Passos, *USA* [New York: Library of America, 1996]). См. также: Joyce Kornbluh, ed., *Rebel Voices: an L.W.W. Anthology* (Ann Arbor: University of Michigan Press, 1964).
- 3 Маркс К., *Капитал*, т. 1, Маркс К., Энгельс Ф., *Сочинения*, изд. 2-е, т. 23, с. 44& «Можно было бы написать целую историю таких изобретений с 1830 г., — которые были вызваны к жизни как боевые средства капитала против возмущений рабочих».
- 4 Об изменяющимся отношении труда и стоимости см.: Antonio Negri, «Twenty Theses on Marx», in Saree Makdisi, Cesare Casarino, and Rebecca Karl, eds., *Marxism Beyond Marxism* (New York: Routledge, 1996), pp. 149-180; и Antonio Negri, «Value and Affect», *boundary 2*, 26, no. 2 (Summer 1999).
- 5 Deleuze and Guattari, *Anti-Oedipus*, p. 29.
- 6 Одним из наиболее значимых произведений об итальянском сопротивлении является *Uomini e no* (*Люди и не люди*) Элио Виторини, в котором быть человеком значит «быть против». В рассказах Нанни Балестрини о классовой борьбе в Италии в 1960-х и 1970-х гг. принимается это же позитивное определение «бытия-против». См., в особенности, *Vogliamo tutto* (Milan: Feltrinelli, 1971); и *The Unseen*, trans. Liz Heron (London: Verso, 1989).
- 7 Йани Мулье Бутан доказывает, что марксистское понятие «резервной армии труда» оказалось особенно сильным препятствием для нашего понимания силы этой мобильности. В этих теоретических рамках разделение и стратификация рабочей силы, в об-

шем, понимаются как предопределенные и закрепленные количественной логикой развития, то есть производственной рациональностью капиталистического управления. Это жесткое и однозначное принуждение представляется имеющим такую власть, что считается, будто все виды рабочей силы детерминированы исключительно капиталом. Даже безработное и мигрирующее население рассматривается в качестве «резервной армии», являющейся продуктом капиталистической детерминации. Рабочая сила лишена субъектности и различий, поскольку считается полностью починенной железным законам капитала. См.: Yann Moulier Boutang, *De l'esclavage au salariat* (Paris: Presses universitaires de France, 1998).

Friedrich Nietzsche, *The Will to Power*, trans. Walter Kaufmann and R. J. Holmgdale (New York: Vintage, 1968), p. 465 (no. 868, November 1887–March 1888).

Мы рассматриваем исход в качестве одной из движущих сил падения «реального социализма» в *Labor of Dionysus* (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1994), pp. 263–269. Первый отрывок из: Walter Benjamin, «Erfahrung und Armut», *Gesammelte Schriften*, ed. Rolf Tiedemann and Herman Schwepenhauser (Frankfurt: Suhrkamp, 1972), vol. 2, pt. 1, pp. 213–119; цит. по p. 21s; второй отрывок из: «The Destructive Character», *Reflections*, ed. Peter Demetz (New York: Schocken Books, 1978), pp. 302–303.

О миграциях сексуальности и сексуальных перверсий см.: Francois Peraldi, ed., *Polysexuality* (New York: Semiotext(e), 1981); и Sylvere Lotringer, *Overexposed: Treating Sexual Perversion in America* (New York: Pantheon, 1988). Артур и Марилуиз Крокер также подчеркивают подрывной характер тел и типов сексуальности, отказывающихся от чистоты и следования норме, в ряде очерков, как, например: «The Last Sex: Feminism and Outlaw Bodies», in Arthur and Marilouise Kroker, eds., *The Last Sex: Feminism and Outlaw Bodies* (New York: St. Martin's Press, 1993). Наконец, лучшим источником по экспериментам с телесными и сексуальными трансформациями могут послужить произведения Кэти Зкер; см., например: *Empire of the Senseless* (New York: Grove Press, 1988).

О постчеловеческом изменении тела см.: Judith Halberstam and Ira Livingston, «Introduction: Posthuman Bodies», in Judith Halberstam and Ira Livingstone, eds., *Posthuman Bodies* (Bloomington: Indiana University Press 1995), pp. 1–19; и Steve Shaviro, *The Cinematic Body* (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1993). Еще одно любопытное исследование о возможных изменениях человеческого тела см.: Alfonso Lingis, *Foreign Bodies* (New York: Routledge, 1994); Также см. художественные перформансы Стеларка, как то: *Stelarc, Obsolete Body: Suspensions* (Davis, Calif.: J. P. Publication, 1984).

Наиболее известные тексты, которые служат основой для целого ряда работ, обыгрывающих идею устранения границ человеческого, животного и машинного миров, см.: Donna Haraway, *Simians, Cyborgs, and Women: The Reinvention of Nature* (New York: Routledge, 1991); и Deleuze and Guattari, *Anti-Oedipus*, pp. 1–8. Множество исследований было опубликовано в 1990-х гг., особенно в Соединенных Штатах, о политических возможностях телесного номадизма и трансформации. Вот три наиболее интересных примера феминистских текстов, представляющих совершенно различные теоретические точки зрения: Rosi Braidotti, *Nomadic Subjects: Embodiment and Sexual Difference in Contemporary Feminist Theory* (New York: Columbia University Press, 1994); Camilla Griggers, *Becoming-Woman in Postmodernity* (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1996); и Anna Camaiti Hostert, *Passing* (Rome: Castelvecchi, 1997).

Контроль и мутации — это, вероятно, основные темы киберпанковской литературы. Достаточно посмотреть такой ранний текст, как: William Gibson, *Neuromancer* (New York: Ace 1984). Однако, пожалуй, наиболее впечатляющая разработка этих тем дана в романах Уильяма Берроуза и фильмах Дэвида Кроненберга. О Берроузе и Кроненберге см.: Steve Shaviro, *Doom Patrols: A Theoretical Fiction about Postmodernism* (London: Serpent's Tail, 1997), pp. 101–121.

- 15 Этот совет в качестве рецепта от подчинения жизни тела норме был, пожалуй, основным принципом терапевтической практики Феликса Гваттари.
- 16 «Пролетариат... появляется как наследник кочевников в Западном мире. Не только многие анархисты обращались к пришедшим с Востока темам номадизма, но, прежде всего, буржуазия, которая тут же приравняла пролетариат к кочевникам, уподобив Париж городу, захваченному кочевниками». См.: Gilles Deleuze and Felix Guattari, *A Thousand Plateaus*, trans. Brian Massumi (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1987), p. 558, note 61.
- 17 См. очерк Антонио Негри о «Призраках Маркса» Жака Деррида в «The Specter's Smile», in Michael Spinker, ed., *Ghostly Demarcations* (London: Verso, 1999), pp. 5-16.

3.1 ПРЕДЕЛЫ ИМПЕРИАЛИЗМА

- 1 Источники по дискуссии об империализме от Каутского до Ленина содержатся в прекрасной библиографии у Hans-Ulrich Wehler, ed., *Imperialisms* (Cologne: Kiepenheuer and Witsch, 1970), pp. 443-459. Библиографию дискуссии об империализме, возникшей в период между двумя мировыми войнами и продолжавшейся вплоть до 1960-х, см.: Dieter Senghaas, ed., *Imperialisms und strukturelle Gewalt* (Frankfurt: Suhrkamp, 1972), pp. 379-403. Изданный на английском языке достойный внимания обзор этих дебатов см. в: Anthony Brewer, *Marxist Theories of Imperialism: A Critical Survey* (London: Routledge and Kegan Paul, 1980).
- 2 Маркс К., *Экономические рукописи 1857-1861 гг.*, ч. I (М.: Политиздат, 1980), с. 389. Впоследствии цитируемый в тексте анализ Марксом внутренних «пределов» капиталистического производства см. также в: Маркс К., *Капитал*, т. 3. Маркс К., Энгельс Ф., *Сочинения*, изд. 2-е, т. 25, ч. 1, ее. 264-292.

Следующий аргумент породил целый спектр теорий «недопотребления», доказывающих, что неспособность потратить все производимые товары есть роковой изъян капитализма, с неизбежностью ведущий его к краху. Множество марксистских и немарксистских экономистов убедительно полемизировали с идеей, что тенденция капитализма слишком много производить или слишком мало потреблять приведет к катастрофе. Оценку аргументации теории недопотребления у Маркса и Р. Люксембург см.: Michael Vleaney, *Underconsumption Theories* (New York: International Publishers, 1976), pp. 102-119 and 186-2011 и Введение Эрнеста Манделл ко второму тому *Kapitala* в изд.: *Capital*, vol. 2, trans. David Fernbach (Harmondsworth: Penguin, 1977), pp. 69-77. См. также имевшую большой отклик критику идей Розы Люксембург Бухариным в: Бухарин Н. И., *Империализм и накопление капитала: Теоретический этюд*, 4-е изд. (М.; Л.: Госиздат, 1929). Мы должны отметить, что экономическая необходимость, основанная на количественных расчетах, есть иногда форма, но не содержание аргументов Маркса и Люксембург. Любая необходимость в действительности является исторической и общественной. Маркс и Люксембург просто определили экономический барьер, помогающий объяснить, как исторически капитал двигался и расширялся за свои пределы, включая в свою сферу новые рынки.

Анализ Марксом умеренности при капиталистическом потреблении см.: *Капитал*, т. 1, Маркс К., Энгельс Ф., *Сочинения*, изд. 2-е, т. 2J, ее. 605-612; Маркс К., *Капитал*, т. 3, Маркс К., Энгельс Ф., *Сочинения*, изд. 2-е, т. 25, ч. 1, с. 283.

«Вся товарная масса, весь продукт, — как та его часть, которая возмещает постоянный и переменный капитал, так и часть, представляющая прибавочную стоимость, — должна быть продана. Если этого не происходит, или если это происходит только отчасти, или если товар продается лишь по ценам, которые ниже цен производства, то хотя рабочий и эксплуатировали, но эта эксплуатация не реализуется как таковая для капиталиста, так как отсутствуют условия реализации выжатой прибавочной стоимости или

- возможна лишь частичная ее реализация, то есть имеет место частичная или полная потеря капитала». Маркс К., *Капитал*, т. 3, Маркс К., Энгельс Ф., *Сочинения*, изд. 2-е, т. 25, ч. 1, ее. 267-268
- 6 Там же, с. 268.
- 7 О расширении производства и рынков см.: Маркс К., *Экономические рукописи 1857-1861 гг.*, ч. 1 (М.: Политиздат, 1980), с. 400; и Маркс К., *Капитал*, т. 1, Маркс К., Энгельс Ф., *Сочинения*, изд. 2-е, т. 23, сс. 59²-60¹; Маркс К., *Капитал*, т. 2, Маркс К., Энгельс Ф., *Сочинения*, изд. 2-е, т. 24, сс. 887-393; Маркс К., *Капитал*, т. 3, Маркс К., Энгельс Ф., *Сочинения*, изд. 2-е, т. 25, чл, ее. 271-274-
- 8 «Настоящий предел капиталистического производства — это сам капитал...» Маркс К., *Капитал*, т. 3, Маркс К., Энгельс Ф., *Сочинения*, изд. 2-е, т. 25, ч. 1, с. 274.
- 9 Люксембург Р., *Накопление капитала* (М.; Л.: Соцэкгиз, 1934) с. 258 и 337- Анализ Розой Люксембург капиталистического накопления, ее критика Маркса, ее теория краха капитализма были предметом оживленной дискуссии с момента первой публикации ее книги. Хороший обзор см. во Введении Манделя к *Капиталу*: *Capital*, 2:11-79, особенно pp. 62-69; Joan Robinson, Введение к: Luxemburg, *The Accumulation of Capital*, pp. 13-28; а также Paul Sweezy, *The Theory of Capitalist Development* (New York: Oxford University Press, 1942), pp. 202-207.
- 10 Fernand Braudel, *Capitalism and Material Life, 1400-1800*, trans. Miriam Kochan (New York: Harper and Row, 1973), p. 308.
- 11 Люксембург Р., *Накопление капитала* (М.; Л.: Соцэкгиз, 1934), с. 251.
- 12 Там же, с. 262.
- 13 Гильфердинг Р., *Финансовый капитал* (М.; Л.: Соцэкгиз, 1959), с. 4⁴-
- 14 Маркс К., Энгельс Ф., «Манифест коммунистической партии», *Сочинения*, изд. 2-е, т. 4, с. 428.
- 15 О неравномерности развития и географических различиях в процессе капиталистической экспансии см.: David Harvey, *The Limits to Capital* (Chicago: University of Chicago Press, 1984); and Neil Smith, *Uneven Development: Nature, Capital, and the Production of Space* (Oxford: Blackwell, 1984).
- 16 Люксембург Р., *Накопление капитала* (М.; Л.: Соцэкгиз, 1934), с. уи.
- 17 «Подобно власти, наиболее глобальным выражением которой он служит, империализм не является понятием, которое может сформировать предмет какого-то четкого экономического определения. Империализм может быть понят только на основе полностью разработанной теории государства». Michel Aglietta, *A Theory of Capitalist Regulation*, trans. David Fernbach (London: New Left Books, 1979), p. 30.
- 18 Прежде всего см.: Ленин В. И., «Империализм как высшая стадия капитализма», *Избранные сочинения*, в 10-ти тт., т. 6: 1910-1917 (М.: Политиздат, 1985), сс. 34-439- Также: Ленин В. И., «Тетради по империализму», *Полное собрание сочинений*, т. 18. >
- 19 Гильфердинг Р., *Финансовый капитал* (М.; Л.: Соцэкгиз, 1959), ее. 245-34- Анализ Гильфердинга в значительной степени опирается на марксову теорию выравнивания общего уровня прибыли посредством конкуренции. Маркс К., *Капитал*, т. 3 Маркс К., Энгельс Ф., *Сочинения*, изд. 2-е, т. 25, ч. 1, сс. 189-218.
- 20 Karl Kautsky, «Zwei Schriften zum Umlernen», *Die Neue Zeit*, April 30, 1915, p. 144. Выдержки из работ Каутского об империализме включены: в *Karl Kautsky: Selected Political Writings*, ed. and trans. Patrick Goode (London: Macmillan, 1983), pp. 74-96.
- 21 В. И. Ленин, «Предисловие к брошюре Н. И. Бухарина *Мировое хозяйство и империализм*, *Полное собрание сочинений*, т. 27, с. 97- См. также.: Ленин В. И., «Империализм как высшая стадия капитализма», *Избранные сочинения*, в 10-ти тт., т. 6: 1910-1917 (М.: Политиздат, 1985), с. 394- Здесь мы должны заметить, что, хотя Ленин несомненно прав, утверждая, что позиция Каутского является отступлением от метода Маркса, поскольку он игнорирует потенциальные конфликты и практические возможности текущего

- момента, анализ Каутским тенденции к формированию единого мирового рынка находит соответствие в трудах Маркса, особенно в его статьях о колониализме в Индии, в которых он сформулировал идею существования тенденции империалистического развития, напрямую ведущей к формированию мирового рынка. См. в особенности: Маркс К., «Будущие результаты британского владычества в Индии», Маркс К., Энгельс Ф., Сочинения, изд. 2-е, т. 9, с. 214-
- 22 В. И. Ленин, «Предисловие к брошюре Н. И. Бухарина *Мировое хозяйство и империализм*». *Полное собрание сочинений*, т. 27, с. 98.
 - 23 См.: Antonio Negri, *Lafabbrica della strategia: 33 lezioni u Lenin* (Padua: CLEUP, 1976).
 - 24 О том, чем Ленин обязан Гобсону, см.: Giovanni Arrighi, *The Geometry of Imperialism: The Limits of Hobson's Paradigm*, trans. Patrick Camiller (London: Verso, 1978), pp. 23-27.
 - 25 Цит. по изд.: Ленин В. И., «Империализм как высшая стадия капитализма», *Избранные сочинения*, в ю-ти тт., т. 6:1910-1917 (М.: Политиздат, 1985), с. 394-
 - 26 Особенно важно воздать должное там, где это сегодня более всею необходимо, там, где мы сталкиваемся с многочисленными вариантами исторического ревизионизма. Бедный Грамши, коммунист и прежде всего борец, замученный и убитый фашизмом и боссами, его финансировавшими, — ему была дарована честь считаться основоположником странной концепции «гегемонии», не оставляющей никакого места для марксистской политики. (См., например: Ernesto Laclau and Chantal Mouffe, *Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical Democratic Politics* [London: Verso, 1985], особенно pp. 65-71.) Мы должны защищаться от столь щедрых даров!
 - 27 См.: Roman Rosdolsky, *The Making of Marx's «Capital»*, trans. Peter Burgess (London: Pluto Press, 1977).
 - 28 Про недостающий том о заработной плате см.: Antonio Negri, *Marx Beyond Marx*, trans. Harry Cleaver, Michael Ryan, and Maurizio Viano (New York: Autonomedia, 1991), pp. 127-150; and Michael Lebowitz, *Beyond Capital Marx's Political Economy of the Working Class* (London: Macmillan, 1992). По вопросу существования марксистской теории государства см. дискуссию между Норберто Боббио и Антонио Негри в: Norberto Bobbio, *Which Socialism?* (Cambridge: Polity Press, 1987).
 - 29 Маркс К., *Экономические рукописи 1857-1861 гг., ч. I* (М.: Политиздат, 1980), с. 389.
 - 30 Fernand Braudel, *Afterthoughts on Material Civilization and Capitalism*, trans. Patricia Ranum (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1977), p. 64.

ЦИКЛЫ

- 1 «Время от времени я, как и всякий другой, устаю от лозунга „постмодерн“, но всякий раз, как у меня возникало искушение выразить сожаление по поводу моей с ним связи, пожаловаться на злоупотребления им и на его дурную славу и заключить с некоторой неохотой, что оно создает проблем больше, чем решает, я застывал в недоумении, по поводу того, может ли какое-либо другое понятие выразить стоящие перед нами проблемы столь действенным и кратким способом». Fredric Jameson, *Postmodernism, or, The Cultural Logic of Late Capitalism* (Durham: Duke University Press, 1991), p. 418.
- 2 Giovanni Arrighi, *The Long Twentieth Century: Money, Power, and the Origins of Our Times* (London: Verso, 1994).
- 3 *Ibid.*, p. 332.

3.2 ДИСЦИПЛИНАРНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

- i См.: James Devine, «Underconsumption, Over-investment, and the Origins of the Great Depression», *Review of Radical Political Economics*, 15, no. 2 (Summer 1983), 1-27. Об экономическом кризисе 1929 г. см. также классический анализ Джона Кеннета Гэлбрейга в его

работе *The Great Crash*, 1929 (Boston: Houghton Mifflin, 1954), где внимание фокусируется на биржевых спекуляциях как причине кризиса. Среди вышедших позже работ см.: Gerard Dumenil, D. Levy, *La dynamique du capital: un siecle d'economie americaine* (Paris: PUF, 1996). В более общем плане о теоретических проблемах, поставленных кризисом 1929 г. перед политической экономией XX века, см.: Michel Aglietta, *A Theory of Capitalist Regulation*, trans. David Fernbach (London: New Left Books, 1979); а также Robert Boyer and Jacques Mistral, *Accumulation, inflation, crises* (Paris: PUF, 1978).

Джон Мейнард Кейнс был, пожалуй, самым дальновидным участником Версальской конференции. Уже на самой конференции и позднее в своем очерке «Экономические последствия мира» он осудил политический эгоизм победителей, который стал одним из факторов, способствовавших возникновению экономического кризиса 1920-х гг.

Такой тип объяснения экономического и политического кризиса 1929 г. должен быть решительно противопоставлен «ревизионистским» историографическим концепциям в духе Франсуа Фюре, Эрнста Нольте и Ренцо де Феличе. Его сторонники показывают важное значение *экономического* элемента в определении путей политического развития в XX веке. Ревизионистские концепции, наоборот, рассматривают события XX века как линейный процесс развития идей, часто находившихся в диалектическом противостоянии друг другу, с полюсами, представленными фашизмом и коммунизмом. См., например: Francois Furet, *Le passe d'une illusion: essai sur l'idee communiste au XXe slide* (Paris: Robert Laffont, 1995), особенно главу, в которой автор обсуждает взаимоотношения между фашизмом и коммунизмом (pp. 189-248).

См.: Jon Halliday, *A Political History of Japanese Capitalism* (New York: Pantheon, 1975), pp. 82-133.

Представители американской «либеральной» историографии, и среди них Артур Майер Шлезингер, более других настаивали на составном характере американского прогрессизма. См. его *Political and Social Growth of the American People, 1865-1940*, 3rd ed. (New York: Macmillan, 1941). См. также: Arthur Ekirch, Jr., *Progressivism in America: A Study of the Era from Theodore Roosevelt to Woodrow Wilson* (New York: New Viewpoints, 1974).

Эту основную линию развития прослеживают Мишель Аглиетта (Michel Aglietta) в своей книге *A Theory of Capitalist Regulation* и Бенжамен Корья (Benjamin Coriat) в работе *Vatelier et le chronometre* (Paris: Christian Bourgois, 1979). См. также: Antonio Negri, «Keynes and the Capitalist Theory of the State», in Michael Hardt and Antonio Negri, *Labor of Dionysus* (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1994), pp. 23-51; и «Crisis of the Planner-State: Communism and Revolutionary Organisation», *Revolution Retrieved* (London: Red Notes, 1988), pp. 91-148. Добротный анализ Нового курса и кейнсианства также содержится в работе Сюзанны де Бронхофф (Suzanne de Brunhoff) *The State, Capital, and Economic Policy*, trans. Mike Sonenscher (London: Pluto Press, 1978), pp. 61-80.

Понятие дисциплины, разработанное Мишелем Фуко, конечно же, имеет несколько иное смысловое ударение, чем термин, используемый нами в данной работе, но мы опираемся на те же практики и ту же всеобщность его применения. Основные теоретические соображения Фуко заключаются в том, что дисциплина насаждается посредством институциональных структур; что сила дисциплины заключена не в некоем главном источнике, но в тончайших образованиях, возникающих там, где она применяется; и что субъективности производятся посредством усвоения дисциплины и реализацию ее практик. Все это в полной мере соответствует нашим представлениям. В центре нашего внимания, однако, находится вопрос о том, насколько практики и дисциплинарные отношения, которые рождаются в рамках режима производства, покрывают все социальное пространство в качестве одновременно механизма производства и управления, то есть как режим общественного производства.

Важнейший труд, описывающий этот процесс и предсказывающий его последствия, принадлежит Максу Хоркхаймеру и Теодору Адорно и был написан в середине

- 1940-х гг. — *Диалектика Просвещения* (Адорно Т., Хоркхаймер М., *Диалектика просвещения* [М.: Ювента, 1996]) — Многочисленные работы также посвящены описанию дисциплинарного общества и его неумолимого перерастания в «биополитическое общество»; эти работы, опирающиеся на различные культурные и интеллектуальные традиции, полностью согласуются между собой в определении главной тенденции. Два наиболее влиятельных и содержательных полуса в этой линии исследований сформированы работами Герберта Маркузе (Маркузе Г., *Одномерный человек* [М.; Киев: Ref-books, 1993]), которого мы могли бы назвать представителем «англо-германского» полуса, и Мишеля Фуко (Фуко М., *Надзирать и наказывать* [М.: Ad Marginem, 1999]), которого можно отнести к «латинскому» полосу.
- 9 Freda Kirchwey, «Program of Action», *Nation*, March 11, 1944, 300-305; цит. в: Serge Guilbaut, *How New York Stole the Idea of Modern Art: Abstract Expressionism, Freedom, and the Cold War*, trans. Arthur Goldhammer (Chicago: University of Chicago Press, 1983), p. 103.
 - 10 О распространении модели Нового курса на другие ведущие капиталистические государства после Второй мировой войны см.: Paul Kennedy, *The Rise and Fall of the Great Powers: Economic Change and Military Conflict from 1500 to 2000* (New York: Random House, 1987), pp. 347-437; а также: Franz Schurmann, *The Logic of World Power: An Inquiry into the Origins, Currents, and Contradictions of World Politics* (New York: Pantheon, 1974).
 - 11 Об истории деколонизации в общем плане см.: Marc Ferro, *Histoire des colonisations: des conquêtes aux indépendances, XIXe-XXe siècle* (Paris: Seuil, 1994); Frank Ansprenger, *The Dissolution of the Colonial Empires* (London: Routledge, 1989); и R. F. Holland, *European Decolonization, 1918-1981* (London: Macmillan, 1985).
 - 12 О влиянии американской гегемонии в мире на антиколониальные выступления см.: Giovanni Arrighi, *The Long Twentieth Century* (London: Verso, 1994), pp. 69-75; и Francois Chesnais, *La mondialisation du capital*, rev. ed. (Paris: Syros, 1997).
 - 13 Harry S. Truman, *Public Papers* (Washington, D. C.: United States Government Printing Office, 1947). P' 176; цит. в: Richard Freeland, *The Truman Doctrine and the Origins of McCarthyism* (New York: Schocken, 1971), p. 85. О жестком идеологическом биполярном разделении, установленном холодной войной, см.: Kennedy, *The Rise and Fall of the Great Powers*, pp. 373-395; а также: Schurmann, *The Logic of World Power*.
 - 14 О децентрации производства и сферы услуг (сочетавшейся с централизацией управления) см. две книги Саскии Сассен (Saskia Sassen) *The Mobility of Labor and Capital; A Study in International Investment and Labor Flow* (Cambridge: Cambridge University Press, 1988), особенно pp. 127-133; *The Global City: New York, London, Tokyo* (Princeton: Princeton University Press, 1991), pp. 22-34. В более общем плане о мобильности капитала и компенсирующих или ограничивающих ее факторах см.: David Harvey, *The Limits to Capital* (Chicago: University of Chicago Press, 1984), pp. 417-422.
 - 15 См.: Wladimir Andreff, *Les multinationales globales* (Paris: La Decouverte, 1995); и Kenichi Ohmae, *The End of the Nation-State: The Rise of Regional Economies* (New York: Free Press, 1995).
 - 16 О сопротивлении крестьянства капиталистической дисциплине см.: James Scott, *Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance* (New Heaven: Yale University Press, 1985), p. 235 и др.
 - 17 О проектах экономической модернизации в Китае при Мао Цзэдуне см.: Maurice Meisner, *Mao's China and After*, 2nd ed. (New York: Free Press, 1986), pp. 113-139.
 - 18 Роберт Сатклифф, например, пишет: «Ни одно ведущее государство до настоящего времени не стало богатым без индустриализации <...>. Большой объем национального богатства и более высокий уровень жизни в любой политической системе тесно связаны с процессом индустриализации». Robert Sutcliffe, *Industry and Underdevelopment* (Reading, Mass.: Addison-Wesley, 1971).
 - 19 О глобальном и периферийном фордизме см., в первую очередь, работы Алена Липпит-

- ца (Alain Lipietz) *Mirages and Miracles: The Crises of Global Fordism*, trans. David Marcey (London: Verso, 1987); и «Towards a Global Fordism?» *New Left Review*, no. 132 (1982), 33-47. О реакции на труды Липиетца в среде английских и американских экономистов см.: David Ruccio, «Fordism on a World Scale: International Dimensions of Regulation», *Review of Radical Political Economics*, 21, no. 4 (Winter 1989), 33-53; и Bob Jessop, «Fordism and Post-Fordism: A Critical Reformulation», in Michael Storper and Allen Scott, eds., *Pathways to Industrialization and Regional Development* (London: Routledge, 1992), pp. 46-69.
- 20 См., например: Giovanni Arrighi and John Saul, «Socialism and Economic Development in Tropical Africa», *Essays on the Political Economy of Africa* (New York: Monthly Review Press, 1973), pp. 11-43; John Saul, «Planning for Socialism in Tanzania», in Uchumi Editorial Board, ed., *Towards Socialist Planning* (Dar Es Salaam: Tanzania Publishing House, 1972), pp. 1-29; Terence Hopkins, «On Economic Planning in Tropical Africa», *Co-existence*, 1, no. 1 (May 1964), 77-88. Две оценки неудач стратегий экономического развития и планирования в Африке (при том, что авторы все еще верят в возможность «альтернативного» пути социалистического развития Африки) даны в работах: Samir Amin, *Maldevelopment: Anatomy of a Global Failure* (London: Zed Books, 1990), особенно pp. 7-74; и Claude Ake, *Democracy and Development in Africa* (Washington, D. C.: The Brookings Institution, 1996).
- 21 Интересное свидетельство участника Бандунгской конференции и ее оценка содержится в книге: Richard Wright, *The Color Curtain: A Report on the Bandung Conference* (New York: World, 1956). Основные выступления на конференции приведены в книге Джорджа Мактернена Кэхина (George McTurnan Kahin) *The Asian-African Conference* (Ithaca: Cornell University Press, 1956). О движении неприсоединения см.: Leo Mates, *Nonalignment: Theory and Current Policy* (Belgrade: Institute for International Politics and Economics, 1972); M. S. Rajan, *Nonalignment and Nonalignment Movement* (New Delhi: Vikas Publishing, 1990).
- 22 О номадизме и конституировании субъективностей см.: Gilles Deleuze and Felix Guattari, *A Thousand Plateaus*, trans. Brian Massumi (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1987), особенно pp. 351-413.
- 23 О формальном и реальном подчинении в концепции Маркса см. прежде всего: Karl Marx, *Capital*, vol. 1, trans. Ben Fowkes (New York: Vintage, 1976), pp. 1019-38.

ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ НАКОПЛЕНИЕ

- 1 Маркс К., *Капитал*, т. 1, Маркс К., Энгельс Ф., *Сочинения*, изд. 2-е, т. 23 (М., 1960), с. 76з.
- 2 См., прежде всего: Samir Amin, *Accumulation on a World Scale*, trans. Brian Pearce (New York: Monthly Review Press, 1974); и Andre Gunder Franck, *Capitalism and Underdevelopment in Latin America* (New York: Monthly Review Press, 1967).

3.3 СОПРОТИВЛЕНИЕ, КРИЗИС, ТРАНСФОРМАЦИЯ

- 1 О кризисе и реструктуризации капиталистического производства в 1960-х и 1970-х гг. см.: Michael Piore and Charles Sabel, *The Second Industrial Divide* (New York: Basic Books, 1984). О финансовом и экономическом кризисе см.: Robert Boyer, Jacques Mistrail, *Accumulation, inflation, crises* (Paris: PUF, 1978).
- 2 См.: Antonio Negri, «Marx on Cycle and Crisis», *Revolution Retrieved* (London: Red Notes, 1988), pp. 43-90.
- 3 См. исторический очерк «Помните ли вы революцию?» («Do You Remember Revolution»), написанный коллективом авторов, и очерк Паоло Вирно «Помните ли вы контрреволюцию?» («Do You Remember Counterrevolution?») в: Paolo Virno and Michael Hardt, eds., *Radical Thought in Italy* (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1996), pp. 225-

- 259- См. также: Paolo Carpi gnano, «Note su dalle operaie e capitate in America negli anni sessanta» in Sergio Bologna, Paolo Carpi gnano, and Antonio Negri, *Crist e organizzazione operaia* (Milan: Feltrinelli, 1976), pp. 73-97.
- 4 О «взрывном росте благосостояния 1960-х гг.» см.: Frances Fox Piven and Richard Cloward, *Regulating the Poor: The Functions of Public Welfare* (New York: Pantheon, 1971), в особенности pp. 183-199. См. также: Piven and Cloward, *The New Class War: Reagan's Attack on the Welfare State and Its Consequences* (New York: Pantheon, 1982).
 - 5 См.: Luciano Ferrari Bravo, «Introduzione: vecchie e nuove questioni nella teoria dell'imperialismo», in Luciano Ferrari Bravo, ed., *Imperialismo e classe operaia multinazionale* (Milano: Feltrinelli, 1975), pp. 7-70.
 - 6 Клод Эйк даже находит возможным характеризовать всю мировую капиталистическую систему как конфликт между «буржуазными государствами» и «пролетарскими государствами». См.: Claude Ake, *Revolutionary Pressures in Africa* (London: Zed Books, 1978), p. 11.
 - 7 Концепция Третьего мира неявным образом принята в большинстве работ Иммануила Валлерстайна, Андре Гюндер Франка и Самира Амина.
 - 8 Тщательный исторический анализ событий и поведения главных действующих лиц на Бреттонвудской конференции см. в: Armand Van Dormael, *Bretton Woods: Birth of a Monetary System* (London: Macmillan, 1978). Историческое исследование тщательных приготовлений США к установлению своей гегемонии в послевоенный период за счет предложения экономического планирования на Бреттонвудской конференции наряду с политическим планированием на конференции в Думбартон Оксе см. в: George Schild, *Bretton Woods and Dumbarton Oaks: American Economic and Political Postwar Planning in the Summer of 1944* (New York: St. Martin's Press, 1995).
 - 9 Giovanni Arrighi, *The Long Twentieth Century* (London: Verso, 1994), pp. 278-279.
 - 10 О мировом финансовом кризисе, который начался в 1970-х гг. с крахом механизма Бреттонвудской системы, см.: Peter Coffey, *The World Monetary Crisis* (New York: St. Martin's Press, 1974); и Arrighi, *The Long Twentieth Century*, pp. 300-314.
 - 11 О евродолларовой финансовой системе как элементе кризиса см.: Jeffrey Frieden, *Banking on the World: The Politics of American International Finance* (New York: Harper and Row, 1987). PP-79-122.
 - 12 О конвертируемости доллара и маневре Никсона в 1971 г. см.: David Calleo and Benjamin Rowland, *America and the World Political Economy: Atlantic Dreams and National Realities* (Bloomington: Indiana University Press, 1973), pp. 87-117; Coffey, *The World Monetary Crisis*, pp. 25-42.
 - 13 О пределах использования фордизма и потребности капитала найти постфордистскую схему производства и накопления см.: Benjamin Coriat, *Vatelier et le robot: essai sur lefordisme et la production de masse a l'age de l'electronique* (Paris: Christian Bourgois, 1990).
 - 14 Фредерик Джеймисон утверждает, что социальные выступления 1960-х гг. в странах Первого мира, особенно в США и Франции, идут в одном ряду и даже происходят из мощного антиколониального и освободительного движения в странах Третьего мира 1950-60-х гг. См.: Fredric Jameson, «Periodizing the 60s», *Ideologies of Theory: Essays, 1971-1986* (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1988), 2:178-208: особенно pp. 180-186.
 - 15 См.: Giovanni Arrighi, «Marxist Century, American Century; The Making and Remaking of the World Labor Movement», in Samir Amin, Giovanni Arrighi, Andre Gunder Franck, and Immanuel Wallerstein, *Transforming the Revolution: Social Movements and the World System* (New York: Monthly Review Press, 1990), pp. 54-95;
 - 16 Робин Келли (Robin Kelley) в своей замечательной книге по истории темнокожего рабочего класса в США приводит показательный анализ динамики отказа от работы и формирования альтернативных стилей жизни. См.: Robin Kelley, *Race Rebels: Culture, Politics, and the Black Working Class* (New York: Free Press, 1994).

- 17 В экологической мысли также, по крайней мере, в ее наиболее плодотворных в научном плане примерах, мы можем четко установить, что понятие «природа» включает как одушевленные, так и неодушевленные формы жизни; экология подразумевает не только сохранение объектов природы, но и выработку определенных форм взаимоотношений, а также производство субъективности. См.: Felix Guattari, *Les trois icologies* (Paris: Galilee, 1989); и Verena Andermatt Conley, *Ecopolitics: The Environment in Poststructuralist Thought* (London: Routledge, 1997). Франко Пиперно (Franco Piperno) продолжает традицию «экологической» мысли, хотя и в несколько ином направлении, в книге *Elogio dello spirito pubblico meridionale* (Rome: Manifestolibri, 1997).
- 18 В попытке осмыслить важность и подлинные границы «внешнего» Роза Люксембург являлась, возможно, первым великим представителем экологической мысли XX века. Лучшие образцы марксистской экологической мысли, представленные работами таких авторов, как Андре Горц и Джеймс О'Коннор, содержат доводы, сходные с антиимпериалистической позицией Розы Люксембург (хотя эти работы и не вытекают непосредственно из ее труда): капиталистическое производство непременно подразумевает покорение и разрушение природы, что не только имеет трагические последствия для жизни на планете, но также подрывает жизнеспособность самого капитализма в будущем. См.: Andre Gorz, *Ecology as Politics*, trans. Patsy Vigderman and Jonathan Cloud (Boston: South End Press, 1980); James O'Connor, «Capitalism, Nature, Socialism: A Theoretical Introduction», *Capitalism, Nature, Socialism*, 1, no. 1 (1989), 11–38.
- 19 «Таким образом, поздний капитализм является периодом, когда впервые все области экономики полностью индустриализованы; к этому также можно добавить... возрастающую механизацию общественной надстройки» (Эрнест Мандель). Ernest Mandel, *Late Capitalism*, trans. Joris De Bres (London: Verso, 1978), pp. 190–191.
- 20 «Таким образом, более „чистый“ капитализм нашего времени устраняет остатки докапиталистической организации, с существованием которых он раньше мирился и брал с них свою дань» (Фредерик Джеймисон). Fredric Jameson, *Postmodernism, or, The Cultural Logic of Late Capitalism* (Durham: Duke University Press, 1990), p. 36.
- 21 Мы не пытаемся утверждать, что капитал способен бесконечно, опираясь на технологические нововведения, сглаживать свое разрушающее воздействие на окружающую среду (как одушевленную, так и неодушевленную). Чему технологический прогресс способствует, так это смещению плоскости конфликта и изменению природы кризиса, но пределы для подобного смещения и противоречия тем не менее остаются.
- 22 Стенли Аронович предлагает интересный новый взгляд на многообразие американских социальных движений 1960–х гг.: Stanley Aronowitz, *The Death and Rebirth of American Radicalism* (London: Routledge, 1996), pp. 57–90.
- 23 См.: Kelley, *Race Rebels*, особенно pp. 17–100 о неизвестных случаях сопротивления.
- 24 Об истории феминистских движений США в 1960–е и 1970–е гг. см.: Alice Echols, *Daring to Be Bad: Radical Feminism in America, 1967–1975* (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1989).
- 25 См., например: Judith Butler, «Merely Cultural,» *New Left Review*, no. 227 (January–February 1998), 33–44. Наиболее авторитетное исследование, посвященное политическому смыслу «новых социальных движений» в рамках данного подхода — Ernesto Laclau and Chantal Mouffe, *Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical Democratic Politics* (London: Verso, 1985).
- 26 См.: Antonio Negri, *The Politics of Subversion: A Manifesto for the Twenty-first Century*, trans. James Newell (Oxford: Polity Press, 1989).
- 27 Фредерик Джеймисон, например, утверждает, что крушение Советского Союза произошло не «из-за его неудачи, а вследствие его успехов, по крайней мере, в той степени, в какой это касается модернизации». См. его работу: «Actually Existing Marxism», in Saree Makdisi, Cesare Casarino, and Rebecca Karl, eds., *Marxism Beyond Marxism* (London:

- Routledge, 1996). PP- 4-54, цит. по р. 43- В более общем плане о том, как пропаганда времен холодной войны (с обеих сторон) заслоняла от исследователей подлинную социальную историю советского режима, см.: Moshe Lewin, *The Making of the Soviet System* (New York: Pantheon, 1985).
- 28 См.: Троцкий Л., *Преданная революция* (М.: НИИ культуры, 1991); и Cornelius Castoriadis, *Devant la guerre* (Paris: Fayard, 1981). См. также цикл статей Дени Берже о распаде Советского Союза: «Perestroika: la revolution reellement existante?» *Futur anterieur*, no. 1 (1990), 53-62; «Que reste-t-il de la perestroika?» *Futur anterieur*, no. 6 (1991), 15-10; и «L'Union Sovietique a l'heure du vide,» *Futur anterieur*, no. 8 (1991), 5-12.
- 29 Нам представляется, что было бы возможно привести схожие аргументы относительно изменения социального поведения китайского пролетариата в период после смерти Мао Цзэдуна, подготовившего возникновение движения «Культурной лихорадки» в 1980-е гг. См.: Xudong Zhang, *Chinese Modernism in the Era of Reforms* (Durham: Duke University Press, 1997). Цзян проясняет удивительный творческий потенциал этого периода.

3.4 ПОСТМОДЕРНИЗАЦИЯ, ИЛИ ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

- 1 Работами, определившими рамки развития для всей многообразной литературы, обсуждающей периодизацию фаз развития производства периода современности, являются: Daniel Bell, *Coming of Post-industrial Society* (New York: Basic Books, 1973); и Alain Touraine, *Post-industrial Society*, trans. Leonard Mayhew (New York: Random House, 1971).
- 2 См.: Manuel Castells and Yuko Aoyama, «Paths towards the Informational Society: Employment Structure in G-7 Countries, 1920-90», *International Labour Review*, 133, no. 1 (1994), 5-33; цит. по р. 13.
- 3 О ложных исторических аналогиях, которые способствовали возникновению долгового кризиса стран Третьего мира, см.: Cheryl Payer, *Lent and Lost: Foreign Credit and Third World Development* (London: Zed Books, 1991).
- 4 Классическими образцами теорий экономической отсталости и зависимости являются соответственно: Andre Gunder Frank, *Capitalism and Underdevelopment in Latin America* (New York: Monthly Review Press, 1967); Fernando Enrique Cardoso and Enzo Faletto, *Dependency and Development in Latin America*, trans. Marjory Mattingly Urquidí (Berkeley: University of California Press, 1979). Предельно четкое выражение критики теории стадий мирового развития представлено в книге Иммануила Валлерстайна: Immanuel Wallerstein, *The Capitalist World-Economy* (Cambridge: Cambridge University Press, 1979), PP-3-5.
- 5 Дискурс развития был иллюзией, но реальной и весьма эффективной иллюзией, породившей собственные структуры и властные институты в «развивающихся» странах. Об институционализации процессов развития см.: Arturo Escobar, *Encountering Development: The Making and Unmaking of the Third World* (Princeton: Princeton University Press, 1995). PP-73-101.
- 6 Критическая оценка идеологии развития, присущей теориям зависимости: *ibid.*, pp. 80-81.
- 7 См., например: Claude Ake, *A Political Economy of Africa* (Harlow, Essex: Longman, 1981), p. 136. Это тоже направление, что и работа Андре Гундера Франка (Andre Gunder Frank) и Самира Амина (Samir Amin).
- 8 Robert Musil, *The Man without Qualities*, trans. Sophie Wilkins (New York: Knopf, 1995), 2:367.
- 9 Francois Bar, «Information Infrastructure and the Transformation of Manufacturing», in William Drake, ed., *The New Information Infrastructure: Strategies for U. S. Policy* (New York: Twentieth Century Fund Press, 1995), pp. 55-74; цит. по р. 56.

ПРИМЕЧАНИЯ

- 10 См.: Robert Chase and David Garvin, «The Service Factory», in Gary Pisano and Robert Hayes, eds., *Manufacturing Renaissance* (Boston: Harvard Business School Press, 1995), pp. 35-45.
- 11 См.: Castells and Aoyama, «Paths towards the Informational Society», pp. 19-28.
- 12 Мануэль Кастельс называет наиболее зависимые регионы мировой экономики «Четвертым миром». См. его очерк «The Informational Economy and the New International Division of Labor» in Martin Carnoy, Manuel Castells, Stephen Cohen, and Fernando Enrique Cardoso, *The New Global Economy in the Information Age* (University Park: Pennsylvania State University Press, 1993), pp. 15-43.
- 13 Castells и Aoyama, «Paths towards the Informational Society», p. 27.
- 14 Pierre Levy, *Collective Intelligence: Mankind's Emerging World in Cyberspace* (New York: Plenum Press, 1997).
- 15 О сравнении фордистской и тойотистской моделей см.: Benjamin Coriat, *Penser a l'envers: travail et organisation dans l'entreprise japonaise* (Paris: Christian Bourgois, 1994). Краткое изложение ранней истории развития производственных методов корпорации «Тойота» см.: Kazuo Wada, «The Emergence of the 'Flow Production' Method in Japan», in Haruhito Shiomi and Kazuo Wada, eds., *Fordism Transformed: The Development of Production Methods in the Automobile Industry* (Oxford: Oxford University Press, 1995), pp. u-27.
- 16 Прежде всего мы говорим о концептуальном разделении коммуникативного и инструментального действия, предложенном Юргеном Хабермасом в таких работах, как *Теория коммуникативного действия (The Theory of Communicative Action)*, trans. Thomas McCarthy [Boston: Beacon Press, 1984D. Превосходная критика такого подхода Хабермаса содержится в работе: Christian Marazzi, *Il posto dei calzini: la svolta linguistica dell'economia e i suoi effetti in politica* (Bellinzona, Switzerland: Casagrande, 1995), pp. 29-34.
- 17 Определение и анализ аматериального труда см.: в Maurizio Lazzarato, «Immaterial Labor», in Paolo Virno and Michael Hardt, eds., *Radical Thought in Italy* (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1996), pp. 133-147. См. также словарь терминов, относящихся к аматериальному труду, в конце того же сборника (p. 262).
- 18 Питер Друкер (Peter Drucker) описывает переход к аматериальному труду с крайних позиций. «Главным экономическим ресурсом — назовем его, используя экономический термин, «средствами производства», — больше не является ни капитал, ни природные ресурсы (то, что экономисты называют „землей“), ни „труд“. *Сейчас и в будущем это — знания*» — Peter Drucker, *Post-Capitalist Society* (New York: Harper, 1993), p. 8. Друкер не понимает, что знания не являются данностью, а создаются, и что их создание предполагает новые средства производства и способы организации труда.
- 19 Robert Reich, *The Work of Nations: Preparing Ourselves for 21st-century Capitalism* (New York: Knopf, 1991), p. 177. Наиболее важным для Райха является то обстоятельство, что преимущество и, в конечном счете, доминирующее положение той или иной страны в мировой экономике может быть достигнуто в соответствии с этим новым делением, через географическое распределение трудовых операций с высокой и низкой долей добавленной стоимости.
- 20 Маркс К., *Капитал*, т. 1, Маркс К., Энгельс Ф., *Сочинения*, изд. 2-е, т. 23 (М., 1960), сс. 67-68.
- 21 См.: Dorothy Smith, *The Everyday World as Problematic: A Feminist Sociology* (Boston: Northeastern University Press, 1987), особенно pp. 78-88.
- 22 В свое время Маркс рассматривал кооперацию как результат усилий капиталиста, который выступал в роли дирижера или полководца, одновременно осуществляющего развертывание и координацию производительных сил. См.: Маркс К., *Капитал*, т. 1, Маркс К., Энгельс Ф., *Сочинения*, изд. 2-е, т. 23 (М., 1960), сс. 333-347. Анализ современной динамики социальной и производственной кооперации см. в: Antonio Negri, *The Politics of Subversion: A Manifesto for the Twenty-first Century*, trans. James Newell (Oxford: Polity Press, 1989).

ш

1

- 23 См.: Saskia Sassen, *The Global City: New York, London, Tokyo* (Princeton: Princeton University Press, 1991).
- 24 О сетевом предприятии см.: Manuel Castells, *The Rise of the Network Society* (Oxford: Blackwell, 1996), pp. 151-200.
- 25 Bill Gates, *The Road Ahead* (New York: Viking, 1995), p. 158.
- 26 Несколько итальянских исследователей рассматривают децентрализацию сетевого производства на малых и средних предприятиях северной Италии с точки зрения возможности создания новых систем *автономного труда*. См.: Sergio Bologna, and Andrea Fumagalli, eds., *Il lavoro autonomo di seconda generazione; scenari del postfordismo in Italia* (Milan: Feltrinetti, 1997).
- 27 О росте производственных услуг в центрах управления см.: Sassen, *The Global City*, pp. 90-125.
- 28 Peter Cowhey, «Building the Global Information Highway: Toll Booths, Construction Contracts, and Rules of the Road», in William Drake, ed., *The New Information Infrastructure* (New York: Twentieth Century Fund Press, 1995), pp. 175-204; цит. по p. 175.
- 29 О ризоматических и древовидных структурах см.: Gilles Deleuze and Felix Guattari, *A Thousand Plateaus*, trans. Brian Massumi (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1987). PP- 3-25-
- 30 О ложных уравнительных ожиданиях, связанных с созданием «информационной супермагистрали» в США, см.: Herbert Schiller, *Information Inequality: The Deepening Social Crisis in America* (New York: Routledge, 1996), особенно pp. 75-89. Более общий анализ неравного распределения информации и технологий см. в: William Wresch, *Disconnected: Haves and Have-Nots. in the Information Age* (New Brunswick, N. J.: Rutgers University Press, 1996).

3.5 СМЕШАННОЕ УСТРОЙСТВО

- 1 Анализ взглядов Маркса и Энгельса на теорию государства см. в: Antonio Negri, «Communist State Theory», in Michael Hardt and Antonio Negri, *Labor of Dionysus* (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1994), pp. 139-176.
- 2 См.: M. C Ricklefs, *A History of Modern Indonesia*, 2nd ed. (London: Macmillan, 1993). Сложные взаимоотношения между голландской администрацией, традиционными яванскими правителями и предпринимателями в начале XX века описаны в великолепном четырехтомном историческом романе Прамоеды Ананты Тоер *Квартет Буру*: Pramoedya Ananta Toer, *The Buru Quartet*, trans. Max Lane (London: Penguin Books, 1982-1992).
- 3 См.: Brian Gardner, *The East India Company* (London: Rupert Hart-Davis, 1971); и Geoffrey Wheatcroft, *The landlords* (New York: Atheneum, 1986).
- 4 Маркс доказывал, что рост концентрации и централизации капитала негативно влиял на конкуренцию и являлся, таким образом, деструктивным процессом для капитала. Маркс К., *Kanumal*, т. 3, Маркс К., Энгельс Ф., *Сочинения*, изд. 2-е, т. 25, ч. i (М., 1960), сс. 479-483- Ленин использовал этот же аргумент в своем анализе монополистической стадии развития капитализма: монополии уничтожают конкуренцию, которая является основой капиталистического развития. См.: Ленин В. И., «Империализм, как высшая стадия капитализма», в *Избранных сочинениях*, т. 6: 1910-1917 (М.: Политиздат, 1985). сс. 336-349-
- 5 См., например: Richard Barnet and John Cavanagh, *Global Dreams: Imperial Corporations and the New World Order* (New York: Simon and Schuster, 1994).
- 6 Первое обстоятельное определение концепций «автономии политического», относящейся к традиции политической теологии, было дано в работах великого политического теолога Томаса Гоббеа. На еще большую высоту эта концепция была поднята Карлом Шмиттом. См. его работы: Carl Schmitt, *The Concept of the Political*, trans. George Schwab

(New Brunswick, N. J.: Rutgers University Press, 1976); и *Verfassungslehre*, 8th ed. (Berlin: Duncker und Humblot, 1993). Политическая сфера понимается как основа всех общественных отношений и исходное определение, или «решение», создающее область власти и гарантирующее, таким образом, условия существования. Интересно отметить, что концепция политического у Шмитта неразрывно связана с юридическим определением национального государства и просто неприменима вне его рамок. Очевидно, Шмитт и сам осознал этот факт, став свидетелем гибели немецкого национального государства. См.: Carl Schmitt, *Der Nomos der Erde in Volkerrecht des jus publicum europaeum* (Köln: Greven Verlag, 1950). Наиболее полное описание концепции политического у Шмитта, известное нам, содержится в книге Карло Галли *Genealogia politiku: Carlo Galli, Genealogia della politica: C. Schmitt e la crisi del pensiero politico moderno* (Bologna: Il Mulino, 1996). Критика концепции Шмитта об «автономии политического» может быть распространена на работы его последователей. В качестве двух крайних примеров можно привести работы Лео Штрауса, который попытался приспособить концепцию Шмитта к собственной либеральной концепции естественного права, и Марио Тронти, который стремился обнаружить в автономии политического основу для компромисса с либеральными политическими силами в условиях глубокого кризиса коммунистических партий в Западной Европе. Анализ интерпретации Штраусом трудов Шмитта и пространных отношений двух исследователей см. в: Heinrich Meier, *Carl Schmitt and Leo Strauss: The Hidden Dialogue*, trans. J. Harvey Lomax (Chicago: University of Chicago Press, 1995). Работа Тронти: Mario Tronti, *Vautonomia del politico* (Milan: Feltrinelli, 1977).

Существует множество прекрасных критических исследований деятельности СМИ и их декларируемой объективности. Два прекрасных примера: Edward Said, *Covering Islam: How the Media and the Experts Determine How We See the Rest of the World* (New York: Pantheon, 1981); и Edward Herman and Noam Chomsky, *Manufacturing Consent: The Political Economy of Mass Media* (New York: Pantheon, 1988).

См., например: Elise Boulding, «IGOs, the UN, and International NGOs: The Evolving Ecology of the International System», in Richard Falk, Robert Johansen, and Samuel Kim, eds., *The Constitutional Foundations of World Peace* (Albany: SUNY Press, 1993), pp. 167-188; цит. по p. 179.

Характеристику деятельности различных НПО см. в: John Clark, *Democratizing Development: The Role of Voluntary Organizations* (West Hartford, Conn.: Kumarian Press, 1990); Lowell Livezey, *Nongovernmental Organizations and the Ideas of Human Rights* (Princeton: The Center of International Studies, 1988); и Andrew Natsios, «NGOs and the UN System in Complex Humanitarian Emergencies: Conflict or Cooperation?» in Peter Diehl, ed., *The Politics of Global Governance: International Organizations in an Independent World* (Boulder: Lynne Reiner, 1997), pp. 287-303.

James Petras, «Imperialism and NGOs in Latin America», *Monthly Review*, 49 (December 1997), 10-27-

См.: Полибий, *Всеобщая история в сорока книгах*, т. 2 (СПб.: Наука, Ювента, 1995). книга VI: 3-19. cc. 8-17.

См.: G. A. Pocock, *The Machiavellian Moment: Florentine Political Thought and the Atlantic Republican Tradition* (Princeton: Princeton University Press, 1975).

О переходе от принципа отдельных социальных групп к функциональной модели в конституции США см.: Antonio Negri, *Il potere costituente: saggio sulla alternativa del moderno* (Milan: Sugarco, 1997), ch. 4, pp. 165-222.

Интересно отметить, что, по крайней мере, начиная с конституционализма Веймарской республики, традиция европейской конституционной мысли также восприняла три принципа, которые, как предполагалось ранее, принадлежат только англо-саксонскому миру. Важнейшими для немецкой традиции являются труды Макса Вебера: Вебер М., «Парламент и правительство в новой Германии», *Политические работы 1895-99* (М.:

Праксис, зоо), сс. 107-299; Hugo Preuss, *Staat, Recht und Freiheit* (Tubingen: Mohr, 1926); и Herman Heller, *Die Souveranitat* (Berlin: W. de Gruyter, 1927).

- 15 В целом, в работах авторов, придерживающихся левых взглядов, утверждается, что рождение Империи приводит к активизации «неправильных» форм государственного устройства. См., например: Etienne Balibar, *La crainte des masses* (Paris: Galilee, 1997). В других вопросах автор данной работы всецело открыт для анализа новых процессов (массового) производства субъективности.
- 16 Рассмотрение этих процессов и обстоятельный анализ соответствующей библиографии см. в: Yann Moulier Boutang, «La revanche des externalites: globalization des economies, externalites, mobilite, transformation de l'economie et de l'intervention publique», *Futur anterieur*, no. 39-40 (Fall 1997), pp. 85-115.
- 17 Из наших рассуждений должно быть ясно, что теоретическое условие, лежащее в основе нашей гипотезы, включает радикальным образом пересмотренный анализ воспроизводства. Иными словами, всякая теоретическая концепция, рассматривающая воспроизводство только как часть обращения капитала (как это делают классическая политическая экономия, марксизм, неоклассические теории), не в состоянии критически проанализировать новизну нынешней ситуации, особенно в части политико-экономических взаимоотношений на мировом рынке в условиях перехода к постсовременности. Предпринятое нами в разделе 1.2 описание биовласти является исходным пунктом нового варианта анализа воспроизводства. Определения основных элементов, связанных с интеграцией труда, эмоциональной сферы и биовласти см. в: Antonio Negri, «Value and Affect»; и Michael Hardt, «Affective Labor», *boundary!*, 26, no. 2 (Summer 1999).
- 18 Мы вновь опираемся на работу Мишеля Фуко и ее интерпретацию, данную Жилем Делезом. См. нашу аргументацию в разделе 1.2.
- 19 Первая переменная и анализ функционирования сетевой организации в структурном аспекте в некоторой степени связаны с различными вариантами теории систем. См., например, работу Умберто Матураны (Humberto Maturana) и Франсиско Варелы (Francisco Varela). Прекрасный анализ теории систем в контексте различных постмодернистских теорий содержится в работе: Cary Wolfe, *Critical Environments* (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1998).
- 20 Ряд достижений теории систем также способствует пониманию этой второй переменной. Труды Никласа Лумана пользуются наиболее широким признанием как пример использования теории систем в философии права и социальной философии.
- 21 Джеймисон блестяще критикует «концепцию массовой культуры как манипуляции и ничего более». Он утверждает, что хотя массовая культура и «управляется», она, тем не менее, содержит значительный утопический потенциал. См.: Fredric Jameson, «Reification and Utopia in Mass Culture», *Signatures of the Visible* (New York: Routledge, 1992). PP-9-34-
- 22 См.: Дебор Ги, *Общество Спектакля* (М.: Логос, Радек, 2000).
- 23 Fredric Jameson, «Totality as Conspiracy», *Geopolitical Aesthetic: Cinema and Space in the World System* (Bloomington: Indiana University Press, 1992), pp. 9-84.
- 24 Гоббс Т., *Левиафан, в Сочинениях*, т. 2 (М.: Мысль, 1991) > с. 108.
- 25 См.: Brian Massumi, ed., *The Politics of Everyday Fear* (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1993).

3.6 КАПИТАЛИСТИЧЕСКИЙ СУВЕРЕНИТЕТ, ИЛИ УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ КОНТРОЛЯ

- 1 Giles Deleuze and Felix Guattari, *Anti-Oedipus*, trans. Robert Hurley, Mark Lane, and Helen Lane (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1983), p. 224.
- 2 О концепции аксиоматической природы капитала Делеза и Гваттари см.: Gilles Deleuze

- and Felix Guattari, *A Thousand Plateaus*, trans. Brian Massumi (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1987), pp. 452-473.
- 3 Robert Blanche, *Axiomatits*, trans. G. V. Keene (New York: Free Press of Glencoe, 1962), pp. 30-31.
 - 4 Без сомнения, существует элемент трансценденции и сегментации, необходимый для функционирования капитала, — эксплуатация одного класса другим. Какой бы подвижной и незаметной иногда не было бы эта граница, капитал должен постоянно поддерживать ее в обществе. Классовые разделения играют ключевую роль и в новой сегментации общества, речь о которой пойдет далее в этом разделе.
 - 5 См.: Michel Foucault, «La gouvernamentalite», *Dits et icrits* (Paris: Gallimard, 1994), 3:635-357; и *Il faut defendre la socctti* (Paris: Seuil/Gallimard, 1997).
 - 6 См.: Michael Hardt and Antonio Negri, *Labor of Dionysus* (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1994). PP- 257-159-
 - 7 См.: Michael Hardt, «The Withering of Civil Society», *Social Text*, no. 45 (Winter 1995), 27-44.
 - 8 Блестящий разбор концепции диаграммы Фуко см. в: Денез Ж., *Фуко* (М.: Издательство гуманитарной литературы, 1998), ее. 59-◇4-
 - 9 О взаимоотношении идентичности и принадлежности и о структуре «всякой» субъективности см.: Giorgio Agamben, *The Coming Community*, trans. Michael Hardt (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1993).
 - 10 Люксембург Р., *Накопление капитала* (М.;Л.: Соцэргиз, 1934).^c- 3²1-
 - 11 Классическим трудом в этой области является работа Самира Амина: Samir Amin, *Accumulation on a World Scale*, trans. Brian Pearce (New York: Monthly Review Press, 1974).
 - 12 См.: Mike Davis, *City of Quartz: Excavating the Future in Los Angeles* (London: Verso, 1990), pp. 221-263.
 - 13 Мишель Аглиетта четко продемонстрировал в структурных категориях жестокую и диктаторскую сущность финансовых отношений. См. его работу: Michel Aglietta, *La violence de la monnaie* (Paris: PUF, 1982). См. также сборник: Werner Bonefeld and John Holloway, eds., *Global Capital, National State, and the Politics of Money* (London: Macmillan, 1995)-

4.1 ВИРТУАЛЬНОСТИ

Подобный стиль политического теоретизирования мы находим в: С. В. Macpherson, *The Political Theory of Possessive Individualism: Hobbes to Locke* (New York: Oxford University Press, 1962); и Albert O. Hirshman, *The Passions and the Interests: Political Arguments for Capitalism before Its Triumph* (Princeton: Princeton University Press, 1977).

Об имманентном отношении между политикой и онтологией см.: Antonio Negri, *The Savage Anomaly*, trans. Michael Hardt (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1991); а также Baruch Spinoza, *Theologico-Political Treatise*; in: *The Chief Works of Spinoza*, vol. 1, trans. R. H. M. Elwes (New York: Dover Press, 1951), pp. 1-278. Рус. пер.: Спиноза Б., *Богословско-политический трактат*, в Сочинениях, в 2-х тт., т. 2 (СПб.: Наука, 1999). ее. 5-246.

О постсовременном праве и о постсовременном законе см.: Michael Hardt and Antonio Negri, *Labor of Dionysus* (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1994); chap. 6, pp. 217-261.

См.: Remi Brague, *Du temps chez Platon et Aristote* (Paris: PUF, 1982).

Герель Г. Ф. В., *Наука логики*, ч. i-a (СПб: Наука, 2002), ее. 301-354> раздел «Мера».

Мера стоимости означает ее систематическую эксплуатацию, норму ее общественного разделения и ее капиталистическое воспроизводство. Конечно, идеи Маркса следует понимать широко, и не стоит пытаться представить его рассуждения о труде и стоимости только как дискурс о мере: вне стоимости труд всегда остается живой силой бы-

- тия. См.: Antonio Negri «Twenty Theses on Marx», in Saree Makdissi, Cesare Casarino, and Rebecca Karl, eds., *Marxism Beyond Marxism* (New York: Routledge: 1996), pp. 149-180.
- 7 Аристотель, *Никомахова этика*, в *Сочинениях*, в 4-х тт., т. 4 (М.: Мысль, 1984), с. 147 (1229б30) (переводизменен. — прим.реб.).
- 8 Делез Ж., Гваттари Ф., *Что такое философия*, пер. с фр. С. Н. Зенкина (М.: Институт экспериментальной социологии; СПб.: Алетейя, 1998), а также: Делез Ж., «Бергсонизм», *Критическая философия Канта: учение о способностях. Бергсонизм*. Спиноза (М.: ПЕР СЭ, 2000), с. 93-168. Наше представление о виртуальности и ее соотношении с действительностью несколько отличается от того, что Делез заимствует у Бергсона, который проводит различие между переходом виртуального в актуальное и возможного в действительное. Основная задача Бергсона, когда он проводит это различие и утверждает преимущество пары «виртуальное—актуальное» перед парой «возможное — действительное», состоит в том, чтобы подчеркнуть творческую мощь бытия и показать, что оно не есть простое сведение множества возможных миров к одному действительному миру, основанному на сходстве, но скорее, что бытие всегда представляет собой творческий акт и несет в себе то новое, что невозможно предугадать. См.: Henry Bergson, «The Possible and the Real» in *Creative Mind*, trans. Mabelle Andison (New York, Philosophical Library, 1946), pp. 91-106. Мы, безусловно, признаем необходимость отстаивать созидательную силу виртуальности, однако этот бергсокианский дискурс для нас недостаточен, потому что нам необходимо также отстаивать действительность созданного бытия, его онтологический вес а также тех институтов, что структурируют мир, создавая необходимость из случайности. О переходе от виртуального к действительному см.: Gilbert Simondon, *Vindividu et sa genese physico-biologique* (Paris: PUF, 1964); а также: Brian Massumi, «The Autonomy of Affect», *Cultural Critique*, no. 31 (Fall 1995), 83-109.
- 9 Рассуждения Маркса об абстракции затрагивают этот дискурс о виртуальности и потенциальности в двух аспектах. В действительности, следовало бы провести различие между двумя представлениями Маркса об абстракции. С одной стороны (с позиции капитала), абстракция означает наше отчуждение от способности действовать, и поэтому абстракция выступает отрицанием виртуальной. Однако с другой стороны (с позиции труда), абстрактное оказывается *общей* совокупностью наших способностей действовать, самим виртуальным. См.: Antonio Negri, *Marx Beyond Marx*, trans. Harry Cleaver, Michael Ryan, and Maurizio Viano (New York: Autonomedia, 1991); а также Маркс К., *Экономическe рукописи 1857-1861 гг.*, ч. I (М.: Политиздат, 1980), ее. 80-по.
- 10 Об отношении между сингулярным и общим см.: Giorgio Agamben, *The Coming Community*, trans. Michael Hardt (Minneapolis: University of Minnesota press, 1993).
- 11 Нише Ф., «К генеалогии морали», *Сочинения*, в 2-х тт., т. 2, ее 407-524-
- 12 См.: Bernard Aspe and Muriel Combes, «Du vampire au parasite», *Futur antirieur*, no. 35-36 (1996), 207-219.
- 13 О том, что сопротивление предшествует власти см.: Делез Ж., *Фуко* (М.: Издательство гуманитарной литературы, 1998), ее. 119-120: «Более того, последнее слово власти гласит: *сопротивление первично...*».
- 14 Эта диалектика препятствия и предела относительно силы сознания, с одной стороны, и политической власти, с другой, была очень хорошо понята тем направлением феноменологии субъективности, которое (в противоположность Хайдеггеру и его последователям) считало нацизм, а значит и капиталистическое государство действительным пределом исторического прогресса. Мы обнаруживаем, что основное усилие авторов от Гуссерля до Сартра состояло в том, чтобы превратить предел в порог, во многом тем же путем следует и Фуко. См.: Гуссерль Э., *Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология* (СПб.: Наука, 2004) Jean-Paul Sartre, *Critique of Dialectical Reason*, trans. Quentin Hoare (London: Verso, 1990); и Делез Ж., *Фуко* (М.: Издательство гуманитарной литературы, 1998).

- 15 См.: Jacques Ranciere, *La mesentante: politique et philosophie* (Paris: Galilee, 1995).
- 16 Одним из примеров такого рода кантианских фантазий может служить: Lucien Goldmann, *Mensch, Gemeinschaft und Welt in der Philosophie Immanuel Kants* (Zurich: Europa Verlag, 1945)-
- 17 См.: Маркс К., «К еврейскому вопросу», Маркс К., Энгельс Ф., *Сочинения*, изд. 2-е, т. 1 (М., 1954), ее. 382-413-
- 18 См.: Paul Virilio, *L'insecurite du territoire* (Paris: Stock, 1976).
- 19 О важности языкового аспекта в современной экономике см.: Christian Marazzi, *Il posto dei calzini: la svolta linguistica dell'economia e i suoi effetti nella politico* (Bellinzona: Casagrande, 1995).
- 20 См.: Giorgio Agamben, *Homo sacer. ilpotere sovrano e la nuda vita* (Turin: Einaudi, 1995).
- 21 Об этой концепции машинного см.: Felix Guattari, *L'inconscient machinique: essais de schizo-analyse* (Fontenay-sous-Bois: Encres/Recherches, 1979); а также Gilles Deleuze and Felix Guattari, *Anti-Oedipus*, trans. Robert Hurley, Mark Lane, and Helen Lane (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1983).
- 22 Маркс К., *Капитал*, т. 1, Маркс К., Энгельс Ф., *Сочинения*, изд. 2-е, т. 23, с. 439
- 23 Очевидно, что когда мы говорим о материалистическом телесе, мы говорим о телесе, созданном субъектами, конституированном массами в действии. Такое понимание включает в себя и материалистское прочтение истории, признающее, что институты общества формируются в процессе столкновения и конфликта самих общественных сил. В этом случае телес не является результатом предопределения, он создается в ходе развития. Материалистически мыслящие историки, такие как Фукидид и Макиавелли, равно как и великие философы-материалисты, такие как Эпикур, Лукреций и Спиноза, никогда не отвергали телес, созданный действиями человека. Как писал Маркс во введении к Grundrisse: не анатомия обезьяны объясняет анатомию человека, а наоборот — анатомия человека объясняет анатомию обезьяны. Телес появляется лишь впоследствии, как результат хода истории. (Речь идет о следующей цитате: «Анатомия человека — ключ к анатомии обезьяны. Намеки же на более высокое у низших видов животных могут быть поняты только в том случае, если само это более высокое уже известно» (Маркс К., *Экономические рукописи 1857-1861 гг.*, ч. 1 [М.: Политиздат, 1980], с. 45 — прим. ред.).

4.2 ПОРОЖДЕНИЕ И РАЗЛОЖЕНИЕ

- 1 См.: Монтескье Ш. Л., «Размышления о причинах величия и падения римлян», *Избранные произведения* (М., 1955), ее. 47-156; Гиббон Э., *История упадка и разрушения Великой Римской империи*, в 7-ми тт. (М., 1997)-
- 2 Макиавелли Н., *Рассуждения о первой декаде Тита Ливия. Государь* (М., 2002); Antonio Negri, *Protocere costituente* (Milan: Sugarco, 1992), pp. 75-96.
- 3 Токвиль К., *Демократия в Америке* (М., 1992)-
- 4 Гегель Г. В. Ф., *Лекции по философии истории* (СПб., 2000), с. 132.
- 5 Массимо Каччиари предпринимает очень информативное и побуждающее к размышлениям исследование судьбы и упадка идеи Европы в работе: Massimo Cacciari, *Geo-filosofia dell'Europa* (Milan: Adelphi, 1994).
- 6 Ницше Ф., «Веселая наука», *Сочинения*, в 2 тт., т. 1 (М., 1992), с. 535 (§ 24).
- 7 Friedrich Nietzsche, *Werke*, ed. Giorgio Colli and Mazzino Montinari (Berlin: de Gruyter, 1967), vol. 8, pt. 1, p. 77; цит. по: Cacciari, *Geo-filosofia dell'Europa*, p. 9. В оригинале: «Ich habe den Geist Europas in mich genommen — nun will ich den Gegenschlag thun!»
- 8 См.: Franz Rosenzweig, *The Star of Redemption*, trans. William Hallo (New York: Holt, Rinehart and Winston, 1971).
- 9 Беньямин В., «О понятии истории», *НЛО*, 46 (2000), 81 (тезис г).

- 10 О судьбах европейского иррационализма см.: Georg Lukacs, *The Destruction of Reason*, trans. Peter Palmer (London: Merlin, 1980).
- 11 Мы говорим прежде всего о Жиле Делезе, Мишеле Фуко и Жаке Деррида.
- 12 См.: Hans Jurgen Krahl, *Konstitution und Klassenkampf* (Frankfurt: Neue Kritik, 1971).
- 13 Витгенштейн Л., *Дневники 1914-1916* (Томск: Водолей, 1998), сс. 101, 104.
- 14 Витгенштейн Л., «Логико-философский трактат», *Философские работы*, ч. I (М., 1994) сс. 72-73 (6-54)-
- 15 Hannah Arendt, *On Revolution* (New York: Viking, 1963).
- 16 Жиль Делез часто возносит хвалу американской литературе за ее номадизм и способность к детерриториализации. Кажется, что для Делеза Америка олицетворяет освобождение от жестких рамок европейского сознания. См., например, его очерки «Уитмен» и «Бартльби, или Формула» в работе: Делез Ж., *Критика и клиника* (СПб., 2002), сс. 80-86, 96-124.
- 17 Serge Guilbaut, *How New York Stole the Idea of Modern Art: Abstract Expressionism, Freedom, and the Cold War*, trans. Arthur Goldhammer (Chicago: University of Chicago Press, 1983).
- 18 См.: Грамши А., «Американизм и фордизм», *Избранные произведения*, в 3-х тт., т. 3 (М., 1959). Сс. 416-454-
- 19 Ханна Арендт стала наиболее популярным автором среди тех представителей политической науки в Соединенных Штатах и Европе, которые хотят найти новые теоретические подходы к политике. См., напр., статьи в сборниках: Bonnie Honig, ed., *Feminist Interpretations of Hannah Arendt* (University Park: Pennsylvania State University Press, 1995); Craig Calhoun and John McGowan, eds., *Hannah Arendt and the Meaning of Politics* (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1997).
- 20 О философских концепциях порождения и разложения см.: Reiner Schurmann, *Des hegemonies brisies* (Mouvezin: T.E.R., 1996).

4.3 МАССЫ ПРОТИВ ИМПЕРИИ

- 1 Блаж. Августин, *О граде Божьем*, кн. XI, гл. I, *Творения*, т. 3 (СПб.: Алетейя, 1998), с. 464.
- 2 Plotinus, *Enneads*, trans. Stephen MacKenna (London: Faber & Faber, 1956), p. 63 (1.6.8).
- 3 О военной мощи Империи см.: Manuel De Landa, *War in the Age of Intelligent Machines* (New York: Zone, 1991).
- 4 О структуре времени см.: Antonio Negri, *La costituzione del tempo* (Rome: Castelvecchi, 1997); а также: Michael Hardt, «Prison Time», *Genet: In the Language of the Enemy*, *Yale French Studies*, no. 91 (1997), 64-79. См. также: Eric A Uiez, *Capital Times*, trans. Georges Van Den Abeel (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1996).
- 5 Jurgen Habermas, *Theory of Communicative Action*, trans. Thomas McCarthy (Boston: Beacon Press, 1984). Андре Горз подобным образом определяет лишь часть пролетариата как имеющую отношение к новым коммуникативным способам производства в своей работе: Andre Gorz, *Farewell to the Working Class*, trans. Michael Sonenscher (Boston: South End Press, 1982).
- 6 Здесь мы следуем нетривиальной этимологии термина «философия», предложенной Барбарой Кассен (Barbara Cassin).
- 7 О конститутивном понятии «столкновения» см. поздние работы Л. Альпоссера, написанные им после тюремного заключения в 1980-х гг., в особенности «Le courant souterrain du materialism de la rencontre», *Ecrits philosophiques et politiques*, vol. 1 (Paris: STOCK/IMES, 1994), pp. 539-579-

ПРИМЕЧАНИЯ ПЕРЕВОДЧИКА И РЕДАКТОРА

ПРЕДИСЛОВИЕ

В тексте используются термины *modern era* и *modernity*. В отечественной научной литературе мы находим различные варианты их перевода — «модерн», «модернити», «Новое время», «Современность», при этом как хронологические границы, так и содержание данного понятия толкуются отечественными авторами по-разному. Так, например, А. И. Неклесса полагает, что эпоха Большого Модерна охватывает последние две тысячи лет, а период Нового времени составляет ее завершающий этап, за которым следует стадия Постмодерна. Основной исторической целью Большого Модерна, особенно его завершающего этапа, называется «построение универсального сообщества, основанного на постулатах свободы личности, демократии и гуманизма, научного и культурного прогресса, повсеместного распространения священного принципа частной собственности и рыночной модели индустриальной экономики» (Неклесса А. И., «Эпилог истории», *Глобальное сообщество: новая система координат (подходы к проблеме)* [СПб., 2000], с. 2а). А. С. Панарин датирует модерн эпохой Просвещения, полагая, что «соединение пространственной рыночной мобильности с мобильностью временного типа, связанной с интенсификацией производства на основе промышленного применения науки, породило исторический феномен европейского модерна». (Панарин А. С., *Стратегическая нестабильность в XXI веке* (М., 2003], с. 263). Наиболее подробно проблема и концепции *modernity* рассмотрены в работе: Капустин Б. Г., *Современность как предмет политической теории* (М., 1998). В представленной работе авторы придерживаются весьма традиционного для марксистской и неомарксистской теории подхода, связывая *modernity* в первую очередь с определенным характером производительных сил и производственных отношений, с периодом, когда труд был олицетворен в облике пролетариата, капитал представлен национальной буржуазией, а основу политической системы общества составляло национальное государство. Таким образом, «*modernity*», переводимое здесь как «современность», охватывает период с Возрождения и до 60-70-х гг. XX в.

На протяжении всего текста авторы применяют термин *multitude* — «множество». В классической политической философии это слово, как правило, носило негативные коннотации, обозначая «толпу», «массу» — недифференцированную, неоформленную субстанцию, которая противопоставлялась «народу» (*populus*) как носителю политической воли и суверенитета. Однако в истории политической философии, по мнению Негри, есть два исключения — это Спиноза и Маркс, которые придали этому понятию позитивное звучание, увидев в «*multitude*» созидательную силу, носителя конститутивной власти, способного на реализацию радикального демократического проекта. С учетом традиции русских переводов классической политической философии, а также терминологической традиции левой неомарксистской мысли в тексте термин «*multitude*» переводится как «массы».

ЧАСТЬ 1 ПОЛИТИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО НАСТОЯЩЕГО

Авторы вводят здесь неологизм *omniversality* (в противоположность *universality* — универсальность, всеобщность) с целью подчеркнуть принципиальную новизну

субъектов Империи и характера новой имперской власти — всеобъемлющей, глобальной, ко предполагающей не движение к универсализму, как мыслилось в рамках парадигмы Просвещения, а, напротив, нарастание качественной разнородности мира.

ЧАСТЬ 2 ПЕРЕХОДЫ СУВЕРЕНИТЕТА

- i Государства в государстве (лат.).
- И Ни Бог, ни царь и не герой (*фр.*) — цитата из *Интернационала*.
- itt Чья власть, того и вера (лат.).
- iv Шесть книг о государстве (*фр.*).
- v Ацтлан — «белая земля», легендарная прародина ацтеков, предположительно расположенная на севере или северо-западе современной Мексики. См. также: Мережковский Д. С., *Атлантида-Европа: Тайна Запада*, вступ. ст. В. Д. Цыбина (М.: Русская книга, 1992). с. юз.
- vi «Черные пантеры» — партия леворадикального толка, основана в 1966 г. в Калифорнии. Во второй половине 1960-х гг. под лозунгом «вооруженной самообороны» принимала активное участие в движении за гражданские права афро-американцев. К середине 1970-х гг. практически прекратила свое существование в результате репрессий властей, убийств и арестов ее лидеров.
- vii Туссен-Лувертюр (Toussaint-Louverture или, в транскрипции, используемой авторами работы, Toussaint L'Ouverture) Франсуа Доминик (1743-1803) — один из лидеров борьбы гаитян против англичан (1793-1803) и французов (1802-1803). С 1801 года был объявлен пожизненным правителем острова, отменил рабство. Был захвачен французами и вывезен во Францию, где и умер.
- viii Перевод И. Данилина. См. также перевод А. Ибрагимова в: Вордсворт У., *Избранная лирика* (М.: Радуга, 2001), с. 325.
- ix Бартоломе де Лас Касас (1474-1566) — гуманист, первый и один из самых непримиримых критиков варварских методов испанской колонизации Нового Света, защитник индейцев и миссионер. Лас Касас — потомок знатного обедневшего рода, выпускник Саламанкского университета. С 1543 по 1550 гг. был епископом Чьяпаса (на юго-востоке Мексики). Автор огромного количества трудов по истории испанской Америки, памфлетов против жестокостей конкисты и т. д.
- x Негритюд — философская концепция, делающая упор на исключительность африканской расы и культуры. Противопоставляет интуитивный разум африканца, его слияние с природой, общинную справедливость рациональности европейцев. Основные понятия — культура, культурная идентификация. Сыграл значимую роль в национально-освободительной борьбе африканских народов. Понятие введено Э. Сэзером в 1939 г., большой вклад в формирование внес Л. Сенгор. В США негритюд воплотился в движение за возрождение самосознания негров («негроренессанс»), в Африке на него оказали влияние социалистические идеи. Постепенно в концепции негритюда стали громче звучать мотивы расовой исключительности.
- xi Сэзер Эме (р. 1913 г.) — martiniqueский поэт, пишет на французском языке. В своих произведениях защищал достоинство поправленной «черной расы», рассеянной по миру. На творчество поэта оказал влияние сюрреализм. Баллотировался на пост президента Мартиники.
- xii Сенгор Леопольд Седар (1906-2001 гг.) — поэт, философ и политический деятель. Один из создателей концепции негритюда. Родился в Сенегале. Обучался в Сорбонне, преподавал во Франции. Участвовал во Второй мировой войне, в немецком плену — в движении Сопротивления. Занимал министерские посты во фран-

цузском правительстве. Основатель партии Демократический блок Сенегала (с 1959 г. — Прогрессивный союз Сенегала, с 1976 г. — Социалистическая партия Сенегала). Первый президент Сенегала, переизбирался четыре раза, добровольно ушел в отставку в 1980 г. Поддерживал в стране политический плюрализм. Автор трудов по истории Сенегала. В 1963 г. получил Большую международную премию и золотую медаль французской Академии за творчество в области поэзии, с 1983 г. член французской Академии наук.

- xiii Малкольм Икс (Malcolm X, настоящее имя Малкольм Литтл) — годы жизни: 1925–1965 гг. Популярный лидер мусульманского афро-американского движения в США. Несмотря на противоречивое отношение к фигуре Малкольма Икса (из-за его радикализма), некоторые ставят его по значимости для организации афро-американцев на один уровень с Мартином Лютером Кингом. Икс был убит при невыясненных обстоятельствах во время своего выступления в Гарлеме.
- xiv белл хуке (псевдоним) — американская феминистка, соединяющая в своих воззрениях феминизм и антирасизм. Пишет свое имя с маленькой буквы. См., например: белл хуке, «Феминистская теория: от края к центру», в сб. пер. *Антология гендерных исследований*, сост. и комментарии Е. И. Гаповой и А. Р. Усмановой (Минск, 2000).
- xv *Федералист* — сборник политических эссе А. Гамильтона, Дж. Мэдисона и Дж. Джея, опубликованных в нью-йоркских газетах *Индепендент Джорнел*, *Нью-Йоркпэкет и Дэйли аБертэйзер* в 1787–1788 гг. в поддержку проекта федеральной конституции, подписанных коллективным псевдонимом «Публий». *Федералист* считается классическим сочинением американской политической науки.
- xvi Прогрессиистская эра — период конца XIX — начала XX века, отмеченный широким общественным движением (собственно прогрессисты и т. н. «разребатели грязи») против всеислия трестов и нарушения ими законов. Под давлением общественности в президентство Теодора Рузвельта (1901–1908), но особенно при Вудро Вильсоне (1909–1916), были приняты законодательные акты по регулированию бизнеса и финансового капитала.
- xvii Традиционно, постоянно отодвигаемая западная граница США в XIX в., за которой начинались «свободные земли», именуется «фронтиром», поэтому далее в тексте в соответствующих случаях будет использоваться именно этот термин.
- xviii Авторы употребляют термин self-making, по аналогии с известным выражением self-made man — «человек, сделавший себя сам», «человек, добившийся успеха собственными силами», распространяя это понятие на американское общество в целом.
- xix Сесипь Роде (1853–1901) — британский миллионер, основатель алмазной компании «Де Бирс». Принимал живейшее участие в проектах колонизации Африки, а также в идеологическом оформлении британского колониализма. В честь Родса была названа одна из африканских провинций — Родезия.
- xx Дьенбьенфу — уезд во Вьетнаме, в котором в 1954 году освободительная армия Вьетнама нанесла крупное поражение французским колониальным войскам. После Дьенбьенфу французы были вынуждены уйти из Вьетнама.
- xxi Наступление «Тет» (по названию месяца во вьетнамском календаре) было начато руководством Северного Вьетнама в январе 1968 года с целью нанести американцам решающее поражение. Тем не менее, благодаря действиям армии США наступление провалилось, северовьетнамская армия понесла тяжелые потери. Однако телерепортажи с полей сражения, сделанные известным американским журналистом Уолтером Кронкайтом (телекомпания CBS), убедили американскую общественность в том, что война проиграна. В этот период была окончательно развеяна легенда о «полном контроле» вооруженных сил США над ситуацией во Вьетнаме, в результате, несмотря на крупную военную победу, руководство США потерпело идеологическое поражение внутри страны.

- xxii «Черная власть» («Black power») — лозунг, выдвинутый популярным среди афро-американцев в США общественным деятелем Стокли Кармайклом в г. Гривуд (шт. Миссисипи, США) в 1966 году. Принцип «Черной власти» предполагал насильственную борьбу афро-американцев за свои права. С. Кармайкл — один из руководителей организации «Черные пантеры», призывал к вооруженной борьбе афро-американцев за свои права.
- xxiii Приведен перевод, данный в отечественном издании работы Канта *Ответ на вопрос: Что такое Просвещение?* (см. примечание).
- xxiv В данном случае столь сложный образ тюрьмы с «крутовой» структурой (англ. «raportison») связан с термином Фуко «паноптизм». Вот как определяет его Жиль Делез в своей работе *Фуко* (Делез Ж., *Фуко* [М., 1998]): «Тюрьма... сама образует некую видимость... она характеризуется „паноптизмом“, то есть своеобразным визуальным расположением, где надзиратель может видеть все без риска быть увиденным, а заключенные все время находятся в поле зрения и ничего не видят сами» (с. 57). Кроме того, Фуко использует и абстрактное понимание «паноптизма», характеризуя его «как некую машину, которая не только применяется для определения любой зримой материи вообще (мастерской, казармы, школы, больницы, в той же мере, что и тюрьмы), но также и пронизывает вообще все высказываемые функции. Следовательно, абстрактной формулой Паноптизма будет уже не «видеть, не будучи видимым», а навязывать какой-либо тип поведения любому человеку множеству» (с. 59). Термин используется Фуко в его работе: Фуко М., *Надзирать и наказывать* (М., 1999).
- xxv «Законы Джима Кроу» — свод законов в США, обуславливающих расовую сегрегацию (юридический принцип «разделенные, но равные»). Принцип получил окончательное формирование в начале XX в. Законы отменены во время движения за гражданские права в 1960-х годах. Название связано с фольклорным прозвищем афроамериканцев — Джим «Ворона» — «Crow» (в США водятся лишь черные вороны).
- xxvi Надпись на постаменте Статуи Свободы в США.
- xxvii В русском переводе Аристотеля это понятие обозначается как «уничтожение» (см. примечание на сочинение Аристотеля *О возникновении и уничтожении* [De generatione et corruptione]). Тем не менее, авторы употребляют термин именно в значении «разложение», поэтому, сохраняя авторский замысел, целесообразным кажется оставить в данном случае именно это значение.
- xxviii Этьенн де Ла Боэси (Лабозеси или, иногда, Ла Воэти — La Voetie), годы жизни: вдов. 1563 г. Французский философ-гуманист, поэт и публицист. Наиболее известен его трактат *Рассуждение одобрительно о рабстве* (написанный им в 8-летнем возрасте), исследующий причины существования тиранической власти. Трактат направлен против абсолютизма, отстаивает права человека. Ла Боэси — близкий друг Мишеля Монтеня.

ИНТЕРМЕЦЦО: КОНТР-ИМПЕРИЯ

- i Индустриальные рабочие мира (Industrial Workers of the World) — рабочая организация, создана в США (г. Чикаго) в 1905 г. Среди руководителей ИРМ были Ю. Дебс и Д. Де Леон, другие сторонники идей социализма и производственной демократии. Своей основной задачей ИРМ считали объединение трудящихся всего мира в единый профсоюз с целью замены власти капитала над экономикой контролем пролетариата. ИРМ вели широкую агитацию среди неквалифицированных рабочих, многие из которых были недавними иммигрантами. Власть применила в отношении ИРМ жесткие репрессивные меры, арестовав 200 активистов организации и введя

направленные против нее законодательные запреты. К середине 1920-х гг. ИРМ утратили большую часть своего влияния.

- И «Я бродяга, бродяга» — «I Wobbly Wobbly», искаженное IWW, английская аббревиатура ИРМ, Индустриальные рабочие мира.

ЧАСТЬ 3 ПЕРЕХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА

- i favela (*порт.*) — барачный город, районы трущоб в некоторых городах Бразилии,
 - ii Весь нижеследующий раздел построен на том, что авторы обыгрывают многозначность понятия commons, то есть ведут речь одновременно о commons и как общественной собственности, и как простом народе. Таким образом, в тексте как бы параллельно развиваются две линии аргументации — о циклах общественного и частного присвоения собственности, с одной стороны, о связи понятий простонародья (commons — ист. «третье сословие»), общественной, масс — с другой.
- III Non-governmental organization — NGO.
- iv Полибий (ок. 200-го до н. э.) — древнегреческий историк. Автор «Истории» Персии, Малой Азии и Рима от 90 до 146 гг. до н. э.
 - v Comitia, огшп, t. pi. (*лат.*) — комиции, народное собрание в Древнем Риме,
 - vi Южный конус — общее название стран юга Южной Америки: Аргентины, Бразилии, Парагвая, Уругвая и Чили,
 - vii GATT — General Agreement on Tariffs and Trade.

ЧАСТЬ 4 ЗАКАТ И ПАДЕНИЕ ИМПЕРИИ

- i Ancien regime (*фр.*) — старый порядок, социально-политический режим Франции до Великой французской революции,
- ii В «счастливой Аравии», игра слов с намеком на «счастливую Аркадию».

ИНДЕКС

- Августин Блаженный 195. 360, 363
автономисты 203
автономия политического 288
Агамбен Д. 34°
административная система: в эпоху современности 93-94; имперская 315-3*9
аксиоматика капитала 304-305
а-покальность власти 180-181, 192, 199. 198. 330. 355; создание новой локальности 204-205, 332
Альтоссер Луи 71-71
Американская революция 155-158
Амин С. 8з, зи
анархисты 325
Английская революция 156
Андерсон Б. ю8
антигуманизм 95
антропология 125
апартеид 124, 185
Аппадурани А. 147
Апши Э. 136
Арендт Х. П8, 352, 357
Аристотель, 191, 33', 3&9
Арриги Дж. 224-225
Архитектура 179, 3°7
Ауэрбах Э. 56
аффект. См. трудаффективный
Ахмед А. 146
- Баба Х. 141-142
Балибар Э. 183
Бандунгская конференция 109, 235, 312
Бауэр О. U2
бЕГСТВО 201-202
Беньямин В. 203, 349
Берк Э. ю6.
биовласть 36-39, 93, 274, 338-339, 358, 380
Бовилл 79
Боден Ж. 89. ю0-ю1
борец 378-380
Бреттонвудские соглашения 231, 249-250
БрОдель Ф. 212, 223-224
Бруно Дж. 8з
- Буш Дж. 17а
бЫТИе-ПРОТИВ 200-201, 336
Бэкон Ф. 79, 375
- Валлерстайн И. зи
варвары 202-203
Вебер М. 51, 92-94, 316, 347, 349
Вергилий i6i
Версальская конференция 228
Вико Дж. юг-юз
Вильсон В. 168, 172
виртуальное 332-334, 336, 342
Виттенштейн Л. 35°
вмешательство и суверенитет 31, 46-49
внесистемные движения 69
внешнее против внутреннего \$6, 175-181. 329-33°; капиталистического развития 209-216, 220-221, 242-243
воспроизводство общественное 4°, 72, 90, 256-258, 355- С" - такжe биовласть
всеобщий интеллект 4L 338
всеобщий кризис i8i, 187, 191
Вторая мировая война 230
выровненное, однородное пространство 305, 3°7. i8i
вьетнамская война 170-171, 224, 232, 245-247, 258
- Галилей Г. 80
гарантированный доход 371
Гегель Г. В. Ф. 53, 128, 305, 316
Гейтс Б. 277
Гердер И. Г. юз
Гиббон Э. 34, 343, 192,
гибридность, 140-143. 2°5; управление гибридностью и смешанными идентичностями 165, гибридноустройство 296-297
Гилрой П. 192
ГильферДИНГ Р. 214. 216-217
Гинрич Н. 323
глобализация 19, 23-24, 44. 64-65. 134. 324. 336; снизу 14-15. 54-5*. 61-62, 67-68.

- глобальное гражданство збб, 368, 371
 Гоббе Т. 22-23, 89-91, 3², 358, о народе 105
 Гобсон Дж. 219
 Голландская Ост-Индская компания г86
 государство всеобщего благосостояния 28i
 государство: патримониальное и абсолю-
 тистское 97-99; современное 94 Ч²; ка-
 питалистическое 218-219, 222-223, 229,
 285-289. См. также трансценденталь-
 ный аппарат
 гражданское общество 37, 305-306; глобаль-
 ное 23, 292
 Грамши А. 219, 353-354
 гуманизм 83-84, 94~96, 267; гуманизм эпо-
 хи Возрождения 78-83. 95. иб, 140, 157,
 159, 331
- Данте А. 79-80
 Де Сика В. 154
 Дебор Ги 53, 58, 180, 300-301.
 Декарт Р. 85-86
 Декларация независимости 159.163-164
 деколонизация 231-232
 деконструкция 57-58
 Делез Ж. и Гваттари Ф. 38-40, 184, Ц> 283,
 329.363
 деньги 320-322
 детерриториализация 12, 56, 6i, 70, 123; про-
 изводства 275-278: производимая капи-
 талом 196, зоз. 320-322. См также пути
 бегства
 децентрализация производства 232-233,
 275-278
 Джеймисон Ф. 150, 179.263, 301
 Джексон Э. 162
 Джефферсон Т. 14, 155.162, 174
 диаграмма 306-307
 диалектика 61-62, 178-180; диалектика иден-
 тичности Ю5, 115-пб, 126-130; критика
 диалектики 138, 141-142, 334.349-350;
 Дирлик А. 90, 136
диспозитив 35, 71, 306-307
 дисциплина юо, 153-154; отказ от дисципли-
 ны 245-247. 256-262
 дисциплинарное общество 35-37. 92-93.
 306-309
 дисциплинарное управление 229-230, 233-
 234, 236-140
 досуг 256
 Дуне Скотт 78-79
- Дэвис М. 313
- европоцентризм 78, 82-83, 9[>] 120
 естественное право, теории юг,
- Жене Ж. по
 жизнь как таковая v} 4.340
 Жильбо С. 3S3
- забастовки: Франция 63-64. Южная Корея
 63-64
 закат и падение Империи зз~34 343-346
- идеология 372
 имманенция, имманентность 72, 73, 84, 95-
 9⁶ 153, 348, 370; открытие 78-81; власти
 в эпоху современности 87-88; импер-
 ской власти 156, 158-159.345-34⁶; капита-
 ла 303-309;
 империализм 43, 249-250. 3⁹ 9-зю; в проти-
 воположность Империи 12-13, 24. i6 o-
 i6i, 346; борьба против 53-54.67; импери-
 ализм и США 165.168-171; марксистская
 критика 209-221, 253-256, 309-310
 Империя, определение понятия 14-15
 Индустриальные рабочие мира (ИРМ) 197,
 203, 379
 интеллектуальная сила масс 41, 377
 интернационализм 55-5*, 59-60, 142
 Интернет 279
 интифада 63-64
 информационная инфраструктура 278-281
 истина 150-152
 историцизм юг
 история: конец 72, i8o, 341; остановка исто-
 рии 226; история как академическая дис-
 циплина 120
 исход 8з, 201-203, 338, 341; антропологиче-
 ский 204-205
 итальянская экономика 270
- Калибан 87
 Канг И. 86, 175
 Кастельс М. и Аояма Ю. 268
 Каутский К. 217
 Кейнс Дж. М. 227, 230

- кейнсианство 229
 Кельзен Х. zi, 29
 киберпанк 204
 колониализм 78, 8з. 115-123. 189-190. 286-287; борьба против 53-54. 108-109, ЦО-132; и США 164-165. *См. также* деколонизация
 коммунизм 71.223. 275.325,380
 коммуникация 41.44-45.3*5.3721 выступлений 65-66; в производстве 271-279. 338-339; индустрия коммуникаций 44. 320-321
 Конрад Дж. 133
 конститутивная власть 58,67,71 176-177.333. 374.377; в конституции США 157.159
 конституционная история США, фазы i6i-162
 кооперация 275-277. 339-34°. 365-366, 370-371.377-378; абстрактная 277
 корпоративная культура 149-150
 корпорации, транснациональные 43. 285-28, 28,
 Коуи П. 278
 кризис 355-356; институтов 186-188; Европы 346-351- *См. также* современность как кризис
 Кутзее Дж. М. 175.193
- Ла Боэси Э. 193-194
 Лас Касас Б. 116-117
 Леви П. 271
 легитимация 44-45.49. 5L 93-94
 Ленин В. И. ;8, из, 216-221,234, 280, 353
 либеральная политика 179-180
 Линкольн А. 165
 локальное против глобального 54-56, 336-337
 ЛЮЖК Дж. 22-23, 319
 лос-анжелесское восстание 64-65
 Лувертор Т. 117-118
 Луман Н. 28-29
 Любиано В. Ю9
 Люксембург Р.: о национализме юо, 212-220; критика империализма 253-254.3°°
- Макиавелли Н., 7J-73. 94. Ц2, 221, 288,358; о Древнем Риме, 29,156-157.160, 344-346; о конститутивной власти, 176-177
 макиавеллизм 156
- Малкольм Икс 109,130
 манифест 71-74
 маркетинг 148-149
 Маркс К. 16, 37, 54. 66, 70-73. п6, 153,176-177. 195-198. 205, 215, 240-244, 254, 256, 273, 285, 303-304, 325. 337-340; о британском колониализме и8-ио; о США, 162-163; об экспансии капитала, 209-212; о недостающих томах *Капитала* 221-223; о капиталистических кризисах 246, 250-251; о теории стоимости зз° - *См. также* всеобщий интеллект; подчинение, формальное и реальное
 Маркс К., Энгельс Ф. 72,214.147.285.
 Марсийи Падуанский 80
 массы 69-74. 80-8i, 94. 155-156,158-159, 329; против суверенитета в эпоху современности 85, 87, 92, юо; отличие от народа 105, ИЗ. 185-186, 296, 320; власть, сила и способности масс 199-206, 330-338; имперское разложение масс 360-361; права масс 366-374
 мафия 48,3i8
 международные отношения как академическая дисциплина 139-140
 Мелвилл Г. 192-193.352
 менеджмент и организация, теория 149-150
 мера стоимости 9°-9L 330-334.361-362
 мир 32-33. 82,98,172, i80; как имперская добродетель 25-26, 28,68, i6i, 329
 мировой рынок 147-150, i8i, 221-223, 237-241, 290-291, 309-312; создание 209-210, 322. *См. также* отделение от мирового рынка
 мобильность населения 201, 238-329, 257, 320; страдания 151-152; право на передвижение 366-369
 модернизация 235-237,263-264,267-269
 монаршие прерогативы суверенитета 49-50,319.335
 Монро, доктрина 170
 Монтеские Ш. 3> 19L 295.343-344
 Мор Т. 80
 Моррис У бо
 Музиль Р. 77,267, 271
 Мулье Бутан Й. 123
- надстройка 39,42,355-356
 народ 104-107,185-186, 292, 296; упадок 320, 378

- национализм угнетенной нации 107-110, 130-132, 312-313
 национализм, борьба против. См. также черный национализм, национализм угнетенной нации
 национал-социализм ш
 национальное государство п-12, 54. 110-ш, 222-223
 национальное освобождение, борьба за. См. колониализм, борьба против
 национальные государства, система 51, 291
 нация, современное понятие 97-107
 негритод 129
 неправительственные организации (НПО) 46-47, 292-294
 Николай Кузанский 79
 Никсон Р. 250
 Ницше Ф. 94, 202, 221, 257, 347-349
 нищета 152-154
 Новые Левые 171
 новые социальные движения 258
 Новый курс б1, 168, 172, 35i; на глобальном уровне 228-231, 250
 номадизм 8з. 201-204, 336-338
- общая воля 90, 99
 общество контроля 35-37. 188, 297-298, 306-309
 онтология 57-58, 70, 196, 329-338; ее отсутствии 192, 361
 ООН 20-23, 3², 42, 131, 172. 290
 Ост-Индская компания 286-287
 отделение от мирового рынка 196, 266
 отказ 193-194-198-199
- паразитическая природа Империи 334-336
 Паскаль Б. 85
 Первая мировая война 220
 первоначальное накопление 98-99. 241-244. 281, 303-304
 «перевод языков борьбы» б0-б1, 66
 Переменный капитал 275. 373
 перепроизводство и недопотребление 210-213
 Персидский залив, война 27, 172, 290
 Пикоделла Мирандола Дж. 79
 подчинение, формальное и реальное 37. 240-241, 254-256, 296, 339. 356
 Покок Дж. Г. 156
- Полибий 157. 160, 191, 224, 294-296, 343-344
 политическая теория 71. 358
 полицейская власть 27, 31-32, 33-34. 38, 9²;
 имперское право на вмешательство 48-49. 180
 постколониалистские теории i35-i37> 140-143
 постмодернизация 255-256, 263-265. 267-271
 постмодернистские теории 135-140
 постсовременность 72-73. 179. 223
 постфордизм 64. 376-377
 постчеловеческий 203
 права человека 109, 293
 правление 9², 3⁵
 право 3i; международное 19-20, 24-25, 28-29, 44, 49; наднациональное 24-25, 3⁰-3i имперское 34. 70. См. также массы, права
 Пракаш Г. ЦЗ
 прибавочная стоимость, реализация мо-212
 прогрессизм 167-168
 пролетариат S9~60, 72, 241-242, 370; определение 62
 пути бегства, линии ускользания 58, 122-123
- рабочий класс, промышленный 62, 241, 370
 рабство 120-123. 201; в США 163-165, 169
 развитие, теории 265-267. См. также экономическая отсталость, теории
 разложение 33-34. 191-192. 359-362; цикл 157. 160
 Райх Р. 147. *73
 расизм: в эпоху современности 105. 182-185; имперский 181-186
 Рахман Ф. 146
 резервная армия труда 403 (7)
 репрезентация: как представительство 89-90, юб, 132; как производство образов 124-125
 репроприация 372-374. 378
 республиканство 176, 197-206
 реципрокность, ответные действия 129-130
 ризома 280, збб
 Римская империя 25, 34. 157. 160, 279. 294-295. 343-345
 Римская республика 156-157
 Роде С. 167. 209, 215, 219. 248
 Розеншвейг Ф. 348
 Ролз Дж. 28-29

- Рузвельт Т. 162, 167-170, 228
 Рузвельт Ф. Д. 155, 228-230, 323
 Руссо Ж. Ж. 90-91. См. также мировой рынок
 рынок 90-91. См. также мировой рынок
- Сайд Э. 124, НЗ
 Сартр Ж. П. 127, 129
 сегментации, социальные 313-315
 Сезер Э. и8, 129
 секуляризация 78-81, 95, Цб
 Селин Л. Ф. 132-133, 343
 семья 144-145, 187
 сетевая власть 155-158
 сетевое производство 275-278
 Снейс Э. Ж. 104. юб, 113-114
 сингулярность 66, 70, 80, 84, 92. Ю5.364-365.
 376
 смешение народов 33б-33⁸
 СМИ 292, 301-302
 Смит А. 90-91
 собственность, частная и общественная
 281-283, 377
 событие 38, 40, 51.59. «9.378
 Советская революция 123, 131, 168-169, 227-
 228
 Советский Союз, крушение 171, 202, 259-262
 современность 56-57. 77-8i; как кризис 8i-
 84, 94. ш; постмодернистская критика
 137-140, 151
 общество, общность 55-56, 142, 333; и на-
 ция 98-юо, 108-ио, из
 социалистическая дисциплина юг
 социальная заработная плата 371
 спектакль 300-302, 322
 СПИД, пандемия 134
 Спиноза Б. 73-74» 95. Ц8. 176-178, 194, 200,
 204, 320, 334. 375! об имманентности 80,
 84
 справедливая война 27, 47-48
 справедливость 32-33, 87, 331
 Сталин И. В. из. 260, 346
 Страх 302, 358
 структурализм 40
 субъективность, производство 44. 6i, 186-
 188, 300, 349; новые циклы 253, 258, 370
 суверенитет: современный 77-78; нацио-
 нальный 98-107; в конфликте с капита-
 лом 303-306
 суверенитет 302
- тактика и стратегия 67-68, 71
 Тейлоризм 227, 229, 233-234, 240-241, 251-252.
 353, 376;
 телеология 61-62, юз, 159, 354; материали-
 стическая 71-74, 341-342, 365-366, 372-374
 темпоральность 369-371
 Токвиль А. 93, 158, 162, 347
 тоталитаризм 113-114, 260-261
 трансцендентальный аппарат 84-90, 158-
 159; как государство 303-307
 Третий мир против Первого 12, 239, 247-
 248, зю-312, 337
 Третий мир, концепция 248
 труд 333. аматериальший 41, бз. 271-275; аб-
 страктивный 273; аффективный 273-274.
 339-340
 Трумэн Г. 232, 235
 Тэтчер М. 323
 Тяньаньмьнь, события 65
- Уильям Оккам 80
 ультраимпериализм 217-218
- Фанон Ф. 93, 123-124, 127-130, 158, 162, 347
 Федералист 14, 155-156, 162, 295, 330
 феминистские движения 257
 философия 58-59
 Фихте И. Г. юб
 Фок Р. 47
 форДИЗМ 227, 229, 233-234, 24L 271-272, 376;
 упадок 251-252
 Франкфуртская школа 37, 140
 Франциск Ассизский 380
 Французская революция 104, юб, 114, "7~
 118, 352
 Фукидид 29, 174, 344
 Фуко М. 28, 35-40. 92-94. 175-176, i8i, 305-
 307. 34i; и гуманизм 94-96; о Просвеще-
 нии 175-176
 Фукуяма Ф. i8o
 фундаментализм 143-147, 292, 367
- Хабермас Ю. 45, 372
 Хайдеггер М. 94, 205, 347, 370
 Харвид, 120
 Харрауэй Д. 205
 холодная война 169-174
 христианство 34, 47, 345

- Чаплин Ч. 154
 Чаттерджи П. 132
 черный национализм 109-110
 чрезвычайное положение 30-31.38, so
 Чьяпас, восстание 63-65
- Шмитт К. 30.149
 Шопенгауэр А. \$6,87
- экономика услуг 268-269,274
 экономическая отсталость, теории 265-266
 экспансия и стремление к расширению: Им-
 перии 160-163; капитала 209-116
- эксплуатация 54. 62,197-199.356
 ядерное оружие 321-323
- historia mezum gestarum* см. *res gestae*
homohomo 79,86,194.204
homo tantum 193-194
posse 374-378
res gestae 57-58,61,70-71.341-34*
Vogelfrei 153-44

Майкл Хардт, Антонио Негри

ИМПЕРИЯ

Перевод с английского *А. Ландер, И. Данилин,
И. Окунева, Ю. Филипов,
А. Смирнов*

Общая редакция Л. В. Каменская, М. С. Фетисов
Оформление обложки А. Кулагин
Макет и верстка А. В. Иванченко

Издательская группа «Праксио»
ИД № 02945 от 03.ю.2юю

Подписано в печать 20.042004. Формат 7° х юю Vu
Бумага офсетная. Печать офсетная
Тираж 2юю экз. Заказ 4299

ООО «Издательская и консалтинговая группа „ПРАКСИС“»
127486, Москва, Коровинское шоссе, д. 9, корп. 2
<http://www.politizdat.ru>
<http://www.praxis.su>
e-mail: praxis6>hotbox.ru

Отпечатано в ФГУП Издательство «Известия»
Управления делами Президента РФ
И7994. ГСП-4, Москва, К-6, Пушкинская пл., д. 5
Контактные телефоны: 200-3636.200-3020

ISBN 5-901574-40-0



